

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ВЕК

КАПИТАЛА

1848 - 1875



ЭРИК ХОБСБАУМ

Эрик Хобсбаум

Век

КАПИТАЛА

1848 — 1875

Ростов-на-Дону

«Феникс»

1999

ББК 63.3 (3) 3
Х 68

Перевод с английского
Т. Горяиновой, В. Белоножко

Научный редактор
к.и.н. *А. А. Егоров*

Э. Хобсбаум
Х 68 Век Капитала. 1848 — 1875. Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,
1999. — 480 с.

ББК63.3 (3) 3

ISBN 5-222-00597-6

© 1975 by E. J. Hobsbawn

© Издательство «Феникс», 1999

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хотя эта книга имеет собственное значение, она является частью написанной одним автором «Истории цивилизации», в которой этой части хронологически предшествует «Век Революции, Европа 1789—1848 годов»*. Следовательно, «Век Капитала», вероятно, будет читаться теми, кто знаком с предшествующей книгой, как и теми, кто не знаком с нею. Первым я приношу извинения за использование, здесь и там, материала, им уже знакомого, чтобы обеспечить необходимую подготовительную информацию для последних. Я попытался свести такое дублирование к минимуму и сделать его терпимым при распределении его по всему тексту. Книга может, я надеюсь, читаться как самостоятельное исследование. Действительно, она не должна требовать чего-нибудь большего, чем адекватное общее образование, для этого она преднамеренно адресована несведущему читателю. Если историки желают оправдать внимание, пусть скромное, которое общество отводит их предмету, они не должны писать исключительно для других историков. Как и прежде, еще даже очень элементарное знакомство с европейской историей будет полезно. Я предполагаю, что читатели могли бы, в конце концов, обойтись без всякого предыдущего знания о падении Бастилии или о Наполеоновских войнах, но такое знание будет помогать им.

Период, который охватывает эта книга, является относительно коротким, но его географическое пространство широко. Писать о мире с 1789 до 1848 года в границах Европы — в сущности лишь об Англии и Франции — не является правильным. Однако, так как главной темой периода после 1848 года является расширение капиталистической экономики на весь мир и, следовательно, невозможность далее писать только европейскую историю, было бы абсурдным писать историю без уделения существенного внимания другим континентам. Мой труд

* Э. Дж. Хобсбаум. Век Революции, Европа 1789—1848 годов. Лондон, 1962.

разделен на три части. Революции 1848 года формируют прелюдию к разделу главных достижений периода. Их я обсуждаю скорее как в континентальной, так и, где необходимо, в глобальной перспективе, чем как ряд отдельных «национальных историй». Главы разделены скорее по темам, чем хронологически, хотя главные подпериоды — потрясений, — тихие, но экспансионистские 1850-е гг., более бурные 1860-е гг., бум и резкий спад начала 1870-х гг., — должны быть разграничены более четко. Третья часть состоит из ряда перемежающихся разделов по экономике, обществу и культуре третьей четверти девятнадцатого столетия.

Я не могу утверждать, что был экспертом на всех почти крошечных частях огромного предмета этой книги, и должен был почти полностью положиться на информацию из вторых или даже третьих рук. Но это неизбежно. Огромное число книг уже было написано по поводу девятнадцатого столетия, и каждый год добавляет публикации огромного числа специалистов различного рода, затемняющие историческое небо. Так как диапазон интересов историков расширяется, чтобы включить фактически каждый аспект жизни, к которой мы в конце двадцатого столетия проявляем интерес, количество информации, которое должно быть поглощено, слишком велико даже для обладающих энциклопедическими знаниями и наиболее эрудированных ученых. Даже там, где он или она сведущи в этом, это часто должно быть, в контексте широко располагающегося синтеза, уменьшено до параграфа или двух, строки, попутного упоминания или, к сожалению, опущено. И ученый должен обязательно полагаться, во все большем и большем масштабе, на работу других.

К сожалению, невозможно следовать замечательному соглашению, по которому ученые точно указывают свои источники, и особенно их доли перед другими исследователями, так, чтобы никто кроме разработчиков не делал собственные результаты свободными для доступа всем. Во-первых, я сомневаюсь, смог ли бы я проследить происхождение всех предложений и идей, которые я заимствовал так свободно в какой-либо книге или статье. Я могу лишь просить тех, чьи труды я грабил, сознательно или невольно, простить мою неучтивость. Во-вторых, даже попытка поступать так перегрузила бы книгу весьма громоздким научным аппаратом. Ее целью является не столько суммирование известных фактов, которые призваны вести читателей к более детальному изучению различных тем, но скорее втянуть их в

ПРЕДИСЛОВИЕ

общий исторический синтез, создать ощущение третьей четверти девятнадцатого столетия и проследить корни современного мира по отношению к тому периоду, насколько разумно можно так сделать. Однако имеется общее руководство по дальнейшему чтению, включающее работы, которые я нашел наиболее полезными и за которые я хотел бы выразить свою признательность.

Ссылки почти полностью сведены к цитатам, статистическим таблицам и некоторым другим цифрам, а также утверждениям, порою спорным и удивительным. Большая часть разрозненных статистических данных взята из стандартных источников или из такого неоценимого источника, как Словарь статистики Малхолла. Ссылки на литературные труды — например, на российские романы — которые существуют в различных изданиях, ограничиваются только названиями: точные ссылки на издание, используемое автором, но недоступное читателю, было бы простой педантичностью. Ссылки на труды Маркса и Энгельса, которые являются главными комментаторами того периода, также сводятся к знакомому названию работы или дате письма и к тому и странице существующего стандартного издания (К. Маркс и Ф. Энгельс. *Werke* [Восточный Берлин, 1956—1971], далее «*Werke*»). Название места дано в английской традиции там, где оно является одним и тем же, в другом случае в форме, вообще используемой в публикациях в настоящее время. Это так или иначе не подразумевает никакого национального ущерба. Где необходимо, настоящее название добавлено в скобках, например, Лайбах (Любляна).

Зигурд Цинау и Фрэнсис Хаскелл были достаточно любезны внести коррективы в мои главы по наукам и искусствам и исправить некоторые из моих ошибок; Чарльз Кервен ответил на мои вопросы о Китае. Никто не ответствен за мои ошибки и упущения кроме меня самого. В. Р. Роджерс, Кармен Клодин и Мария Мойса чрезвычайно помогли мне как помощники в исследовании различных времен. Эндрю Хобсбаум и Джулия Хобсбаум помогли мне выбрать иллюстрации, как и Джулия Браун. Я также благодарен моему редактору Сюзан Лоден.

Э. Дж. Х.

ВВЕДЕНИЕ

В 1860-х годах в экономический и политический словарь мира вошло новое слово: «капитализм»*. Поэтому кажется уместным назвать настоящую книгу «Веком Капитала», которое также напоминает нам, что главная работа наиболее выдающегося критика капитализма Карла Маркса «Капитал» (1867) была издана именно в эти годы. Что касается глобального триумфа капитализма — то это главная тема истории десятилетий, последовавших за 1848 годом. Это был триумф общества, которое полагало, что экономический рост основывается на конкурентоспособном частном предпринимательстве, на успехе в закупке всего на самом дешевом рынке (включая труд) и продаже на самом дорогом. Экономика, устроенная таким образом и покоящаяся на здоровых основах буржуазии, состоящей из тех, кого энергия, заслуги и ум подняли к их положению и хранили там, должна была бы, как верилось, не только создать мир с соответствующим распределением материальных благ, но и мир растущего просвещения, разума и человеческих возможностей, прогресса науки и искусств, короче, мир непрерывного и ускоряющегося материального и морального прогресса. Немногие препятствия, сохраняющиеся на пути беспрепятственного развития частного предпринимательства, должны были быть уничтожены. Институты мира, или скорее частей мира, все еще не свободных от тирании, традиции и суеверия, или при наличии неудачного факта отсутствия белой кожи

* Его происхождение может быть отнесено к периоду до 1848 года, как предложено в «*Веке Революции*» (Введение), но детальное исследование предполагает, что это вряд ли произошло до 1849 года или получило более широкое хождение до 1860-х годов.^{1*}

(предпочтительно имеющего место в центральной и северо-западной частях Европы), постепенно приблизились бы к международной модели территориально определенного «национального государства» с конституцией, гарантирующей сохранность собственности и гражданских прав, выборные собрания представителей и правительства, подотчетные им, и, где возможно, участие в политике населения в таких пределах, когда были бы гарантированы буржуазный социальный порядок и избежание риска его свержения.

Проследить более раннее развитие этого общества — не является целью данной книги. Достаточно напомнить нам о том, что уже было достигнуто и как это происходило — его исторический прорыв как на экономическом, так и на политико-идеологическом фронтах в течение шестидесяти лет до 1848 года. Годы с 1789 до 1848 (их я обсудил в предыдущем издании (*«Век Революции»*, см. предисловие), к которым читатели будут обращаться время от времени, находились под влиянием Двойственной Революции: индустриальное преобразование первенствовало и в значительной степени ограничивалось Англией, а политическое преобразование связывалось и в значительной степени ограничивалось Францией. Оба подразумевали триумф нового общества, но смогло ли оно стать обществом торжествующего либерального капитализма, который французский историк называл «побеждающим буржуа», все еще казавшегося современникам более неопределенным, чем это кажется нам. За спиной буржуазных политических идеологов стояли массы, готовые превратить умеренные либеральные революции в социальные. Ниже и вокруг капиталистических предпринимателей поднималась и кипела недовольная и бездомная рабочая беднота. 1830-е и 1840-е годы были эрой кризиса, чей точный результат отваживались предсказывать только оптимисты. Однако дуализм революции 1789—1848 годов придает истории того периода и единство и симметрию. По существу, легко писать и читать об этом, потому что это, кажется, обладает ясной темой и ясной формой, и его хронологические пределы определены так же четко, как мы и имеем право этого ожидать в делах людей. С революцией 1848 года, которая фор-

мирует отправную точку этого издания, разрушилась более ранняя симметрия, форма изменилась. Политическая революция отступила, промышленная революция продвинулась вперед. 1848 год, знаменитая «весна народов», был первой и последней европейской революцией в (почти) буквальном смысле мгновенная реализация мечтаний левых, кошмары правых, фактически одновременное ниспровержение старых режимов на большей части континентальной Европы к западу от Русской и Турецкой империй, от Копенгагена до Палермо, от Брасова до Барселоны. Это ожидалось и предсказывалось. Это, казалось, было кульминацией и логическим продуктом эры двойной революции.

Она потерпела неудачу, универсально, быстро и — хотя это не осознавалось в течение нескольких лет политическими эмигрантами — окончательно. Впредь не имелось предпосылок для какой-либо общей социальной революции такого вида, как в 1848 году в «развитых» странах мира. Центр притяжения таких социальных революционных движений и, следовательно, социалистических и коммунистических режимов двадцатого столетия должен был сместиться в дальние и отсталые регионы, хотя в период, о котором повествует эта книга, движения такого рода оставались эпизодическими, архаичными и сами по себе «слаборазвитыми». Внезапное, обширное и явно безграничное расширение мировой капиталистической экономики обеспечило политические альтернативы в «развитых» странах. (Английская) промышленная революция поглотила (французскую) политическую революцию.

История нашего периода является поэтому кривобокой. Это прежде всего вытекает из массового прогресса мировой экономики промышленного капитализма, из социального порядка, который она представила, идей и вер, которые, казалось, узаконили и ратифицировали ее: в разуме, науке, прогрессе и либерализме. Это эра буржуа-триумфатора, хотя европейская буржуазия все еще колебалась с согласием на общественное политическое правление. В такой и, возможно, только в такой степени век революции не умер. Средние классы Европы были испуганы и остались боящимися людей: «демократия», как все еще

полагали, была уверенной и быстродействующей прелюдией к «социализму». Люди, которые официально олицетворяли дело победоносного буржуазного порядка в момент его триумфа, были глубоко реакционной знатью из Пруссии, подобием императора во Франции и рядом аристократических землевладельцев в Англии. Страх перед революцией был реальным, принципиальная ненадежность, на которую это указывало, глубоко укоренившейся. В самом конце нашего периода единственным примером революции в развитой стране было почти локальное и недолгое восстание в Париже, приведшее к большому кровопролитию, чем что-либо еще в 1848 году, и поток возбужденных дипломатических посланий. Все же к этому времени правители развитых государств Европы, с большим или меньшим нежеланием, начинали признавать не только то, что «демократия», то есть парламентская конституция, основанная на широком избирательном праве, была неизбежной, но также и то, что это было бы вероятной, но политически безопасной неприятностью. Это открытие уже давно было сделано правителями Соединенных Штатов.

Годы с 1848 до середины 1870-х не были поэтому периодом, вдохновляющим читателей, которые наслаждаются зрелищем драмы и героизма в обычном смысле. Войны этого периода — а он видел значительно большее число войн, чем предшествующие тридцатые или следовавшие за ними сороковые, — были либо краткими военными акциями, решенными посредством технологического и организационного преимущества (подобно большинству европейских кампаний за границей и быстродействующим и решающим войнам, посредством которых между 1864 и 1871 годами была основана Немецкая империя); либо неуправляемой резней, во время которой даже патриотизм враждующих стран с удовольствием отказывался останавливаться, типа Крымской войны 1854—1856 годов. Самая большая из всех войн этого периода, гражданская война в Америке, была выиграна, по последним анализам, благодаря экономической мощи и большим запасам ресурсов. Проигравший Юг имел лучшую армию и лучших генералов. Случайные примеры романтического и красочного

героизма выделялись, подобно Гарибальди с его развевающимися локонами и красной рубашкой, своей большой редкостью. Не было много драмы в политике, где критерием успеха по определению Уолтера Бэгхота, было владение «общим мнением и необычными способностями». Наполеон III явно находил плащ своего великого дяди Наполеона Первого неудобным для ношения. Линкольн и Бисмарк, чьи общественные образы извлекали выгоду благодаря монументальности их лиц и красоте их речей, были действительно великими людьми, но их фактические достижения были побеждены их талантами как политических деятелей и дипломатов, подобно Кавуру в Италии, который во всем испытывал недостаток того, что мы теперь расцениваем как их обаяние.

Наиболее очевидной драмой этого периода была экономическая и технологическая: железо, льющееся в миллионах тонн по всему миру, змеящееся в лентах железных дорог по всем континентам, подводные кабели через Атлантику, строительство Суэцкого канала, большие города вроде Чикаго, уничтожающие девственные почвы американского Среднего Запада, огромные потоки мигрантов. Это была драма европейской и северо-американской мощи, положившая мир к своим ногам. Но те, кто эксплуатировал этот побежденный мир, были, если мы исключим небольшое число авантюристов и первопроходцев, трезвыми людьми в трезвой одежде, распространяющими респектабельность и чувство расового превосходства вместе с газопроводами, железнодорожными линиями и ссудами.

Это была драма *прогресса* — ключевого слова века: обширного, просвещенного, самоуверенного, самодовольного, но более всего — неизбежного. Едва ли кто из людей, облеченных властью и влиянием, надеялся дольше сдерживать его во всех событиях западного мира. Только небольшое число мыслителей и возможно несколько большее число интуитивных критиков предсказали, что его неизбежное развитие произвело бы мир, очень отличный от того, к которому он, казалось, вел: возможно, совершенно ему противоположный. Ни один из них — даже Маркс, который предвидел социальную революцию в 1848 году и в течение десяти-

тилетия после него — не ожидал немедленного возврата. Его ожидания, в 1860-х годах, были рассчитаны даже на более долгий срок.

Драма прогресса — это метафора. Но для двух видов людей она была буквальной действительностью. Для миллионов бедных, переезжавших в Новый мир, часто через границы и океаны, это означало катастрофическое изменение жизни. Для народов мира вне капитализма, которые были схвачены и сотрясены им, это означало выбор между обреченным сопротивлением в границах их древних традиций и образов действия, и травматическим процессом захвата оружия Запада и обращением его против завоевателей из своего понимания и управления прогрессом. Мир третьей четверти девятнадцатого столетия был одновременно и победителем и жертвой. Его драма была бедственной не для первого, но прежде всего для последнего.

Историк не может быть объективным относительно того периода, который является предметом его исследования. Этим он отличается (к его интеллектуальному преимуществу) от большинства типичных идеологов, которые полагали, что прогресс технологий, «положительная наука» и общество сделали возможным рассматривать их настоящее с несоответствующей беспристрастностью ученого-естествоиспытателя, чьи методы, как они сами полагали, понимались ошибочно. Автор этой книги не может скрывать некоторого отвращения, возможно, явного презрения к веку, с которым он имеет дело, хотя и выражает восторг по поводу его колоссальных материальных достижений, прилагая усилия понять даже то, что не любит. Он не разделяет ностальгической тоски по уверенности, самонадеянности буржуазного мира середины девятнадцатого столетия, который соблазняет многих, кто оглядывается на него из охваченного кризисом западного мира столетием позже. Его симпатии вместе с теми, кого немногие слушали столетие назад. В любом случае уверенность и самонадеянность ошибались. Буржуазный триумф был кратким и непостоянным. В тот самый момент, когда он казался завершенным, он оказался не монолитным, а был полон трещин. В начале 1870-х годов экономическая экспансия и либерализм

ВВЕДЕНИЕ

казались непреодолимыми. К концу десятилетия они больше не были таковыми.

Этот поворотный пункт отмечает конец эры, с которой имеет дело данная книга. В отличие от революции 1848 года, которая формирует отправную точку, он не отмечен никакой удобной и универсальной датой. Если потребовалось бы выбрать такую дату, это был бы 1873 год, викторианский эквивалент крушения Уолл-стрита 1929 года. Тогда началось то, что современный наблюдатель называет «наиболее любопытным и во многих отношениях беспрецедентным волнением и депрессией торговли, коммерции и промышленности», что современники называли «Великой депрессией» и что обычно датируется 1873—1896 годами. «Ее наиболее примечательной особенностью [писал тот же самый наблюдатель] была ее универсальность; воздействие на нации, которые были вовлечены в войну, так же как и на те, которые поддерживали мир; те, которые имеют устойчивую валюту и те, которые имеют нестабильную валюту...; те, которые живут в системе свободного обмена предметами потребления и те, чьи обмены более или менее ограничены. Она была печальной в старых общинах подобно Англии и Германии, и такой же в Австралии, Южной Африке и Калифорнии, которые представляют собой новые; это было бедствие, чрезвычайно тяжелое, чтобы выдержать его подобно обитателям бесплодных Ньюфаундленда и Лабрадора и солнечных плодородных сахарных островов Ост- и Вест-Индии; и она не обогатила тех в мировых центрах обменов, чьи прибыли являются обычно самыми большими, когда бизнес больше всего колеблется и неуверен»^{2*} Так писал выдающийся житель Северной Америки в том же самом году, в котором по инициативе Карла Маркса был основан рабочий и социалистический Интернационал. Депрессия начала новую эру и, может быть, поэтому должным образом поставила дату окончания старого исторического периода.

Часть первая

ПРЕЛЮДИЯ РЕВОЛЮЦИИ

ГЛАВА I

«ВЕСНА НАРОДОВ»

Пожалуйста, читайте газеты очень внимательно — теперь они стоят того, чтобы читать их ... Эта Революция изменит форму земли, и так это должно быть и нужно! Vive Republique!

Поэт Георг Веерт своей матери, 11 марта 1848 года^{1*}

Правда, если бы был моложе и богаче, чем я к сожалению есть сейчас, я эмигрировал бы сегодня в Америку. Не из трусости — временами мне лично могут причинять немного вреда, так же как и я могу причинять им — но из-за всепобеждающего отвращения к моральной гнили, которая, пользуясь фразой Шекспира, воняет до самых небес.

Поэт Йозеф фон Айхендорфф своему корреспонденту,
1 августа 1849^{2*}

I

В начале 1848 года знаменитый французский политический мыслитель Алексис де Токвиль¹ поднялся в Палате Депутатов, чтобы выразить чувства, которые больше всего разделяли европейцы: «Мы спим на вулкане — Разве вы не видите, что земля вновь дрожит? Поднялся вихрь революции, на горизонте — буря». Приблизительно в то же самое время два немецких изгнанника, тридцатилетний Карл Маркс и двадцативосьмилетний Фридрих Энгельс сформулировали принципы пролетарской революции, против которых предупреждал своих коллег де Токвиль, в программе, составить проект которой они были уполномочены несколькими неделями ранее Немецкой Коммунистической Лигой и которая была издана анонимно в Лондоне около 24 февраля 1848 года под (немецким) названием «Манифест Коммунистической партии», чтобы опубликовать ее на английском, француз-

ском, немецком, итальянском, фламандском и датском языках* В течение нескольких недель, а в случае «Манифеста» фактически в течение нескольких часов надежды и опасения пророков, казалось, были на грани осуществления. Французская монархия была свергнута восстанием, провозглашена Республика, и европейская революция началась.

В истории современного мира было множество больших революций и, конечно, множество более успешных. Все же там не было ни одной, которая распространилась бы более быстро и широко, мчалась подобно лесному пожару через границы, страны и даже океаны. Во Франции, естественном центре и детонаторе европейских революций (см. *«Век Революции»*, глава 6), Республика была провозглашена 24 февраля. Ко 2 марта революция охватила юго-запад Германии, к 6 марта Баварию, к 11 марта Берлин, к 13 марта Вену и почти сразу же Венгрию, к 18 марта Милан и затем всю Италию (где уже вспыхнуло независимое восстание на Сицилии). В это время наиболее быстрая информационная служба, доступная любому (как у банка Ротшильда), не смогла бы донести новости от Парижа до Вены меньше чем за пять дней. В пределах нескольких недель ни одно правительство не устояло в той области Европы, которую сегодня заняли все или часть десяти государств**, не считая меньших последствий в ряде других стран. Кроме того, 1848 год был первой потенциальной глобальной революцией, чье прямое влияние может быть обнаружено в восстании 1848 года в Пернамбуко (Бразилия) и несколькими годами позже в отдаленной Колумбии. В известном смысле это была парадигма вида

* «Манифест» был переведен также на польский и шведский языки в течение того же года, хотя единственно справедливым является утверждение, что его политические отражения вне маленьких кругов немецких революционеров были незначительными, пока он не был переиздан в начале 1870-х годов.

** Франция, Западная Германия, Восточная Германия, Австрия, Италия, Чехословакия, Венгрия, часть Польши, Югославия и Румыния. Политические результаты революции могут расцениваться как серьезные также в Бельгии, Швейцарии и Дании.

«мировая революция», о которой мятежники могли отныне мечтать и которую в редкие моменты, такие как последствия больших войн, они думали, что могли бы распознать. В действительности такие одновременные континентальные или международные взрывы чрезвычайно редки. В Европе 1848 год — единственный, который затронул и «развитые» и отсталые части континента. Он был и наиболее широко распространившейся и наименее успешной из таких революций. В пределах шести месяцев от ее начала было точно определено повсеместное поражение революции, в течение восемнадцати месяцев после ее начала все, кроме одного, свергнутые режимы были восстановлены, и исключение (Французская Республика) составляло территорию, покрытую самим восстанием, которому оно было обязано своим существованием. Таким образом, революции 1848 года стоят в любопытных отношениях с содержанием этой книги. Но для их возникновения и для опасения их повторения история Европы в последующие двадцать пять лет должна была бы быть совершенно другой. 1848 год был очень далек от того, чтобы быть «поворотным пунктом, когда Европа не сумела измениться». То, что Европа не смогла сделать, должно было быть изменено революционным способом. Так как этого не произошло, год революции остался обособленным событием, своеобразной увертюрой, а не главной оперой, воротами, чей архитектурный стиль вовсе не обещает нам увидеть то, что мы обнаружим, когда проходим через них.

Революция триумфально прошла по большей части европейского континента, исключая периферию. Она включала страны, слишком отдаленные или слишком изолированные в своей истории, чтобы быть непосредственно или немедленно затронутыми в любой степени (например, Иберийский полуостров, Швецию, Грецию), слишком отсталые, чтобы обладать политически активными социальными слоями революционной зоны (например, Россия и Османская империя), а также отдельные промышленные страны, чья политическая игра уже шла согласно довольно отличным правилам, как например в

Англии и Бельгии*. Все же революционная зона, состоящая по существу из Франции, Немецкой Конфедерации, Австрийской империи, простирающаяся далеко в юго-восточную Европу и Италию, была достаточно разнородной, включая в себя регионы как отсталые, так и различные, как Калабрия и Трансильвания, развитые как Рейнская область и Саксония, грамотные как Пруссия и неграмотные как Сицилия, отдаленные друг от друга как Киль и Палермо, Периньян и Бухарест. Большинство их управлялось теми, кого можно было грубо назвать абсолютными монархами или князьями, но Франция уже была конституционным и действительно буржуазным королевством, а единственная значимая республика континента Швейцарская Конфедерация фактически начала год революции с короткой гражданской войны в конце 1847 года. Государства, затронутые революцией, различались по размеру от 35 миллионов во Франции до нескольких тысяч жителей, как из комической оперы о княжествах Центральной Германии, по статусу от независимых великих держав мира до управляющихся из-за границы колоний или сателлитов, по структуре от централизованных и единых до разрозненных конгломератов. Прежде всего, история — социальная и экономическая структура — и политика делили революционную зону на две части, наивысшие пределы, казалось, должны были иметь мало общего. Их социальная структура существенно отличалась, исключая заметное и довольно универсальное преобладание сельского населения над городским, маленьких городов над большими городами; факт, легко игнорируемый, потому что городское население и особенно большие города были представлены в политической жизни довольно непропорционально**.

* Такой же случай имел место в Польше, с 1796 года разделенной между Россией, Австрией и Пруссией, которая определенно должна была принять участие в революции, но ее российский и австрийский правители преуспели в мобилизации крестьянства против (революционного) дворянства.

** Из делегатов в Немецкий предпарламент от Рейнской области сорок пять представляли большие города, двадцать четыре малые города и только десять человек сельскую местность, где проживало 73 % населения.^{3*}

На Западе крестьяне были по закону свободны и большие поместья не играли заметной роли; на бóльшей части Востока они все еще были крепостными и землевладения были в основном сконцентрированы в руках знатных помещиков (см. главу 10 ниже). На Западе под «средним классом» подразумевались банкиры, торговцы, капиталисты — предприниматели, люди, практикующие «свободные профессии», и высшие чиновники (включая профессоров), хотя некоторые из них чувствовали себя принадлежащими к высшим слоям (*высшая буржуазия*), готовыми к соревнованию с земельной знатью, по крайней мере в своих расходах. На Востоке эти же городские слои населения в основном состояли из национальных групп, отличных от коренного населения, таких как немцы и евреи, и были в любом случае намного меньшими. Настоящим эквивалентом «среднего класса» была образованная и/или по-деловому мыслящая часть сельских помещиков и низшей знати, слои, преобладавшие в определенных регионах (см. «*Век Революции*»). Центральная зона от Пруссии на севере до северо-центральной Италии на юге, которая в известном смысле была сердцевинной области революции, соединила признаки относительно «развитых» и отсталых регионов различными способами.

Политически революционная зона была в равной мере разнородной. Кроме Франции, то, о чем шел спор, замыкалось не просто в вопросе политическом и социальном статусе государств, а о самой их форме или даже существовании. Немцы старались создать «Германию» — должна она быть унитарной или федеральной? — из собрания большого числа немецких княжеств разного размера и характера. Итальянцы похожим образом пытались превратить то, что австрийский канцлер Меттерних презрительно, но точно описал как «простое географическое выражение», в единую Италию. Оба, с обычным предубежденным видением националистов, включили в свои планы народы, которые не были и часто не чувствовали в себе желания быть немцами или итальянцами, как например чехи. Немцы, итальянцы, а на самом деле все национальные движения, вовлеченные в революцию вне Франции, находили свой камень преткновения в боль-

шой многонациональной империи династии Габсбургов, которая простиралась до Германии и Италии, а также включала чехов, венгров и существенную часть поляков, румын, югославов и других славянских народов. Некоторые из них или по крайней мере их политические представители видели в Империи не менее привлекательное решение проблемы, чем поглощение каким-нибудь экспансионистским национализмом вроде немецкого или мадьярского. «Если Австрия уже не существует, — так, кажется, сказал профессор Палаки, чешский представитель, — действительно необходимо придумать ее»². По всей революционной зоне политика поэтому действовала по нескольким измерениям одновременно.

У радикалов, по всеобщему признанию, было одно решение: унитарная централизованная демократическая республика Германия, Италия, Венгрия или любая страна, построенная сообразно проверенным принципам французской революции на руинах тронов всех королей и принцев, и поднятие трехцветного знамени, что обычно, по французской модели, было базовой моделью национального флага (см. *«Век Революции»*). Умеренные, с другой стороны, находились в сетях сложных расчетов, вызванных главным образом страхом перед демократией, которая, как они верили, была адекватна социальной революции. Там, где массы еще не прогнали прочь князей, было бы неразумным вдохновлять их, подрывать социальный порядок, а там, где они уже сделали это, было бы желательно убрать или увести их с улиц и разобрать те баррикады, которые были основным символом 1848 года. Итак, вопрос состоял в том, какие из князей, захваченные врасплох, но не смещенные революцией, могли бы согласиться поддержать хорошее дело. Как именно должна была быть создана федеративная и либеральная Германия или Италия, согласно какой конституционной формуле и под чьим покровительством? Могла ли она включать и короля Пруссии и императора Австрии (как полагали «более великие немецкие» умеренные — чтобы не быть спутанными с радикальными демократами, которые были по определению «великонемцами» разного толка) или она должна быть «малонемецкой», т. е. исключить Австрию? Те же умеренные в

Габсбургской империи практиковали игру разделения федерального и многонационального устройства, которая прекратилась только в 1918 году, уже после ее кончины. Там, где возникала революционная акция или война, было немного времени для такой конституциональной спекуляции. Где они возникали, как на большей части Германии, там она была в полном ходу. С того времени как большая часть умеренных либералов состояла там из профессоров и гражданских чиновников — 68% депутатов Франкфуртской Ассамблеи были чиновниками, 12% принадлежали к «свободным профессиям», — дебаты этого недолговечного парламента стали притчей во языцех за их интеллектуальную пустоту.

Таким образом, революции 1848 года требовали тщательного изучения государством, народом и регионом, для которых там не было места. Тем не менее, они имели много общего, и не последним является тот факт, что они возникали почти одновременно, что их судьбы были переплетены и что все они обладали общим настроением и стилем, странной романтико-утопической атмосферой и схожей риторикой, для которой французы придумали слово *quarante-huitard*³. Каждый историк узнает его немедленно: бороды, развевающиеся галстуки и широкополые шляпы повстанцев, трехцветные флаги, повсеместные баррикады, начальное ощущение освобождения, огромной надежды и оптимистического беспорядка. Это была «весна народов» — и как любая весна, она длилась недолго. Теперь мы должны бросить взгляд на их общие характеристики.

Во-первых, все они быстро преуспели и потерпели крах, и в большинстве случаев полный. В течение первых нескольких месяцев все правительства в революционной зоне были сметены или сделаны недееспособными. Все рушилось и отступало фактически без сопротивления. Однако в пределах относительно короткого периода революция утратила инициативу почти повсюду: во Франции к концу апреля, в остальной части революционной Европы в течение лета, хотя движение сохранило некоторые способности к контрнаступлению в Вене, Венгрии и Италии. Первой вехой консервативного возрождения были апрельские выбо-

ры, в ходе которых всеобщее избирательное право, при избрании только меньшинства монархистов, послало в Париж значительное большинство консерваторов, избранных голосами крестьянства, которое было скорее политически неопытным, чем реакционным, и к которому вполне левомыслящие горожане все еще не знали как обращаться. (На самом деле, около 1849 года «республиканские» и левые регионы французской сельской местности, знакомые изучающим более позднюю политику Франции, уже появились, и там, к примеру, в Провансе — упразднение Республики в 1851 году должно было встретить жесточайшее сопротивление). Второй вехой была изоляция и разгром революционных рабочих в Париже, потерпевших поражение в июньском восстании (см. ниже).

В центральной Европе поворотный момент наступил тогда, когда армия Габсбургов, получившая свободу действий из-за бегства императора в мае, обрела возможность перегруппироваться и подавила восстание радикалов в Праге в июне — не без поддержки умеренного среднего класса, чешского и немецкого — таким образом, повторно захватив земли Богемии, экономическое ядро империи, в это же время вскоре после этого восстановив контроль над северной Италией. Недолгой и последней революции в Дунайских княжествах положило конец российское и турецкое вмешательство.

Между летом и концом года старые режимы восстановили власть в Германии и Австрии, хотя для этого понадобилось заново завоевать все более и более революционный город Вены силой армии в октябре ценой свыше четырех тысяч жизней. После этого король Пруссии собрался с духом, чтобы заново без неприятностей восстановить свою власть над мятежными берлинцами, и остальная часть Германии быстро подчинилась, оставляя немецкий парламент, или скорее конституционное собрание, избранное в полные надежды весенние дни, и большинство прусских радикалов и других собраний дискутировать, в то время как они ожидали роспуска. К зиме только два региона все еще были охвачены революцией — часть Италии и Венгрии.

Они вновь были захвачены, вслед за более умеренным возрождением революционных действий весной 1849 года, к середине того же года.

После капитуляции венгров и венецианцев в августе 1849 года революция умерла. За исключением одной Франции власть всех прежних правителей была восстановлена — в некоторых случаях, как в Габсбургской империи, с большими полномочиями, чем прежде — и революционеры отправились в изгнание. Вновь, за исключением Франции, фактически все институциональные изменения, все политические и социальные мечты весны 1848 года были вскоре развеяны и даже во Франции Республике было отпущено всего 2,5 года существования. Имело место одно и только одно главное необратимое изменение: отмена крепостного права в Габсбургской империи*. Кроме этого единственного, хотя по общему мнению важного, достижения, 1848 год кажется в истории современной Европы единственной революцией, которая объединяет величайшее обещание, широчайшие возможности и стремительный начальный успех с безоговорочной и быстрой неудачей. В известном смысле это напоминает другой массовый феномен 1840-х годов, чартистское движение в Англии. Его специфические цели были в конечном счете достигнуты — но не революцией или в революционном контексте. Его более широкие устремления также не были утрачены, но движения, которые должны были брать их и нести вперед, были полностью отличны от таковых 1848 года. Вовсе не случайность, что документом того года, который оказал наиболее длительное и существенное воздействие на мировую историю, является *«Манифест Коммунистической партии»*.

Все революции имели что-то общее, что в значительной сте-

* Вообще говоря, отмена крепостного права и синьоральных прав над крестьянами в остальной западной и центральной Европе (включая Пруссию) имела место во время Французской революции и в наполеоновский период (1789—1815), хотя некоторые остаточные явления крепостной зависимости в Германии были отменены в 1848 году. Крепостное право в России и Румынии существовало вплоть до 1860-х годов (см. главу 10 ниже).

пени объясняет их неудачу. Они были, фактически или прямо предвосхищали, социальные революции трудовой бедноты. Поэтому они испугали умеренных либералов, которым они дали власть и выдающееся положение — и даже некоторых из более радикальных политиков, — по крайней мере настолько, насколько и сторонников старых режимов. Граф Кавур⁴ Пьемонтский, будущий архитектор объединенной Италии, приложил к этому руку несколькими годами ранее (1846):

«Если социальный порядок находится под реальной угрозой, если великие принципы, на которых он покоится, испытывают серьезную опасность, тогда большинство стойких оппозиционеров, большинство восторженных республиканцев должны, по нашему убеждению, быть готовыми присоединиться к шеренгам консервативной партии»^{4*}

Теперь же те, кто совершал революцию, были несомненно рабочей беднотой. Это были они, которые умирали на городских баррикадах: в Берлине было всего только около 15 представителей образованных классов, около тридцати богатых ремесленников среди трех сотен жертв мартовского сражения; в Милане только двенадцать студентов, чиновников или землевладельцев среди 350 погибших во время восстания^{5*} Это был их голод, который усилил демонстрации настолько, что они переросли в революции. Сельская местность западных областей революции была относительно спокойной, хотя юго-запад Германии видел намного больше крестьянских восстаний, чем могли припомнить, но в других местах опасение аграрного мятежа было достаточно реально, чтобы произойти в действительности, хотя никому не нужно было напрягать воображение в областях типа южной Италии, где крестьяне повсюду спонтанно выступали с флагами и барабанным боем, требуя раздела крупных поместий. Но одного опасения было достаточно, чтобы чудесным образом заставить землевладельцев задуматься над этим. Напуганный ложными слухами об огромном восстании крепостных под руководством поэта Ш. Петёфи (1823—1849), венгерский парламент — представлявший в основной своей массе собрание

землевладельцев, — проголосовал за немедленную отмену крепостного права 15 марта, но только несколькими днями ранее имперского правительства, стремившегося изолировать революционеров от аграрной базы, установившего декретом немедленную отмену крепостничества в Галиции, отмену принудительного труда и других феодальных обязанностей в чешских землях. Не было никакого сомнения, что «социальный порядок» находился в опасности.

Эта опасность не везде была одинаково острой. Крестьяне могли быть и были выкуплены консервативными правительствами, особенно там, где случалось, что их помещики или торговцы и ростовщики, те, кто эксплуатировал их, принадлежали к другой, явно не «революционной» национальности — польской, венгерской или немецкой. Невероятно, чтобы немецкие средние классы, включая уверенно поднимающихся бизнесменов Рейнской области, были отчаянно обеспокоены любой немедленной перспективой пролетарского коммунизма или даже властью пролетариата, которая имела малые последствия кроме Кёльна (где Маркс основал свою штаб-квартиру) и в Берлине, где коммунист-печатник Штефан Борн организовал довольно значительное рабочее движение. Так же как и сейчас средние классы Европы 1840-х годов думали, что они распознали форму их будущих социальных проблем в дожде и дыме Ланкашира, так они думали, что они распознали и другую форму будущего за баррикадами Парижа, этого великого предвосхитителя и экспортера революций. И Февральская революция была сделана не только пролетариатом, но явилась сознательной социальной революцией. Ее целью была не просто любая республика, но «демократическая и социальная республика». Ее лидерами были социалисты и коммунисты. Ее временное правительство фактически включало настоящего рабочего, механика, известного как Альбер. В течение нескольких дней было неясно, должен ли ее флаг быть трехцветным или красным знаменем социального восстания.

Кроме того, там, где вопросы национальной автономии или

независимости стояли на повестке дня, умеренная оппозиция 1840-х годов не хотела и серьезно не работала на революцию, и даже в национальном вопросе умеренные предпочли переговоры и дипломатию конфронтации. Они, без сомнения, предпочли бы больше, но были хорошо подготовлены к урегулированию за счет уступок, которые, это могло бы быть разумно обсуждено, все, но наиболее глупые и самонадеянные монархи вроде царя раньше или позднее будут вынуждены предоставить, или для международных изменений, которые, раньше или позднее, похоже, будут приняты олигархией «великих держав», которые решились на такие меры. Втягиваясь в революцию силами бедноты и/или по примеру Парижа, они естественно пытались использовать неожиданно благоприятную ситуацию к своей наибольшей выгоде. Однако они, конечно, находились в плену прошлых расчетов, и часто, фактически, с самого начала, были намного более обеспокоены угрозой слева, чем со стороны старых режимов. С момента появления баррикад в Париже все умеренные либералы (и, как заметил Кавур, достаточная часть радикалов) были потенциальными консерваторами. По мере того, как умеренное мнение более или менее быстро изменилось или вовсе исчезло, рабочие, непреклонные среди демократических радикалов, остались одни или, что даже более фатально, столкнулись с союзом консервативных и бывших умеренных сил со старыми режимами: «партией порядка», как называли это французы. 1848 год потерпел неудачу, потому что оказалось, что решающая конфронтация была не между старыми режимами и объединенными «силами прогресса», а между «порядком» и «социальной революцией». Ее критическая конфронтация была не такой, как в Париже в феврале, а как в Париже в июне, когда рабочие, вовлеченные в локальное восстание, были разгромлены и подвергались массовым казням. Их борьба и смерть была жестокой. Около 1500 пали в уличных сражениях — почти $\frac{2}{3}$ из них на стороне правительства. Свирепую ненависть богатых к бедным характеризует то, что около трех тысяч человек убиты после поражения, в то время как другие

12 тысяч были арестованы, чтобы главным образом быть депортированными в Алжирские трудовые лагеря*⁶

Революция, поэтому, сохраняла свой импульс только там, где радикалы были достаточно сильны и достаточно связаны с народным движением, чтобы подталкивать умеренных вперед, или действовать без них. Это должно было, по-видимому, произойти в странах, в которых главной проблемой было национальное освобождение, цель, требовавшая продолжительной мобилизации масс. Вот почему революция длилась дольше всего в Италии и, прежде всего, в Венгрии.

В Италии умеренные, объединившиеся вокруг антиавстрийски настроенного короля Пьемонта и поддержанные, после восстания в Милане, небольшими княжествами, обладавшими значительным умственным потенциалом, начали борьбу против угнетателя, постоянно оглядываясь на стоявших за их плечами республиканцев и сторонников социальной революции. Благодаря военной слабости итальянских государств, колебаниям Пьемонта и, возможно, более всего из-за отказа обратиться к французам (которые, думается, усилили бы республиканское дело), они потерпели тяжелое поражение от перегруппированной австрийской армии под Кустоццей в июле. (Необходимо заметить, что великий республиканец Дж. Мадзини⁵ [1805—1872], со своим неизменным инстинктом политической бесполезности, воспротивился обращению к французам). Поражение дискредитировало умеренных и передало руководство делом национального освобож-

* Февральская революция в Париже стоила около 370 жизней. Во Франции национальное единство и независимость не стояли на повестке дня. Немецкий национализм был озабочен объединением многочисленных отдельных государств, но то, что мешало этому, было не иностранным господством, а — кроме интересов партикуляристов — вызывалось отношением двух великих держав, которые сами по себе являлись немецкими, Пруссии и Австрии. Национальные устремления славян находились в противоречии в первую очередь с «революционными» нациями, такими как немцы и мадьяры, и поэтому были приглушены, если не смыкались с контрреволюционными. Даже чехи слева рассматривали Габсбургскую империю как защиту от поглощения национальной Германией. Поляки вообще не принимали большого участия в этой революции.

дения в руки радикалов, которые получили власть в некоторых итальянских государствах в течение осени, наконец фактически устанавливая Римскую республику в начале 1849 года, давшую Мадзини вполне достаточную возможность для риторики. (Венеция, под руководством осмотрительного адвоката Даниэля Манина [1804—1857], уже стала независимой республикой, не испытывала неприятностей, пока не была неизбежно вновь завоевана австрийцами — правда, даже позже чем венгры потерпели поражение — в конце августа 1849 года). Радикалы не представляли собой военного соперника для Австрии; когда они заставили Пьемонт объявить ей войну в 1849 году, австрийцы легко одержали победу у Новары в марте. Кроме того, более решительно настроенные изгнать Австрию и объединить Италию, они в общем разделяли страх умеренных по отношению к социальной революции. Даже Мадзини, со всем его усердием *сонтан* человека, предпочел ограничить свои интересы духовными делами, не выносил социализм и выступал против любого покушения на частную собственность. После своей начальной неудачи итальянская революция жила поэтому как бы по инерции. По иронии судьбы среди тех, кто подавил ее, были армии теперь уже не революционной Франции, которые захватили Рим в начале июня. Римская экспедиция была попыткой упрочить французское дипломатическое влияние на полуострове в пику Австрии. Она также имела еще одну выгоду — быть популярной среди католиков, на чью поддержку полагался постреволюционный режим.

В отличие от Италии, Венгрия была уже более или менее единым политическим образованием («земли короны св. Стефана»), с действующей конституцией, значительной степенью автономии, и фактически, с большинством элементов суверенного государства, исключая независимость. Ее слабость состояла в том, что мадьярская аристократия, распоряжавшаяся этой обширной и преимущественно аграрной областью, управляла не только мадьярским крестьянством большой равнины, но также и населением, 60% которого, по-видимому, состояло из хорватов, сербов, словаков, румын и украинцев, не говоря уже о значительном немецком меньшинстве. Эти крестьянские народы не были

бесчувственны к революции, которая освободила крепостных, но были раздражены отказом бóльшей части будапештских радикалов пойти на какие-либо уступки их национальному отличию от мадьяр, так как их политические представители были настроены крайне враждебно к жестокой политике мадьяризации и объединению прежде автономных каким-то образом пограничных районов с централизованным и унитарным Венгерским государством. Венский двор, следуя обычному имперскому принципу «разделяй и властвуй», предложил им помощь. Ей должна была стать хорватская армия под командованием барона Иелачича, друга Гая, пионера югославского национализма, который руководил нападением на революционную Вену и революционную Венгрию.

Однако, в рамках настоящей территории Венгрии, революция сохранила массовую поддержку (мадьярского) народа и по национальной, и по социальной причинам. Крестьяне полагали, что свободу им дал не император, а революционный венгерский парламент. Это была единственная часть Европы, в которой поражение революции сопровождалось чем-то вроде партизанского движения в сельской местности, знаменитый разбойник Шандор Роша поддерживал его в течение ряда лет. Когда разразилась революция, парламент, состоящий из верхней палаты склонных к компромиссу или умеренных магнатов, и нижней палаты с преобладанием радикальных сельских помещиков и юристов, просто должен был заменить протесты действием. Он с готовностью сделал это под руководством способного юриста, журналиста и оратора Лайоша Кошута⁶ (1802—1894), который должен был стать знаменитой во всем мире революционной фигурой 1848 года. В практических целях Венгрия, под руководством умеренно-радикального коалиционного правительства, неохотно признанного Веной, была автономным реформированным государством, по крайней мере до тех пор, пока Габсбурги не смогли завоевать ее вновь. После битвы у Кустоцци они думали, что должны, отменяя мартовские венгерские законы о реформе и вторгаясь в страну, поставить венгров перед выбором капитуляции или радикализации. Поэтому, под руководством Кошута, Венгрия сожгла свои корабли, низлагая императора (хотя формально и не про-

возглашая республику) в апреле 1849 года. Народная поддержка и главнокомандующий Дьёрди позволили венграм сделать много больше, чем обороняться от австрийской армии. Они были побеждены только тогда, когда Вена в отчаянии обратилась к последнему оружию реакции, российским войскам. Это было решающим фактором. 13 августа остатки венгерской армии капитулировали — не перед австрийским, а перед российским командующим. Единственная среди революций 1848 года, венгерская, не пала или даже не выглядела павшей вследствие внутренней слабости и конфликтов, а была побеждена посредством военного вмешательства. Это, разумеется, верно, что ее шансы избежать такого вмешательства после повсеместного краха были равны нулю.

Имелась ли какая-нибудь альтернатива этому всеобщему *débacle*?⁷ Почти очевидно, что нет. Из главных социальных групп, вовлеченных в революцию, буржуазия, как мы видели, обнаружила, что для нее порядок предпочтительнее шансу осуществления ее полной программы, когда столкнулась с угрозой собственности. Враждебную «красную» революцию умеренные либералы и консерваторы представляли одинаково. «Номабли» Франции, то есть респектабельные, влиятельные и богатые семьи, осуществлявшие политическое руководство делами этой страны, прекратили свою прежнюю вражду между сторонниками Бурбонов, орлеанистами, республиканцами, и обрели национальное классовое сознание благодаря недавно появившейся «партии порядка». Ключевыми фигурами в восстановленной Габсбургской монархии должны были стать министр внутренних дел Александр Бах (1806—1867), бывший умеренный либеральный оппозиционер, а также корабельный и торговый магнат К. фон Брук (1798—1860), ключевая фигура процветающего порта Триеста. Рейнские банкиры и предприниматели, выражавшие взгляды прусского буржуазного либерализма, должны были бы предпочесть ограниченную конституционную монархию, но удобно устроились в роли столпов восстановленной Пруссии, которая во всяком случае избежала введения демократического избирательного права. В свою очередь, восстановленные консервативные режимы были уже

совершенно готовы сделать уступки экономическому, юридическому, даже культурному либерализму бизнесменов, пока это не означало никакого политического отступления. Как мы увидим, реакционные 1850-е годы должны были стать, в экономическом отношении, периодом систематической либерализации. Поэтому в 1848—1849 годах умеренные либералы сделали два важных открытия в Западной Европе: что революция была опасной и что некоторые из их основных требований (особенно в экономической сфере) могли быть осуществлены и без нее. Буржуазия перестала быть революционной силой.

Большая масса радикально настроенных мелких буржуа, недовольных ремесленников, лавочников и т. д. и даже агрономов, чьи представители и вожди были интеллигентами, особенно молодые и ультрареволюционно настроенные, сформировали значительную революционную силу, хотя вряд ли ее можно назвать политической альтернативой. В общем они стояли на демократически левой позиции. Немецкие левые требовали новых выборов, потому что их радикализм сильно проявил себя во многих областях в конце 1848 и начале 1849 годов, хотя затем он испытывал дефицит в виде больших городов, которые были вновь завоеваны реакцией. Во Франции радикальные демократы получили 2 миллиона голосов в 1849 году против 3 миллионов за монархистов и 800 000 за умеренных. Интеллигенция обеспечила их активистами, хотя, вероятно, только в Вене «Академический легион» студентов сформировал ударные боевые группы. Назвать 1848 год «революцией интеллектуалов» — заблуждение. Они были заметны в ней не более чем в большинстве прочих революций, которые происходят в большинстве своем в относительно отсталых странах, в которых большая часть средних слоев состоит из людей, имеющих отношение к обучению и владению письменным словом: выпускники различных учебных заведений, журналисты, учителя, чиновники. Но несомненно, что интеллектуалы были заметны: поэты — Петефи в Венгрии, Хервиг и Фрейлиграт в Германии (он был в правлении редакции Марксовой «*Neue Rheinische Zeitung*»), Виктор Гюго и последовательно умеренный Ламартин во Фран-

ции; академики (в основном на стороне умеренных), в большом числе в Германии*; врачи подобно К. Г. Якоби (1804—1851) в Пруссии, Адольфу Фишхофу (1816—1893) в Австрии; ученые, такие как Ф. В. Распай (1794—1878) во Франции; и огромное множество журналистов и публицистов, из которых в то время Кошут был наиболее знаменит, а Маркс должен был доказать наибольшую значительность.

Как индивидуумы такие люди могли бы играть решающую роль; как члены отдельных социальных слоев или как представители мелкой радикальной буржуазии они не смогли бы этого сделать. Радикализм «маленьких людей», который нашел выражение в требовании «демократического государственного устройства, конституционного или республиканского, обеспечивающего им и их союзникам, крестьянам, а также демократическому местному правительству большинство, которое дало бы им контроль над муниципальной собственностью и над рядом функций, сейчас выполняемых бюрократами»^{7*}, был достаточно неподдельным, хотя даже мировой кризис, с одной стороны, угрожая традиционному образу жизни мастеров-ремесленников и им подобных, и временная экономическая депрессия, с другой — придавали ему особую остроту горечи. Радикализм интеллигенции был менее глубок. Он базировался в основном на (поскольку это оказалось временным) неспособности нового буржуазного общества вплоть до 1848 года обеспечить достаточно постов определенного статуса для образованных, кого он произвел в беспрецедентных количествах и чьи награды были намного скромнее, чем их амбиции. Что же случилось со всеми теми радикальными студентами 1848 года в преуспевающие 1850-е и 1860-е годы? Они установили такой знакомый жизненный образец, и в самом деле принятый на европейском континенте, в силу которого буржуазные мальчишки должны были в политическом и сексуальном смыслах «перебеситься» в юности, прежде чем они «остепенялись». И име-

* Французские учителя, хотя и с подозрением относясь к правительству, соблюдали лояльность в годы Июльской монархии и, казалось, должны были примкнуть к «партии порядка» в 1848 году.

лось множество возможностей «остепениться», особенно такие, как отсутствие старой знати и обращение к бизнесу деловой буржуазии, усиливающиеся возможности для тех, чьи профессии в первую очередь были схоластическими. В 1842 году 10% профессоров французских лицеев все еще имели «знатное» происхождение, но к 1877 уже не было ни одного такого. В 1868 году во Франции было дипломированных выпускников второй ступени (*bacheliers*) едва больше, чем в 1830-х годах, но из них намного большее число смогло войти в банковское дело, коммерцию, стать преуспевающими журналистами, а после 1870 года — профессиональными политиками^{8*}

Кроме того, столкнувшись лицом к лицу с красной революцией, даже довольно демократически настроенные радикалы имели тенденцию уходить в риторику, разрываясь между своей искренней симпатией к «народу» и своей привязанностью к собственности и деньгам. В отличие от либеральной буржуазии они не изменяли своей позиции. Они просто колебались, правда, никогда не подавались слишком далеко вправо.

Что касается трудовой бедноты, она испытывала недостаток в организации, зрелости, руководстве, возможно, более всего в исторической конъюнктуре, чтобы обеспечить политическую альтернативу. Достаточно сильная, чтобы сделать перспективу социальной революции реалистичной и угрожающей, она была слишком слаба, чтобы добиться чего-либо большего, чем просто напугать своих врагов. Ее силы были непропорционально эффективны в том, насколько они были сконцентрированы в голодных массах в политически наиболее чувствительных местах, больше и особенно в столичных городах. Это скрывало некоторые существенные слабости: во-первых, их численный дефицит, — они не всегда были большинством даже в городах, которые сами по себе обычно включали лишь умеренное меньшинство населения — и во-вторых, их политическая и идеологическая незрелость. Наиболее политически сознательные и активные слои среди них состояли из прединдустриальных ремесленников (используя термин в современном смысле слова для коммивояжеров, ремесленников, квалифицированных работников ручного труда в не-

механизированных мастерских, и т. д.). Уходя своими корнями в социально-революционную, даже социалистическую и коммунистические идеологии в якобинско-санкюлотской Франции, их цели в большинстве были куда более скромными в Германии, как обнаружил в Берлине коммунист-печатник Штефан Борн. Бедный и неквалифицированный в городах и за пределами Англии горняцкий и промышленный пролетариат в целом едва ли имел до той поры какую-либо развитую политическую идеологию. В индустриальной зоне северной Франции даже республиканизм едва ли добился какого-либо прогресса перед самым концом Второй Республики. В 1848 году Лилль и Рубэ были заняты исключительно своими экономическими проблемами и направляли свои бунты не против королей и буржуа, а против даже еще в большей степени голодающих бельгийских рабочих-иммигрантов.

Там, где городские плебеи, или еще реже новые пролетарии, испытали влияние якобинской, социалистической или демократически-республиканской идеологии — как в Вене — студенческих активистов, они стали политической силой, по крайней мере как мятежники. (Их участие в выборах было еще незначительным и непредсказуемым, в отличие от обнищавших сельских батраков, которые, как например в Саксонии или Англии, были крайне радикально настроены). Парадоксально, что вне Парижа в якобинской Франции это было редким явлением, принимая во внимание то, что в Германии Коммунистическая лига Маркса обеспечивала элементы национальной сети для крайне левых. Вне этого круга влияния трудящаяся беднота была политически незначущей.

Конечно, мы не должны недооценивать потенциал даже такой молодой и незрелой силы как «пролетариат» 1848 года, все еще едва ли осознающий себя как класс. В одном смысле его революционный потенциал действительно был больше чем должен был стать впоследствии. Несгибаемое поколение времен нищеты и кризиса до 1848 года не было склонно верить тому, что капитализм смог бы, и еще меньше должен был бы, создать ему приличные условия жизни или даже что он вообще удержался бы. Непродолжительность существования и слабость рабочего

класса, все еще формирующегося из массы трудящейся бедноты, независимых мастеров и мелких торговцев, предотвратили выдвижение только их экономических требований. *Политические* требования, без которых не делается ни одна революция даже не в наиболее чистом смысле социальная, были включены в число прочих. Популярная в 1848 году цель — «демократическая и социальная республика», была как социальной, так и политической. Опыт рабочего класса, введенный в нее, по крайней мере во Франции, новые институционные элементы, основанные на деятельности профсоюзов и тактике совместного действия, все еще не создали никаких новых и мощных элементов, таких как советы в России в начале двадцатого века.

С другой стороны, организация, идеология и руководство были, к сожалению, неразвиты. Даже наиболее элементарная форма, профсоюз, была ограничена численностью в несколько сот человек, в лучшем случае несколькими тысячами членов. Достаточно часто даже общества квалифицированных первоходцев профсоюзного движения впервые появились только во время революции — типографские работники в Германии, изготовители и продавцы шляп во Франции. Организованные социалисты и коммунисты были еще более малочисленны: их число не превышало нескольких дюжин, в лучшем случае нескольких сот человек. Пока только 1848 год был первой революцией, в которой социалисты или что более вероятно коммунисты — для периода до 1848 года социализм был в основном аполитичным движением для создания кооперативных утопий — появились на переднем плане с самого начала. Это был год не только Кошута, А. Ледрю-Роллена⁸ (1807—1874) и Мадзини, но и Карла Маркса (1818—1883), Луи Блана (1811—1882)⁹ и Л. О. Бланки¹⁰ (1805—1881) (суровый мятежник, появлявшийся лишь тогда, когда на короткое время революции его освобождали из тюрьмы), Бакунина и даже Прудона. Но что означал социализм для своих сторонников кроме как названия для сознательного рабочего класса со своими собственными устремлениями к обществу с другой формой социального устройства и основанному на низвержении капитализма? Не был ясно определен даже его враг. Было много

разговоров о «рабочем классе» или даже о «пролетариате», но во время самой революции ничего не говорилось о «капитализме».

И в самом деле, что являлось политическими перспективами даже социалистического рабочего класса? Карл Маркс сам не верил, что пролетарская революция стала на повестке дня. Даже во Франции «парижский пролетариат был еще не в состоянии подняться выше буржуазной республики кроме как в *идеях*, в *воображении*». «Его немедленные, признанные потребности не вели его к желанию добиться насильственного ниспровержения буржуазии, эта задача была ему не по силам». Самое большее, что могло быть достигнуто, являлось буржуазной республикой, которая открыла бы реальную природу будущей борьбы — борьбы между буржуазией и пролетариатом — и в свою очередь объединила бы остатки средних слоев населения с рабочими «так как их положение стало более невыносимым и их антагонизм к буржуазии стал более острым»^{9*} В первом случае это была бы демократическая республика, во втором — переход от неполно-буржуазной к пролетарско-народной революции, и в конечном счете, пролетарской диктатурой или, по словам Бланки, которые отражали временную близость двух великих революционеров сразу же после революции 1848 года, «перманентной революцией». Но, в отличие от Ленина в 1917, Маркс не помышлял о замене буржуазной революции на пролетарскую вплоть до поражения 1848 года; и в том, настолько он сформулировал перспективу, сравнимую с ленинской (включающую «поддержку революции новой редакцией крестьянской войны», как изложил ее Энгельс), он не долго следовал ей. В западной и центральной Европе не должно было быть второй редакции 1848 года. Рабочий класс, как он вскоре признал, должен будет следовать другим путем.

Таким образом, революция 1848 года поднялась и разбилась подобно большой волне, немного оставляя позади себя, кроме мира и обещания. Они «должны были быть» буржуазными революциями, но буржуазия отодвинулась от них. Они могли бы подкреплять друг друга под руководством Франции, предотвращая или откладывая восстановление старых правителей и держа на расстоянии русского царя. Но французская буржуазия предпочла

социальную стабильность у себя дома наградам и опасности еще раз оказаться *la grande nation* (великой нацией), и, по аналогичным причинам, умеренные лидеры революции колебались призывать к французскому вмешательству. Ни одна другая социальная сила не была достаточно могущественна, чтобы сообщить им последовательность и стимул, исключая в особых случаях борьбу за национальную независимость против политически господствующей власти, и даже она потерпела неудачу, так как национальные движения были изолированы и в любом случае слишком слабы, чтобы противостоять военной силе старых властей. Великие и выдающиеся личности 1848 года, игравшие свои роли героев на сцене Европы в течение нескольких месяцев, исчезли навсегда — за исключением Гарибальди, который должен был познать даже более славный момент в своей жизни двенадцать лет спустя. Кошут и Мадзини прожили свои долгие жизни в изгнании, внося небольшой непосредственный вклад в победу автономии и унификации в своих странах, хотя и заслужили прочное место в своих национальных пантеонах. Ледрю-Роллен и Распай более никогда не познали другого момента известности как Вторая Республика, а красноречивые профессора Франкфуртского парламента вернулись к своим наукам и аудиториям. Из пылких изгнанников 1850-х годов, вынашивавших великие планы и создававших конкурирующие правительства в изгнании в тумане Лондона, ничто не уцелело, кроме трудов наиболее изолированных и нетипичных Маркса и Энгельса.

И все же 1848 год был не просто коротким историческим эпизодом, не имевшим последствий. Если перемены, которых он достиг, не были ни теми, которых ожидали революционеры, ни даже легко определяемыми в границах политических режимов, законов и институтов, они были тем не менее глубоки. Он ознаменовал конец, по крайней мере в Западной Европе, политики традиции, монархий, которые полагали, что их народы (кроме недовольных из средних слоев) принимали, даже приветствовали, правление Богом данных династий, главенствующих над разделенными на иерархические слои обществами, санкционированное традиционной религией, верой в патриархальные права и обя-

занности социальных и экономических начальников. Так, поэт Грильпарцер, сам ни в коем случае не революционер, иронически написал, возможно, о Меттернихе:

Всем известный Дон-Кихот,
здесь лежит, забыв о славе.
Был хвастлив он и тщеславен,
Все вершил наоборот.

Свято веря в ложь свою,
дуралей в летах известных,
из людей простых и честных —
с ней теперь живет в раю*^{10*}

Впредь силы консерватизма, привилегий и богатства должны были защищать себя иными способами. Даже темные и невежественные крестьяне Южной Италии в великую весну 1848 года сдались победителю-абсолютизму, так же как они сделали это 50-ю годами ранее. Когда они шли захватывать земли, они редко выражали враждебность «конституции».

Защитники социального порядка должны были изучать политику народа.

Это было главным новшеством, вызванным революциями 1848 года. Даже самые сверхреакционные прусские юнкеры открыли в течение этого года, что они нуждаются в газете, способной оказывать воздействие на «общественное мнение» — сама по себе концепция, связанная с либерализмом и несовместимая с традиционной иерархией. Наиболее интеллектуальный из прусских архиреакционеров 1848 года Отто фон Бисмарк (1815—1898) должен был позже продемонстрировать свое ясное понимание природы политики буржуазного общества и свое мастерство в осуществлении ее методов. Однако наиболее существенные политические новшества такого рода имели место во Франции.

Там поражение июньского восстания рабочего класса породило мощную «партию порядка», способную нанести поражение социальной революции, но не приобрести большую поддержку

* Здесь и далее стихотворные переводы С. Г. Горяйнова и Т. В. Горяйновой.

масс или даже многих консерваторов, которые не желали благодаря своей защите «порядка» очутиться в лагере умеренного республиканизма, бывшего теперь у власти. Люди были все еще слишком готовы к борьбе, чтобы разрешить ограничение выборов: до 1850 года не было существенной части «подлого большинства» — т. е. приблизительно треть во Франции, около $\frac{2}{3}$ в радикальном Париже, — исключенного из голосования. Но, если в 1848 году французы не выбрали умеренного кандидата на пост нового президента Республики, они также не выбрали и радикала. (Кандидата от монархистов не было). Победителем, при подавляющем большинстве — 5,5 из 7,4 миллионов проголосовавших — был Луи Наполеон, племянник великого императора. Хотя он, как выяснилось, был замечательно проницательным политиком, когда явился во Францию в конце сентября, Луи Наполеон, казалось, не имел ничего, кроме престижного имени и финансовой поддержки преданной английской любовницы. Он явно не был социальным революционером, но он также не был и консерватором; на самом деле его покровители извлекли определенную пользу из его юношеского интереса к сен-симонизму (см. ниже) и предполагаемой симпатии к бедным. Но в основном он выиграл потому, что крестьяне единогласно проголосовали за него под лозунгом: «Хватит налогов, долой богатых, долой Республику, да здравствует император»; другими словами, как заметил Маркс, против республики богатых трудящиеся голосовали за него, потому что в их глазах он означал «свержение Кавеньяка»¹¹ [который подавил июньское восстание], устранение буржуазного республиканизма, отмену июньской победы»^{11*}; мелкая буржуазия — потому что он не казался сторонником крупной буржуазии.

Избрание Луи Наполеона показало, что даже демократия всеобщего избирательного права, этот институт, ассоциировавшийся с революцией, была сходной с защитой социального порядка. Даже подавляющая масса недовольных не была склонна выбирать правителей, стремящихся к «ниспровержению общества». Более обширные уроки такого рода деятельности не изучались сразу же; что касается Луи Наполеона, то он самостоятельно вско-

ре упразднил Республику и сам объявил себя императором, хотя и никогда не забывая политических преимуществ хорошо организованного всеобщего избирательного права, которое он ввел опять. Он должен был быть первым из современных глав государства, кто управлял не просто с помощью вооруженной силы, но и с помощью определенного сорта демагогии и общественных отношений, которыми намного легче оперировать с вершины государства, чем откуда-нибудь еще. Его опыт продемонстрировал не только то, что «социальный порядок» мог выдавать себя за силу, способную апеллировать к сторонникам «левых», но также и то, что в какой-либо стране или веке, в которых граждане были готовы принять участие в политике, он должен сделать это. Революции 1848 года показали очевидность того, что средние классы, либерализм, политическая демократия, национализм, даже рабочий класс были отныне постоянными чертами политического пейзажа. Поражение революций могло бы временно удалить их из вида, но когда они появились бы вновь, они определили бы действия даже тех государственных деятелей, которые питали к ним наименьшую симпатию.

Часть вторая

РАЗВИТИЕ

ГЛАВА ВТОРАЯ

ВЕЛИКИЙ БУМ

Вот человек, сильный оружием мира, капитала и машин, использует их, чтобы дать комфорт и наслаждение обществу, чьим слугой он является, и таким образом становится богатым, потому что обогащает других своими товарами.

Виллиам Уивелл, 1852^{1*}

Люди могут достигать материального благосостояния без подрывной тактики, если они понятливы, трудолюбивы и постоянно обращаются к своему собственному самоусовершенствованию.

Из Устава «Societe contre l'Ignorance»
города Клермон-Феррана, 1869^{2*}

Заселенная область мира быстро расширяется. Новые общины, являющиеся новыми рынками, ежедневно возникают в прежде пустынных регионах Нового Света на Западе и на традиционно плодородных островах Старого Света на Востоке.

«Филопонос», 1850^{3*}

I

Некоторые наблюдатели в 1849 году уже заявили, что 1848 год был последней общей революцией на западе. Политические требования либерализма, демократического радикализма и национализма, хотя и не «социальной республики», должны были постепенно реализовываться в течение ближайших семидесяти лет в большинстве развитых стран без резких внутренних сдвигов, и социальная структура развитой части континента должна была доказать свою способность противостоять катастрофическим ударам двадцатого столетия, по крайней мере до настоящего времени (1974 г.). Главная причина этого лежит в экстраординарной

экономической трансформации и экспансии в промежутке между 1848 и началом 1870-х годов, которые являются предметом этой главы. Это был период, когда мир стал капиталистическим, а существенное меньшинство «развитых» стран — промышленными державами.

Этот век беспримерного экономического прогресса начался бумом, который являлся тем более эффективным, что он был временно скрыт событиями 1848 года. Революции ускорились последним и, возможно, самым большим, экономическим кризисом допотопного вида, принадлежащего к миру, который зависел от удачных урожаев и погодных условий. Новый мир «торгового цикла», который только социалисты все еще признавали основным режимом и способом функционирования капиталистической экономики, имел свой собственный образец экономических колебаний и свои собственные светские трудности. Однако к середине 1840-х годов мрачная и неуверенная эра капиталистического развития как бы подходила к концу, начинался большой прыжок вперед. 1847/48 год видел резкий и серьезный спад торгового цикла, вероятно, усугубленный совпадением с неприятностями прежнего рода. Как бы то ни было, с чисто капиталистической точки зрения, он был скорее просто резким падением в том, что уже было похоже на очень плавную кривую дел. Джеймс де Ротшильд, который расценивал экономическую ситуацию в начале 1848 года с известным самодовольством, был разумным бизнесменом, хотя и плохим политическим пророком. Самое плохое в «панике», казалось, уже закончилось и долгосрочные перспективы рисовались в розовом цвете. И все же, хотя промышленное производство восстанавливалось достаточно быстро, даже от фактического паралича революционных месяцев, общая атмосфера оставалась неустойчивой. Мы едва ли можем датировать начало глобального бума до 1850 года.

Что последовало затем, было настолько экстраординарным, что люди были в недоумении от прецедента. Никогда, например, британский экспорт не возрастал более быстро чем в первые семь лет 1850-х годов. Так, штучные товары из хлопка, авангард британского рыночного проникновения в течение более чем полувека, теперь увеличили свою *норму* роста по сравнению с предыду-

щими десятилетиями. Между 1850 и 1860 годами их число почти удвоилось. В абсолютных числах их производство даже более поразительно: между 1820 и 1850 годами их экспорт вырос почти до 1 100 миллионов ярдов, но за одно десятилетие в период между 1850 и 1860 годами их рост составил значительно больше чем 1 300 миллионов ярдов. Число квалифицированных рабочих-станочников по производству хлопчатобумажной ткани возросло почти до 100 000 в период между 1819—1821 и 1844—1846 годами, но это число удвоилось в 1850-х годах^{4*} И здесь мы имеем дело с большой и давно устоявшейся индустрией и, кроме того, такой, которая фактически потеряла основание на европейских рынках в это десятилетие из-за скорости развития и достижений местной промышленности. Повсюду, куда мы ни посмотрим, могут быть найдены сходные свидетельства бума. Экспорт железа из Бельгии увеличился более чем в два раза между 1851 и 1857 годами. В Пруссии, за четверть века до 1850 года, была учреждено 67 акционерных компаний с общим капиталом в 45 миллионов талеров, а только в 1851—1857 годах было основано 115 таких компаний — *исключая* железнодорожные компании — с общим капиталом в 114,5 миллионов: почти все — в пронизанное эйфорией время между 1853 и 1857 годами^{5*} Едва ли необходимо умножать такую статистику, хотя современные бизнесмены, особенно учредители компаний, читали и распространяли ее с жадностью.

То, что вызвал этот бум для жадных до прибыли бизнесменов, было комбинацией дешевого капитала и быстрым повышением цен. Резкие спады (торгово-циклического типа) всегда означали низкие цены, во всех случаях в XIX веке. Бумы были инфляционными. Даже так, повышение приблизительно на $\frac{1}{3}$ в британском уровне цен в период между 1848—1850 и 1857 годами было заметно большим. Прибыли, явно ожидавшие производителей, торговцев и почти всех учредителей, были поэтому почти неизбежны. В одно время в течение этого удивительного периода уровень прибыли на вложенный капитал Credit mobilier Парижа, финансовой компании, которая была символом капиталистической экспансии в этом периоде (см. гл. 12 ниже), достиг 50%^{6*}. И бизнесмены не были единственными из тех, кто полу-

чал прибыль. Как уже предполагалось, занятость росла быстро, не по дням, а по часам, как в Европе, так и за морем, куда мужчины и женщины мигрировали в огромных количествах (см. гл. 11 ниже). Мы почти ничего не знаем относительно фактической безработицы, но даже в Европе одно из свидетельств является показательным. Резкое повышение стоимости на зерновые (т. е. на главный элемент стоимости средств к существованию) в период между 1853 и 1855 годами больше не ускоряло возникновения голодных бунтов где-либо кроме как в некоторых очень отсталых регионах, таких как Северная Италия (Пьемонт) и Испания, где оно, возможно, внесло вклад в революцию 1854 года. Высокая занятость и готовность уступать во временных повышениях заработной платы, там, где это было необходимо, притупили степень народного недовольства. Но для капиталистов большой резерв рабочей силы, оказавшейся сейчас на рынке, был относительно дешев.

Политические последствия этого бума были далеко идущими. Это дало правительствам, поколебленным революцией, неограниченную передышку, и, наоборот, разрушило надежды революционеров. Одним словом, политическая жизнь замерла. В Британии зрело движение чартистов, и факт, что его агония была более продолжительной, чем имели обыкновение предполагать историки, никак не замедлил его конца. Даже Эрнест Джонс (1819—1869), его наиболее упорный лидер, оставил попытку возродить независимое движение рабочего класса в конце 1850-х годов и доверился своей судьбе, подобно большинству старых чартистов, вместе с теми, кто хотел организовать рабочих как группу давления на левых радикалов от либерализма. Парламентская реформа перестала на некоторое время занимать британских политиков, освобождая их от исполнения своих замысловатых парламентских контрдансов. Даже радикалы от среднего класса, Кобден и Брайт, добившиеся отмены Хлебного законодательства в 1846 году, теперь были изолированным узким меньшинством в политике.

Для восстановленных монархией континента и появления на свет того случайного ребенка Французской революции — Второй Империи Наполеона III, передышка была даже более жизненно

важной. Наполеону они дали то благоразумное и внушительное избирательное большинство, которое придавало достоверность его претензиям быть «демократическим» императором. Старым монархиям и княжествам это дало время для политического возрождения и упрочения их стабильности и процветания, которое теперь было политически более уместным, чем узаконивание их династий. Это также дало им средства, не требовавшие консультаций с собраниями представителей и других хлопотливых обязательств, и оставило их политическим изгнанникам лишь кусать ногти и жестоко нападать друг на друга в бессильном гневе. В то время это сделало их слабыми в международных делах, но сильными во внутренних. Даже Габсбургская империя, только что восстановленная в 1849 году с помощью вмешательства русской армии, была сейчас в состоянии, в первый и единственный раз в своей истории, управлять всеми своими территориям — включая сопротивляющихся венгров — как единая централизованная бюрократическая монархия.

Этот период спокойствия окончился с началом депрессии 1857 года. Коротко говоря, это было простым перерывом в золотой эре роста капитализма, который возобновился даже в большем масштабе в 1860-х годах и достиг своего пика в буме 1871—1873 годов. Политически он изменил ситуацию. По общему признанию он развеял надежды революционеров, которые ожидали, что наступит второй 1848 год, хотя и принимали то, что «массы станут чертовски вялыми в результате этого длительного процветания»^{7*} Все же политика возрождалась. В течение короткого промежутка времени все старые вопросы либеральной политики вновь стали на повестку дня — итальянское и немецкое национальное объединение, конституционная реформа, гражданские свободы и другое. Принимая во внимание то, что экономическая экспансия 1851—1857 годов прошла в политическом вакууме, продолжая поражение и истощение 1848—1849 годов, после 1859 года она совпала с более интенсивной политической деятельностью. С другой стороны, хотя и прерываясь различными внешними факторами типа Гражданской войны в Америке 1861—1865 годов, 1860-е годы были экономически более-менее стабильными. Следующий резкий спад торгового цикла (который происходил, со-

гласно вкусу и региону, некоторое время в 1866—1868 годах) не был ни концентрированным, ни глобальным, ни драматическим как в 1857—1858 годах. Коротко говоря, политика возродилась в период экспансии, но она уже не была политикой революции.

II

Если Европа все еще жила в эре причудливых принцев, она должна была быть заполненной захватывающими маскарадами, шествиями и операми, располагающими аллегорические изображения экономического триумфа и промышленного прогресса у ног своих правителей. На самом деле торжествующий мир капитализма имел свой эквивалент. Эра его глобальной победы началась и прерывалась гигантскими новыми ритуалами самопоздравления, Большими международными выставками, каждая происходила в величественных монументах богатству и техническому прогрессу — Кристальный дворец в Лондоне (1851), Ротонда (бóльшая чем собор св. Петра в Риме) в Вене, каждая отражала растущее число и разнообразие производств, каждая привлекала отечественных и иностранных туристов в астрономических количествах. Четырнадцать тысяч фирм выставлялось в Лондоне в 1851 году — мода, быстро прижившаяся в мире капитализма — 24 000 в Париже в 1855 году, 29 000 в Лондоне в 1862 г., 50 000 в Париже в 1867 году. Но, верно, самой большой из всех была выставка, посвященная столетию Филадельфии в 1876 году в Соединенных Штатах, открытая президентом¹² в присутствии императора и императрицы Бразилии — коронованные головы теперь привычно склонялись перед изделиями промышленности — и 13 000 аплодирующих граждан. Они были первыми из десяти миллионов, кто по этому случаю отдал дань «Прогрессу Века».

Что же было причинами этого прогресса? Почему экономическая экспансия так заметно ускорила в тот период? Вопрос действительно должен быть рассмотрен с учетом прошлого. То, что с оглядкой назад поражает нас в первой половине девятнадцатого века, представляет собой контраст между огромным и

быстро растущим производительным потенциалом капиталистической индустриализации и ее неспособностью, как это было прежде, расширять свою базу, сломать кандалы, сковывавшие ее. Она могла расти стремительно, но казалась неспособной расширять рынок для своих товаров, выгодных путей для своего накопленного капитала, не говоря уже о способности производить занятость в сопоставимом размере или адекватную заработную плату. Следует помнить, что даже в конце 1840-х годов интеллигентные и информированные наблюдатели в Германии — накануне индустриального взрыва в этой стране — могли все еще допускать, как сегодня делают в слаборазвитых странах, что никакая мыслимая индустриализация не могла бы обеспечивать занятостью огромное и растущее «излишнее население» бедных, 1830-е и 1840-е годы по этой причине были периодом кризиса. Революционеры надеялись, что он мог бы стать заключительным, но даже бизнесмены боялись, что он мог бы привести к краху индустриальную систему (см. *Век Революции*, глава 16).

По двум причинам эти надежды или опасения оказались беспочвенными. Во-первых, ранняя индустриальная экономика открыла — прежде всего благодаря давлению своего собственного жадного до прибыли и накопления капитала — то, что Маркс называл ее «коронным достижением»: железную дорогу. Во-вторых — и это частично благодаря железной дороге, паровозу и телеграфу, «который наконец представил средство связи, адекватное современным средствам производства»^{8*}, — географический размер капиталистической экономики смог внезапно увеличиться, когда возросла интенсивность ее деловых связей. Весь земной шар стал частью этой экономики. Это, вероятно, является наиболее существенным достижением нашего периода (см. главу 3 ниже). Оглядываясь назад по прошествии почти половины столетия, Х. М. Хиндмен, одновременно и викторианский бизнесмен и марксист (хотя необычный в этих двух ролях), совершенно справедливо сравнивал десять лет с 1847 по 1857 годы с эрой великих географических открытий и завоеваний Колумба, Васко да Гамы, Кортеса и Писаро. Хотя не было сделано никаких драматически новых открытий (за относительно небольшими исключениями), несколько формальных завоеваний новыми военными конкиста-

дорами, пригодных для практических целей совершенно нового экономического мира, были добавлены к Старому Свету и интегрированы в него.

Это было особенно важно для экономического развития, поскольку оно образовало базис для этого гигантского экспортного бума — товаров, капитала и людей, — который играл такую большую роль в экспансии капитала, во всех событиях, в которых все еще главной капиталистической страной была Англия. Массовая экономика потребления находилась в будущем, исключая, возможно, Соединенные Штаты. Внутренний рынок бедноты, поскольку он не увеличивался за счет крестьян и мелких ремесленников, еще не рассматривался в качестве главной основы для действительно захватывающего экономического прогресса*. Он был, конечно, далек от незначительного в то время, когда население развитого мира и быстро росло и, возможно, улучшило свой средний уровень жизни (см. главу 12 ниже). Все же огромное материальное расширение рынка как для потребительских товаров, так, возможно, прежде всего, и для товаров, необходимых для строительства новых промышленных заводов, транспортных предприятий, общественных и городских предприятий коммунального обслуживания, было неизбежным. Капитализм теперь имел в своем распоряжении целый мир, и расширение как международной торговли, так и международных вложений измеряет интерес, с которым он продолжал захватывать его. Мировая торговля в период между 1800 и 1840 годами ничуть не удвоилась. Между 1850 и 1870 годами она выросла на 260 процентов. Все годное для продажи продавалось, включая товары, которые встречали явное сопротивление со стороны получающих их стран, такие как опиум, чей экспорт из Британской Индии в Китай более чем удвоился по количеству и поднялся почти в три раза в цене**. К 1875 году 1 млрд фунтов стерлингов было вложено Англией за

* В то время как экспорт британских товаров из хлопка утроился в количественном отношении между 1850 и 1875 годами, потребление хлопка для внутреннего британского рынка просто увеличилось на $\frac{2}{3}$.*

** В среднем, число ящиков бенгальского и мальвийского опиума, экспортируемого ежегодно в 1844—1849 годах, было 43 000, в 1869—1874 — 87 000¹⁰.*

границей — за третью четверть начиная с 1850 года — в то время как заграничные инвестиции Франции увеличились более чем в десять раз в период между 1850 и 1880 годами.

Современные наблюдатели, остановив свой взгляд на менее фундаментальных аспектах экономики, почти обязательно должны были бы подчеркнуть третий фактор: открытие больших месторождений золота в Калифорнии, Австралии и других местах после 1848 года (см. главу 3 ниже). Они умножили средства оплаты, доступные мировой экономике, удалили более низкие процентные тарифы, которые многие бизнесмены рассматривали как наносящие вред запреты, и усилили предоставление кредита. В течение семи лет поставки золота в мире увеличились в 6—7 раз, и количество золотых монет, выпущенных Британией, Францией и Соединенными Штатами, возросло ежегодно в среднем от 4,9 миллиона фунтов стерлингов в 1848—1849 годах до 28,1 миллиона фунтов стерлингов за каждый год в период между 1850 и 1856 годами. Роль золотого слитка в мировой экономике справедливо продолжает быть вопросом страстных дебатов даже сегодня, дебатов, в которые мы не должны вмешиваться. Его отсутствие, вероятно, не причинило бы серьезного неудобства торговле, как тогда думали, с тех пор, когда другие средства оплаты, такие как чеки — истинно новый механизм, векселя, и т. д. были легко распространены и уже укреплялись в значительной степени. Однако три аспекта новых поставок золота являются совершенно неоспоримыми.

Во-первых, они помогли, возможно, решающим образом, создать ту относительно редкую ситуацию, бывшую между приблизительно 1810 годом и концом девятнадцатого века, эру повышения цен или умеренной, хотя и неустойчивой, инфляции. В основном большая часть этого столетия была дефляционной, в значительной степени благодаря постоянной тенденции в технологии удешевлять производимые изделия, а недавно открытым источником пищи и сырья удешевлять (хотя и с перебоями) полуфабрикаты. Длительная дефляция — т. е. давление на резервы прибыли — не причиняла много вреда бизнесменам, потому что они производили и продавали товары в намного больших ко-

личествах. Однако до окончания этого периода не принесло рабочим ничего хорошего, так как или их прожиточный минимум не падал до такой же отметки, или их доход был слишком мал, чтобы позволить им получать значительную выгоду. С другой стороны, инфляция несомненно поднимала границы прибыли и таким образом поощряла бизнес. Наш период был в основном инфляционной интерлюдией в дефляционном столетии.

Во-вторых, наличие золотых слитков в больших количествах помогло установить тот устойчивый и надежный денежно-кредитный стандарт, основанный на фунте стерлингов (связанный с установленным золотым паритетом), без которого, как показывает опыт 1930-х и 1970-х годов, международная торговля становится более трудной, сложной и непредсказуемой. В-третьих, золотая лихорадка сама открывала новые области, особенно вокруг Тихого океана, чтобы интенсифицировать экономическую активность. Поступая так, она «создавала рынок из ничего», как печально изложил это Энгельс Марксу. И к середине 1870-х годов ни Калифорния, ни Австралия и другие зоны на новой «минеральной границе» не были ни в коем случае незначительны. Они содержали более трех миллионов жителей со значительно большими запасами наличных денег, чем любое другое население региона сопоставимого размера.

Современники, конечно, также подчеркнули бы вклад еще одного фактора: свободы частного предпринимательства — двигателя, который по общему соглашению усилил прогресс индустриализации. Никогда не было более полного согласия между экономистами или, в самом деле, среди интеллектуалов-политиков и администраторов по поводу рецепта экономического роста — экономический либерализм. Сохранение институционных барьеров для свободного движения факторов производства, для свободного предпринимательства и для всего, что могло бы явно препятствовать его прибыльному функционированию, пало перед международным натиском. Что делает это общее упразднение барьеров таким заметным, так это то, что он не ограничивался государственным уровнем, в котором политический либерализм был триумфальным и влиятельным. Кроме всего прочего,

оно было более решительным в восстановленных абсолютных монархиях и княжествах Европы, чем в Англии, Франции и Нидерландах, потому что там оставалось еще то, что надо было уничтожить. Контроль гильдий и корпораций над ремесленным производством, которое оставалось сильным в Германии, открыл путь для *Gewerbefreiheit* — свободы входить и заниматься любой торговлей — в Австрии в 1859 году, на большей территории Германии в первой половине 1860-х годов. Он был наконец полностью установлен в Северогерманской Федерации (1869) и Германской империи; к неудовольствию многих ремесленников, которые, следовательно, должны были стать более враждебными к либерализму и вовремя обеспечили бы политическую базу для правых движений, начиная с 1870-х годов и далее. Швеция, которая отменила гильдии в 1846 году, установила полную свободу торговли в 1864; Дания упразднила старое законодательство о гильдиях в 1849 и 1857 годах; Россия, на большей части которой никогда не знали о системе гильдий, ликвидировала последние ее следы в (немецких) городах своих балтийских провинций (1866), хотя по политическим причинам она продолжала ограничивать право евреев заниматься торговлей и бизнесом в определенной области, так называемая «рамка соглашения».

Эта легальная ликвидация средневекового и меркантилистского¹³ периодов не ограничивалась ремесленным законодательством. Законы против ростовщичества, долгое время бывшие мертвой буквой, были отменены в Англии, Голландии, Бельгии и Северной Германии в период между 1854 и 1867 годами. Строгий контроль, который правительства осуществляли над горной промышленностью — включая действительную работу шахт, — был фактически отменен, например в Пруссии между 1851 и 1865 годами, так что (допуская разрешение правительства) любой предприниматель мог теперь требовать права эксплуатировать любые полезные ископаемые, найденные им, и вести свои операции так, как он находил нужным. Подобно этому создание бизнес-компаний (особенно акционерных компаний с ограниченной ответственностью или им подобных) стало теперь значительно более простым делом и более независимым от бюрократического контро-

ля. Проторили путь Англия и Франция, хотя Германия не устанавливала автоматической регистрации компаний до 1870 года. Закон о торговле был согласован с преобладающей атмосферой плавного расширения бизнеса.

Но в некотором смысле наиболее поразительной тенденцией было движение к тотальной свободе торговли. По общему признанию только Британия (после 1846 года) полностью устранила протекционизм, поддерживая таможенные пошлины — по крайней мере теоретически — исключительно в финансовых целях. Однако, кроме устранения или сокращения ограничений, и т. д., на международных водных путях, как, например, на Дунае (1857 г.) и Зунде между Данией и Швецией, и упрощения международной кредитно-денежной системы путем создания больших кредитно-денежных областей (например, Латинский кредитно-денежный союз Франции, Бельгии, Швейцарии и Италии в 1865 г.), ряд «договоров о свободной торговле», существенно сократили тарифные барьеры между ведущими индустриальными нациями в 1860-х годах. Даже Россия (1863 г.) и Испания (1868 г.) в некоторой степени присоединились к движению. Только Соединенные Штаты, чья промышленность полагалась в основном на защищенный внутренний рынок и немного на экспорт, оставались бастионом протекционизма, но даже здесь имело место скромное улучшение в начале 1870-х годов.

Мы можем даже пойти вперед. До настоящего времени самые смелые и безжалостные капиталистические экономисты не рисковали полностью полагаться на свободный рынок, которому теоретически они были привержены, особенно в отношениях между предпринимателями и рабочими. Все же даже в этой чувствительной области неэкономическое принуждение отступило. В Англии был изменен закон «О хозяине и слуге», устанавливая равенство в отношении к нарушителям контракта между обеими сторонами; «ежегодное соглашение» шахтеров в Северной Англии было отменено, стандартный контракт найма был в основном (для рабочих) таким, который мог быть расторгнут в минимальный срок. То, что на первый взгляд является более удивительным, так это то, что в период между 1867 и 1875 годами без

особых проблем были отменены все существенные юридические препятствия для профсоюзов и их права на забастовку (см. главу 6 ниже). Многие другие страны пока еще колебались предоставить такую же свободу рабочим организациям, хотя Наполеон III и ослабил весьма значительно юридический запрет союзов. Однако общая ситуация в развитых странах теперь имела тенденцию стать подобно описываемой в немецком *Gewerbevolkung* 1869 года: «Отношения между теми, кто независимо занимается торговлей или бизнесом, и их коллегами, помощниками и учениками определяются в соответствии со свободным контрактом». Только рынок должен был управлять продажей и покупкой рабочей силы, как впрочем и всего остального.

Несомненно, этот обширный процесс либерализации поощрял частное предпринимательство и либерализация торговли помогала экономическому росту, хотя мы не должны забывать, что большая формальная либерализация не была необходима. Некоторые виды свободного международного движения, которые сегодня контролируются, особенно движение капитала и труда, т. е. миграция, к 1848 году считались до такой степени само собой разумеющимися в развитом мире, что они едва ли даже обсуждались (см. главу 11 ниже). С другой стороны, вопрос о том, какую роль институционные или юридические изменения играют в поощрении или торможении экономического развития, является слишком сложным для простой формулы середина 19 столетия: «либерализация создает экономический прогресс». Эра экспансии уже началась даже до аннулирования «Хлебных законов» в Англии в 1846 году. Без сомнения, либерализация принесла определенные результаты. Так, Копенгаген начал развиваться куда более быстро как город после отмены «Здоровых пошлин», которые удерживали торговые суда от входа в Балтийское море (1857 г.). Но насколько глобальное движение к либерализации было причиной, сопутствующим обстоятельством или последствием экономической экспансии, остается открытым вопросом. Единственная определенность состоит в том, что когда не доставало других баз для капиталистического развития, оно не достигло многого само по себе. Никакая страна не либерализовалась

более радикально, чем Республика Новая Гренада (Колумбия) в период между 1848 и 1854 годами, но кто скажет, что большие надежды ее государственных деятелей на процветание были осуществлены немедленно или вообще осуществились?

Однако в Европе эти изменения выявили глубокое и поразительное доверие к экономическому либерализму, который со всех точек зрения казался оправданным для целого поколения. В пределах каждой страны это было не удивительным, с тех пор как свободное капиталистическое предпринимательство добилось столь явного процветания. В конце концов, даже свобода контракта для рабочих, включая терпимость таких профсоюзов, которые были достаточно сильны, чтобы обосноваться с помощью очевидной силы своих нанимающихся рабочих, едва казались могущими угрожать прибылям, с тех пор как «резервная армия труда» (как называл ее Маркс), состоящая в основном из масс крестьян, бывших ремесленников и других, стекающихся в города и промышленные области, напоминала сохранение заработной платы на относительно скромном уровне (см. главы 12 и ниже). Энтузиазм, проявляемый к свободной международной торговле, на первый взгляд является очень удивительным, кроме разве что для англичан, для которых это означало, во-первых, то, что им позволялось свободно продавать всем товары по более низким ценам на всех рынках мира, и во-вторых, что они побуждали неразвитые страны продавать им свои изделия — в основном пищевые продукты и сырье — дешево и в больших количествах, зарабатывая таким образом прибыль, чтобы посредством ее покупать британские товары.

Но почему конкуренты Британии (за исключением Соединенных Штатов) принимали эту явно невыгодную договоренность? (Для неразвитых стран, которые не стремились к промышленной конкуренции вообще, это было, конечно же, привлекательно: южные штаты Соединенных Штатов, например, были весьма довольны перспективой иметь неограниченный рынок для своего хлопка в Британии и поэтому оставались сильно заинтересованными в свободной торговле, пока не были завоеваны Севером). Это слишком громко сказано, что международная свобод-

ная торговля развивалась потому, что в этот краткий период либеральная утопия искренне увлекла даже правительства — если только под действием силы того, что они верили, было ее исторической неизбежностью; хотя нет сомнения в том, что они находились под глубоким воздействием экономических аргументов, которые казались почти имеющими силу естественных законов. Однако интеллектуальное убеждение редко превалирует над личным интересом. Но дело в том, что наиболее промышленно развитые экономики могли в этот период видеть два преимущества свободной торговли. Во-первых, общее расширение мировой торговли, которая действительно была весьма наглядно сравнима с периодом до 1840-х годов, обогатила всех их, даже если она приносила англичанам большую выгоду. Как большая и беспрепятственная экспортная торговля, так и большая и беспрепятственная поставка пищевых продуктов и сырья, где необходимо, с помощью импорта, были явно желательны. Если бы на особые интересы можно было бы неблагоприятно воздействовать, имелись другие, кого либерализация удовлетворяла. Во-вторых, какой бы ни была будущая конкуренция между капиталистическими экономиками, на этой ступени индустриализации преимущество Англии в способности использовать оборудование, ресурсы и ноу-хау была явно полезной. Возьмем просто один пример, иллюстрируемый в следующей таблице, рельсы и машины, экспорт которых из Британии заметно вырос, не мешали индустриализации других стран, а облегчали ее.

**Экспорт британских рельс, стали и машин
(общее количество за пять лет: в тысячах тонн)^{11*}**

	рельсы и сталь	машины
1845—1849	1 291	4,9 (1846—1850)
1850—1855	2 846	8,6
1856—1860	2 333	17,7
1861—1865	2 067	22,7
1866—1870	3 809	24,9
1870—1875	4 040	44,1

III

Капиталистическая экономика, таким образом, одновременно получила (что не значит случайно) ряд чрезвычайно мощных стимулов. Что же явилось результатом? Экономическая экспансия наиболее удобно измерена в статистике и ее наиболее характерными измерениями в 19 столетии являются энергия пара (так как паровой двигатель был *очень* типичной формой энергии) и взаимосвязанные изделия из угля и железа. Середина девятнадцатого столетия была прежде всего веком дыма и пара. Добыча угля долго измерялась в миллионах тонн, но теперь достигла того, чтобы измеряться в десятках миллионов для отдельных стран, в сотнях миллионов для всего мира. Около половины ее — довольно больше в начале нашего периода — исходило от несравненно самого большого производителя того времени — Великобритании. Производство железа в Англии, как нигде, достигло порядка нескольких миллионов тонн в 1830-х годах (в 1850 году оно составляло приблизительно 2,5 миллиона тонн). Но к 1870 году Франция, Германия и Соединенные Штаты каждая в отдельности производили 1—2 миллиона тонн, хотя Англия, все еще «мастерская мира», оставалась далеко впереди с почти 6 миллионами и почти половиной мирового производства железа. За эти двадцать лет мировая добыча угля увеличилась приблизительно в два с половиной раза, мировой выпуск железа — почти в четыре раза. Общая энергия пара, однако, возросла приблизительно в четыре с половиной раза, увеличиваясь от 4 миллионов лошадиных сил в 1850 до почти 18,5 миллионов лошадиных сил в 1870 году.

Такие грубые данные показывают немного больше, чем то, что индустриализация была прогрессирующей. Существенным фактором является то, что ее прогресс был теперь более широко распространен географически, хотя, одновременно, и очень неравномерно. Расширение сети железных дорог и, в меньшей степени, числа пароходов теперь вводило власть механики на всех континентах и даже в непромышленных странах. Появление железной дороги (см. главу 3 ниже) было само по себе революционным символом и достижением, с тех пор как превращение зем-

ного шара в единую взаимодействующую экономику было наиболее далеко идущим и явно наиболее захватывающим аспектом индустриализации. Но сам «установленный двигатель» на фабрике, шахте или кузнице привел к стремительному прогрессу. В Швейцарии имелось не более тридцати четырех таких двигателей в 1850 году, но к 1870 г. их было уже почти тысяча; в Австралии их число возросло от 671 (1852 г.) до 9 160 (1875 г.) с более чем пятикратным увеличением мощности в лошадиных силах. (Для сравнения, явно отсталая европейская страна Португалия все еще располагала только семьюдесятью двигателями с общей мощностью 1200 лошадиных сил даже в 1873 г.). Общая мощность пара в Нидерландах увеличилась в тринадцать раз.

Имели незначительные индустриальные области и некоторые европейские экономики типа шведской, которые с трудом приступили к широкомасштабной индустриализации. Все же наиболее существенным фактором было неравномерное развитие главных центров. В начале нашего периода Англия и Бельгия были единственными странами, где промышленность развивалась интенсивно, и обе оставались наиболее развитыми промышленно из расчета *на душу населения (per capita)*. Их потребление железа на одного жителя в 1850 году составляло 170 фунтов и 90 фунтов соответственно, в сравнении с 56 фунтами в Соединенных Штатах, 37 фунтами во Франции и 27 фунтами в Германии. Бельгия обладала небольшой экономикой, хотя и относительно важной: в 1873 году она еще производила около половины железа от количества, производимого ее намного большим соседом Францией. Англия, конечно же, была индустриальной страной *par excellence* (вне сравнения) и, как мы видели, сумела поддерживать соответствующее положение, хотя ее промышленная паровая мощность стала заметно отставать. В 1850 году она по-прежнему владела более чем третью мировой мощности двигателей («фиксированных двигателей»), тогда как к 1870 году она обладала менее чем четвертью: 900 000 лошадиных сил из общего числа в 4,1 миллиона. По реальному производству Соединенные Штаты были уже слегка впереди к 1850 году и далеко обогнали Англию в 1870 году, превысив машинную мощь старой страны более чем в два раза, но американская промышленная экспансия,

хотя и экстраординарная, казалась менее впечатляющей, чем таковая в Германии. Фиксированная машинная мощность этой страны была более чем скромной в 1850 году — возможно, всего 400 000 лошадиных сил, намного меньше чем 10% английской. К 1870 году она составляла 900 000 лошадиных сил, или была почти такая же, как английская, кстати, намного обгоняя Францию, которая в 1850 году владела значительно большей, но смогла достичь в 1870 году не более чем 341 000 — в два раза меньше, чем маленькая Бельгия.

Индустриализация Германии была важным историческим фактом. Кроме ее экономического значения, ее политическое значение имело далеко идущие последствия. В 1850 году Немецкая Федерация по численности населения приблизительно равнялась Франции, но имела несравнимо меньшую индустриальную мощность. К 1871 году объединенная Германская империя была уже чуть более густо населена, чем Франция, но обладала куда большей индустриальной мощью. И так как политическая и военная мощь теперь стали заметно зависеть от промышленного потенциала, технологической мощи и ноу-хау, политические последствия индустриального развития были более серьезными, чем когда-либо раньше. Войны 1860-х годов продемонстрировали это (см. главу 4 ниже). Впредь без этого ни одно государство не могло удерживать свое место в клубе «великих держав».

Характерными продуктами века были железо и уголь, и железные дороги, его наиболее наглядный символ, объединяли их. Текстильное производство, наиболее типичный продукт первой фазы индустриализации, росло сравнительно меньше. Потребление хлопка в 1850-е годы было приблизительно на 60% выше чем в 1840-е, явно оставалось на одном уровне в 1860-х годах (ввиду того, что промышленность была разрушена Гражданской войной в Америке) и увеличилось приблизительно на 50% в 1870-х годах. Производство шерсти в 1870-е годы увеличилось примерно вдвое по сравнению с 1840-ми годами. Но производство угля и чугуна в чушках увеличилось в пять раз, в то время как производство стали тогда впервые стало заметным. Действительно, в течение этого периода технологические новшества в железно- и сталелитейной промышленности играли роль, аналогичную роли

нововведений в текстильном производстве предыдущей эры. На континенте (кроме Бельгии, где он долго преобладал) каменный уголь заменил древесный в качестве главного топлива для плавки металла в 1850-е годы. Повсюду новые процессы — конвертор Бессемера¹⁴ (1856), печь с открытым очагом Сименса-Мартена (1864) — теперь сделали возможным производство дешевой стали, которая в конечном счете должна была заменить производимое железо. Однако его значение стало очевидным в будущем. В 1870 году лишь 15% от выработанного железа, произведенного в Германии, менее чем 10% от произведенного в Англии, появилось в виде стали. Наш период еще не был веком стали, даже еще не использовавшейся в производстве вооружений, которые дали новому материалу существенный стимул. Это был век железа.

До сих пор, хотя она и делала возможной революционную технологию будущего, новая «тяжелая индустрия» все еще не была особенно революционной, исключая, возможно, ее масштаб. В целом, Промышленная революция до 1870-х годов все еще проходила под влиянием, оказанным техническими новшествами 1760—1840-х годов. Тем не менее десятилетия середины века все же развили два вида промышленности, базирующихся на революционной технологии: химическую и (поскольку это было связано с коммуникациями) электрическую.

За немногими исключениями, главные технические изобретения первой промышленной фазы не требовали слишком передового научного знания. В самом деле, и к счастью для Англии, они были доступны практикам, обладавшим опытом и здравым смыслом, таким как Джордж Стивенсон, великий строитель железных дорог. С середины столетия ситуация уже существенно изменилась. Телеграф был тесно связан с академической наукой через людей, подобных К. Витстоуну (1801—1875) из Лондона и Вильяму Томпсону (Лорд Келвин) (1824—1907) из Глазго. Производство искусственных красителей, триумф синтеза химической массы, хотя его первый продукт (краска розовато-лилового цвета) не везде пользовался признанием с эстетической точки зрения, перешло из лабораторий на фабрику. Так же обстояло дело со взрывчатыми веществами и фотографией. По крайней

мере одно из серьезных новшеств в сталелитейном производстве, «базовый» процесс Джилкреста-Томаса, не вышло из высшего образования. Как свидетельствуют романы Жюль Верна (1828—1903), профессор стал намного более значимой фигурой в промышленном производстве, чем когда-либо прежде: разве не обращались виноделы во Франции к великому Л. Пастеру (1821—1895), чтобы решить трудные для них проблемы (см. ниже)? Кроме того, исследовательская лаборатория стала теперь составной частью промышленного развития. В Европе она оставалась привязанной к университетам или подобным учреждениям — как лаборатория Эрнста Аббе в Йене, которая фактически развилась в знаменитые заводы Цейсса, — но в Соединенных Штатах чисто коммерческая лаборатория появилась уже вслед за телеграфными компаниями. Скоро это было с успехом сделано Томасом Алвой Эдисоном (1847—1937).

Одним существенным последствием этого проникновения науки в промышленность было то, что впредь система образования стала более и более значимой для промышленного развития. Пионеры первой промышленной фазы, Англия и Бельгия, не были самыми образованными народами, и их системы технологического и высшего образования (если мы исключим шотландскую) были далеки от выдающихся. С этого времени и впредь было уже более невозможным для страны, испытывающей недостаток как в массовом образовании, так и в адекватных образовательных учреждениях, обладать «современной» экономикой; и, наоборот, бедным и отсталым странам с хорошей системой образования было легче врываться в развитие, как, например, Швеции*.

* Неграмотность в отдельных европейских странах (мужчины)^{12*}

Англия	(1875)†	17%	Швеция	(1875)‡	1%
Франция	(1875)‡	18%	Дания	(1859—1860)‡	3%
Бельгия	(1875)‡	23%	Италия	(1875)‡	52%
Шотландия	(1875)†	9%	Австрия	(1875)‡	42%
Швейцария	(1879)‡	6%	Россия	(1875)‡	79%
Германия	(1875)‡	2%	Испания	(1877)‡	63%

†Неграмотные женихи.

‡Неграмотные призывники.

Практическая ценность хорошего первичного образования для базирующихся на науке технологий, а также экономического и военного очевидна. Не последней причиной той легкости, с которой пруссаки разбили французов в 1870—1871 г., была значительно большая грамотность их солдат. С другой стороны, экономическое развитие, необходимое на более высоком уровне, не обладало чрезмерной научной оригинальностью и сложностью — они могли быть заимствованы — как способностью понимать и манипулировать наукой: скорее «развитие», чем исследование. Американские университеты и технические академии, которые отнюдь не были выдающимися по стандартам, скажем, Кембриджа и *Politechnique*, были намного экономичнее английских, так как они фактически обеспечивали систематичное образование для инженеров, какого еще не было прежде*. Они были лучше французских, потому что в большом количестве готовили инженеров соответствующего уровня вместо выпуска небольшого числа высокоинтеллектуальных и хорошо обученных. Немцы в этом отношении скорее полагались на свои отличные средние школы, чем на свои университеты, и в 1850-х годах первенствовали в создании *Realschule* (реальных школ), технически ориентированных неклассических средних школ. Когда в 1867 году «образованных» промышленников Рейнской области попросили внести пожертвования в честь празднования пятидесятой годовщины Боннского университета, почти все из четырнадцати промышленных городов, к кому обращались, ответили отказом, потому что «выдающиеся местные промышленники ни сами не приобщились к высшему академическому [*wissenschaftlich*] образованию в университетах, ни до сих пор не отдавали туда своих сыновей»^{13*}

Технология все еще базировалась на науке, и примечательно, как быстро нашли применение новшества относительно небольшого числа научных первопроходцев, если они мыслили в выражениях, легко переводимых на язык машин. Новое сырье, часто

* До 1898 г. единственным путем получить техническую профессию в Англии было ученичество.

только найденное вне пределов Европы, поэтому приобретало значение, которое должно было стать очевидным только в более поздний период империализма*. Так, нефть уже привлекла внимание изобретательных янки как подходящее горючее для ламп, но быстро нашла новые применения с помощью химической обработки. В 1859 году было произведено только две тысячи баррелей, но к 1874 году почти 11 миллионов баррелей (в основном из Пенсильвании и Нью-Йорка) уже дали возможность Джону Д. Рокфеллеру (1839—1937) установить монополию над новой промышленностью с помощью контроля за ее транспортировкой посредством его «Стандард Ойл Компани».

Однако эти новшества выглядят более значимо в ретроспективе, чем это было в свое время. В конце концов к исходу 1860-х годов эксперт все еще полагал, что единственными металлами, которые имели серьезное экономическое будущее, были цветные, известные еще в древности: железо, медь, олово, свинец, ртуть, золото и серебро. Марганец, никель, кобальт и алюминий, — считал он, — не кажутся предназначенными играть такую важную роль, как их почтенные предшественники^{14*}

Рост импорта резины в Англию с 7 600 cwt** в 1850 году до 159 000 cwt в 1876 году был заметным, но это количество резины было незначительно даже двадцатью годами позже. Этот материал, все еще в основном собиравшийся в диких местностях Южной Америки, по-прежнему главным образом применялся в таких вещах, как водонепроницаемая одежда и эластик. В 1876 году имелось ровно 200 телефонов, работающих в Европе, и 380 в Соединенных Штатах, и работа насоса с помощью электричества на Венской международной выставке была поразительной новинкой. Оглядываясь назад, мы можем видеть, что крупное достижение было весьма близко: мир собирался вступать в эру электрического света и мощности, стали и быстродействующих сталь-

* Европейские депозиты химического сырья выросли также быстро. Так, немецкие депозиты поташа, произведенного в количестве 58000 тонн в 1861—1865 гг., 455 000 тонн в 1871—1875 годах и составили свыше одного миллиона тонн в 1881—1885 годах.

** cwt — центнер (длинный) — 50,8024 кг (прим. изд.).

ных сплавов, телефона и фотографии, турбин и двигателя внутреннего сгорания. Однако в середине 1870-х годов этого еще не случилось.

Главным промышленным новшеством, отличным от уже упоминавшихся, основанных на науке, явилось, возможно, массовое производство машин, которые фактически были построены ремесленными методами, как все еще продолжали делать локомотивы и суда. Наибольший прогресс в разработке массового производства приходил из Соединенных Штатов, создателя револьвера «кольт», винтовки «винчестер», массового производства часов, швейных машин и (посредством скотобоен Цинциннати и Чикаго в 1860-х годах) современного сборочного конвейера, то есть механической доставки предмета производства от одной операции к следующей. Сущность произведенной машиной машины (которая подразумевала развитие современных автоматических или полуавтоматических машинных инструментов) состоял в том, что она была нужна в намного больших стандартизованных количествах, чем любая другая машина — то есть востребовалась индивидуалами, а не фирмами и учреждениями. Весь мир в 1875 году насчитывал около 62 000 локомотивов, но что значил этот спрос по сравнению с 400 000 наручных часов, массово произведенных в Соединенных Штатах за один год (1855), и винтовками, требуемыми 3-мя миллионами солдат Федерации и Конфедерации, мобилизованными в период между 1861 и 1865 годами, во время Гражданской войны в Америке? Следовательно, наиболее подходящими для массового производства были те изделия, которые могли бы использоваться большим числом малых производителей и фермеров, швеями (швейные машины), в офисах (печатная машинка), потребительские товары, такие как часы, но прежде всего стрелковое оружие и боеприпасы. Такие изделия были все еще несколько специфичными и нетипичными. Они беспокоили интеллектуальных европейцев, которые уже в 1860-х годах заметили технологическое превосходство Соединенных Штатов в массовом производстве, но не «деловых людей», которые думали лишь о том, что американцы не были бы обеспокоены созданием машин для производства плохих изде-

лий, если бы у них были квалифицированные и разносторонние ремесленники, такие, как европейцы. В конце концов, разве французский чиновник не требовал в начале 1900-х годов, чтобы, в то время как Франция не могла бы поддерживать уровень массового производства наравне с другими странами, она смогла бы больше чем поддерживать свой собственный в промышленности, где изобретательность и навык ремесла были решающими: производство автомобилей?

IV

Бизнесмен, смотря на окружающий мир в начале 1870-х годов, мог, следовательно, источать уверенность, чтобы не сказать самодовольство. Но было ли это оправданно? Хотя гигантское расширение мировой экономики, теперь прочно вставшей на индустриальную основу в нескольких странах и на плотном и действительно всемирном потоке товаров, капитала и людей, продолжалось и даже ускорилося, результат влияния энергии, которую она получила в 1840-х годах, был недолгим. Новый мир, открывшийся для капиталистического предпринимательства, продолжал бы расти — но он больше не был бы абсолютно *новым*. (Действительно, как только их продукты, такие как зерно и пшеница из американских прерий, пампасов и российских степей, начали поступать в старый свет, как делалось в 1870-х и 1880-х годах, они разрушили бы и расстроили сельское хозяйство как старых, так и новых стран.) В течение поколения продолжалось строительство мировых железных дорог. Но что произошло бы, если бы строительство было менее универсальным, потому что большинство железнодорожных линий было уже завершено? Технологический потенциал первой Промышленной революции, английской революции хлопка, угля, железа и паровых двигателей, казался достаточно обширным. До 1848 года, в конце концов, он едва ли вообще эксплуатировался вне Англии и только отчасти в пределах Англии. Поколение, которое начало эксплуатировать этот потенциал более адекватно, можно было простить

за то, что считало его неисчерпаемым. Но этого не было, и в 1870-х годах пределы такого вида технологии уже стали явственными. Что случилось бы, если бы он истощился?

Когда мир вступил в 1870-е годы, такие мрачные размышления казались абсурдными. Правда, процесс экспансии был, как теперь убедился каждый, странным образом катастрофическим. Острые, иногда резкие и заметные глобальные спады следовали за стратосферическими бумами, пока цены не падали настолько, чтобы расчистить затоваренные рынки и освободить почву от обанкротившихся предприятий, пока бизнесмены не начали вкладывать деньги и увеличивать расходы для обновления цикла. Это было в 1860 г., после первого из этих истинно мировых резких спадов (см. ниже), что академическая экономика, в лице замечательного французского доктора Клемента Жюглара (1819—1905), признала и измерила периодичность этого «торгового цикла», до сих пор рассматриваемого в основном социалистами и другими разнородными элементами. Все еще, хотя эти прерывания к расширению были драматическими, они были временными. Никогда экономическая эйфория среди бизнесменов не была выше чем в начале 1870-х годов, знаменитые *Gründerjahre*¹⁵ (годы содействия росту числа компаний) в Германии, эра, когда наиболее абсурдный и явно мошеннический проспект компании нашел возможность высасывать неограниченные деньги под свои обещания. То были дни, когда, как изложил это венский журналист, «компания создавались, чтобы транспортировать северное сияние по трубопроводам к площади св. Стефана и одерживать победу на приобретение права массовой продажи нашего крема для обуви среди аборигенов на островах Южного моря»^{15*}

Затем наступил крах. Даже для этого периода, который любил свои экономические бумы, широко шагающие и ярко окрашенные, он был довольно драматичным: 21 000 миль американских железных дорог обанкротились, доля немецкого объема ценностей упала приблизительно на 60% между пиком бума и 1877 годом и — более к сути — остановилась почти половина доменных печей в ведущих странах — производителях железа в мире. Поток переселенцев в Новый Свет превратился в скром-

ную реку. Между 1865 и 1873 годами каждый год в порт Нью-Йорка прибывало свыше 200 000 человек, а в 1877 году только 63 000. Но в отличие от более ранних спадов великого векового бума, этот не казался заканчивающимся. Не позднее 1889 года немецкое исследование, описывающее себя как «введение в экономические науки для должностных лиц и бизнесменов», рассматривало, что «начиная с краха биржевого рынка в 1873 году

слово «кризис» постоянно, с отдельными краткими перерывами, засело в голове у каждого»^{16*} И это в Германии, стране, чей экономический рост в течение этого периода продолжал оставаться весьма впечатляющим. Историки сомневались в существовании того, что называлось «Великой депрессией» 1873—1896 годов, и, конечно, она была ничем по сравнению с грандиозной депрессией 1929—1934 годов, когда мир капиталистической экономики был почти парализован. Однако современники ничуть не сомневались, что за великим бумом должна последовать великая депрессия.

Новая эра истории, как политическая, так и экономическая, открывается депрессией 1870-х годов. Она находится вне рамок этого издания, хотя мы можем заметить, по ходу дела, что она подорвала или разрушила основы либерализма середины девятнадцатого столетия, который казался столь прочно укоренившимся. Период, с конца 1840-х годов и до середины 1870-х, оказался не более чем обычной мудростью отрезка времени, моделью экономического роста, политического развития, интеллектуального прогресса и культурных достижений, которая должна была бы сохраниться, без сомнения, с соответствующими улучшениями, на неопределенный отрезок времени в будущем, но скорее как особый вид интерлюдии. Но его достижения, тем не менее, были очень впечатляющими. В эту эпоху индустриальный капитализм стал истинно мировой экономикой и, следовательно, земной шар превратился из географического выражения в постоянно действующую реальность. С этого момента история стала мировой историей.

ГЛАВА 3

ОБЪЕДИНЕННЫЙ МИР

Буржуазия, с помощью быстрого усовершенствования всех средств производства, значительного содействия средств связи, вовлекает все, даже наиболее варварские нации, в цивилизацию... Одним словом, она создает мир по своему подобию.

К. Маркс и Ф. Энгельс, 1848^{1*}

Как торговля, образование, так и быстрое изменение мысли и материи, с помощью телеграфа и пара изменили все, я скорее поверю, что великий Создатель готовит мир стать одной нацией, говорящей на одном языке, одним целым, которое сделает армии и флоты больше не нужными.

Президент Улисс С. Грант, 1873^{2*}

— Вы должны слышать все, что он сказал — я должен жить где-нибудь на горе, отправиться в Египет или Америку.

— Хорошо, что из того? — заметил холодно Штольц. — Вы можете быть в Египте через две недели и в Америке через три недели.

— Кто же поедет в Америку или Египет? Англичане, но тогда это способ, по которому Господь Бог создал их и кроме того, у них негде жить дома. Но кто из нас стал бы мечтать о путешествиях? Какой-нибудь отчаянный парень, возможно, чья жизнь для него самого ничего не стоит.

И. Гончаров. 1859^{3*}

I

Когда мы пишем «мировую историю» более ранних периодов, мы на самом деле лишь дополняем истории различных частей земного шара, которые, насколько они знали друг о друге, имели только маргинальные поверхностные контакты, если обитатели какого-либо региона не завоевали или не колонизировали других, как западноевропейцы американцев. Вполне возможно писать более раннюю историю Африки с помощью слу-

чайных ссылок на таковую Дальнего Востока, с небольшими ссылками (за исключением западного побережья и Мыса) на историю Европы, хотя и не без постоянной ссылки на исламский мир. То, что происходило в Китае, было, до восемнадцатого столетия, безразлично, кроме русских, для политических правителей Европы, исключая некоторые их отдаленные группы торговцев; то, что происходило в Японии, было неизвестно никому, кроме горстки голландских купцов, которым было позволено там бывать между шестнадцатым и серединой девятнадцатого веков. Наоборот, Европа для Поднебесной империи была просто областью внешних варваров, к счастью, достаточно удаленных, чтобы не создавать никакой проблемы оценки точной степени их покорности императору, хотя поднимая определенные незначительные проблемы управления для должностных лиц, отвечающих за некоторые порты. В этом отношении, даже в пределах регионов, в которых имело место значительное взаимодействие, многое могло быть спокойно игнорировано. Для кого в Западной Европе — для купцов или государственных деятелей — имело какое-нибудь значение то, что происходило в горах и долинах Македонии? Если бы Ливия оказалась полностью поглощена некоторыми природными катаклизмами, какое реальное значение имело бы это для каждого, даже в Османской империи, технически частью которой она была, или для ливанских торговцев различных наций?

Недостаток взаимозависимости различных частей земного шара был не просто результатом невежества, хотя, конечно, внешне регион привлекал интерес и часто в пределах него невежество «внутреннего содержания» было еще значительнее. Даже в 1848 году большие области различных континентов были окрашены в белый цвет на лучших европейских картах — особенно в Африке, Центральной Азии, внутренние области Южной и части Северной Америк и Австралии, не говоря уже о почти совсем неисследованных Арктике и Антарктике. Карты, которые могли бы составить другие картографы, возможно, содержали бы более обширные неисследованные пространства; если бы чиновники Ки-

тая или неграмотные разведчики, торговцы и *couveurs de bois*¹⁶ каждой континентальной глубинки знали намного больше о некоторых областях, крупных или маленьких, чем европейцы, общая сумма их географического знания была бы намного более необходимой. В любом случае, простое арифметическое добавление всего, что каждый эксперт знал о мире, было бы чисто академическим упражнением. Оно не было общедоступным: на деле, даже в пределах географического знания, не было *единого* мира.

Неведение было скорее симптомом, чем причиной недостатка единства мира. Оно отражало как отсутствие дипломатических, политических и административных отношений, которые действительно были достаточны слабы*, так и слабость экономических связей. Верно, что «мировой рынок», это решающее предварительное условие и характеристика капиталистического общества, развивался долго. Международная торговля** по своему объему более чем удвоилась в период между 1720 и 1780 годами. В период двойственной Революции (1780—1840) она увеличилась более чем в три раза, но все же даже этот существенный рост был скромным по меркам нашего периода. К 1870 году объем заграничной торговли на каждого жителя Соединенного Королевства, Франции, Германии, Австрии и Скандинавии вырос в четыре-пять раз, по сравнению с 1830 годом, для каждого голландца и бельгийца приблизительно в три раза, и даже для каждого гражданина Соединенных Штатов — страны, для которой заграничная торговля не имела особой важности — более чем вдвое. В течение 1870-х годов ежегодный объем перевозимых по

* Библия европейских дипломатических, генеалогических и политических знаний, *Almanache de Gotha*, хотя и довольно осторожная, чтобы записывать то, что было малоизвестным об экс-колониях, которые теперь были американскими республиками, не включала сведений о Персии до 1859 г., Китае до 1861 г., Японии до 1869 г., Либерии до 1868 г. и Марокко до 1871 г. Сиам вошел туда только в 1880 г.

** То есть общая сумма всего экспорта и импорта для всех стран в пределах европейской экономической статистики того периода.

морю товаров — приблизительно 88 миллионов тонн веса — был обменен между главными нациями, по сравнению с 20 миллионами в 1840 году. Тридцать один миллион тонн угля пересек моря, по сравнению с 1,4 миллионами; 11,2 млн тонн зерна, в сравнении менее чем с 2 миллионами; 6 млн тонн железа по сравнению с 1 миллионом; даже — предвосхищая двадцатое столетие — 1,4 млн тонн нефти, которая была неизвестна заморской торговле в 1840 году.

Давайте измерим сужение сети экономических обменов между частями мира, довольно далеко удаленными друг от друга. Британский экспорт в Турцию и на Средний Восток вырос с 3,5 миллионов фунтов в 1848 году до вершины почти в 16 миллионов в 1870 году; и Азию с 7 млн до 41 млн (1875); в Центральную и Южную Америку с 6 млн до 25 млн (1872); в Индию приблизительно с 5 млн до 24 млн (1875); в Австралию с 1,5 млн до почти 20 млн (1875). Иными словами, за 35 лет объем обменов между самыми промышленно развитыми и наиболее удаленными или отсталыми регионами мира увеличился приблизительно в шесть раз. Даже это, конечно, не очень впечатляет по современным меркам, но в своем объеме это далеко превзошло все, что было задумано предварительно. Сеть, которая связывала различные регионы мира, становилась все теснее.

Насколько тесно процесс продолжения исследования, который постепенно заполнял пустые места на картах, был связан с ростом мирового рынка, является сложным вопросом. Кое-что из этого было побочным продуктом внешней политики, кое-что миссионерского энтузиазма, кое-что научной любознательности и, к концу нашего периода, чем-то вроде журналистики и публицистической деятельности. Еще ни Дж. Ричардсон (1787—1865), Х. Барт (1821—1865) и А. Овервег (1821—1852), которые были посланы британским Министерством иностранных дел исследовать Центральную Африку в 1849 году, ни великий Дэвид Ливингстон (1813—1873)¹⁷, который искал вдоль и поперек сердце того, что до сих пор известно как «черный континент», с 1840 до 1873 года в интересах кальвинистского христианства, ни Генри

Мортон Стоили (1841—1904), журналист из «Нью-Йорк Геральд», отправившийся исследовать свое место нахождение (особенно не он!), ни С. В. Бейкер (1821—1892) и Дж. Х. Спек (1827—1864), чьи интересы были скорее географические или авантурные, не являлись или могли не являться сведущими об экономическом значении своих путешествий.

«Милостивый Бог не нуждался ни в каком человеке, и распространение Евангелия происходит без людской помощи; тем не менее, это способствовало бы славе европейской торговли, если бы она оказывала помощь в задаче разрушения барьеров, которые стоят на пути евангелизации...»^{4*}

Исследовать означает не только знать, но и развивать, выявлять неизвестное и, следовательно, представлять по определению отсталое и варварское, на свет цивилизации и прогресса; одевать безнравственность наготы дикарей в рубашки и брюки, которые благостное провидение производило в Болтоне и Рубэ, доставлять товары из Бирмингема, которыми цивилизация неизбежно способствовала их пробуждению.

Действительно, те, кого мы называем «исследователи» середины девятнадцатого столетия, были просто хорошо разрекламированной, но не очень значимой по численности подгруппой большой массы людей, которые открыли земной шар для познания. Они были теми, кто путешествовал по областям, где экономическое развитие и прибыль были еще не достаточно активны, чтобы заменить «исследователя» (европейским) торговцем, изыскателем минералов, землемером, строителем железной дороги и телеграфа, и в конце, если климат казался подходящим, белым поселенцем. «Исследователи» доминировали в картографии внутренней Африки, потому что этот континент не располагал безусловно очевидными экономически ценными качествами для Запада в период между упразднением работорговли на атлантическом побережье и открытием, с одной стороны, ценных камней и металлов (на Юге), с другой — экономической ценности некоторых полуфабрикатов, которые могли быть выращены или собраны только в тропическом климате и

были еще далеки от синтетического производства. Ничто еще не представляло большой важности и не казалось перспективным до 1870-х годов, хотя представлялось мыслимым, что такой большой и малоразработанный континент не оказался бы, скорее раньше чем позже, источником богатства и прибыли. (В конце концов, британский экспорт в Африку вырос с приблизительно 1,5 млн фунтов в конце 1840-х годов до приблизительно 5 миллионов в 1871 году — он удвоился в 1870-х годах, достигая примерно 10 млн в начале 1880-х годов — что ни в коем случае не было неожиданным). «Исследователи» также преобладали в освоении Австралии, потому что внутренняя пустыня была обширной, пустой и, до середины девятнадцатого столетия, лишенной очевидных ресурсов для экономической эксплуатации. С другой стороны, океаны мира прекратили, кроме Арктики и Антарктики, которые вызывали небольшой интерес во время нашего периода, — занимать мысли «исследователей»*. Все же заметное расширение торгового флота, и прежде всего прокладка больших подводных кабелей, подразумевали многое из того, что по праву может быть названо исследованием.

Мир в 1875 году был, таким образом, известен намного лучше, чем когда-либо прежде. Даже на национальном уровне подробные карты (в основном разработанные для военных целей) были теперь доступны во многих развитых странах: первая публикация такого рода, «Артиллерийские обзорные карты Англии» — пока еще без Шотландии и Ирландии — была завершена в 1862 году. Однако более важным, чем простое знание, было то, что наиболее удаленные части мира теперь начинали быть связаны посредством линий связи, которая не имела прецедента по части регулярности, способности транспортировать мно-

* Стимул здесь был в основном экономический — поиск реального северо-западного или северо-восточного прохода для судоходства из Атлантического в Тихий океан, который — подобно трансполярным полетам наших дней — сэкономил бы много времени и, следовательно, денег. Поиск действительного Северного полюса в течение этого периода не проводился со сколько-нибудь заметным упорством.

жество товаров и массы людей, и прежде всего, в смысле скорости: железная дорога, пароход, телеграф.

К 1872 году они достигли триумфа, отмеченного Жюлем Верном: возможности совершить путешествие вокруг света за восемьдесят дней, даже учитывая многочисленные неудачи, которые упорно преодолевались упрямым Филисом Фоггом. Читатели могут вспомнить маршрут невозмутимого путешественника. Он проехал по железной дороге и на пароходе через Европу от Лондона до Бриндизи и отсюда на лодке через недавно открытый Суэцкий канал (на что потребовалось семь дней). Поездка из Суэца в Бомбей на лодке заняла у него тринадцать дней. Переезд по железной дороге из Бомбея в Калькутту ввиду неудачи завершить протяжение линии, продолжался три дня. Отсюда по морю в Гонконг, Йокогаму и через Тихий океан в Сан-Франциско требовалось добраться в течение сорока одного дня. Однако, с тех пор как железная дорога через Американский континент была завершена в 1869 году, только все еще не полностью контролируемые опасности Запада — стада бизонов, индейцы, и т. д. — стояли между путешественником и нормальной семидневной поездкой в Нью-Йорк. Остаток поездки — пересечение Атлантического океана в Ливерпуль и по железной дороге в Лондон — не должен был создать никаких проблем, кроме для требований умышленной задержки. Является фактом, что немного позже предприимчивый американский агент-путешественник предложил похожий маршрут поездки вокруг земного шара.

Сколько времени заняла бы поездка, подобная предпринятой Фоггом в 1848 году? Она почти полностью должна была пройти по морю, так как железнодорожные линии еще не пересекали континент, и фактически в то время в мире нигде не существовало ни одной железной дороги, кроме Соединенных Штатов, где их протяженность вглубь страны едва превышала две сотни миль. Самым быстроходным из парусных судов, знаменитым чайным клиперам, требовалось самое меньшее обычно 110 дней для поездки в Кантон в районе 1870-го года, когда они были на верши-

не своего технического совершенства; они не могли совершить это плавание менее чем за девяносто дней, но как известно, совершили его за 150 дней. Мы едва ли можем предположить кругосветное плавание в 1848 году менее чем за одиннадцать месяцев, или, скажем, за время, в четыре раза меньшее, как Филлис Фогг, не считая времени пребывания в порту.

Это усовершенствование во время дальних путешествий было относительно небольшим, в основном из-за задержки с усовершенствованием морских скоростей. Среднее время для трансатлантической поездки на пароходе из Ливерпуля в Нью-Йорк в 1851 году составляло от одиннадцати до двенадцати с половиной дней; оно оставалось по существу таким же и в 1873 году, хотя линия «Белая Звезда» гордилась снижением срока путешествия до десяти дней^{5*} За исключением тех мест, где дорога морем сокращалась, с помощью Суэцкого канала, Фогг не мог надеяться добиться большего, чем путешественник в 1848 году. Реальное преобразование произошло на земле — благодаря железной дороге, и даже не столько из-за увеличения скоростей, которые технически могли развивать паровые локомотивы, сколько из-за необыкновенного расширения железнодорожного строительства. Движение по железной дороге 1848 года было в самом деле вообще куда более медленным, чем скорость перевозок 1870-х годов, хотя достичь Холихеда из Лондона уже можно было за 8 с половиной часов, что на три с половиной часа больше, чем в 1874 г. (К 1865 году, однако, сэр Уилльям Уайлд — отец Оскара и известный рыбак — смог предложить своим лондонским читателям воскресную поездку в Коннемар и обратно на небольшую рыбалку, которая была бы невозможна из-за недостатка времени по железной дороге и судне сегодня, и далека от легкой без обращения к путешествию по воздуху). Однако локомотив, разработанный в 1830-х годах, был замечательно эффективным механизмом. Но чего не существовало в 1848 году вне пределов Англии, так это чего-либо похожего на железнодорожную сеть.

II

Период, которому посвящена эта книга, видел создание такой большой железнодорожной сети уже почти повсюду в Европе, в Соединенных Штатах и даже в некоторых других частях мира. Приводимые таблицы, первая дает общую картину, а вторая более детальную, говорят сами за себя. В 1845 году, вне Европы, единственной «слаборазвитой» страной, которая обладала лишь милей железнодорожной линии, была Куба. К 1855 году имелись железнодорожные линии на всех пяти континентах, хотя таковые в Южной Америке (Бразилии, Чили, Перу) и в Австралии были едва заметны. К 1865 году Новая Зеландия, Алжир, Мексика и Южная Африка обладали своими первыми железными дорогами и к 1875 году, когда Бразилия, Аргентина, Перу и Египет располагали примерно тысячью миль пути или больше, Цейлон, Ява, Япония и даже далекий остров Таити обрели свои первые железнодорожные линии. Тем временем, к 1875 году мир обладал 62 000 локомотивов, 112 000 вагонов и почти полумиллионом товарных вагонов, идущих между ними, так что это было оценено в 1 371 000 пассажиров и 715 миллионов тонн товаров, или в девять раз больше, чем перевозилось по морю каждый год (в среднем) в течение этого десятилетия. Третья четверть девятнадцатого столетия была, в количественном измерении, первым настоящим веком железной дороги.

**Открытая протяженность железных дорог в милях
(тысячи миль)^{6*}**

	1840	1850	1860	1870	1880
Европа	1,7	14,5	31,9	63,3	101,7
Северная Америка	2,8	9,1	32,7	56,0	100,6
Индия	—	—	0,8	4,8	9,3
Остальная Азия	—	—	—	—	*
Австралия	—	—	*	1,2	5,4
Латинская Америка	—	—	*	2,2	6,3
Африка (включая Египет)	—	—	*	0,6	2,9
Весь мир	4,5	23,6	66,3	128,2	228,4

* Менее чем 500 миль.

Прогресс железнодорожного строительства^{7*}

	1845	1855	1865	1875
Число стран в Европе				
с железными дорогами	9	14	16	18
с железнодорожной линией свыше 1000 км	3	6	10	15
с железнодорожной линией свыше 10000 км	—	3	3	5
Число стран в обеих Америках				
с железными дорогами	3	6	11	15
с железнодорожной линией свыше 1000 км	1	2	2	6
с железнодорожной линией свыше 10000 км	—	1	1	2
Число стран в Азии				
с железными дорогами	—	1	2	5
с железнодорожной линией свыше 1000 км	—	—	1	1
с железнодорожной линией свыше 10000 км	—	—	—	1
Число стран в Африке				
с железными дорогами	—	1	3	4
с железнодорожной линией свыше 1000 км	—	—	—	1
с железнодорожной линией свыше 10000 км	—	—	—	—

Строительство больших магистральных линий естественно получало наибольшую огласку. Взятое в целом, это действительно было самой большой частью общественных работ и почти самым большим великолепным достижением инженерии, известным истории человечества до того времени. Когда железные дороги покинули нетребовательную топографию Англии, их технические достижения стали более заметными чем когда-либо. Южная железная дорога из Вены в Триест уже пересекла перевал Земминринга на высоте почти в 3000 футов в 1854 году; к 1871 году пути через Альпы поднялись до 4500 футов; к 1869 году железнодорожная линия «Юнион Пасифик» коснулась отметки 8600 футов при пересечении Скалистых гор; и к 1874 году этот триумф экономического конкистадора середины 19 столетия Генри Мейггса (1811—1877) — Перуанская железная дорога медленно продвигалась на высоте в 15 840 футов. Когда они поднялись между вершинами, они прошли в тоннелях под скалами, уменьшая чрезвычайно скромные достижения ранних английских железных дорог. Первый из больших альпийских тоннелей, Монт-Сени, был

начат в 1857 году и закончен в 1870, и его семь с половиной миль первым преодолел почтовый поезд, сокращая таким образом на 24 часа поездку до Бриндизи (факт, использованный Филисом Фоггом, как мы помним).

Невозможно не разделять чувство волнения, самоуверенности, гордости, которое охватывало тех, кто жил в этот героический век инженеров, когда железная дорога впервые соединила Ла-Манш и Средиземноморье, когда стало возможным путешествовать по железной дороге в Севилью, Москву, Бриндизи, когда железные пути продвинулись на Запад через Североамериканские прерии и горы и через индийский субконтинент в 1860-х годах, до долины Нила и в глубинные районы Латинской Америки в 1870-х годах.

Как можем мы не восхищаться ударными отрядами индустриализации, которые построили их, армиями крестьян, часто организованными в кооперативные бригады, которые перемещали в невообразимых количествах землю и камни кирками и лопатами, профессиональными английскими и ирландскими землекопами и прорабами, которые строили железнодорожные линии далеко от своих родных стран, машинистами или механиками из Ньюкасла или Болтона, которые брались вводить в эксплуатацию новые железные дороги в Аргентине или Новом Южном Уэльсе*? Как мы можем не сочувствовать армиям кули¹⁸, которые оставили свои кости вдоль каждой линии пути? Даже сегодня прекрасный фильм Сатьяджита Рэя «Дорожник Панчали» (созданный на основе бенгальского романа XIX века) позволяет нам заново удивляться первым паровым поездам, использовавшимся когда-либо, массивным железным драконом, непреодолимой и вдохновляющей силой самого индустриального мира, прокладывающей свой путь там, где прежде не проходил никто кроме телег, запряженных волами, или вьючных мулов.

* Мы находим их следы среди удачливых бизнесменов, таких как механик локомотивов Уильям Паттисон из Ньюкасла, который поехал за границу в качестве мастера-ремонтника на французскую железную дорогу и в 1852 году помог организовать то, что вскоре стало второй по величине машиностроительной фирмой в Италии^{8*}.

Мы также не можем оставаться равнодушными к людям в высоких цилиндрах, которые организовали и руководили этими обширными преобразованиями человеческого ландшафта — материальными и духовными. Томас Брасси (1805—1870), который временами нанимал восемьдесят тысяч человек на пяти континентах, был только наиболее знаменитым из этих предпринимателей, список его заморских предприятий эквивалентен почестям битвы и генеральским медалям за кампанию в менее просвещенные дни: Прато и Пистойя, Лион и Авиньон, Норвежская железная дорога, Ютландия, Большая магистраль Канады, Бильбао и Миранда, Восточная Бенгалия, Маврикий, Квинсленд, Центральная Аргентина, Лемберг и Черновиц, Делийская железная дорога, Бока и Барракас, Варшава и Тересполь, доки Каллао.

«Роман промышленности», фраза, которую поколения публичных ораторов и коммерсанты-самохвалы должны были лишить ее оригинального, а на самом деле любого значения, увлекает даже банкиров, финансистов, биржевых маклеров, просто находивших деньги для строительства железной дороги. Ракеты скорее самоопьяненных чем нечестных финансов, люди, подобные Джорджу Хадсону (1800—1871) или Бартелю Страусбергу (1823—1884), обанкротились так же, как они получили богатство и выдающееся общественное положение. Их крахи стали вехами в экономической истории. (Нельзя ничего подобного принимать в расчет относительно настоящих «баронов-грабителей» среди американских железнодорожников — Джима Фиска [1834—1872], Джея Гулда [1836—1892], коммодора Вандербильта [1794—1877] и т. д. — которые просто скупали и грабили существующие железные дороги, так же как и все другое, к чему они прилагали руки). Трудно отказаться от невольного восторга даже наиболее очевидными мошенничествами железнодорожных строителей. Генри Мейпс был по любым меркам бесчестным авантюристом, оставляя позади себя шлейф неоплаченных счетов, взятки и воспоминания о роскошных тратах вдоль всего западного побережья американского континента, будучи как у себя дома в широко открытых центрах подлости и эксплуатации, подобных Сан-Франциско и Панаме, скорее чем в среде респектабельных бизнесме-

нов. Но может ли кто-нибудь, кто когда-либо видел Перуанскую Центральную железную дорогу, отрицать великолепие замысла и масштаба его романтического, если не мошеннического, воображения?

Это сочетание романтизма, предприимчивости и денег, возможно, наиболее драматично показано любопытной французской сектой сен-симонистов¹⁹. Эти апостолы индустриализации перешли, особенно после неудачи революции 1848 года, от набора догм, который ввел их в исторические книги в качестве «утопических социалистов», к динамичному авантюрному предпринимательству как «капитаны индустрии», но прежде всего как строители коммуникаций. Они были не единственными, мечтавшими о мире, объединенном с помощью торговли и технологии. Такой немыслимый центр всемирного предпринимательства, как фактически не имеющая выхода к морю Габсбургская империя, произвел «Австрийский Ллойд» в Триесте, чьи суда, предвосхищая пока еще непостроенный Суэцкий канал, были названы «Бомбей» и «Калькутта». Не кто иной, как сен-симонист Ф. М. де Лессепс (1805—1894)²⁰, фактически построил Суэцкий канал и позже, к несчастью для себя, спланировал Панамский канал.

Братья Иссак и Эмиль Перейра стали известными в основном как предприимчивые финансисты, проявившие себя в эпоху империи Наполеона III. Все же Эмиль сам контролировал строительство первой французской железной дороги в 1837 году, живя в квартире над мастерскими, рискнув продемонстрировать преимущества нового вида транспорта. Во время Второй Империи братья Перейра должны были строить железнодорожные линии по всему континенту, вступив в титаническое единоборство с более консервативными Ротшильдами, которые в конечном счете разорили их (1869). Другой сен-симонист, П. Ф. Талабо (1789—1885), строил среди всего прочего железные дороги в юго-восточной Франции, марсельские доки и венгерские железные дороги, скупал баржи, ставшие ненужными ввиду сокращения судоходства на реке Роне, надеясь использовать их для коммерческого плавания по Дунаю к Черному морю — проект, на который наложила вето Габсбургская империя. Такие люди мыслили мас-

штабами континентов и океанов. Для них мир был единым целым, связанным рельсами из железа и паровыми машинами, потому что горизонты бизнеса были как и их мечты всемирными. Для таких людей человеческая судьба, история и прибыль были предметами одного порядка.

С глобальной точки зрения, сеть железнодорожных магистралей оставалась дополнением к сети международного судоходства. В том, насколько она существовала в Азии, Австралии, Африке и Латинской Америке, железная дорога, признанная экономной, была сначала средством для связи определенных областей, производящих большое количество полуфабрикатов, с портом, откуда они могли быть отправлены в промышленные и городские зоны мира. Грузовое судоходство, как мы видели, не ускорилось в наш период. Его сравнительная техническая медлительность показана тем фактом, хорошо известным сегодня, что парусное судно продолжало успешно состязаться с новым пароходом, благодаря технологически менее существенным, но все еще заметным усовершенствованиям в своей собственной эффективности. Энергия пара на самом деле возросла с приблизительно 14 процентов мировой мощности перевозок в 1840 году до 49 процентов в 1870 г., но парус все еще был слегка впереди. Так было до 1870-х и особенно 1880-х годов, когда парус выбыл из гонки. (К концу последнего десятилетия парусное мореплавание сократилось почти до 25% мировой мощности перевозок). Триумф парохода был по существу триумфом английского торгового флота, или скорее английской экономики, которая стояла за этим. В 1840-х 1850-х годах английские суда составляли около четверти — чуть больше или чуть меньше — мирового номинального тоннажа пароходов, в 1870-х гг. скорее более $\frac{1}{3}$, в 1880 году более половины. Другими словами, между 1850 и 1880 годами британский паровой тоннаж увеличился на 1600%, тогда как всего остального мира приблизительно на 440%. Это было довольно естественно. Если груз должен был быть погружен в Каллао, Шанхае или Александрии, преимущество состояло в том, что он должен был предназначаться для Англии. И загружалось много судов. Часть их с четвертью миллиона тонн (900 000 из них анг-

лийские) проходила через Суэцкий канал в 1874 году — в первый год его эксплуатации было провезено менее чем полмиллиона тонн. Регулярное движение через Северную Атлантику было даже больше: 5,8 млн тонн поступили в три главных порта восточного побережья Соединенных Штатов в 1875 г.

Железная дорога и судоходство, между тем, перевозили товары и людей. Однако, по существу, наиболее поразительное технологическое преобразование нашего периода состояло в передаче сообщения посредством электрического телеграфа. Этот революционный прибор, казалось, был уже изобретен в середине 1830-х годов таинственным способом, в котором такие проблемы внезапно обрываются в направлении их решения. В 1836—1837 годах он был изобретен почти одновременно рядом разных исследований, из которых Кук и Витстоун были наиболее успешными. В течение нескольких лет он применялся на железной дороге, и что более важно, уже с 1840 г. рассматривались планы подводных линий, хотя они не стали реальными до 1874 года, когда великий Фарадей предложил изолировать кабели посредством резины. В 1853 году австриец, некто Гинтл, и двумя годами позже другой австриец, Шмарк, продемонстрировали, что два сообщения могут посылаться по одному проводу в двух направлениях; к концу 1850-х годов Американской телеграфной компанией была освоена система для пересылки двух тысяч слов в час; к 1860 году Витстоун запатентовал автоматически печатающий телеграф, предка телеграфных лент и телексов.

Англия и Соединенные Штаты уже в 1840-х годах применяли это новое устройство, один из первых примеров технологии, разработанной с помощью ученых, которая едва ли могла быть развита исключительно на основе фальсифицированной научной теории. Промышленно развитые части Европы быстро приняли его на вооружение после 1848 года: Австрия и Пруссия в 1849 году, Бельгия в 1850, Франция в 1851, Голландия и Швейцария в 1852, Швеция в 1853, Дания в 1854. Норвегия, Испания, Португалия, Россия и Греция ввели его во второй половине 1850-х, Италия, Румыния и Турция в 1860-х годах. Обычные телеграфные линии и столбы множились: 2000 миль в 1849 году на европейском кон-

тиненте, 15 000 в 1854, 42 000 в 1859, 80 000 в 1864, 111 000 в 1869 году. То же самое произошло и с телеграфными сообщениями. В 1852 году менее чем четверть миллиона их было отправлено во все шесть континентальных стран, которые к тому времени ввели телеграф. В 1869 году Франция и Германия послали свыше 6 миллионов каждая, Австрия свыше 4 млн, Бельгия, Италия и Россия свыше 2 миллионов, даже Турция и Румыния между 600 000 и 700 000 каждая^{9*}

Однако наиболее существенным достижением было фактическое создание подводных кабелей, впервые проложенных через Ла-Манш в начале 1850-х годов (Дувр—Кале — 1851 год, Рамсгейт—Остенде — 1853 год), но на существенно большие расстояния. Кабель через Северную Атлантику был запланирован в середине 1840-х годов, и фактически проложен в 1857—1858 годах, но разрушился из-за плохой изоляции. Вторая попытка проложить его с помощью знаменитого «*Great Eastern*» — самого большого судна в мире — в качестве кабелеукладчика, последовала в 1865 году. Затем был предпринят ряд международных прокладок кабелей, которые в пределах пяти или шести лет фактически опоясали земной шар. В 1870 году одних кабелей было проложено из Сингапура до Батавии, Мадрас—Пенанг, Пенанг—Сингапур, Суэц—Аден, Аден—Бомбей, Пенцанс—Лиссабон, Лиссабон—Гибралтар, Гибралтар—Мальта, Мальта—Александрия, Марсель—Бон, Эмден—Тегеран (по суше), Бон—Мальта, Салькомб—Брест, Бичи Хед—Гавр, Сантьяго-де-Куба—Ямайка, Мёэн-Борн-кольм—Либау и другие пары линий через Северное море. К 1872 году было возможно телеграфировать из Лондона в Токио и Аделаиду. В 1871 году результат скачек в Дебри был передан из Лондона в Калькутту буквально за пять минут, хотя новости волновали значительно меньше чем достижения. Что представляли восемьдесят дней Филиса Фогга по сравнению с этим? Такая скорость связи была не просто беспрецедентной или, фактически, несравненной. Для большинства людей в 1848 году это совершенно не укладывалось в голове.

Создание этой всемирной системы телеграфа соединило как политические, так и коммерческие элементы: за главным исклю-

чением Соединенных Штатов, внутренний телеграф был или стал почти полностью принадлежащим государству и действующим, даже Англия национализировала его и включила в Министерство почты в 1869 году. С другой стороны, подводные кабели оставались почти полностью резервом частного предпринимательства, которое построило их, хотя очевидно по карте, что они имели существенный стратегический интерес во всех случаях для Британской империи. Они на самом деле представляли непосредственную важность для правительства, не только в военных и политических целях, но и для управления — как свидетеля необычно большого числа телеграмм, посылаемых в таких странах, как Россия, Австрия и Турция, чей торговый и частный транспорт был едва подотчетен им. (Австрийский транспорт постоянно превышал северонемецкий до начала 1860-х годов.) Ввиду большой территории для властей наиболее полезным было располагать более оперативными средствами связи со своими отдаленными заставами.

Очевидно, что бизнесмены активно использовали телеграф, но и частные граждане скоро обнаружили его пользу — в основном, конечно, для срочных, и обычно не терпящих отлагательств, связей с родственниками. К 1869 году приблизительно 60% всех бельгийских телеграмм были частными. Но наиболее существенно то, что новое использование устройства не могло измеряться только числом сообщений. Телеграф преобразовал *новости*, как и предвидел Джулиус Рейтер (1816—1899), когда он основал свое телеграфное агентство в Э-ла-Шапель (Аахен) в 1851 году. (Он ворвался на английский рынок, с которым с того времени ассоциируется агентство Рейтер, в 1858 году.) С журналистской точки зрения средние века закончились в 1860-х годах, когда международные новости свободно могли передаваться по телеграфу из достаточно большого числа мест на земном шаре, чтобы на следующее утро попасть за стол к завтраку. Сенсационные новости больше не измерялись в днях, или поступающие с отдаленных территорий, в неделях или месяцах, а в часах и даже минутах.

И все же это необыкновенное увеличение скорости связи имело

парадоксальный результат. Расширяя разрыв между местами, доступными новой технологии, и остальным миром, оно усиливало относительную отсталость тех частей земного шара, где лошадь, бык, мул, человек-носильщик или лодка по-прежнему определяли скорость транспортировки. В то время, когда Нью-Йорк мог телеграфировать Токио за считанные минуты или часы, она стала настолько поразительной, что при всех своих возможностях «Нью-Йорк Геральд» не мог получить письмо от Дэвида Ливингстона в Центральной Африке для нее менее чем за восемь или девять месяцев (1871—1882); более всего поразительно, что «Таймс» в Лондоне смогла напечатать это же письмо на следующий день после его публикации в Нью-Йорке. «Дикость» «дикого Запада», «темнота» «темного континента» отчасти были следствием таких контрастов.

Такой была замечательная страсть публики к исследователю и человеку, который все более и более шел к тому, чтобы называться «путешественником» *tout court* — то есть персоной, путешествующей в пределах или вне границ технологии, вне области, внутри которой отдельная каюта парохода, купе *спального вагона* (оба являются изобретениями нашего периода), отель и *пансион* заботились о туристе. Филис Фогг путешествовал на этой границе. Интерес его предприятия лежал как в демонстрации того, что железная дорога, пароход и телеграф теперь почти окружали земной шар, так и в изучении неисследованных областей и остающихся свободными пространств, которые все еще сдерживали кругосветные путешествия, мешая их превращению в дело вполне обычное.

Однако «путешественниками», чьи отчеты пользовались наибольшим успехом у читателей, были те, которые противостояли опасностям неизведанного практически без помощи современной технологии, по крайней мере не большей, чем смогли бы ее унести на своих крепких спинах многочисленные туземные проводники. Они были исследователями и миссионерами, особенно те, кто проникал вглубь Африки, авантюристами, особенно те, кто действовал на ненадежных территориях ислама, натуралистами, охотящимися за бабочками и птицами в южноамериканских джун-

глях или на островах Тихого океана. Третья четверть девятнадцатого столетия была, как быстро открыли издатели, началом золотого века новой породы путешественников в креслах, следующих за Бартоном и Спеком, Стенли и Ливингстоном, продираясь сквозь кустарники и первобытный лес.

III

Тем не менее, усиление международных экономических связей втягивало даже географически очень удаленные области в прямые, а не просто литературные отношения с остальным миром. То, что имело значение, было не просто скоростью — хотя растущая интенсивность передвижения также предъявляла повышенные требования к скорости — а диапазон последствий. Это может быть живо проиллюстрировано на примере одного экономического события, которое открывает наш период, так, как это было доказано, во многом определившее его форму: открытие золотых копей в Калифорнии (и, чуть позже, в Австралии).

В январе 1848 года, человек, именуемый Джеймсом Маршаллом, обнаружил золото на обширных пространствах у Саттерс-Милл возле Сакраменто в Калифорнии, северном продолжении Мексики, которое было только что аннексировано Соединенными Штатами и не представляло значительного экономического интереса, за исключением некоторых крупных мексикано-американских владельцев поместий и ранчерос, рыбаков и китобоев, которые использовали удобную гавань залива Сан-Франциско, где была расположена деревня с населением в 812 белых людей. Так как эта территория была обращена к Тихому океану и отгорожена от остальной части Соединенных Штатов большими горными кряжами, пустынями, прериями, ее несомненные природные богатства и привлекательность не вызвали немедленного интереса у капиталистических предпринимателей, хотя они, конечно, были признаны. Золотая лихорадка быстро изменила все это. Обрывочные вести об этом проникли на остальную территорию Соединенных Штатов к августу или сентябрю того же года,

но вызвали малый интерес, пока не получили подтверждения от президента Полка²¹ в его декабрьском президентском сообщении. С этого времени золотая лихорадка ассоциируется с «сорокадевятниками». В конце 1849 года население Калифорнии увеличилось с 14 000 до неполных 100 000, в последнюю четверть 1852 года до четверти миллиона; Сан-Франциско уже был городом с населением почти в 35 000 человек. За последние три квартала 1849 года к его гавани пришвартовалось около 540 судов, приблизительно половина из американских, половина из европейских портов, в 1851 году там пришвартовалось 1150 судов, с общим водоизмещением почти в полмиллиона тонн.

Экономические результаты этого внезапного бума здесь, и с 1851 года в Австралии, много обсуждались, но современники не сомневались в его важности. Энгельс с горечью отмечал в письме к Марксу в 1852 году: «Калифорния и Австралия — два случая, не предусмотренные в *[Коммунистическом] Манифесте*: создание больших новых рынков из ничего. Мы должны будем учесть это»^{10*}. Насколько они были ответственны за общий бум в Соединенных Штатах, за всплеск международной экономики (см. главу 2 выше), нам нет нужды решать именно здесь. Что несомненно в любом случае, так это то, что локализованное развитие на расстоянии многих тысяч миль от Европы имело, по мнению компетентных наблюдателей, почти немедленное и далеко идущее воздействие на этот континент. Взаимосвязь мировой экономики едва ли могла бы быть продемонстрирована лучше.

То, что золотая лихорадка должна была затронуть европейскую метрополию и Восток Соединенных Штатов, а также глобально мыслящих торговцев, финансистов и грузоотправителей, конечно, не является удивительным. Ее немедленные последствия в других, и географически удаленных, частях земного шара являются более неожиданными, хотя этому сильно помог тот факт, что для практических целей Калифорния была доступна только с моря, где расстояние не является серьезным препятствием для связи. Золотая лихорадка быстро пересекала океаны. Матросы тихоокеанских судов сбегали, чтобы попытать свое счастье на золотоносных участках, как это сделала большая часть жителей

Сан-Франциско, сразу же после того, как новости дошли до них. В августе 1849 года двести судов, покинутых своими экипажами, засоряли водное пространство, их древесина в конечном счете была пущена на строительство. На Сэндвичевых островах (Гавайи), в Китае и Чили моряки слушали новости, мудрые капитаны — подобно англичанам, торгующим на западном побережье Южной Америки — отказывались от искушения плыть на север, стоимость грузов и зарплаты моряков возрастали с ценами чего-нибудь перевозимого в Калифорнию; и ничего не было не экспортбельного. К концу 1849 года Чилийский Конгресс, наблюдая, что большая часть национального торгового флота была уведена в Калифорнию, где он обезлюдел вследствие дезертирства, разрешил иностранным судам временно вести прибрежную (каботажную) торговлю. Калифорния впервые создала подлинную сеть торговых коммуникаций тихоокеанских побережий, с помощью которой чилийское зерно, мексиканские кофе и какао, австралийский картофель и другие продукты питания, сахар и рис из Китая, и даже — после 1854 года — некоторый импорт из Японии транспортировались в Соединенные Штаты. (Не зря бостонский «*Bankers Magazine*» («Журнал банкиров») предсказывал в 1850 году, что «едва ли будет преувеличением предвкушать частичное расширение влияния [предпринимательства и торговли] даже на Японию»)^{11*}

Более примечательно, даже чем торговля, с нашей точки зрения, была миграция людей. Иммиграция чилийцев, перуанцев и «аборигенов, живших на различные островах» (тихоокеанские островитяне)^{12*}, хотя и привлекала внимание на своих ранних стадиях, не была важной по численности. (В 1860 г. в Калифорнии проживали кроме мексиканцев только около 2400 латиноамериканцев и менее чем 350 тихоокеанских островитян.) С другой стороны, «одним из наиболее экстраординарных результатов чудесного открытия является импульс, данный им предпринимательству Поднебесной империи. Китайцы, до этого времени самые безразличные и патриархальные существа вселенной, ринулись в новую жизнь при получении известий с шахт и хлынули в Калифорнию тысячами»^{13*}. В 1849 г. их было там 76, к концу 1850

года 4000, в 1852 году насчитывалось не менее 20 000 осевших, пока к 1876 году они не составили около 111 000 или 25 % всех не родившихся в Калифорнии жителей штата. Они привезли с собой свое мастерство, ум и предприимчивость, и между прочим познакомили западную цивилизацию с таким наиболее прижившимся культурным экспортом Востока, как китайский ресторан, который процветал уже в 1850 году. Угнетаемые, ненавидимые, осмеиваемые и время от времени подвергаемые линчеванию — 88 китайцев были убиты во время спада 1862 года, — но они показали обычную способность этого великого народа выживать и процветать, пока Ограничительный акт для китайцев 1882 года, кульминационный момент долгой расистской агитации, не положил конец тому, что было, возможно, первым примером в истории добровольной, экономически вызванной массовой миграции из восточного в западное общество.

В других отношениях стимул золотой лихорадки перемещал к западному побережью только традиционных мигрантов, среди которых преобладали англичане, ирландцы и немцы, а также мексиканцы.

Они приезжали в основном по морю, кроме некоторых североамериканцев (особенно из Техаса, Арканзаса и Миссури, а также из Висконсина и Айовы — штатов с непропорционально большой миграцией в Калифорнию), которые предположительно приезжали по суше, трудная поездка, которая могла занять три-четыре месяца от побережья до побережья. Главный маршрут, по которому распространялась калифорнийская золотая лихорадка, шел в восточном направлении на протяжении свыше шестнадцати-семнадцати тысяч миль по морю, которые соединяли Европу, с одной стороны, восточное побережье Соединенных Штатов — с другой, с Сан-Франциско через мыс Горн. Лондон, Ливерпуль, Гамбург, Бремен, Гавр и Бордо имели прямые сообщения уже в 1850-х годах. Стимул сократить эту поездку до четырех-пяти месяцев, а также сделать ее более безопасной, был огромным. Клипперы, построенные бостонскими и нью-йоркскими судостроителями для торговли чаем между Кантоном и Лондоном, могли теперь нести груз снаружи. Только два обогнули Горн до на-

чала золотой лихорадки, но во второй половине 1851 г. двадцать четыре (в 34 000 тонн) добрались до Сан-Франциско, сокращая поездку из Бостона к западному побережью менее чем до ста — или даже в одном случае восьмидесяти дней — плавания. Неизбежно вставал вопрос о необходимости развития даже более короткого потенциального маршрута. Панамский перешеек однажды снова стал тем, чем являлся в испанские колониальные времена — главным пунктом транзита грузов, по крайней мере до строительства канала через перешеек, который был немедленно предусмотрен англо-американским договором Булвера-Клейтона от 1850 года, и фактически начат — вопреки американской оппозиции — независимо мыслящим французским сен-симонистом де Лессепсом, сразу после его триумфа в Суэце, в 1870-х годах. Правительство Соединенных Штатов поощряло осуществление почтовых перевозок через Панамский перешеек, таким образом делая возможным учреждение регулярной ежемесячной пароходной службы из Нью-Йорка в Карибскую зону и из Панама в Сан-Франциско и Орегон. Схема, по существу начатая в 1848 году в политических и имперских целях, стала коммерчески более жизнеспособной с началом золотой лихорадки. Панама стала тем, чем осталась — принадлежащим янки быстрорастущим городом, где у будущих разбойников-баронов, подобных коммодору Вандербильту и В. Ролстону (1828—1889), основателю Калифорнийского банка, прорезались зубы. Экономия времени была настолько огромной, что перешеек скоро стал центром международных грузоперевозок: через него Саутгемптон мог связаться с Сиднеем за 48 дней, и золото, открытое в начале 1850-х годов в этом еще одном большом горнопромышленном центре, Австралии, не упоминая более старые драгоценные металлы из Мексики и Перу, проходило через него на своем пути в Европу и на Восток Соединенных Штатов. Вместе с калифорнийским золотом, возможно, до 60 млн долларов ежегодно могли перевозиться через Панаму. Неудивительно, что уже в январе 1855 года первый железнодорожный состав пересек перешеек. Спланировано это было французской компанией, но что характерно, построено американской.

Таковыми были явственные и почти немедленные результаты событий, которые произошли в одном из самых отдаленных регионов земного шара. Не удивительно, что наблюдатели видели мировую экономику не как отдельный заблокированный комплекс, но как таковой, где каждая часть реагировала на то, что случилось где-нибудь еще, и через которую деньги, товары и люди перемещались спокойно и с возрастающей быстротой, согласно непреодолимым стимулам спроса и предложения, приобретения и потери и с помощью современной технологии. Даже если наиболее медлительные (потому и наименее «экономические») из этих людей отвечали на такие стимулы *en masse* (в массе) — эмиграция англичан в Австралию выросла с двенадцати тысяч до почти девяноста тысяч в год после того, как там было открыто золото — тогда ничто и никто не мог препятствовать им. Очевидно, что имелось еще много уголков земного шара, даже в Европе, более или менее изолированных от этого движения. Может ли подвергаться сомнению, что все они, раньше или позже, были бы вовлечены в это?

IV

Сегодня мы более, чем люди середины девятнадцатого столетия, знакомы с этим объединением всех частей земного шара в единый мир. Еще существует большая разница между процессом, как мы воспринимаем его сегодня, и процессом, как он развивался в тот период. Что является наиболее поразительным в нем в конце девятнадцатого столетия — так это международная стандартизация, которая вышла далеко за экономические и технологические рамки. В этом отношении наш мир шире стандартизован чем мир Филиса Фогга, но только потому что имеется больше машин, производственных установок и бизнеса. Железные дороги, телеграф и корабли 1870 года были не менее признаваемы как международные «модели» везде, где они появлялись, чем автомобили и аэропорты 1970 года. Что тогда продвигалось с трудом, так это международная и интерлингвистическая стан-

дартизация культуры, которая сегодня распространяет, в лучшем случае с небольшой задержкой времени, одни и те же фильмы, популярные музыкальные стили, телевизионные программы и фактически стили популярных образов жизни по всему миру. Такая стандартизация затрагивает многочисленные средние классы и некоторых богатых, до того, или по меньшей мере настолько, что она преодолела языковые барьеры. «Модели» развитого мира копировались более отсталыми регионами земного шара в числе доминирующих версий — англичане по всей империи, в Соединенных Штатах и, в меньшей степени, на европейском континенте, французы в Латинской Америке, Ливане и отчасти в Восточной Европе, немцы и австрийцы по всей центральной и Восточной Европе, в Скандинавии и также в незначительной степени в Соединенных Штатах. Определенный общий визуальный стиль, переполненный и перегруженный буржуазный интерьер, причудливая публика театров и опер могли быть распознаны, хотя бы только для практических целей там, где европейцы или колонисты, вышедшие из европейцев, утверждали себя (см. главу 13 ниже). Тем не менее, кроме Соединенных Штатов (и Австралии), где высокие зарплаты демократизировали рынок и, следовательно, стиль жизни экономически более умеренных классов, это оставалось недоступным для сравнительно немногих.

Нет сомнения, что буржуазные пророки середины девятнадцатого столетия с нетерпением ждали появления единого, более или менее стандартизированного мира, где все правительства признали бы истины политической экономии и либерализма, распространяемые по всему земному шару безличными миссионерами более могущественными, чем те, которыми обладало христианство или ислам; мир обрел новую форму в образе буржуазии, возможно, даже такую, из которой в конечном счете исчезли бы национальные различия. Развитие коммуникаций уже требовало новых видов международно координируемых и стандартизируемых организмов — Международный Телеграфный Союз 1865 года, Всемирный Почтовый Союз 1875 года. Международная Метеорологическая Организация 1878 года, которые еще существуют. Это уже создало — и для ограниченных

целей решило средствами Международного кодекса сигналов 1871 года — проблему международного стандартизованного «языка». В течение нескольких лет попытки создать искусственные космополитические языки, долженствовавшие войти в моду, возглавлялись странно названным *Volapük* («мир — говорит»), придуманным одним немцем в 1880 году. (Ни один из них не выжил, даже наиболее обещающий соперник, *эсперанто*, другой продукт 1880-х годов). Рабочее движение уже находилось в процессе создания всемирной организации, которая должна была извлекать политические выводы из растущей унификации мира — это был Интернационал (см. главу 6 ниже)*.

Однако международные стандартизация и унификация в этом смысле оставались слабыми и частичными. Фактически, появление новых наций и новых культур с демократической основой, то есть скорее использование отдельных языков, чем идиом образованных меньшинств, до некоторой степени сделало это более трудным или, скорее, более опосредованным. Писатели с европейской или мировой репутацией должны были становиться таковыми вследствие переводов. И в то время как было важно, что к 1875 году читатели могли наслаждаться некоторыми или всеми сочинениями Диккенса на немецком, французском, шведском, голландском, испанском, датском, итальянском, португальском, чешском и венгерском языках (тогда как таковые на болгарском, русском, финском, сербскохорватском, армянском и идише появились незадолго до конца столетия), существенно было также и то, что этот процесс подразумевал усиливающееся лингвистическое разделение. Любые долгосрочные перспективы, принятые современными либеральными наблюдателями, это то, что в короткий или средний срок развития будет определяться образованием различных и соперничающих наций (см. гл. 5 ниже). На что можно было надеяться, так это на то, что они воп-

* Принадлежал ли к этой группе Международный Красный Крест (1860), также дитя нашего периода, вопрос более сомнительный, так как он основывался на экстремальной форме недостатка интернационализма, а именно войнах между государствами.

лотили бы тот же самый тип учреждений, экономики и вероисповеданий. Единство мира подразумевает его разделение. Мировая система капитализма была структурой конкурирующих «национальные экономик». Мировой триумф либерализма покоился на их конверсии в мировую экономику, по крайней мере для тех стран, которые рассматривались как «цивилизованные». Без сомнения, чемпионы прогресса в третьей четверти девятнадцатого столетия были достаточно уверены, что это должно произойти раньше или позже. Но их уверенность опиралась на шаткие основы.

Фактически они покоились на надежном основании, обращаясь к становящейся все более тесной сети мировых коммуникаций, чьим наиболее реальным результатом было заметное увеличение потока международного обмена товаров и людей — торговля и миграция, которые будут рассмотрены отдельно (см. гл. 11 ниже). Все же даже в самой международной сфере бизнеса глобальная унификация не была неквалифицированным преимуществом. Если он создавал мировую экономику, это был прогресс, в котором все части были настолько зависимы друг от друга, что напряжение на одной нити неизбежно приводило в движение другие. Классической иллюстрацией этого был мировой кризис.

Как полагают, два главных вида экономического колебания воздействовали на судьбы мира в 1840-х годах, древний аграрный цикл, базировавшийся на состояниях зерновых культур и домашнего скота, и новый «торговый цикл», существенная часть механизма капиталистической экономики. В 1840-х годах первый из них все еще был господствующим в мире, хотя его действия имели тенденцию быть скорее региональными чем глобальными, так как даже распространенные природные явления одного порядка — погода, эпидемии растений, животных и людей — едва ли происходили синхронно во всех частях мира. Индустриальные экономики уже находились под влиянием бизнес-циклов, по крайней мере с конца наполеоновских войн, но это оказало воздействие практически только на Англию, возможно, Бельгию и небольшой ряд других экономик, подключенных к мировой си-

стеме. Кризисы, не связанные с одновременными аграрными сбоями, то есть кризисы 1826, 1837 и 1839—1842 годов, сотрясли Англию и деловые круги восточного побережья Америки или Гамбурга, но оставили большую часть Европы практически незатронутой ими.

Понадобилось два открытия после 1848 года, чтобы изменить это. Во-первых, кризис бизнес-цикла стал действительно всемирным. Кризис 1857 года, который начался с краха банка в Нью-Йорке, был, возможно, случайным: Карл Маркс наблюдал, что средства сообщения принесли эти два главных источника делового беспорядка, Индию и Америку, гораздо ближе к Европе. Из Соединенных Штатов кризис перебросился в Англию, оттуда в Северную Германию, отсюда в Скандинавию и назад в Гамбург, оставляя за собой шлейф банкротств и безработицу, в то же время перепрыгивая через океаны в Южную Америку. Кризис 1873 года, начавшийся в Вене, распространился в противоположном направлении и в большем масштабе. Его долговременные последствия были, как мы увидим, намного более глубокими, чем можно было ожидать. Во-вторых, по меньшей мере в промышленно развивающихся странах старые колебания в аграрном секторе утратили бóльшую часть своего значения, потому что массовые перевозки пищевых продуктов уменьшили нехватку местных и имели тенденцию уравнивать цены, так и потому что социальный эффект таких нехваток был теперь возмещен хорошей занятостью, порожденной промышленным сектором экономики. Ряд плохих урожаев все еще имел бы влияние на сельское хозяйство, но не обязательно на остальную часть страны. Кроме того, поскольку мировая экономика усилила свою власть, даже удачи в сельском хозяйстве должны были зависеть намного меньше от колебаний природы, чем от колебаний цен мирового рынка, что должны были продемонстрировать сельскохозяйственные кризисы 1870-х и 1880-х годов.

Все эти достижения влияли только на ту часть мира, которая уже была вовлечена в мировую экономику. Так как обширные территории и население — фактически вся Азия и Африка, большая часть Латинской Америки и весьма значительные части ста-

рой Европы — все еще существовали вне любой экономики, но практиковавшие чисто местный обмен и удаленные от портов, железных дорог и телеграфа, мы не должны преувеличивать степень единства мира, достигнутого между 1848 и 1875 годами. В конце концов, как указывал один известный летописец того времени: «*Мировая экономика* стоит только у своего начала», но, как он также справедливо добавил: «даже эти начала позволяют нам предполагать ее будущее значение, ввиду того, что существующая стадия уже представляет поистине удивительную перемену в производительных силах человечества»^{14*} Если мы должны были рассмотреть только, скажем, какой-либо рынок, весьма близкий к Европе, как южный берег Средиземного моря и Северная Африка, в 1870 году мало из сказанного выше было бы применено где-либо кроме как в Европе и на скромных клочках земли Алжира, колонизованных французскими поселенцами. Только Марокко гарантировало в 1862 г. иностранцам свободу торговать на всей своей территории; Тунис не поддавался на идею, почти такую же губительную здесь, как и в Египте, ускорить свой прогресс за счет займов до 1865 года. Это было приблизительно в то же время, когда продукт роста мировой торговли, чай, впервые появился к югу от Атласских гор в Кварглу, Тимбукту и Тафилелте, хотя все еще как предмет роскоши: цена фунта равнялась месячной зарплате марокканского солдата. До второй половины столетия не было ни одного характерного признака увеличения населения современного мира в исламских странах, а, наоборот, по всем странам Сахары, как и в Испании, традиционное сочетание голода и эпидемии 1867—1869 годов (которые так сильно разорили Индию в это же время) представляло намного большую экономическую, социальную и политическую важность, чем любые достижения, связанные с появлением мирового капитализма, хотя, возможно, — подобно Алжиру — и ускоренные им.

ГЛАВА 4

КОНФЛИКТЫ И ВОЙНА

И английская история громко говорит королям следующее. Если вы маршируете во главе идей вашей страны, эти идеи последуют за вами и поддержат вас.

Если вы маршируете позади них, они будут тянуть вас за собой.

Если вы маршируете против них, они свергнут вас!

Наполеон III¹*

Скорость, с которой военный инстинкт развился среди этой нации судовладельцев, торговцев и лавочников ... хорошо известна. [Балтиморский Оружейный клуб] был одержим только одним интересом: разрушением человечества в филантропических целях и усовершенствованием вооружений, которые рассматривались как инструменты цивилизации.

Жюль Верн, 1865²*

I

Для историков великий бум 1850-х годов знаменует основание мировой промышленной экономики и единой мировой истории. Для правителей Европы середины девятнадцатого века, как мы видели, он дал передышку, во время которой проблемы, не решенные ни революциями 1848 года, ни их подавлением, могли быть забыты или по крайней мере ослаблены годами процветания и нормальным управлением. И в самом деле, социальные проблемы теперь казались намного более управляемыми силой большой экспансии, принятием институтов и открытием предохранительных клапанов — хорошей занятости и миграции — существенно снизили давление массового недовольства. Но политические проблемы остались, и к концу 1850-х годов стало ясно, что надолго избежать их нельзя. Это были, для каждого прави-

тельства, в основном проблемы внутренней политики, но из-за специфического характера европейской государственной системы к востоку от линии Голландия—Швейцария внутренние и международные дела были неразрывно связаны. Либерализм и радикальная демократия, или, по крайней мере, требование гражданских прав и представительства не могли быть отделены, в Германии и Италии, в Габсбургской империи, и даже в Османской империи и на окраинах Российской империи от требований национальной автономии, независимости или унификации. А это, в свою очередь, могло, и в случае Германии, Италии и Габсбургской империи было связано, чтобы привести к международному конфликту.

Полностью исключая интересы других держав в любом существенном изменении границ континента, объединение Италии подразумевало свержение гнета империи Габсбургов, которой принадлежала большая часть Северной Италии. Объединение Германии подняло три вопроса: из чего точно состояла Германия, которая должна быть объединена*, — как — если не все, то две главных державы, бывшие членами Немецкой Конфедерации, Пруссия и Австрия, должны были войти в нее, и что должно было случиться в ее пределах с многочисленными другими княжествами, начиная от среднего размера королевств до карликовых владений из комической оперы. И обе, как мы видели, прямо затрагивали характер и границы Габсбургской империи. На деле оба объединения подразумевали войны.

К счастью для правителей Европы, такая гремучая смесь внутренних и международных проблем теперь перестала быть взры-

* *Немецкая Конфедерация* включала малую часть Габсбургской империи, большую часть Пруссии, а также Гольштейн-Лауенбург, который также принадлежал Дании и Люксембургу, попутно имевшим негерманские связи. Она не включала тогда еще датский Шлезвиг. С другой стороны, *Немецкий Таможенный Союз (Zollverein)*, первоначально созданный в 1834 году, к середине 1850-х годов включал в себя всю Пруссию, но ни одной части Австрии. Он также не учитывал Гамбург, Бремен и обширную область Северной Германии (Мекленбург и Гольштейн-Лауенбург, а также Шлезвиг). Можно легко предположить осложнения, происходящие вследствие такой ситуации.

воопасной; или скорее поражение революции, сопровождаемое экономическим бумом, разрядило ситуацию. Говоря в общем, с конца 1850-х годов правительства снова обнаружили себя стоящими перед лицом внутреннего политического волнения со стороны умеренного либерального среднего класса и более радикальных демократов, иногда даже недавно появившихся новых сил движения рабочего класса. Некоторые из них — особенно когда, подобно России в Крымской войне (1854—1856) и Габсбургской империи в Итальянской войне 1859—1860 годов, они потерпели поражение — теперь находили себя более уязвимыми чем прежде для внутреннего недовольства. Однако эти новые волнения не были революционными, за исключением одного или двух мест, где они могли быть изолированы или сдержаны. Характерным эпизодом этих лет была конфронтация между резко либеральным прусским парламентом, избранным в 1861 году, и прусским королем и аристократией, которые не имели ни малейшего намерения отказываться от своих прав и привилегий по его требованию. Прусское правительство, прекрасно зная, что либеральная угроза была просто риторической, спровоцировало конфронтацию и просто призвало наиболее подходящего беспощадного консерватора Отто фон Бисмарка²² в качестве премьер-министра, управлять без и вопреки парламентскому отказу утвердить налоги. Он без труда сделал это.

И все же приблизительно в 1860-х годах важность состояла не в том, что правительства почти всегда обладали инициативой и едва ли когда-либо теряли больше чем на миг контроль над ситуацией, которой они могли всегда управлять, а в том, что некоторые требования народных оппозиций *всегда* учитывались во всех событиях на западе России. Это было десятилетие реформ, политической либерализации, даже некоторой уступки тому, что было названо «силами демократии». В Англии, Скандинавии и Нидерландах, где уже имелись парламентские конституции, электорат был расширен в пределах их, не принимая во внимание урожай ассоциированных реформ. Британская парламентская реформа 1867 года²³, как полагали, отдала законодательную власть в руки рабочих избирателей. Во Франции, где пра-

вительство Наполеона III явно проиграло муниципальные выборы к 1863 году — оно располагало лишь одним из пятнадцати депутатов от Парижа, — были сделаны весьма настойчивые попытки «либерализовать» имперскую систему. Но это изменение в настроении правящих кругов является даже более наглядным в непарламентских монархиях.

Габсбургская монархия после 1860 года просто отказалась пытаться управлять так, как если бы у ее подданных не было политических мнений. Впредь она сконцентрировалась на создании некоей коалиции сил между ее многочисленными и беспокойными национальностями, которая должна была стать достаточно сильной, чтобы обеспечить политическую стабильность, хотя всем им теперь должны были предоставить определенные уступки в образовании и языке (см. с. 96—97 ниже). До 1879 года она обычно должна была искать свою опору среди либералов среднего класса из немецкоговорящей части населения. Она была неспособна сохранять любой эффективный контроль над мадьярами, которые незадолго до этого добились некоторой независимости по «Компромиссу» 1867 года, превратившему империю в Двойную монархию Австро-Венгрию. Но еще более поразительным было то, что произошло в Германии. В 1862 году Бисмарк стал прусским премьер-министром, стремясь к поддержанию традиционной прусской монархии и аристократии против либерализма, демократии и немецкого национализма. В 1871 году этот же государственный деятель оказался канцлером Германской империи, объединенной его собственными усилиями с парламентом (по общему признанию не имевшим большого значения), избранным всеобщим голосованием мужского населения, и полагающимся на восторженную поддержку (умеренных) немецких либералов. Бисмарк никоим образом не был либералом и был далек от немецких националистов в политическом смысле (см. главу 5 ниже). Он просто был достаточно умен, чтобы понять, что мир прусских *юнкеров* впредь может быть сохранен не лобовой схваткой с либерализмом и национализмом, а лишь с помощью изменения структуры обоих в свою пользу. Это подразумевало выполнение того, что английский консервативный ли-

дер Бенджамин Дизраэли (1804—1881)²⁴, когда проводилась парламентская реформа 1867 года, описал, как «застать вигов купающимися и прогуливающимися без одежды».

Политика правителей в 1860-х годах поэтому обуславливалась тремя соображениями. Во-первых, они находились в ситуации экономических и политических перемен, которые они не могли контролировать, но к которым они должны были приспособиться. Единственным выбором — и государственные деятели ясно это сознавали — было плыть ли им по течению или использовать свое умение моряков и направить свои корабли в другую сторону. Ветер сам по себе был природным фактом. Во-вторых, они должны были определить, какие уступки новым силам могут быть сделаны без угрозы общественной системе, или в отдельных случаях политическим структурам, для чьей защиты они были созданы, и границу, вне которой они не смогли бы протекать благополучно. Но, в-третьих, им повезло оказаться в состоянии осуществлять оба вида решений в обстоятельствах, предоставлявших им значительную инициативу, возможности для манипуляций и в некоторых случаях фактически действительно позволивших им контролировать ход событий.

Наиболее знаменитыми государственными деятелями, в традиционной истории Европы в течение этого периода, были, следовательно, те, кто наиболее органично соединяли политическое управление с дипломатией и контролем над механизмами правительства, как, например, Бисмарк в Пруссии, граф Камилло Кавур (1810—1861) в Пьемонте и Наполеон III, или наиболее способные управлять трудным процессом контролируемого расширения системы правления высшего класса, т. е. либерал В. Ю. Гладстон (1809—1898) и консерватор Дизраэли в Англии. И наиболее удачливыми были те, кто понимал, каким образом использовать как старые, так и новые, неофициальные политические силы в свою пользу, безразлично, одобряли они их или нет. Наполеон III пал в 1870 году, потому что в конечном счете не смог сделать этого. Но два человека проявили себя необыкновенно хорошо в этом трудном деле, умеренный либерал Кавур и консерватор Бисмарк.

Оба были блистательными политиками, факт, отраженный в неамбициозной ясности стиля Кавура и замечательном мастерстве немецкой прозы Бисмарка, все же более сложной и великой фигуры. Оба были глубоко враждебны революции и совсем не симпатизировали политическим силам, чьи программы они приняли и выполняли в Германии и Италии, исключая их демократические и революционные требования. Оба позаботились отделить национальное единство от народного влияния: Кавур упорно настаивал на превращении нового итальянского королевства в некое продолжение Пьемонта, даже вплоть до отказа переименовать титул ее короля Виктора Эммануила II (Савойского) в Виктора Эммануила I (Итальянского), Бисмарк созданием прусской гегемонии в новой Германской империи²⁵. Оба были достаточно гибки, чтобы включить оппозицию в свою систему, хотя и таким образом, чтобы сделать невозможным для нее обрести контроль.

Оба стояли перед лицом чрезвычайно сложных проблем международной тактики и (в случае с Кавуром) национальной политики. Бисмарк, который не нуждался в помощи извне и не имел повода беспокоиться относительно внутренней оппозиции, мог принять объединенную Германию, только если она не была ни демократической ни слишком большой, чтобы находиться под главенством Пруссии. Это подразумевало исключение Австрии, чего он добился посредством двух блестяще проведенных коротких войн в 1864 и 1866 годов²⁶, парализав Австрию как силы в германской политике, достигнутого им поддержкой и гарантией автономии Венгрии в пределах Габсбургской империи (1867), и в то же самое время сохранением Австрии, которой он впредь посвящал свои замечательные дипломатические таланты*. Это также включало попытку сделать прусское превосходство более при-

* Ибо, если бы Габсбургская монархия распалась на составляющие ее нации, было бы невозможным предупредить присоединение австрийских немцев к Германии, таким образом опрокидывая тщательно построенное прусское превосходство. Это на самом деле то, что случилось после 1918 года, и, как происходит, наиболее длительным результатом «великой Германии» Гитлера (1938—1945) было тотальное исчезновение Пруссии. Сегодня не осталось даже ее имени, кроме как в исторических книгах.

емлемым чем австрийское скорее для более мелких антипруски настроенных немецких государств, чего Бисмарк добился посредством отлично спровоцированной и осуществленной войны против Франции в 1870—1871 годах. Кавур, с другой стороны, должен был как найти для себя союзника (Францию), чтобы изгнать Австрию из Италии, так и затем избавиться от него, когда процесс объединения зашел дальше того, что предусматривал Наполеон III. Еще более серьезно было положение в Италии, полуобъединенной путем государственного контроля сверху и полуобъединенной революционной войной снизу, ведомой силами демократическо-республиканской оппозиции под военным руководством того неистового Фиделя Кастро середины девятнадцатого века, партизанского вождя в красной рубашке Джузеппе Гарибальди (1807—1882)²⁷. Потребовались быстрые решения, быстрые переговоры и блестящее маневрирование, прежде чем Гарибальди убедили вручить власть королю в 1860 году.

Действия этих государственных деятелей по-прежнему вызывают восхищение совершенством технического исполнения. Все же то, что сделало их такими великолепными, было обусловлено не только личным талантом, но и необычайными возможностями, которые дало им отсутствие серьезной революционной опасности и неподдающейся контролю международной конкуренции. Действия народов или неформальных движений, слишком слабые в тот период, чтобы добиться большего в своих делах, либо окончились неудачей, либо явились дополнениями к изменениям, организованным сверху. Немецкие либералы, демократические радикалы и социал-революционеры внесли скромный вклад в германское единство, если не принимать в расчет их одобрение или критику по отношению к фактическому процессу германского объединения. Итальянские левые, как мы видели, сыграли большую роль. Сицилийская экспедиция Гарибальди, которая быстро завоевала Южную Италию, связала руки Кавуру, но, хотя это и было существенным достижением, оно было бы невозможным без ситуации, созданной Кавуром и Наполеоном. В любом случае левым не удалось добиться провозглашения Итальянской демократической республики, которую они рассматри-

вали как существенный элемент единства. Умеренное венгерское мелкопоместное дворянство добилося автономии для своей страны под крылом Бисмарка, но радикалы были разочарованы. Кошут продолжал жить в изгнании и умер там. Восстания балканских народов в 1870-х годах закончились чем-то вроде независимости для Болгарии (1878)²⁸, но лишь настолько, насколько это соответствовало интересам великих держав: боснийцам, которые начали эти бунты в 1875—1876 годах, просто заменили турецкое владычество на возможно чуть более лучшее управление Габсбургов. Наоборот, как мы увидим в дальнейшем, революции заканчивались скверно (см. гл. 9 ниже). Даже испанская революция 1868 года, которая фактически установила на короткое время радикальную республику в 1873 году, закончилась быстрым восстановлением монархии.

Мы не уменьшаем заслуг великих политических деятелей 1860-х годов, указывая на то, что их задача была значительно облегчена, потому что они смогли провести главные конституционные изменения без решительных политических последствий, и даже более того, потому что они могли начинать и заканчивать войны почти по собственному желанию. В этот период как внутренний, так и международный порядок мог быть впредь значительно изменен со сравнительно малым политическим риском.

II

Вот почему тридцатилетие после 1848 года было периодом даже более захватывающих перемен в модели международных отношений, чем в таковых во внутренней политике. В век революции или во всяком случае после поражения Наполеона (см. *«Век Революции»*, глава 5) правительства великих держав в высшей степени стремились избегать больших конфликтов между собой, так как опыт, казалось, ясно показал, что главные войны и революции шли рука об руку. Теперь, когда революции 1848 года пришли и ушли, этот повод для дипломатической сдержанности стал намного слабее. Поколение после 1848 года жило в

век не революций, а войн. Некоторые из них в самом деле были продуктом обострения внутренних отношений, и революционными или квази-революционными феноменами. Это — большие гражданские войны в Китае (1851—1864) и в Соединенных Штатах (1861—1865) — и они, строго говоря, не подлежат обсуждению, кроме как в том смысле, что речь идет о технических и дипломатических аспектах войны в этот период. Мы рассмотрим их отдельно (см. главы 7 и 8 ниже). Здесь нас интересовали прежде всего конфликты и изменения в рамках системы международных отношений, учитывая любопытное переплетение международной и внутренней политики.

Если бы мы спросили оставшегося в живых юриста международной системы до 1848 года о проблемах международной политики — скажем, графа Пальмерстона²⁹, который был министром иностранных дел Англии задолго до революций и продолжал руководить международными делами с некоторыми перерывами до своей смерти в 1865 году — он объяснил бы их чем-то вроде следующего. Единственными мировыми делами, принимавшимися в расчет, были отношения между пятью европейскими «великими державами», чьи конфликты могли вылиться в большие войны: Англией, Россией, Францией, Австрией и Пруссией (см. *«Век Революции»*, глава 5). Единственное государство с достаточной амбицией и силой, с которыми считались Соединенные Штаты, не принималось в расчет, так как они ограничили свои интересы другими континентами, и ни одна европейская держава не имела кроме как экономических никаких других амбициозных планов на американской земле — и таковые были интересами частных лиц, а не правительств. Фактически, в 1867 году Россия продала Соединенным Штатам Аляску за приблизительно 7 млн долларов, плюс достаточное количество взяток, чтобы убедить американский Конгресс приобрести то, что вообще рассматривалось просто как нагромождение скал, ледников и арктической тундры. Европейские державы, те, с которыми считались серьезно — с Англией, из-за ее богатства и флота, с Россией из-за ее территории и армии, а также с Францией, из-за ее территории, армии и довольно значительных военных заслуг —

обладали честолюбивыми намерениями и причинами для взаимного недоверия, но не такого рода, чтобы исключить возможности дипломатического компромисса. В течение более чем тридцати лет после поражения Наполеона в 1815 году ни одна великая держава не использовала своих армий против другой, ограничивая свои военные действия подавлением внутренних или международных подрывных действий, различными внутренними горячими точками, а также экспансией в отсталые страны мира.

Фактически существовал один удивительно постоянный источник конфликтов, возникающий главным образом в связи с медленным распадом Оттоманской империи, из которой должны были выйти различные нетурецкие элементы, и столкновения России и Англии в восточном Средиземноморье, на современном Среднем Востоке и территории, лежащей между восточными границами России и западными границами Британской индийской империи. При том, что министры иностранных дел нисколько не были обеспокоены опасностью общего разлада в международной системе вследствие революции, они были справедливо озабочены тем, что называлось «Восточным вопросом». Дела все еще не были улажены. Революции 1848 года доказали это, даже если три из пяти великих держав были одновременно поколеблены ими, международная система держав осталась фактически неизменной. В самом деле, лишь за исключением Франции, политические системы всех из них не претерпели перемен.

Последующие десятилетия должны были стать совершенно другими. Во-первых, держава, рассматриваемая (по крайней мере, англичанами) как потенциально наиболее опасная, Франция, явилась из революции в виде популистской империи во главе с другим Наполеоном, и, более того, опасение возвращения к якобинизму 1793 года больше ее не сдерживали. Наполеон, несмотря на отдельные заявления о том, что «Империя — это мир», специализировался в сфере международных интервенций: военные экспедиции в Сирию (1860), совместно с Англией в Китай (1860), покорение южной части Индокитая (1858—1865), и даже — пока Соединенные Штаты были заняты другими делами — мексикан-

ская авантюра (1863—1867), где французский сателлит император Максимилиан (1866—1867) недолго оставался в живых после окончания Гражданской войны в Америке. Ничего особенно французского в этих упражнениях в разбое не было кроме, разве что, возрастания авторитета и имперской славы Наполеона. Франция просто была достаточно сильна, чтобы принимать участие в глобальном ограблении неевропейского мира; в то время, как Испания, например, не была столь же сильна, несмотря на ее грандиозные претензии относительно восстановления части своего утраченного имперского влияния в Латинской Америке во время Гражданской войны в Америке. Поскольку французские захватнические планы имели место за границей, постольку они не особенно воздействовали на систему европейских держав; но поскольку они продолжались в регионах, где европейские державы конкурировали друг с другом, они нарушали то, что всегда было скорее деликатно сбалансированным соглашением.

Первым главным результатом этого нарушения была Крымская война (1854—1856), самая близкая к общей европейской войне между 1815 и 1914 годами. Не было ничего нового или неожиданного в ситуации, которая ввергла в большую, печально известную и неподготовленную, международную бойню между Россией с одной стороны, Англией, Францией и Турцией с другой, в которой, по подсчетам, погибло более 600 000 человек, почти полмиллиона из них от болезней: 22 % англичан, 30 % французов и более половины русских сил. Ни до ни после российская политика раздела Турции, либо превращения ее в сателлита (в этом случае России) не предполагала, не требовала или на самом деле не вела к войне между державами. Но как до так и во время следующей фазы турецкой дезинтеграции, в 1870-х годах, конфликт держав представлял собой по сути игру двух держав, двух старых соперников, России и Англии, другие же страны не желали или были не в состоянии вмешиваться в него иначе как символически. Но в 1850-х годах был и третий игрок, Франция, чей стиль и стратегия были, кроме того, непредсказуемы. Почти несомненно, что никто не хотел такой войны, и она была отложена, без того, чтобы внести какие-либо существенные перемены в

«Восточный вопрос». Факт тот, что механизм дипломатии «Восточного вопроса», созданный для более простых конфронтаций, временно разрушился — ценой нескольких сотен тысяч жизней.

Прямые дипломатические результаты войны были временными и несущественными, хотя Румыния (образованная союзом двух дунайских княжеств, все еще номинально находилась под турецким владычеством до 1878 года) стала независимой *de facto*. Более широкие политические результаты были куда серьезнее. В России, под возрастающим давлением общественного недовольства, дала трещину закостенелая царская автократия Николая I (1825—1855). Началась эра кризиса, реформ и изменений, достигшая высшей точки в освобождении крепостных (1861) и появлении российского революционного движения в конце 1860-х годов. Политическая карта остальной Европы должна была также вскоре измениться, причем этот процесс облегчился, если не сделался возможным, вследствие изменений в международной системе держав, ускоренных Крымским эпизодом. Как мы отмечали, соединенное Итальянское королевство, появившееся в 1858—1870 годах, а объединенная Германия в 1861—1871 годах, между прочим привели к крушению наполеоновской Второй империи во Франции и Парижской Коммуне (1870—1871), к тому, что Австрия была исключена из Германии и основательно переделана заново. Короче говоря, за исключением Англии, все европейские «державы» существенно — в большинстве случаев даже территориально — изменились между 1856—1871 годами, и было образовано новое большое государство, которое скоро должно было стать заметным среди них — Италия.

Большинство этих перемен прямо или косвенно явилось следствием политического объединения Германии и Италии. Каким бы ни был первоначальный стимул этих движений за объединение, процесс был инициирован правительствами, то есть в сложившихся обстоятельствах посредством военной силы. В знаменитой фразе Бисмарка проблема была решена «железом и кровью»³⁰. За двенадцать лет Европа прошла через четыре главных войны: Франция, Савойя и итальянцы против Австрии (1858—1859), Пруссия и Австрия против Дании (1864), Пруссия и Ита-

лия против Австрии (1866), Пруссия и Германия против Франции (1870—1871). Они были относительно непродолжительными и, по меркам больших боен в Крыму и Соединенных Штатах, не особенно дорогими, хотя погибло около 160 000 человек, в основном с французской стороны, во франко-прусской войне. Но они помогли сделать период европейской истории, с которым имеет дело эта книга, довольно воинственной прелюдией того, что с другой стороны было необычно мирным столетием в период между 1815 и 1914 годами. Тем не менее, хотя война была достаточно обычным явлением в мире между 1848 и 1871 годами, опасения *общей* войны, в котором двадцатое столетие жило фактически без перерыва начиная с начала 1900-х гг., еще не преследовали граждан буржуазного мира. Они медленно появились только после 1871 года. Войны между государствами все еще могли преднамеренно начинаться и заканчиваться правительствами, ситуация, блестяще использованная Бисмарком. Только гражданские войны и относительно небольшие конфликты, которые перерастали в подлинно народные войны, подобно войне между Парагваем и его соседями (1864—1870), превращались в не поддающиеся контролю эпизоды резни и разрушений, с которыми наше собственное столетие так отлично знакомо. Никто не знает числа потерь, понесенных в Тайпинских войнах³¹, но утверждают, что некоторые китайские провинции до сегодняшнего дня не восстановили свое прежнее население. Гражданская война в Америке привела к гибели свыше 630 000 солдат, и потери составили в общем между 33 и 40% Союзных и Конфедеративных сил. Парагвайская война привела к гибели 330 000 чел. (насколько латино-американская статистика имеет хоть какое-нибудь значение), уменьшив население своей главной жертвы приблизительно до 200 000 человек, из которых, возможно, 30 000 были мужчинами. По любым меркам 1860-е годы были кровавым десятилетием.

Что же превратило этот период истории в столь кровавый? Во-первых, сам процесс глобальной капиталистической экспансии, который усилил напряженные отношения в пределах заокеанского мира, честолюбивые претензии индустриального мира и

прямо или косвенно конфликты, возникающие из него. Так, Гражданская война в Америке, какими бы ни были политические причины ее происхождения, была триумфом индустриализованного Севера над аграрным Югом, почти, можно даже сказать, переходом Юга из подчинения неформальной империи Англии (к чьей хлопковой промышленности она была привязана экономически) в новую, главным образом промышленную экономику Соединенных Штатов. Это может рассматриваться как ранний гигантский шаг по пути, который должен был в двадцатом столетии перевести все американские государства из английской в американскую экономическую зависимость. Парагвайская война может лучше всего рассматриваться как часть интеграции бассейна Речного плато в английскую мировую экономику: Аргентина, Уругвай и Бразилия, повернувшись к Атлантике, лишили Парагвай самостоятельности, в котором, единственная территория в Латинской Америке, где индейцы успешно сопротивлялись продвижению белых поселенцев, так долго продержались, благодаря, возможно, первоначальному господству иезуитов (см. главу 7 ниже)*. Восстание тайпинов и его подавление неотделимы от быстрого проникновения западного оружия и капитала в Поднебесную империю со времен первой Опиумной войны (1839—1842) (см. ниже).

Во-вторых, как мы уже видели — особенно в Европе — благодаря обращению к войне как нормальному инструменту политики правительствами, которые теперь перестали верить, что ее можно избежать из опасности последующей революции, и которые были также справедливо убеждены, что механизм власти был в состоянии удерживать их в определенных рамках. Экономическая конкуренция едва ли вела к чему-то большему нежели к местным конфликтам во время эры экспансии, когда, казалось, должно было хватать свободных территорий всем. Однако в эту

* Остатки индейцев, которые сопротивлялись белому завоеванию, были отброшены к границам колонии. Индейская колония осталась нетронутой только в верхнем бассейне Ла-Платы, и язык гуарани больше чем испанский или португальский являлся средством связи как между аборигенами так и поселенцами.

классическую эру экономического либерализма деловое соперничество было куда более независимым от правительственной поддержки, чем когда-либо раньше или после. Никто — даже Маркс, вопреки общему мнению — не думал о европейских войнах как о конфликтах, вызванных прежде всего экономическими причинами в этот период.

В-третьих, однако, эти войны теперь могли вестись при помощи новой капиталистической технологии. (С тех пор как эта технология, посредством фотоаппарата и телеграфа, также преобразовалась по отношению ведения сообщений о войне в прессе, теперь она отражала ее реальность перед грамотной публикой более ярко, но кроме основания Международного Красного Креста в 1860 году и Женевской конвенции, признавшей его в 1864 году, это не имело большого эффекта. Наше столетие по-прежнему не установило эффективного контроля над его более ужасными кровопролитиями.) Азиатские и латиноамериканские войны оставались по-преимуществу до-технологическими, за исключением небольших вторжений европейских сил. Крымская война, с характерной некомпетентностью, потерпела неудачу в использовании уже доступной соответственной технологии. Но войны 1860-х годов уже использовали железные дороги для более эффективной мобилизации и перевозки, имели телеграф, годный для быстрой связи, произвели бронированный военный корабль и его подвесную, пробивающую броню артиллерию, могли использовать серийно производимое огнестрельное оружие, включая пулемет Гатлинга (1861) и современные взрывчатые средства — динамит был изобретен в 1866 году — с соответствующими последствиями для развития промышленных экономик. Теперь они в целом были ближе к современным массовым войнам чем что-либо прежде. Гражданская война в Америке мобилизовала 2,5 миллиона человек от общего числа населения, скажем, в 33 миллиона. Остальные войны индустриального мира оставались менее масштабными, даже с 1,7 миллиона мобилизованных в 1870—1871 гг. на франко-немецкую войну из 77 или около того миллионов жителей двух стран или, скажем, 8% из 22 миллионов способных носить оружие. Все еще стоит отметить, что с

середины 1860-х годов гигантские сражения, вовлекающие свыше 300 000 человек, перестали быть необычными (Садова [1866], Гравелот, Седан [1870]). Имело место только одно такое сражение столетия в период Наполеоновских войн (Лейпциг [1813]). Даже битва при Сольферино в Итальянской войне 1859 года была масштабнее, чем предпоследнее сражение Наполеона.

Мы уже наблюдали побочные внутриполитические последствия этих правительственных инициатив и войн. Все же в конечном счете их международные последствия должны были стать даже более существенными. Во время третьей четверти девятнадцатого столетия международная система основательно изменилась — намного более глубоко, чем то признали большинство современных наблюдателей. Только один аспект оставался неизменным: громадное превосходство развитого мира над отсталым, который был лишь подчеркнут (см. гл. 8 ниже) бурным ростом единственной не белой страны, которая в этот период сумела подражать Западу, а именно Япония. Современная технология отдает любое правительство, которое не обладает ею, на милость любого правительства, которое ею владеет.

С другой стороны, отношения между державами изменились. В течение половины столетия после поражения Наполеона I была только одна держава, которая была фактически индустриальной и капиталистической, и только одна, имевшая действительно глобальную политику, то есть глобальный флот: Англия. В Европе было две державы с мощными армиями, хотя их сила была по существу некапиталистической: сила России покоилась на ее большом и физически крепком населении, сила Франции — на возможностях традиции революционной мобилизации масс. Австрия и Пруссия не обладали сопоставимым военно-политическим значением. Среди американских государств вне конкуренции была одна держава, Соединенные Штаты, которые, как мы видели, не вмешивались в сферу активной борьбы за первенство. (Эта сфера, до 1850-х годов, не включала Дальний Восток). Но между 1848 и 1871 годами, или более точно в течение 1860-х годов, случилось три вещи. Во-первых, произошло расширение индустриализации и породило другие по существу промышленно-капита-

листические державы кроме Англии: Соединенные Штаты, Пруссию (Германию) и, в намного большей степени чем прежде, Францию, позже к ним должна была присоединиться Япония. Во-вторых, прогресс индустриализации в значительной степени сделал богатство и промышленную мощь решающим фактором международного влияния; следовательно, результатом было снижение относительного влияния России и Франции и существенное усиление такового Пруссии (Германии). В-третьих, появление в качестве независимых держав двух неевропейских государств: Соединенных Штатов (объединенных Севером в Гражданской войне) и Японии (систематически осуществлявшей «модернизацию» с времени революции Мэйдзи³² в 1868 году), в первый раз создали возможность глобального конфликта между державами. Растущая тенденция европейских бизнесменов и правительств расширять свою заморскую деятельность и вступать в отношения с другими державами в таких регионах как Дальний Восток и Средний Восток (Египет), укрепила эту возможность.

За границей эти изменения в структуре власти еще не возымели больших последствий. В пределах Европы они незамедлительно дали почувствовать себя. Россия, как показала Крымская война, перестала быть решающей силой на европейском континенте. Таковой же, как продемонстрировала франко-прусская война, стала и Франция. Наоборот, Германия, новая держава, которая соединила как значительную промышленную, так и технологическую силу с заметно бóльшим населением, чем любое другое европейское государство кроме России, стала новой решающей силой в этой части мира и должна была оставаться такой вплоть до 1945 года. Австрия, в переделанной версии Австро-Венгерской двойной монархии (1867), оставалась тем, чем она долго была — «великой державой» просто по размеру и удобному международному положению, хотя и более сильной, чем недавно объединенная Италия, чье большое население и дипломатические амбиции также позволяли ей надеяться на то, что с ней будут обращаться как с равноправным участником в игре держав.

Поэтому официальная международная структура стала все

более и более отклоняться от реальной. Международная политика стала глобальной политикой, в которую, по крайней мере, должны были эффективно вмешаться две неевропейские державы, хотя это и не было заметно до двадцатого столетия. Кроме того, она стала видом олигополии³³ капиталистических промышленных держав, совместно осуществляющих монополию в мире, но соперничающих между собой, хотя это не стало очевидным до эры «империализма» после окончания нашего периода. Около 1875 года все это было еще едва различимо. Но основы новой державной структуры должны были корениться в 1860-х годах, включая опасение общей европейской войны, которое начало преследовать наблюдателей международной жизни с 1870-х годов. Фактически, такой войны не должно было бы быть в течение последующих сорока лет, более долгий период с каким когда-либо справлялось двадцатое столетие. Еще наше собственное поколение, которое может оглянуться назад от времени написания на почти тридцать лет без войны между какими-нибудь большими или даже средними державами*, знает лучше чем кто-либо другой, что отсутствие войны может быть сопряжено с постоянным страхом перед ней. Несмотря на конфликты, эра либерального триумфа отличалась стабильностью. После 1875 года это продолжалось недолго.

* За исключением конфликта между Соединенными Штатами и Кореей в 1950—1953 годах; в то время Китай еще не рассматривался в качестве великой державы.

ГЛАВА 5

ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИЙ

Но что ...есть нация? Почему Голландия — нация, в то время как Ганновер и Великое герцогство Парма нет?

Эрнест Ренан, 1882^{1*}

Что является национальным? Когда никто не понимает слово языка, на котором вы говорите.

Иоганн Нестрой, 1862^{2*}

Если великий народ не верит, что правда должна быть найдена только в нем самом... если он не верит, что он один пригоден и предназначен подняться и спасти всех остальных своей правдой, он сразу опустился бы до просто этнографического материала, а не великого народа... Нация, которая теряет эту веру, перестает быть нацией.

Ф. Достоевский, 1871—1872^{3*}

*Nations! Réunir ici tous les peuples?*³⁴

Гюстав Флобер, около 1852^{4*}

I

Если международная и внутренняя политика были тесно связаны друг с другом в течение этого периода, то обязательством, которое связывало их очевиднее всего, было то, что мы называем «национализм», но в середине девятнадцатого столетия он все еще рассматривался как «принцип национальности». Какой была международная политика с 1848 по 1870-е годы? Традиционная западная историография не испытывает больших сомнений: она была занята созданием Европы из наций-государств. Может иметь место значительная неуверенность по части отношений между этим аспектом века и другими, которые были явно связаны с ним, такими как экономический прогресс, либерализм, возмож-

но, даже демократия, но никакой относительно приоритетной роли национальности.

И действительно, как это могло бы быть? Что бы там ни случилось, 1848 год, «весна народов», ясно был также, и в международном смысле прежде всего, утверждением принципа национальности, или скорее соперничающих национальностей. Немцы, итальянцы, венгры, поляки, румыны и прочие утверждали свое право быть независимыми и объединенными государствами, объединяющими всех членов своих наций против репрессивных правительств, как это делали чехи, хорваты, датчане и другие, хотя с растущим опасением относительно революционных устремлений более крупных наций, которые казались слишком готовыми пожертвовать собой. Франция уже была независимым национальным государством, но ничуть не менее националистическим в отношении этого.

Революции потерпели неудачу, но в европейской политике последующих двадцати пяти лет господствовали те же самые устремления. Как мы видели, они были фактически осуществлены, в той или иной форме, хотя и с помощью нереволюционных или только незначительно революционных средств. Франция вернулась к карикатуре «великой нации», управляемой карикатурой великого Наполеона, Италия и Германия были объединены королевствами Савойя и Пруссия, Венгрия добилась действительного самоуправления по Компромиссу 1867 года, Румыния стала государством посредством слияния двух «Дунайских княжеств». Только Польша, которая потерпела неудачу в попытке принять равное участие в революции 1848 года, также потерпела неудачу, попытавшись завоевать независимость или автономию в восстании 1863 года.

На крайнем западе и крайнем юго-западе Европы «национальная проблема» навязывала себя сама. Фении³⁵ в Ирландии подняли ее в форме радикального восстания, поддержанного миллионами их соотечественников, гонимых голодом и ненавистью Англии в Соединенные Штаты. Национальный кризис многонациональной Оттоманской империи принял форму мятежей различных христианских народов, которыми она так долго правила на Балканах. Греция и Сербия были уже независимыми,

хотя все еще намного меньше, чем они предпочитали думать. Румыния добилась независимости определенного рода в конце 1850-х годов. Народные восстания в начале 1870-х годов все же ускорили другой внутренний и международный турецкий кризис, который должен был сделать независимой Болгарию в конце десятилетия и ускорить «балканизацию» Балкан. Так называемый «Восточный вопрос», который постоянно занимал министров иностранных дел, теперь являлся прежде всего вопросом о том, как перекроить карту Европейской Турции среди неоформившегося ряда новых государств неопределенного размера, которые заявили о себе и были уверены, что представляют собой «нации». И чуть дальше к северу внутренние проблемы Габсбургской империи были еще очевиднее, чем таковые же составляющих ее наций, многие из которых — а потенциально все — выдвигали требования от умеренной культурной автономии до выхода из состава «лоскутной монархии».

Даже вне Европы образование наций носило драматический характер. Чем была Гражданская война в Америке, если не попыткой утвердить единство американской нации, спасая ее от разрушения? Чем была «революция» Мэйдзи, если не появлением новой и гордой «нации» в Японии? Едва ли можно отрицать то, что «делание наций», как называл это Уолтер Бэгхот (1826—1877), шло по всему миру и было главным признаком века.

Так, очевидно, что природа феномена была едва изучена. Понятие «нация» считалось само собой разумеющимся. Как изложил суть дела Бэгхот: «Мы не можем представить себе тех, для кого это трудно понять: «мы знаем, что это такое, когда вы не спрашиваете нас», но мы не можем очень быстро объяснить или различить, что это^{5*}, и немногие полагают, что это им нужно. Конечно, англичане знали, что значит быть англичанином, француз, немец, итальянец или русский не имеют никаких сомнений в своей национальной идентичности». Вероятно, нет, но в век образования нации верилось, что это подразумевает логическую, необходимую, а также желательную трансформацию «наций» в суверенные нации-государства, с компактной территорией, определяемой областью, заселенной членами «наций», которая в свою очередь определялась своей прошлой историей, своей

общей культурой, своим этническим составом и, в значительной степени, своим языком. Но ничего логического относительно этого подразделения нет. Если существование различных групп людей, отличающихся от других групп разнообразием критериев является как бесспорным, так и столь же старым, как и сама история, то существование в девятнадцатом столетии понятия «нация-государство» не является фактом. Еще менее вероятно то, что факт организации территориальных государств типа девятнадцатого века не касается государств, совпадающих с «нациями». Они были относительно недавними историческими феноменами, хотя более ранние территориальные государства — Англия, Франция, Испания, Португалия и, возможно, даже Россия — могли быть определены как «нации-государства» без очевидной нелепости. Даже как общая программа, стремление формировать нацию-государство вне не-нации-государства была продуктом французской революции. Поэтому мы должны проводить четкое различие между образованием наций и «национализмом» постольку, поскольку это имело место в нашем периоде, и созданием наций-государств.

Проблема была не просто аналитической, но и практической. Европа, не говоря об остальном мире, явно была разделена на «нации», в чьих государствах или стремлениях обрести государственность имелось, правильно или ложно, мало сомнения, и тех, относительно которых существовала немалая доля неуверенности. Самым надежным указателем первых был политический факт, институциональная история или культурная история грамотных. Франция, Англия, Испания, Россия были бесспорно «нациями», потому что они обладали государствами, идентифицированными с французами, англичанами, и т. д., Венгрия и Польша были нациями, потому что Венгерское королевство существовало как отдельное образование в пределах Габсбургской империи и Польское государство существовало долго, пока не было разрушено в конце восемнадцатого столетия. Германия была нацией как потому что ее многочисленные княжества, хотя и никогда не объединенные в территориально-единое государство, давно образовывали «Священную Римскую империю германской нации»³⁶ и все еще формировали Германскую

Федерацию, так и потому, что все образованные немцы имели один и тот же письменный язык и литературу. Италия, хотя и никогда не обладавшая политическим бытием, как таковым, обладала, возможно, самой древней общей литературной культурой своей элиты*. И так далее.

«Исторический» критерий статуса национальной государственности подразумевал, таким образом, определяющую важность институтов и культуры правящих классов или образованной элиты, предполагая их идентификацию, или не слишком очевидную несовместимость с обычными людьми. Но *идеологический* аргумент для национализма был совсем иным, и намного более радикальным, демократичным и революционным. Он опирался на тот факт, что, что бы ни говорила история или культура, ирландцы были ирландцами, а не англичанами, чехи — чехами, а не немцами, финны — не были русскими, и ни один народ не должен был эксплуатироваться и управляться другим. Могут быть найдены или придуманы исторические аргументы, чтобы поддержать это требование — их всегда могут обнаружить, — но по существу чешское движение не выдвигало требования восстановить Корону (королевскую власть) св. Вацлава, а ирландцы не требовали отмены союза 1801 года³⁷. Основа этого чувства разделенности не была непременно «этнической», в смысле легко узнаваемых отличий во внешнем виде или даже в языке. Во время рассмотрения периода движения ирландцев (большинство которых уже говорило по-английски), норвежцев (литературный язык которых не сильно отличался от датского) или финнов (чьи националисты говорили как по-шведски, так и по-фински) не придавали большого значения языку. Если они были культурными, они опирались не на «высокую культуру», которой большинство народов еще мало интересовались, а скорее на устную традицию — песни, баллады, эпосы, и т. д., обычаи и менталитет «народа» — простых людей, практически на крестьянство. Первой ступенью

* Ни один современный англичанин, немец или француз не может читать литературные произведения четырнадцатого века, написанные в их странах, не изучив то, что в определенном смысле считается другим языком, но все образованные итальянцы сегодня могут читать Данте с меньшими трудностями, чем современные англоговорящие люди могут читать Шекспира.

«национального возрождения» было неизменно единое, возрождающееся и приобретающее гордость народное население (см. *Век Революции*, глава 14). Но сами по себе они имели не политический характер. Те, кто были первопроходцами в этом, зачастую являлись культурными представителями иностранных правящих классов или элиты, такие как немецкие лютеранские пасторы или джентльмены-интеллектуалы из прибалтийских стран, которые собирали фольклор и предметы старины латвийского и эстонского крестьянства. Ирландцы не были националистами, поскольку они верили в леприконов (злых гномов).

Почему они были националистами и насколько глубоко они были националистами, мы обсудим ниже. Существенным здесь является то, что типичной «неисторической» или «полуисторической» нацией являлась также *малая* нация, и это поставило национализм девятнадцатого века перед дилеммой, которую редко признавали. Для сторонников «нации-государства» оно означало не только то, что должно было быть национальным, но также и то, что оно должно было быть «прогрессивным», то есть способным к развитию жизнеспособной экономики, технологии, государственной организации и вооруженных сил, то есть что оно должно быть по крайней мере довольно большим. Оно должно было стать, фактически, «натуральной» единицей развития современного, либерального, прогрессивного, и *de facto* буржуазного общества. «Объединение» так же как и «независимость» было его принципом, и там, где не существовало ни одного исторического аргумента для объединения — как, например, в Италии и Германии, — оно было, по возможности, сформулировано как программа. Не было ни одного какого бы то ни было свидетельства, что балканские славяне когда-либо рассматривали себя, как части одной и той же нации, но националистские идеологи, появившиеся в первой половине столетия, думали в терминах, «Иллирия» едва более реально чем Шекспир, «югославское» государство, которое должно было объединить сербов, хорватов, словен, боснийцев, македонян и других, которые и до сего дня демонстрируют, что их югославский национализм, говоря помягче, находится в конфликте с их чувствами как хорватов, словен, и т. д.

Наиболее красноречивый и типичный защитник «Европы наций-государств», Джузеппе Мадзини (1805—1872), предложил в 1857 году свою карту идеальной Европы^{6*}: она включала одиннадцать простых союзов этого вида. Очевидно, что его идея «наций-государств» очень отличалась от идей Вудро Вильсона, который лишь надзирал за постепенным переписыванием европейской карты в соответствии с национальными принципами в Версале в 1919—1920 годах. Его Европа состояла из двадцати шести или (включая Ирландию) двадцати семи суверенных государств, и согласно критериям Вильсона в определенном случае могло появиться еще несколько. Что должно было произойти с малыми нациями? Они четко должны быть объединены, в федерации или каким-либо другим образом, с или без некоторой еще пока неопределенной автономии, в жизнеспособные нации-государства, хотя это, казалось, не соответствовало замечанию Мадзини о том, что человек, который предлагал объединить Швейцарию с Савойей, немецким Тиролем, Каринтией и Словенией, был едва ли в состоянии критиковать, скажем, Габсбургскую империю за надругательство над национальным принципом.

Самый простейший аргумент для тех, кто, отождествляя нации-государства с прогрессом, должен был отрицать характер «реальных» наций для малых и отсталых народов, или оспаривать, что прогресс должен превратить их в простые провинциальные единицы в пределах больших «реальных» наций, или даже вести к их фактическому исчезновению путем ассимиляции в некотором *Kulturvolk* (культурном народе). Это не казалось нереальным. В конце концов, вхождение в состав Германии не мешало мекленбуржцам говорить на диалекте, который был ближе к голландскому, чем к верхненемецкому (литературному), и который не смог бы понять ни один баварец, или в подобном же случае лужицким славянам пользоваться (как они поступают до сих пор) в основном немецким языком. Существование бретонцев, а также отчасти басков, каталонцев и фламандцев, не говоря уже о тех, кто говорит на провансальском и лангедокском диалектах, казалось совершенно совместимым с существованием французской нации, частью которой они были, а жители Эльзаса создали проблему только потому, что другое большое нация-государ-

ство — Германия — спорило об их национальной принадлежности. Кроме того, имели место примеры таких малых языковых групп, образованная элита которых без сожаления ожидала исчезновения их языка. Множество валлийцев в середине девятнадцатого столетия должны были покориться этому, и некоторые приветствовали ассимиляцию как средство облегчения проникновения прогресса в отсталый регион.

Имелся сильный элемент неравенства и, возможно, даже более сильный элемент, особо напрашивающийся при таких дискуссиях. Некоторые нации — большие, «прогрессивные», устоявшиеся, включая, конечно, собственного идеолога — были предназначены историей преобладать или (если идеолог предпочитал дарвинистскую фразеологию) стать победителями в борьбе за существование; другие таковыми не становились. Все же это не должно расцениваться просто как заговор отдельных наций с целью угнетения других, хотя представители непризнанных наций едва ли могли бы быть посрамлены за такие размышления. Что же до дискуссии, то она была направлена как против региональных языков и культур самой нации, так и против посторонних, и не обязательно предусматривала их исчезновение, а только их понижение от статуса языка до статуса «диалекта». Кавур не отрицал право жителей Савойи говорить на своем языке (более близком французскому нежели итальянскому) в объединенной Италии: он сам говорил на нем из соображений внутреннего порядка. Он, и другие итальянские националисты, просто настаивали на том, что должен существовать только один официальный язык для обучения, а именно итальянский язык, а другие должны раствориться или выживать, как смогут. Случилось так, что на этой стадии ни сицилийцы, ни жители Сардинии не настаивали на своем отдельном государственном статусе, так что их проблема могла быть повторно определена в лучшем случае как «регионализм». Он стал политически значимым лишь тогда, когда однажды маленький народ потребовал статуса государственности, как в 1848 году сделали чехи, когда их представители отказались от приглашения немецких либералов принять участие во Франкфуртском парламенте. Немцы не отрицали того, что чехи существуют. Они просто, весьма правильно, предполагали, что все

образованные чехи говорили и читали по-немецки, были приобщены к достижениям высокой немецкой культуры и (неправильно) — что они поэтому были немцами. Тот факт, что чешская элита также говорили и по-чешски и была приобщена к культуре простого народа, казалось, должно было политически не приниматься в расчет, как отношение простого народа в общем и крестьянства в частности. Столкнувшись с национальными устремлениями маленьких народов, идеологи «национальной Европы» поэтому могли выбрать три пути: они были вправе отрицать их законность или само их существование, они могли низвести их до движения за региональную автономию, и они могли принять их как бесспорные, но неуправляемые явления. Немцы имели тенденцию действовать, как указано в первом случае, по отношению к таким народами, как словенцы, венгры, обходились так со словаками*.

Кавур и Мадзини разделяли вторую точку зрения относительно ирландского движения. Ничто не является более парадоксальным чем их неудача поместить в националистический образец одно национальное движение, относительно массового базиса которого не могло возникнуть никаких сомнений. Политики всех видов были вынуждены принять третье представление относительно чехов, чье национальное движение, хотя тогда и не предусматривавшее полную независимость, не могло сбрасываться со счетов после 1848 года. Там, где было возможно, они, разумеется, не обращали внимания на такие движения вообще. Едва ли какой иностранец озаботился заметить, что несколько наиболее давно организовавшихся «национальных» государств были на

* Это отношение должно отличаться от подхода социальных революционеров, которые — по крайней мере в наш период — не придавали сколько-нибудь большое значение национализму вообще и поэтому принимали во внимание лишь пользу, которую могли принести его действия. Для Маркса венгерский и польский национализм в 1848 году был хорош, потому что он находился на стороне революции, чешский и хорватский национализм плохи, потому что он объективно был на стороне контрреволюции. Но мы не можем отрицать, что в таких взглядах присутствовал элемент великодержавного национализма, весьма очевидно и среди в высшей степени шовинистски настроенных французских революционеров (особенно бланкистов), и не легко его отрицать даже у Фридриха Энгельса.

самом деле многонациональными (например, Англия, Франция, Испания) для валлийцев, шотландцев, бретонцев, каталонцев и т. д., но не рассматривал это как международную проблему и (с возможным исключением каталонцев) как существенную проблему во внутренней политике своих собственных стран.

II

Таким образом, имело место принципиальное различие между движением, стремящимся основать нации-государства, и «национализмом». Первое являлось программой создания политического экспоната, требующего быть основанным на другом. Нет никакого сомнения, что многие, кто считал себя «немцами» в некоторых целях, не верили, что это предполагало отдельное немецкое государство, немецкое государство особого типа, оставляя без внимания то, которое включало всех немцев, живущих в пределах ограниченной области, как поется в народной песне, по рекам Мозель на западе и Неман на востоке, морским проливам Дании (Пояс) на севере и реке Адидже на юге. Лишь Бисмарк отверг бы, что его отказ от этой «великой немецкой» программы подразумевал то, что он не был немцем, в той же мере как и прусским юнкером и слугой государства. Он был немцем, но не немецким националистом, возможно даже не «маленьким немецким» националистом по убеждению, хотя фактически он объединил всю страну (кроме территорий Австрийской империи, которые принадлежали Священной Римской империи, но включая области, отнятые Пруссией у Польши, которая никогда не была ее частью). Чрезвычайным случаем расхождения между национализмом и нацией-государством была Италия, большая часть которой была объединена при короле Савойском в 1859—1860, 1866 и 1870 годах. После Древнего Рима не было ни одного исторического прецедента для установления единого управления всей территорией от Альп до Сицилии, которую Меттерних совершенно справедливо обозначил как «простое географическое название». К моменту объединения, в 1860 году, было подсчитано, что не более 26 процентов ее жителей фактически

говорили на итальянском языке в обычной жизни, остальные говорили на диалектах, настолько различных, что учителя, посланные Итальянским государством на Сицилию в 1860-х годах, ошибочно принимались за англичан. Возможно куда больший процент, но все еще незначительное меньшинство, в то время думали о себе прежде всего как об итальянцах. Не удивительно то, что Массимо д'Азеглио (1792—1866) провозгласил в 1860 году: «Мы создали Италию; теперь мы должны создать итальянцев».

Тем не менее, каковы бы ни были их характер и программа, движения, представляющие «национальную идею», росли и множились. Они часто — или даже как правило — не представляли то, что в начале двадцатого столетия стало стандартной (и чрезвычайной) версией национальной программы, то есть необходимость полной независимости, однородной территориально и лингвистически, светского — и, вероятно, республиканского (парламентского) — государства для каждого «народа»*. Однако все они подразумевали некоторые более или менее честолюбивые политические перемены, а это и есть то, что делало их «националистическими». Теперь мы должны взглянуть на них, избегая как анахронизма непредусмотрительности, так и искушения спутать идеи большинства крикливых национальных лидеров с идеями, фактически поддержанными их последователями.

Мы также не должны игнорировать существенное различие между старым и новым национализмом, первый, включающий не только «исторические» нации, еще не обладавшие своими собственными государствами, но и те, которые уже давно обрели государственность. Насколько англичане чувствовали себя англичанами? Не в очень большой степени, несмотря на фактическое отсутствие на этой стадии любых движений за автономию Уэльса и Шотландии. Имел место английский национализм, но он не разделялся на острове более малыми нациями. Английские эмигранты в Соединенных Штатах гордились своей национальностью, и поэтому отказывались становиться американскими

* Сионизм, с высоким экстремизмом своих требований, ясно иллюстрирует это, ибо подразумевал приобретение территории, изобретая язык и делая светскими политические структуры народа, чье историческое единство заключалось исключительно в отправлении общего религиозного культа.

гражданами, но иммигранты из Уэльса и Шотландии не соблюдали подобной лояльности. Они с гордостью могли оставаться валлийцами и шотландцами как с американским так и с британским гражданством, и с легкостью натурализовались. Как осознавали себя гражданами *la grande nation** французы? Мы этого не знаем, но статистика списков дезертиров в начале столетия показывает, что определенные области на западе и юге (не говоря уже об особом случае корсиканцев) рассматривали обязательную военную службу скорее как неприятную обязанность, чем как национальный долг французского гражданина. Немцы, как мы знаем, имели различные мнения относительно размеров, природы и структуры будущего объединенного германского государства, но сколько из них было озабочено «немецком объединении» вообще? Не много, с общего согласия немецких крестьян, даже в революции 1848 года, когда немецкий вопрос доминировал в политической жизни. Были страны, в которых едва ли можно было отрицать национализм и патриотизм масс, и они демонстрировали, как неразумно считать само собой разумеющимся их универсальность и однородность.

В большинстве других наций, особенно у появившихся в середине девятнадцатого столетия, само собой разумеющимся должны были быть только мифы и пропаганда. В них «национальное» движение могло обрести политический характер, вслед за его сентиментальной и фольклорной фазой, с появлением более или менее значительных групп людей, посвятивших себя «национальной идее», выпускающих национальные журналы и другую литературу, организующих национальные общества, пытающихся организовать образовательные и культурные учреждения и вовлеченных в различные более открытые политические акции. Но в общем на этой стадии движение все еще испытывало недостаток сколько-нибудь серьезной поддержки у масс населения. Оно прежде всего состояло из промежуточного слоя и того, из чего формировалась местная буржуазия или аристократия и особенно из числа грамотных: учителей, духовенства более низкого уровня, некоторых городских торговцев и ремесленников, и тех лю-

* Великая нация (франц.)

дей, которые возвысились, насколько это было возможно для сыновей крестьянского люда в иерархическом обществе. В конечном счете студенты некоторых проникнутых национализмом факультетов, семинарий и высших учебных заведений — снабжали их подготовленной массой активных борцов. Конечно, в «исторических» нациях, которые требовали всего лишь удаления иностранного правления, чтобы возродиться как государства, местная элита — мелкопоместное дворянство в Венгрии и Польше, бюрократы из среднего класса в Норвегии — незамедлительно обеспечивали политический кадровый состав и иногда более широкую базу для национализма (см. *«Век Революции»*, глава 7). В целом эта фаза национализма заканчивается между 1848 и 1860-ми годами в Северной, Западной и Центральной Европе, хотя многие малые прибалтийские и славянские народы должны были лишь начинать вступать в него.

По очевидным причинам наиболее традиционные, отсталые или бедные группы людей последними вовлекались в такие движения: рабочие, служащие и крестьяне, которые следовали по пути, проложенном «образованной» элитой. Фаза национализма масс, которая поэтому обычно проходила под влиянием организаций национальных либерально-демократических средних слоев — за исключением тех случаев, когда компенсировалось независимыми рабочими и социалистическими партиями, которые были до некоторой степени связаны с экономическим и политическим развитием. В чешских землях она началась во время революции 1848 года, повторилась снова в абсолютистских 1850-х годах, но чрезвычайно выросла во время быстрого экономического прогресса 1860-х годов, когда политические условия также были более благоприятными. Местная чешская буржуазия к тому времени приобрела достаточно богатства, чтобы учредить влиятельный чешский банк и в конечном счете такие дорогие учреждения, как Национальный театр в Праге (впервые открытый в 1862 году). Добавим к этому массовые культурные организации подобные гимнастическим клубам «Сокол» (1862), охватившие сельскую местность, и то, что политические компании после Австро-Венгерского Компромисса проводились посредством серии больших митингов на открытом воздухе — около 140 с под-

считанным участием 1 1/2 млн человек в 1868—1871 годах^{8*}, которые, кстати, иллюстрируют как новизну, так и культурный «интернационализм» массового национального движения. Испытывая недостаток в собственном наименовании для такого рода действий, чехи первоначально заимствовали для них термин «митинг» из ирландского движения, которое они попытались копировать*. Вскоре было изобретено подходящее традиционное название при обращении назад к гуситам³⁸ пятнадцатого столетия, естественное для чешской национальной воинственности, — «табор»; и оно, в свою очередь, было принято хорватскими националистами для их объединений, хотя гуситы не имели к ним никакого исторического отношения.

Этот вид массового национализма был новым и совершенно отличным от национализма элиты или среднего класса итальянского и немецкого движений. И все же долго существовала другая форма массового национализма: как более традиционного, более революционного, так и более независимого местных средних классов, вероятно потому что они не имели никаких больших экономических и политических последствий. Но можем ли мы называть восстания крестьян и горцев против иностранного правления «националистическими», когда они объединялись лишь сознанием притеснения, ксенофобией и привязанностью к древней традиции, настоящей верой и смутным чувством этнической идентичности? Только тогда, когда они по одной или другой причине оказывались привязанными к современным национальным движениям. Могли ли они быть так привязаны к юго-восточной Европе, где такие восстания разрушили большую часть Турецкой империи, особенно в 1870-х годах (Босния, Болгария), об этом можно спорить, хотя несомненно то, что они породили независимые государства (Румынию, Болгарию), которые требовали признать их национальными. В лучшем случае мы можем говорить просто о национализме, как среди румын, сознающих отличие своего языка от окружающих и перемешанных славян, вен-

* Слово «митинг» также было заимствовано для массовых собраний рабочего класса французами и испанцами, но, возможно, в этом случае, из английского опыта.

гров и немцев, или славян, сознающих точную «славянскость», которую интеллектуалы и политики пытались развить в идеологию панславизма в наш период*; и даже среди них является вероятным, что чувство солидарности православных христиан с великой православной Российской империей было силой, которая придавала ей реальность в этот период.

Одно такое движение, однако, было бесспорно национальным: ирландское. Ирландское республиканское братство («фении»), с его все еще существующей ирландской республиканской армией, было прямым потомком тайных революционных братств периода до 1848 года и самой долгоживущей организацией такого рода. Массовая сельская поддержка националистических политиков не была сама по себе новой, для ирландской ситуации, связанной с иностранным завоеванием, бедностью, угнетением, и в значительной степени англо-протестантский класс землевладельцев заставил ирландско-католическое крестьянство по крайней мере мобилизоваться политически. В первой половине столетия лидеры этих массовых движений принадлежали к (малому) ирландскому среднему классу и их целью — поддержанной единственной эффективной национальной организацией, церковью — было умеренное соглашение с англичанами. Новое у фениев, которые впервые появились как таковые в конце 1850-х годов, заключалось в том, что они были полностью независимы от умеренных среднего класса, что их поддержка исходила целиком из народных масс — даже, несмотря на открытую враждебность церкви, отдельных групп крестьянства — и что они были первыми, выдвинувшими программы полной независимости от Англии путем вооруженного восстания. Несмотря на их название, позаимствованное из героической мифологии древней Ирландии, их идео-

* Панславизм обращался как к консервативным и имперским политикам России, которым он предлагал расширение российского влияния, так и к тем более малым славянским народам Габсбургской империи, которым он предлагал мощного союзника и, возможно, также, более отдаленно, надежду образования «собственной» большой нации вместо собрания малых и явно нежизнеспособных наций. (Революционным и демократическим панславизмом анархиста Бакунина можно пренебречь как утопическим). Поэтому он подвергался сильному давлению левых, которые рассматривали Россию как главную цитадель международной реакции.

логия была совершенно нетрадиционной, хотя ее светский, даже антиклерикальный национализм не может скрывать того, что для массы фениев — ирландцев критерием национальности была (и по-прежнему остается) католическая вера. Их искренняя концентрация на Ирландской республике, выигранная вооруженной борьбой, заменила социальную и экономическую, даже внутриполитическую программу, и их героическая легенда о бунтарях-мятежниках и мучениках до настоящего времени оставалась слишком сильна для тех, кто хотел сформулировать ее. Это является «республиканской традицией», которая выжила в 1970-х годах и вновь проявилась в гражданской войне в Ольстере, во «временной» ИРА. Готовность фениев вступить в непосредственный союз с социал-революционерами и готовность социалистических революционеров признать революционный характер фенианства не должны поощрять иллюзии на этот счет*.

Но мы не должны недооценивать новизну и историческое значение движения, чья финансовая поддержка исходила из масс ирландских чернорабочих, которых голод и ненависть к Англии привели в Соединенные Штаты, чьи рекруты вышли из ирландских эмигрантов-пролетариев в Америке и Англии — едва ли тем, что теперь является Ирландской республикой, были какие-нибудь промышленные рабочие — и из молодых крестьян и работников ферм в древних цитаделях ирландского «аграрного терроризма»; чьими кадрами были люди такие, как эти и самый нижний слой революционных городских чиновников, и чьи лидеры посвятили свои жизни восстанию. Оно предвосхищает революционные национальные движения отсталых стран в двадцатом столетии. Ему не хватало ядра социалистической рабочей организации, или, возможно, просто вдохновения социалистической идеологии, которая должна была превратить комбинацию национального освобождения и социального преобразования в такую громадную силу в этом столетии. Нигде не было никакого социализма, исключая социалистскую организацию в Ирландии, и фениев, которые также были социал-революционерами, особенно Майкл Дэвитт (1846—1906), преуспевший лишь во внесении опре-

* Маркс горячо поддерживал их и состоял в переписке с лидерами фениев.

деленности в деятельность Земельной Лиги, во всегда неопределенные отношения между массовым национализмом и массовым сельским недовольством; но даже это не до, а после окончания нашего периода, во время великой Аграрной депрессии конца 1870-х и 1880-х годов. Фенианизм был массовым национализмом эпохи триумфального либерализма. Он не смог сделать ничего, кроме формулировки требования вытеснить Англию и обрести полную независимость посредством революции ради угнетенных людей, надеющихся, что это так или иначе решило бы все проблемы бедности и эксплуатации. Он даже и это не совершил как следует, несмотря на самопожертвование и героизм фениев, их спорадические восстания (1867) и вторжения (например, в Канаду из Соединенных Штатов), которые осуществлялись без особого результата, а их драматические заговоры достигали, как обычно в таких случаях, немного большего, чем временная реклама; иногда довольно плохая реклама. Они породили силу, которая должна была завоевать независимость для большинства населения католической Ирландии, но, так как они не создали кроме этого ничего, они предоставили будущее этой Ирландии умеренным буржуа, богатым фермерам и торговцам небольших городов маленькой аграрной страны, которые должны были принять их наследство.

Хотя ирландский случай был все еще уникален, ничто не опровергает того, что в наш период национализм стал влиятельной массовой силой, по крайней мере в странах, населенных белыми. Даже хотя *Коммунистический Манифест* и был куда менее нереалистичен, чем часто предполагалось на основании утверждения, что «у рабочих нет родины», он, вероятно, завоевывал авторитет среди рабочих *pari passu* с политическим сознанием, хотя бы потому, что традиция революции сама по себе была национальной (как во Франции) и потому что лидеры и идеологи новых рабочих движений были сами глубоко вовлечены в разрешение национального вопроса (как почти повсюду в 1848 году). Альтернативой «национальному» политическому сознанию был, на практике, не «интернационализм рабочего класса», а субполитическое сознание, которое все еще действовало в масштабе, гораздо меньшем, или несоответствующем, таковому как нация-

государство. Политически левацки настроенные мужчины и женщины, которые сделали четкий выбор между национальной и наднациональной лояльностью, как в случае международного пролетариата, были малочислены. Левый «интернационализм» на практике означал солидарность и поддержку тех, кто боролся за то же самое дело в других нациях, а в случае политических беженцев, готовность принимать участие в борьбу там, где бы они ни находились. Но, как показывают примеры Гарибальди, Ключэре³⁹ из Парижской Коммуны (который помогал фениям в Америке) и многих польских борцов, это не шло ни в какое сравнение со страстными национальными убеждениями. Это также могло означать отказ принять определения «национального интереса», выдвигаемого правительствами и другими силами. Немецкие и французские социалисты, объединившиеся в протесте против «братоубийственной» франко-прусской войны, все же не были бесчувственны к национализму как *они* видели его. Парижская Коммуна черпала поддержку из якобинского патриотизма Парижа так же, как и из лозунгов социальной эмансипации, а марксистские германские социал-демократы Либкнехт и Бебель извлекали много из них и из их обращения к радикально-демократическому национализму 1848 года против прусской версии национальной программы. То, что обидело немецких рабочих, было скорее реакция, чем немецкий патриотизм; и одним из наиболее неприемлемых аспектов реакции было то, что она называла социал-демократов *vaterlandslose Gesellen* (люди без родины), таким образом отрицая их право быть не только рабочими, но и хорошими немцами. И, конечно, было почти невозможным для политического сознания, тем или иным образом, не быть национально идентифицированным. Пролетариат, подобно буржуазии, существовал как международная реальность лишь концептуально. В действительности он представлял собой совокупность групп, обусловленных их принадлежностью к национальным государствам или этническим [лингвистическим] отличием: английским, французским или, во многонациональном государстве, германским, венгерским или славянским. И в том, насколько понятия «государства» и «нации» были близки в идеологии тех, кто устанавливал институты и доминировал в гражданском обществе,

политика в границах государства подразумевала политику в границах нации.

III

И все же, какими бы мощными ни были национальные чувства и (когда нации превратились в государства или изменились каким-то другим путем) чувство верности своей нации, «нация» не была результатом естественного роста, а искусственным образованием. Она не просто была чем-то исторически новым, хотя воплощала идеи некоторых очень древних групп людей, которые они все разделяли или думали, что разделяют против «иностранцев». Фактически, она должна была быть создана. Отсюда — серьезная важность учреждений, которые могли бы *навязать* национальную однородность, в первую очередь подразумевавшую государство, особенно государственное образование, государственную занятость и (в странах с обязательной воинской повинностью) военную службу*. Системы образования развитых стран существенно расширились в течение этого периода на всех уровнях. Число студентов университетов оставалось необычно скромным по современным меркам. Исключая студентов теологов, Германия лидировала в этой области в конце 1870-х годов со своими семнадцатью тысячами студентов, затем со значительным отрывом следовали Италия и Франция с девятью-десятью тысячами каждая и Австрия примерно с восемью тысячами^{9*}. Оно особенно сильно не росло, кроме как под националистическим давлением и в Соединенных Штатах, где учреждения, предназначенные давать высшее образование, переживали процесс роста^{**}. Среднее образование развивалось со средним классом, хотя (подобно

* Воинская повинность существовала во Франции, Германии, Италии, Бельгии и Австро-Венгрии.

** Из восемнадцати новых университетов, основанных между 1849 и 1875 годами, девять были за морем (пять в Соединенных Штатах, два в Австралии, по одному в Алжире и Токио), пять находились в Восточной Европе (Яссы, Бухарест, Одесса, Загреб и Черновцы). Два очень скромных заведения были в Англии.

высшей буржуазии, для которой предназначались средние учебные заведения) они оставались весьма элитными учреждениями, так же за исключением Соединенных Штатов, где общественная «высшая школа» начала свою карьеру демократического триумфа. (В 1850 году насчитывалась только сотня таких заведений на всю нацию). Во Франции пропорция учебных заведений, дающих среднее образование, выросла от одного из тридцати пяти (1842) до одного из двадцати (1864): но выпускники средних учебных заведений — они составляли где-то пять с половиной тысяч в год в первой половине 1860-х годов — давали только одного из пятидесяти пяти или шестидесяти из подлежащего призыву на военную службу контингента, хотя это было лучше чем в 1840-х годах, когда они давали лишь одного из 93^{10*}. Большинство стран располагались где-то между совершенно преобразовательными или совершенно ограниченными странами, такими как Англия с ее 25 000 мальчиков в 225 чисто частных заведениях неправильно, называемых «публичными школами», и жадными до образования немцами, чьи *гимназии* насчитывали, возможно, четверть миллиона учеников в 1880-х годах.

Но главный прогресс имел место в начальных школах, чьей целью было при общем согласии не только обучать началам грамотности и арифметики, но, возможно, даже больше того, прививать общественные ценности (мораль, патриотизм, и т. д.) своим подопечным. Это был раздел образования, которым ранее пренебрегали в светском государстве, и его рост был тесно связан с усилением участия масс в политике; свидетельством этого является введение начальной системы образования в Англии спустя три года после принятия Акта о парламентской реформе в 1867 году и заметное расширение системы в первом десятилетии Третьей республики во Франции. Прогресс в самом деле был поразительным: между 1840 и 1880-ми годами население Европы выросло приблизительно на 33 процента, а число детей, посещающих школы, приблизительно на 145 процентов. Даже в располагающей достаточным количеством школ Пруссии число начальных школ возросло чуть больше чем на 50 процентов между 1843 и 1871 годами. Но не просто благодаря образовательной отсталости Италии произошло то, что самое быстрое увеличение школь-

ного населения в наш период случилось там: 460 процентов. В пятидесятые годы, последовавшие за объединением, число детей в начальных школах удвоилось.

Действительно, для новых наций-государств эти учреждения имели решающее значение, только посредством их «национальный язык» (в основном созданный ранее частными усилиями) мог фактически стать письменным и разговорным языком народа, по крайней мере в определенных целях*. Следовательно, для национальных движений в их борьбе имело также значение выиграть «культурную автономию», то есть чтобы контролировать определенную часть государственных учреждений, например, добиться школьной инструкции и административного использования своих языков. Проблема была ни в языке, который воздействовал на неграмотных, так или иначе учившихся диалекту от своих матерей, или в меньшинстве людей, которые приспособились *en bloc*⁴⁰ к преобладающему языку правящего класса. Европейские евреи довольствовались сохранением своих родных языков — идиш произошел от средневекового немецкого и ладино от средневекового испанского — как *tame-loschen* (родной язык) для внутреннего пользования, общение со своими знатными соседями требовало знания какого-либо диалекта и, если они становились буржуа, они отказывались от своего прежнего языка в пользу языка окружающей их аристократии и средних классов, английского, французского, польского, русского, венгерского, но особенно немецкого**. Но евреи на этой стадии не были националистами, и их неудача придать значение «национальному» языку, так же как и их неудача обрести национальную территорию, привели многих к сомнению, что они могут быть «нацией». С другой стороны, проблема была жизненной для средних классов и образованной элиты, вышедших из отсталых или

* «Средства массовой информации» — то есть на той стадии пресса — могли бы стать такими лишь тогда, когда была бы создана массовая грамотная публика, владеющая стандартным языком.

** Движение за превращение как идиша, так и ладино в стандартные литературные языки развилось, в первом случае, с середины столетия, и позднее было принято еврейскими революционными (марксистскими) движениями, но не еврейским национализмом (сионизмом).

маленьких народов. Это были именно они, те, кто особенно обижались на привилегированный доступ к важным и престижным постам, деятелей, для которых «официальный» язык был родным; даже когда (как было в случае с чехами) их собственное образовательное двуязычие фактически предоставляло им преимущество в карьере по сравнению с одноязычными нациями в Богемии. Почему хорваты должны были учить итальянский язык, язык ничтожного меньшинства, чтобы стать офицерами австрийского военного флота?

И все же, поскольку нации-государства были сформированы, общественные посты и профессии прогрессирующей цивилизации умножались, школьное образование стало более общедоступным, прежде всего постольку, поскольку миграция способствовала оседанию сельских людей в городах, это недовольство находило все более и более общий отклик. Что касается школ и общественных учреждений, вводящих один язык для руководства, то они также навязывали культуру, национальность. В регионах с мононациональным населением это не имело значения: австрийская конституция 1867 года признавала элементарное образование на «языке страны». Но почему словенцы или чехи, мигрировавшие в бывшие до сих пор немецкие города, принуждались становиться немцами в качестве цены за то, чтобы стать грамотными? Они требовали права на свои собственные школы, даже тогда, когда они были меньшинством и почему чехи и словенцы Праги или Любляны (Лайбаха), превратившие немцев из большинства в ничтожное меньшинство, должны были сталкиваться с названиями улиц и муниципальными инструкциями на иностранном языке? Политика австрийской половины Габсбургской империи была достаточно сложной для правительства, чтобы заставлять себя думать многонационально.

Но что другое если не обучение использовали правительства для того, чтобы наиболее мощным оружием для формирования наций, на которых они предполагали опереться, систематически проводить мадьяризацию, германизацию или итальянизацию. Парадокс национализма состоял в том, что, формируя свою собственную нацию, он автоматически создавал контрнационализм

тех, кого он сейчас принуждал к выбору между ассимиляцией и подчиненным положением.

Век либерализма не понял этого парадокса. В самом деле, он не додумался до того, что «принцип национальности», который он одобрял, предполагался для реализации, и в подходящих случаях активно поддерживался. Современные наблюдатели были бесспорно правы, предполагая или действуя так, как если бы нации и национализм были пока еще в значительной степени неформированы и податливы. Американская нация, например, основывалась на предположении, что в миграции через океан многие миллионы европейцев легко и быстро должны отказаться от любой политической лояльности в отношении своей родины и от всяких требований официального статуса для своих родных языков и культур. Соединенные Штаты (или Бразилия, или Аргентина) не должны быть многонациональными государствами, а должны растворять иммигрантов в своей собственной нации. И в наш период так и случилось, хотя общины иммигрантов не потеряли своей идентичности в «плавильном котле» нового мира, а оставались или даже становились сознательно и гордо ирландцами, немцами, шведами, итальянцами и т. д. Коммуны иммигрантов могли быть важными национальными силами в странах своего происхождения, какими были американские ирландцы в политике Ирландии; но непосредственно в Соединенных Штатах они обладали значением главным образом как кандидаты на муниципальных выборах. Немцы в Праге одним фактом своего существования создавали далеко идущие политические проблемы для Габсбургской империи, но не немцы в Цинциннати или Милуоки для Соединенных Штатов.

Национализм поэтому все еще казался легко управляемым в рамках буржуазного либерализма и совместимым с ним. Мир наций должен был стать, как в это верили, либеральным миром, а либеральный мир должен был состоять из нации. Будущее должно было показать, что отношение между ними не было столь простым.

ГЛАВА 6

СИЛЫ ДЕМОКРАТИИ

Буржуазия должна знать, что, рядом с ней, во время Второй империи выросли силы демократии. Она найдет эти силы... такими крепко укоренившимися, что должна будет стремиться возобновить войну против этого.

Анри Аллен Тарже, 1868^{1*}

Но поскольку прогресс демократии является результатом общего социального развития, прогрессивное общество, при обладании большей долей политической власти, будет в это же самое время защищать государство от демократических излишеств. Если последние должны будут где-нибудь преобладать, в течение некоторого времени, их следует быстро подавить.

Сэр Т. Эрскин Мэй, 1877^{2*}

I

Если национализм был исторической силой, признанной правительствами, «демократия», или вырастающая роль обычного человека в делах государства, была другой. Оба являлись одним и тем же, поскольку националистические движения стали массовыми движениями, и, конечно, на этом этапе почти все радикальные националистические лидеры считали их идентичными. Однако, как мы уже видели, на практике большие группы простых людей, таких как крестьяне, все еще оставались не затронутыми национализмом даже в тех странах, в которых их участие в политике рассматривалось серьезно, в то время как других, особенно новый рабочий класс, убеждали следовать за движениями, которые, по крайней мере в теории, ставили общий международный классовый интерес выше национальных аннексий. Во всех событиях, с точки зрения правящих классов, важным представлялось не то, во что верили «массы», а то, что их убеждения теперь учитывались в политике. Они были, по опре-

делению, многочисленны, неосведомлены и опасны; главным образом опасны в силу их простонародной склонности верить своим глазам, которые говорили им то, что их правители уделяют слишком мало внимания их нуждам, и простая логика предлагала им, поскольку они образовали основную массу народа, что правительства в первую очередь должны обслуживать их интересы.

Все же в развитых и промышленных странах Запада стало более очевидным, что раньше или позже политические системы должны будут выделить им место. Кроме того, также стало ясно, что либерализм, который образовывал базовую идеологию буржуазного мира, не имел никакой теоретической защиты против этого непредвиденного обстоятельства. Его характерной формой политической организации было представительное правление посредством выборных собраний, не выражавших (как в феодальных государствах) определенные социальные интересы или группы людей, а объединения индивидов, юридически равного статуса. Личный эгоизм, опасения или даже некий здравый смысл вполне могли дать понять власть предержащим, что все люди не были одинаково способны и решать великие вопросы управления государством, неграмотные менее чем выпускники университетов, суеверные менее чем просвещенные, безответственные бедные менее чем те, кто доказал свою способность разумного поведения накоплением собственности. Однако, не принимая в расчет неубедительность таких аргументов, предназначенных для людей социального «дна», они имели две — главных — слабости. Юридическое равенство не могло означать такие различия в теории. Что было куда более важно, стали значительно труднее осуществляться на практике социальная мобильность и образовательный прогресс, условия, необходимые для буржуазного общества, так как они стирали границу между средними слоями населения и их социальными подчиненными. Где должна быть проведена граница, в большой и все увеличивающейся массе «респектабельных» рабочих и низших средних классов, которые усвоили так много ценностей и, насколько позволяли их средства, права буржуазии. Где бы ни была она проведена, если она включала сколько-нибудь большое их количество, она, похоже, должна

была включать значительное число граждан, не поддерживавших многие идеи, которые буржуазный либерализм расценивал как существенные для процветания общества и которые вполне могли страстно противиться им. Кроме всего, и более всего убедительно, революции 1848 года показали, как массы могли вторгаться в закрытый круг своих правителей, и прогресс индустриального общества сам по себе постоянно увеличивал их давление даже в спокойные периоды.

1850-е годы дали большинству правителей передышку. В течение десятилетия или даже больше они не должны были серьезно беспокоиться о подобных проблемах в Европе. Однако была еще одна сторона, в которой стрелки политических и конституционных часов могли быть просто переведены назад. Во Франции, уже пережившей три революции, исключение масс из политики представлялось утопическим предприятием: ведь они должны были быть «управляемы». Так называемая Вторая империя Луи Наполеона (Наполеона III) отныне стала чем-то вроде лаборатории более современного вида политики, хотя особенности ее характера иногда делали смутными возможности более поздних форм политического управления. Такое экспериментирование удовлетворяло вкус, и, хотя, возможно, гораздо меньше способности загадочного персонажа, стоявшего во главе ее.

Наполеон III был особенно неудачлив в своих связях с широкой общественностью. Он имел несчастье объединить против себя все наиболее мощные полемические таланты своего времени, и было достаточно только вместе взятых обвинительных речей Карла Маркса и Виктора Гюго⁴¹, чтобы похоронить его память, даже не принимая в расчет меньших, хотя временами равных по действенности журналистских талантов. Кроме того, он был печально известен неудачами в своих международных и даже внутриполитических предприятиях. А. Гитлер может пережить единодушное осуждение мирового общественного мнения, так как бесспорно, что этот злой, психопатичный и ужасный человек достиг необыкновенных результатов на пути к вероятно неизбежной катастрофе; не в последнюю очередь следует упомянуть твердую поддержку, оказываемую ему народом до самого конца. Наполеон III явно не был таким экстраординарным или даже бе-

зумным деятелем. Человек, которого переиграли Кавур и Бисмарк, чья политическая база опасно сузилась еще до того, как его империя, после нескольких недель войны, развалилась на части, который превратил «бонапартизм» из главной политической силы во Франции в исторический анекдот, неизбежно войдет в историю как «Наполеон Малый». Он даже не сыграл хорошо избранную себе роль. Эта скрытная, угрюмая, но часто очаровательная фигура с длинными навощенными усами, сильно изнуренным слабым здоровьем, страшившийся самих битв, которые должны были упрочить его величие и величие Франции, казалась имперской только *ex officio*.

По существу он был политическим деятелем, политиком второго ранга и, как выяснилось, вполне неудачливым. Все же судьба и окружающая обстановка предопределили его для совершенно новой роли. Как имперский претендент до 1848 года — хотя его генеалогическая претензия быть Бонапартом была сомнительной⁴² — он должен был мыслить по-новому. Он вырос в мире националистических агитаторов (сам присоединился к карбонариям) и последователей Сен-Симона. На основании этого опыта он приобрел сильную, возможно, чрезмерную, веру в могущество таких исторических сил, как национализм и демократия, и определенную гетеродоксию относительно социальных проблем и политических методов, которые позже помогли ему удержаться у власти. Революция предоставила ему его шанс, выбирая человека с именем Бонапарт на президентской пост подавляющим большинством голосов по различным мотивам. Он не нуждался в голосах, чтобы оставаться у власти и, после государственного переворота 1851 года, сам объявил себя императором, но если бы он не был избран сразу, то все его способности к интриге не смогли бы убедить генералов или кого-либо еще из обладавших властью и амбициями, поддержать его. Таким образом, он был первым правителем большого государства кроме Соединенных Штатов, пришедшим к власти посредством всеобщего (мужского) избирательного права, и никогда не забывал этого. Он продолжал использовать его, вначале как плебисцитарный Цезарь, скорее как генерал де Голль (избранная ассамблея представителей была совершенно незначущей), и после 1860 года все более и более

наряду с обычными парламентскими процедурами. Будучи сторонником признанных исторических истин того времени, он, по видимому, не верил, что также смог бы противостоять этой «силе истории».

Отношение Наполеона III к избирательной политике было неоднозначным, и это как раз то, что делает его интересным. Как «парламентарий» он играл в то, что тогда было стандартной игрой в политике, а именно собирал достаточное большинство из законодательного корпуса, сгруппированное в свободные и изменяющиеся союзы с неопределенными идеологическими ярлыками, которые не должно смешивать с современными политическими партиями. Отныне как выжившие в Июльской монархии (1830—1848) политики, подобные Адольфу Тьеру (1797—1877), так и будущие светила Третьей республики, подобные Жюлю Фавру (1809—1880), Жюлю Ферри (1832—1893) и Гамбетте (1838—1882), восстановили или создали себе имена в 1860-х годах. Он не был особенно удачлив в этой игре, особенно когда он решил ослабить бюрократический контроль над выборами и прессой. С другой стороны, как активный участник избирательной компании, он сам держал в резерве (опять же, как генерал де Голль, только, возможно, с бóльшим успехом) оружие плебисцита. Оно подтвердило его триумф в 1852 году подавляющей и, несмотря на значительные «манипуляции», очевидно, подлинной победой с 7,8 миллионами голосов против 0,24 миллиона, при 2 миллионах воздержавшихся, и даже в 1870 году, накануне крушения, Вторая империя все еще могла бы устранить угрожающую парламентскую ситуацию с большинством в 7,4 миллиона против 1,6 миллиона.

Эта народная поддержка была политически неорганизованной (исключая, конечно, средства бюрократического давления). В отличие от современных народных лидеров, Наполеон III не имел никакого «движения», но, конечно, как глава государства он едва ли нуждался в нем. Оно также вообще не было однородным. Ему самому должно быть нравилась поддержка «прогрессистов» — якобинско-республиканского электората, который всегда держался в стороне, не участвуя в событиях городской жизни, и рабочего класса, чье социальное и политическое значение

он оценивал выше, чем значение ортодоксальных либералов. Однако, хотя он иногда получал поддержку важных деятелей этой группы, таких как анархист Пьер-Жозеф Прудон (1809—1865), и серьезно пытался примирить и приручить растущее рабочее движение в 1860-х годах — так, он легализовал забастовки в 1864 году — он потерпел неудачу сломить как их традиционную, так и последовательную близость с левыми. Поэтому на практике он полагался на консервативный элемент и особенно на крестьянство, главным образом на западные две трети страны. Для них он был Наполеоном, несокрушимым и антиреволюционным правительством, надежной опорой против покушения на собственность; и (если они были католиками) защитником папы римского в Риме, ситуация, которой Наполеон должен был бы желать избегать по дипломатическим причинам, но не смог избежать по внутренним.

Но его правление имело даже более важное значение. Карл Маркс наблюдал со своей обычной проницательностью характер его отношений с крестьянством, «неспособным проводить в жизнь свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через парламент или по соглашению. Они не могли представить себя сами, они должны были быть представлены. Их представитель должен был в то же самое время появиться как их хозяин, как власть над ними, как неограниченная правительственная сила, которая защищает их от других классов и посылает им сверху дождь и солнечный свет. Политическое влияние мелких крестьян поэтому находит свое конечное выражение в исполнительной власти, подчиняющей себе общество».

Этой исполнительной властью и был Наполеон. Многие политики двадцатого столетия — националистические, популистские, и в наиболее опасной форме, фашистские — должны были вновь открыть вид отношений, который он первый применил в отношении с массами, неспособными «проводить в жизнь свои классовые интересы от своего собственного имени». Они также должны были открыть, что существовали другие слои населения, сходные в этом отношении с постреволюционным французским крестьянством.

За исключением Швейцарии, чья революционная конститу-

ция оставалась в действии, ни одно другое европейское государство не функционировало в 1850-х годах на основе всеобщего (мужского) избирательного права*. (Возможно, следует заметить, что даже в формально демократических Соединенных Штатах участие в выборах было значительно ниже чем во Франции: в 1860 году Линкольн был избран менее чем половиной из 4,7 миллионов избирателей от населения, грубо равного по численности.) Собрания представителей, вообще испытывающие недостаток серьезной власти или влияния вне Англии, Скандинавии, Голландии, Бельгии, Испании и Савойи, были достаточно схожи, но неизменно также избирались не прямым голосованием, или чем-то вроде старых «сословий», или с более или менее строгими возрастными и имущественными цензами как для избирателей, так и для кандидатов. Почти неизменно решения избирательных ассамблей такого рода откладывались и блокировались более консервативными верхними палатами, в основном назначенными составленными из наследных членов или *ex officio*. Соединенное Королевство, приблизительно с 1 миллионом избирателей из 27,5 миллионов жителей, было, без сомнения, менее консервативным, чем, скажем, Бельгия, приблизительно с 60 тысячами избирателей из 4,7 миллиона жителей, но не было и не могло быть демократичным.

Возрождение народной активности в 1860-х годах сделало невозможным сохранять политику, изолированной от нее. В конце нашего периода только царская Россия и имперская Турция сохранялись как простые автократии в Европе, в то время как, наоборот, всеобщее избирательное право больше не было прерогативой режимов, вышедших из недр революции. Новая Германская империя использовала ее, чтобы избрать свой новый Рейхстаг, хотя в значительной степени для декоративных целей. Очень мало государств в это десятилетие избежали более или менее значительного расширения избирательного права, и, следовательно, проблемы, которые до сего времени занимали только мень-

* Швейцарский Национальный Совет избирался всем мужским населением в возрасте двадцати или более лет без имущественного ценза, но вторая палата избиралась кантонами.

шинство стран и где голосование имело реальное значение — выбор между голосованием списками или отдельными кандидатурами, «избирательная геометрия» или подтасовка результатов выборов в социальных и географических избирательных округах, проверки, которые нижние палаты могли бы осуществлять в отношении верхних палат, права, зарезервированные за исполнительной властью, и т. д. — теперь беспокоили большинство правительств. Эти проблемы были вряд ли остры. Второй акт парламентской реформы в Англии, более или менее удвоивший число избирателей, все еще сохранял их на уровне не более 8 процентов от населения, в то время как в недавно объединенном королевстве Италии они составляли 1 %. (В этот период мужское избирательное право было практически предоставлено 20—25 % населения, судя по выборам в середине 1870-х годов во Франции, Германии и Америке.) Все же изменения происходили, и в дальнейшем они могли быть только отсрочены.

Такой прогресс в отношении представительного управления поднял две весьма отличные друг от друга проблемы в политике: те «классы» и «массы», используя современный английский жаргон, например, элиты высшего и среднего класса, и бедноту, которая оставалась в значительной степени вне официальных процессов политики. Между ними находилась промежуточная прослойка — мелкие владельцы магазинчиков, ремесленники и другая «мелкая буржуазия», крестьяне-собственники, и т. д. — которые как владельцы собственности уже были вовлечены, по крайней мере отчасти, в существующую представительскую политику. Ни старая земельная и наследственная аристократия, ни новая буржуазия не располагали численным превосходством, но в отличие от аристократии буржуазия нуждалась в нем. В то время оба обладали (по крайней мере их богатые верхушки) богатством и определенным видом личной власти и влияния в своих общинах, которые автоматически делали их по меньшей мере потенциальной «знатью», то есть важными политическими персонами, только аристократы надежно окопались в учреждениях, охраняющих их от голосования: в палатах лордов или подобных верхних палатах, или с помощью более или менее скандального представительства как в «классовом избирательном праве» прус-

ского и австрийского парламентов или выживших — но быстро исчезающих — древних сословиях. Кроме того, в монархиях, которые все еще были преобладающей формой европейской государственности, они обычно находили постоянную политическую поддержку как класс.

Буржуазия, с другой стороны, полагалась на свое богатство, незаменимость и историческое предназначение, которые сделали ее и ее идеи основами «современных» государств того периода. Однако, то, что фактически превратило ее в силу в пределах политических систем, было способностью заполучить поддержку небуржуазии, которая была многочисленной и, следовательно, располагала значительным количеством голосов. Лишить ее этого, как это случилось в Швеции в 1860-х годах, и должно было произойти еще где-нибудь позже с подъемом подлинной массовой политики — и она должна была уменьшиться до незначительного избирательного меньшинства, по крайней мере в национальной политике. (В муниципальной политике она должна была поддерживать себя лучше.) Следовательно, особой важностью для нее было сохранить поддержку, или по крайней мере гегемонию в отношении мелкой буржуазией, рабочего класса и, более редко, крестьян. Короче говоря, в этот период истории она имела успех. В представительских политических системах либералы (обычно классическая партия городского и промышленно-делового классов) находились в общем у власти и/или у должности лишь с небольшими перерывами. В Англии так было с 1846 по 1874 год, в Нидерландах по меньшей мере в течение двадцати лет после 1848 года, в Бельгии с 1857 до 1870 года, в Дании более или менее до шока от поражения в 1867 году. В Австрии и Германии они составляли главную формальную опору правительств с середины 1860-х до окончания 1870-х годов.

Однако, по мере роста давления снизу, более демократичное радикальное (прогрессивное, республиканское) крыло имело тенденцию отделяться от них, где оно не было уже более или менее независимым. В Скандинавии крестьянские партии отделились как «левые» (*Venstre*) в 1848 году (Дания) и в течение 1860-х годов (Норвегия), или как аграрные антигородские группы давления (Швеция, 1867 год). В Пруссии (Германии) охвостье демок-

ратических радикалов, со своей базой на непромышленном юго-западе, отказалось следовать за буржуазными национал-либералами в их союзе с Бисмарком после 1866 года, хотя некоторые из них были склонны присоединиться к антипрусским марксистским социал-демократам. В Италии республиканцы оставались в оппозиции, в то время как умеренные становились оплотом недавно объединенного королевства. Во Франции буржуазия давно перестала быть способной плыть под собственным парусом, или даже с либеральным флагом, и ее кандидаты искали народную поддержку с помощью все более и более подстрекательских ярлыков. «Реформаторы» и «прогрессисты» должны были уступить дорогу «республиканцам», а они в свою очередь «радикалам» и, даже в Третьей республике, «радикал-социалистам», каждый скрывая новое поколение по существу тех же самых бородатых, одетых во фраки, красиво говорящих и часто красиво действующих Солонов*, быстро склонялись к умеренности после их избирательного триумфа вместе с левыми. Только в Англии радикалы все же оставались постоянным крылом либеральной партии; возможно, потому что здесь крестьяне и мелкая буржуазия, которые позволили им установить свою политическую независимость, едва ли существовали где-нибудь еще как класс.

Однако для практических нужд либерализм оставался в силе, потому что он представлял только экономическую политику, которая, как полагали, придавала смысл развитию («манчестеризм», как называли его немцы), и силы безоглядно верившие, что они представляют науку, разум, историю и прогресс с помощью тех, кто имел хоть какие-то идеи по этим вопросам. В этом смысле почти каждый государственный деятель и гражданский служащий 1850-х и 1860-х годов был либералом, независимо от своей идеологической принадлежности, так же как и сегодня. Радикалы сами не располагали никакой жизнеспособной альтернативой этому. Во всех событиях объединиться с подлинной оппозицией против либерализма было если и не возможно, то по крайней мере, политически, почти немислимо для них. Вместе они были частью «левых».

* Солон — законодатель в Древней Греции; мудрый правитель (перен.); член законодательной палаты (ирон.) (прим. переводчика).

Подлинная оппозиция («правые») вышла из рядов тех, кто сопротивлялся «силам истории», независимо от аргументов. В Европе немногие действительно надеялись на возвращение прошлого, как в эпоху романтических реакционеров после 1815 года. Все, к чему они стремились, должно было приостановить или даже просто замедлить угрожающий прогресс настоящего, цель, продуманная такими интеллектуалами, в которых они испытывали потребность для обеих партий «движения» и «стабильности», «порядка» и «прогресса». Следовательно консерватизм был склонен время от времени привлекать таких членов и группы либеральной буржуазии, когда чувствовал, что дальнейший прогресс однажды снова приблизил бы революцию на опасное расстояние. Естественно, такие консервативные партии искали поддержку отдельных групп, чьи насущные интересы столкнулись с господством политики либералов (например, аграрии и протекционисты), или групп, оппозиционных либералам по причине несоответствия их либерализму, например, бельгийские фламандцы, весьма обижаясь на валлонскую буржуазию и ее культурное богатство. Также нет никакого сомнения, особенно в сельском обществе, что семейное или местное соперничество должно было естественно ассимилироваться в идеологической дихотомии, которая имела мало общего с ним. Полковник Аурелиано Буэндия, в романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества»⁴³, организовал первое из своих тридцати двух либеральных восстаний в колумбийской глубинке не потому, что он был либералом или даже знал, что означает это слово, а потому что он был оскорблен местным чиновником, который, как оказалось, представлял консервативное правительство. В этом может заключаться логическая и историческая причина, почему в середине викторианской эпохи английские мясники преимущественно были консерваторами (связь с сельским хозяйством?), а бакалейщики главным образом либералами (связь с внешней торговлей?), и, вероятно, если что и нуждается в объяснении, то не это, а то, почему эти два вездесущих типа владельцев магазинов отказывались разделять одни и те же мнения, какими бы они ни были.

Но в основном консерватизм опирался на тех, кто отстаивал традицию, старое и упорядоченное общество, обычай не призна-

вал никаких перемен и был в оппозиции ко всему новому. Следовательно, решающее значение для него имели официальная церковь, организации, которым угрожало все, за что выступали либералы, так и все еще способные к мобилизации против него мощные силы, не говоря уже о присутствии некоей пятой колонны в самом центре буржуазной власти в виде особенно большого благочестия и традиционализма жен и дочерей, с помощью духовного контроля над церемониями рождения, брака и смерти и над большой частью образования. Контроль над этим яростно оспаривался и составлял основное содержание консервативно-либеральной политической борьбы в ряде стран.

Все официальные церкви были *ipso facto* консервативными, хотя только самая большая из них, римско-католическая, сформулировала свою позицию как крайне враждебную по отношению к растущему либеральному потоку. В 1864 году папа Пий IX определил свои взгляды в *Программе Ошибок*. Она осудила, с одинаковой непримиримостью, восемьдесят ошибок, включая «натурализм» (который отрицал действие Бога на людей и мир), «рационализм» (использование понятия причинности без ссылки на Бога), «умеренный рационализм» (отказ от церковного контроля в науке и философии), «индифферентизм» (свободный выбор любой религии или никакой), светское образование, отделение церкви от государства и в общем (ошибка № 80) мнение, что «папа римский может и должен смириться и действовать в соответствии с условиями прогресса, либерализма и современной цивилизации». Разрыв между левыми и правыми становился неизбежно больше чем между клерикалами и антиклерикалами; последние были главным образом откровенными неверующими в католических странах, но все же — особенно в Англии — исповедующими религию меньшинства или придерживающимися независимых религий вне государственной церкви* (см. главу 14 ниже).

* Положение государственных церквей, где они, случалось, были религиями меньшинства, было ненормальным. Голландские католики могли находиться на стороне либералов против преобладающих кальвинистов, а немецкие католики, неспособные присоединиться ни к правым протестантам ни к либеральным левым империи Бисмарка, в 1870-х годах образовали особую «Партию центра».

То, что было новым в отношении политики «классов» в этот период, представляло в основном появление либеральной буржуазии как силы в более или менее конституционалистской политике, с упадком абсолютизма, особенно в Германии, Австро-Венгрии и Италии, то есть в регионе, охватывающем почти треть населения Европы. (Чуть меньше чем треть населения континента все еще жила при правительствах, в которых она не играла никакой такой роли). Прогресс периодической печати — вне Англии и Соединенных Штатов по-прежнему адресованной почти полностью буржуазным читателям — живо иллюстрирует перемену: между 1862 и 1873 годами число периодических изданий в Австрии (без Венгрии) увеличилось с 345 до 866. В других отношениях они мало чего давали для обсуждения того, что не было бы знакомо для номинально или подлинно выборных ассамблей периода до 1848 года.

Право голоса оставалось до того ограниченным в большинстве случаев, что здесь не может быть и речи о современной или любой другой массовой политике. Действительно, часто массы среднего класса уже могли занять место реального «народа», который, по их утверждениям, они представляли. Несколько случаев были столь же экстремальны, как происшедшие в Неаполе и Палермо в начале 1870-х годов, 37,5 и 44 процента чьих избирателей были включены в избирательные списки на том основании, что являются выпускниками учебных заведений. Но даже в Пруссии триумф либералов в 1863 году выглядит менее впечатляющим, если мы вспомним, что 67 процентов голосов горожан, отданных за них, фактически представляли только около 25 процентов городских избирателей, так как почти две трети даже весьма ограниченного электората не побеспокоились прийти на избирательные участки в городах. Разве блестящая победа либерализма на выборах в 1860-х годах представляет собой нечто большее, в таких странах с ограниченным правом голоса и народной апатией, чем мнение меньшинства респектабельных городских бюргеров?

В Пруссии Бисмарк по крайней мере думал, что они ничего такого из себя не представляли, и поэтому разрешил конституционный конфликт между либеральным парламентом и монар-

хией (который возник в 1862 году из-за планов армейской реформы) простым правительственным распоряжением без обращения к парламенту. Никто так долго не стоял за спиной либералов как буржуазия, а буржуазия была неспособна или не хотела мобилизовать любую настоящую силу, вооруженную или политическую, все говорящееся о Долгом Парламенте 1640 года или Генеральных Штатах 1789 года было во многом переливанием из пустого в порожнее*. Он понял, что, в буквальном смысле слова, «буржуазная революция» была невозможна, так как она только тогда стала бы настоящей революцией, если бы, кроме буржуазии, в движении участвовали все остальные, и в любом случае бизнесмены и профессора редко были склонны к тому, чтобы самим соорудить баррикады. Это не воспрепятствовало ему обратиться к экономической, юридической и идеологической программе либеральной буржуазии, в том смысле, насколько ее можно было бы соединить с господством земельной аристократии в протестантской Прусской монархии. Он не хотел подтолкнуть либералов к отчаянному союзу с массами, и в любом случае их программа была реальной для современного европейского государства, или по крайней мере, казалась неизбежной. Как мы знаем, его планы блестяще удались. Большая часть либеральной буржуазии приняла предложение программы минус политическая власть — она имела небольшой выбор — и превратилась в 1866 году в Национально-либеральную партию, которая была основой внутривнутриполитических маневров Бисмарка в конце нашего периода.

Бисмарк и другие консерваторы знали, что все что было массами, не было либералами в том смысле, в котором ими были городские бизнесмены. Следовательно, они иногда чувствовали, что могли бы сдерживать либералов угрозой расширения избирательного права. Они могли бы даже осуществить это, как сделал, к примеру, Бенджамин Дизраэли в 1867 году и более умеренно в 1870 году бельгийские католики. Их ошибкой было

* Наоборот, то, что дало либералам реальную власть в некоторых отсталых странах, несмотря на их малочисленность, было существование либеральных землевладельцев, чье влияние над своими регионами было фактически неподвластно правительству, или чиновникам, готовым делать заявления в интересах либералов. Так обстояло дело в нескольких Иберийских странах.

предположение, что массы были по своей сути консервативны. Без сомнения, значительная часть крестьян в большинстве частей Европы были по-прежнему традиционалистами, готовыми не задумываясь поддерживать церковь, короля или императора и своих господ, особенно против злокозненных проектов горожан. Даже во Франции большие области на западе и юге страны продолжали во времена Третьей республики голосовать за сторонников династии Бурбонов. Также нет никакого сомнения, как указывал после Парламентской реформы 1867 года Уолтер Бэгхот, теоретик безопасной демократии, что имелось много людей, включая даже рабочих, чье политическое поведение управлялось почтительным отношением к «их вышестоящим лицам»^{4*} Но однажды ступив на политическую арену, массы рано или поздно действовали скорее как актеры, чем как простое дополнение к хорошо срежессированной массовке. И пока отсталые крестьяне все еще могли полагаться на них во многих местах, промышленный и городской сектора нет. То, чего хотели их обитатели, не было классическим либерализмом, но это также не являлось обязательным приветствием консервативных правителей, особенно тех преданных, какими были большинство их, по существу либеральной экономической и социальной политике. Это должно было стать очевидным во время эры экономической депрессии и неуверенности, которые последовали за крахом бурного роста либерализма в 1873 году.

II

Первой и наиболее опасной группой, стремившейся установить свою отдельную идентичность и роль в политике, был новый пролетариат, за двадцать лет индустриализации увеличивший свою численность.

Рабочее движение было не столько расстроено, сколько обезглавлено неудачей революции 1848 года и последующим десятилетием экономического роста. Различные теоретики нового социального будущего, которые превратили волнение 1840-х годов в «призрак коммунизма» и дали пролетариату альтернативную

политическую перспективу по отношению как к консерваторам так и к либералам или радикалам, сидели в тюрьме подобно Огюсту Бланки, находились в изгнании, как Карл Маркс и Луи Блан, были забыты как Константен Пекёр (1801—1887), или все вместе уподобились Этьену Кабе (1788—1857). Некоторые даже заключали мир с новым режимом, как это сделал П.-Ж. Прудон по отношению к Наполеону III. Век едва ли был благосклонным к сторонникам неизбежной гибели капитализма. Маркс и Энгельс, лелеявшие определенную надежду на оживление революционного движения в течение года или двух после 1849 года и затем обратившие свою веру к следующему главному экономическому кризису (1857 года), с этих пор смирились с долгим ожиданием. Возможно, будет преувеличением сказать, что социализм полностью исчерпал себя, даже в Британии, где местные социалисты в течение 1860-х и 1870-х годов все вместе могли бы свободно поместиться в небольшом зале; вероятно, едва ли кто-либо в 1860 году был социалистом, кто уже не был им в 1848 году. Мы можем быть благодарны этому интервалу вынужденной изоляции от политики, которая позволила Карлу Марксу довести до зрелости свои теории и заложить основы *Das Kapital* («Капитала»), но сам он не был изолирован от политики. Тем временем выживание политических организаций, или с таковым укладом, рабочего класса разрушалось, подобно Коммунистической Лиге в 1852 году, или постепенно сходило на нет, как британский чартизм.

Однако, на более умеренном уровне экономической борьбы и самозащиты, организация рабочего класса сохранилась и не могла не расти, и это несмотря на тот факт, что с заметным, пусть и частичным, исключением Англии, профсоюзы и забастовки были запрещены законом почти повсюду в Европе, хотя дружественные общества (общества взаимопомощи) и кооперативы — на континенте в основном для производства, в Англии в основном для мастерских — считались законными. Нельзя сказать, чтобы они особенно процветали: в Италии (1862 год) среднее число членов подобных обществ взаимопомощи в Пьемонте, где они были наиболее сильны, не достигало пятидесяти^{5*} Только в Британии, Австралии и — довольно серьезно — в Соединенных Штатах профсоюзы рабочих имели настоящее значение, в двух последних слу-

чаях прибывая в основном в багаже классово сознательных и организованных английских иммигрантов.

В Англии не только квалифицированные ремесленники машиностроительных отраслей промышленности, так же как и ремесленники более древних занятий, но даже — благодаря ядру высококвалифицированных взрослых мужчин-ткачей — хлопковые рабочие содержали сильные местные союзы, более или менее связанные национально, и в одном или двух случаях (Объединенное общество инженеров [1852 год], Объединенное общество плотников и столяров [1860 год]) финансово, если не стратегически, координировали национальные общества. Они образовали меньшинство, но не незначительное, а среди квалифицированных рабочих, в некоторых случаях, и большинство. Кроме того, они обеспечили основу, на которой профсоюзное движение могло легко расширяться. В Соединенных Штатах профсоюзы были, возможно, даже более сильными, хотя, как оказалось, они не смогли противостоять воздействию действительно быстрой индустриализации в конце столетия. Однако они здесь были менее мощны, чем в том рае организованного труда, в австралийских колониях, где строительные рабочие фактически добились восьмичасового рабочего дня в начале 1856 года, что вскоре последовало в других отраслях. По общему признанию, нигде позиция заключившего сделку рабочего не была сильнее, чем в этой малонаселенной и динамично развивающейся экономической зоне, в которую золотой натиск 1850-х годов соблазнил уехать многие тысячи людей, поднимая заработную плату непредприимчивых, которые остались на месте.

Благоразумные наблюдатели не ожидали, что роль рабочего движения будет незначительна еще какое-то время; и в самом деле, начиная приблизительно с 1860 года стало ясно, что пролетариат возвратился на сцену, с другими *dramatis personae* 1840-х годов, хотя менее решительно настроенным. Он появился с неожиданной быстротой, чтобы почти сразу же обрести идеологию, отныне отождествляя свое движение с социализмом. Этот процесс появления был любопытной смесью политического и индустриального действия, различных видов радикализма, от демократического до анархического, классовой борьбы, классовых

союзов и правительственных или капиталистических уступок. Но прежде всего он был международным, не просто потому что, подобно возрождению либерализма, появился одновременно в различных странах, а потому что он был неотделим от международной солидарности рабочего класса или международной солидарности левых радикалов (наследство периода до 1848 года). Фактически он был организован как и при Международном Товариществе Рабочих, Первом Интернационале Карла Маркса (1864—1872 года). Положение о том, было ли верным, что «у трудящихся нет родины», как излагал это *Коммунистический Манифест*, может быть оспорено: конечно, организованные и радикальные рабочие как Франции, так и Англии были патриотами на свой манер — французская революционная традиция является по существу крайне националистической (см. главу 5 выше). Но в экономике, где факторы производства совершенствовались свободно, даже деидеологизированные британские профсоюзы смогли оценить потребность заставить предпринимателей отказаться от импортирования штрейкбрехеров⁴⁴ из-за границы. Для всех радикалов победы и поражения левых где бы то ни было все еще означали немедленное и непосредственное отношение к их собственным победам и поражениям. В Британии Интернационал возник из симбиоза возобновившейся агитации за избирательную реформу с рядом кампаний за международную солидарность — с Гарибальди и итальянскими левыми в 1864 году, с Авраамом Линкольном и с Севером в Гражданской войне в Америке (1861—1865 годы), с несчастными поляками в 1863 году, все из которых совершенно правильно считали необходимым укреплять рабочее движение в его наименее политической, наиболее «профсоюзной» форме. И лишь организованные контакты между рабочими в одной стране и таковыми в другой не могли оказывать, но оказывали влияние на свои движения, как обнаружил Наполеон III, когда он разрешил французским рабочим послать большую делегацию в Лондон по случаю Всемирной выставки в 1862 году.

Интернационал, основанный в Лондоне и быстро попавший в способные руки Карла Маркса, возник как любопытное объединение обособленных и либерально-радикальных британских проф-

союзных лидеров, идеологически смешанных, но скорее более левых борцов французского союза, и неясного общего коллектива старых континентальных революционеров с существенно разнящимися и несовместимыми взглядами. Их идеологические сражения должны были в конечном счете разрушить его. Так как они раньше других интересовали многих других историков, они не должны надолго задерживать нас здесь. Короче говоря, первое главное сражение между «чистыми» (то есть в действительности либеральными или либерально-радикальными) деятелями профсоюзного движения и деятелями, обуреваемыми честолюбивыми планами социального преобразования, было выиграно социалистами (хотя Маркс старался уберечь англичан, своих главных покровителей, от участия в континентальных сражениях). Впоследствии Маркс и его сторонники пошли против (и победили) французских сторонников «мутуализма»⁴⁵ Прудона, воинственно настроенных, обладающих классовым сознанием и антиинтеллектуальных ремесленников, и после того анархистский союз Михаила Бакунина (1814—1876), куда более грозного, так как он действовал с помощью весьма неанархичных методов дисциплинированных тайных организаций, фракций, и т. д. (см. главу 9 ниже). Неспособный больше сохранять контроль над Интернационалом, Маркс спокойно ликвидировал его в 1872 году, переводя его штаб-квартиру в Нью-Йорк. Однако к этому времени поддержка больших организованных масс рабочего класса, чьей частью и до некоторой степени координатором являлся Интернационал, так или иначе была нарушена. Все же, как оказалось, идеи Маркса одержали победу.

В 1860-х годах это было не легко предсказать. Существовало только одно-единственное марксистское, или точнее социалистическое, массовое рабочее движение, которое развивалось в Германии после 1862 года. (На самом деле, если мы исключим неудачливую национально-лейбористскую партию реформ Соединенных Штатов [1872 г.] — политический рост честолюбивого Национально-Трудового союза [1866—1872 гг.], который присоединился к Международной ассоциации рабочего движения (IWMA) — было лишь одно политическое рабочее движение, действующее в национальном масштабе независимо от «буржуазных»

или «мелкобуржуазных» партий). Это было достижение Фердинанда Лассаля (1825—1865), блестящего агитатора, который пал жертвой весьма колоритной личной жизни (он умер от ран, полученных на дуэли из-за женщины) и который считал себя последователем Маркса, настолько насколько он следовал взглядам кого-либо, кто находился от него не очень далеко. Всеобщий германский рабочий союз Лассаля (*Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein* [1863]) официально был скорее радикально-демократической, чем социалистической организацией и ее непосредственным лозунгом было всеобщее избирательное право, но он был как последовательно классово-сознательным и антибуржуазным, так и — несмотря на ее изначальную небольшую численность — организованным как современная массовая партия. Он не особенно нравился Марксу, который поддерживал конкурирующую организацию под руководством двух более искренних (или, по крайней мере, более приемлемых) его учеников, журналиста Вильгельма Либкнехта и одаренного молодого токаря Августа Бебеля. Эта группа, базирующаяся в Центральной Германии, хотя официально и более социалистическая, как ни парадоксально скорее следовала менее непреклонной политике союза с (антипруссскими) демократическими левыми старыми революционерами 1848 года. Сторонники Лассаля, почти полностью составлявшие прусское движение, в значительной степени разделяли прусский взгляд на решение германской проблемы. Так как это было решение, которое явно преобладало после 1866 года, эти различия, явственно чувствовавшиеся в десятилетие немецкого объединения, перестали быть значительными. Марксисты (совместно с отколовшимися сторонниками Лассаля, которые настаивали на чисто пролетарском характере движения) образовали в 1869 году Социал-Демократическую партию и в конечном счете объединились — поскольку это оказалось эффективным предприятием — со сторонниками Лассаля в 1875 году, образовав мощную Социал-Демократическую партию Германии (СДПГ).

Важным фактором является то, что оба движения были так или иначе связаны с Марксом, которого они расценивали (особенно после смерти Лассаля) как своего теоретического вдохновителя и гуру. Оба освободились от влияния либерально-ради-

кальной демократии и действовали как независимые движения рабочего класса. И оба (при всеобщем избирательном праве, предоставленном Бисмарком Северной Германии в 1866 году и Германии в 1871 году) сразу же приобрели поддержку масс. Лидеры обоих движений были избраны в парламент. В Бармене, родном городе Фридриха Энгельса, 34 процента проголосовали за социалистов в 1867 году, 51 процент в 1871 году.

Но если Интернационал еще не вдохновлял малочисленные партии рабочего класса (две немецкие партии даже официально не вступили в него), он ассоциировался с появлением рабочего класса в ряде стран в форме массового рабочего и профсоюзного движения, которому он систематически старался помочь, по крайней мере с 1866 года. Как велика в действительности была его роль — не совсем ясно. (Международной ассоциации рабочего движения (IWMA) случилось совпадать в действиях с первыми международными всплесками борьбы рабочих, некоторые же из них, подобно борьбе работников шерстяной отрасли Пьемонта в 1866—1867 годах, не имели ничего общего с ней.) Однако особенно начиная с 1868 года и далее, эта борьба сходилась с ней в одной точке, так как лидеры этих движений были склонны все более и более тесно сотрудничать с Интернационалом или даже уже быть его бойцами. Эта волна рабочего движения и забастовок охватила весь континент, достигнув Испании и даже России: в 1870 году забастовки прошли в Санкт-Петербурге. Она охватила Германию и Францию в 1868 году, Бельгию — в 1869 (сохраняя свою силу в течение нескольких лет), вскоре после этого Австро-Венгрию, наконец достигнув в 1871 году Италии (где ее пик пришелся на 1872—1874 годы) и Испании в один и тот же год. Между тем забастовочная волна в Англии не спадала также и в 1871—1873 годах.

Появлялись новые профсоюзы. Они предоставляли Интернационалу массы своих членов: только по австрийским данным, число зарегистрированных сторонников Интернационала выросло от 1000 в Вене до 35 000 между 1869 и 1872 годами, в чешских землях от 5000 до почти 17 000, в Штирии и Каринтии от 2000 до почти 10 000 только в одной Штирии^{6*}. По более поздним меркам это представляется незначительным; но это демонстрирует

намного бóльшую силу объединения — союзы в Германии учились принимать забастовочные решения только на массовых митингах, представляя также и неорганизованных рабочих — и это, конечно, пугало правительства, особенно в 1871 году, когда пик популярности Интернационала для народных масс совпадал с Парижской Коммуной (см. главу 9 ниже).

Правительства, и по меньшей мере, часть буржуазии четко осознали подъем рабочего движения в начале 1860-х годов. Либерализм был слишком предан ортодоксии экономического *laissez-faire*, чтобы серьезно разрабатывать политику социальных реформ, хотя некоторые из демократических радикалов, остро осознающих опасность потери поддержки со стороны пролетариата, были готовы даже к такой жертве, и в странах, где «манчестеризм» никогда не одерживал полностью верх, должностные лица и интеллектуалы все более и более обсуждали потребность в них. Таким образом, в Германии, под воздействием растущего социалистического движения, довольно безвестная группа «Социалистические профессора» (*Kathedersozialisten*) в 1872 году образовали влиятельное Общество социальной политики (*Verein für Sozialpolitik*), которое защищало социальные реформы как альтернативу, или скорее средство профилактики по отношению к марксистской классовой борьбе*.

Однако даже те, кто расценивал любое общественное вмешательство в механизм свободного рынка как некий рецепт, ведущий к гибели, теперь были убеждены в том, что организация рабочего класса и его действия должны быть признаны, если они будут подконтрольны. Как мы видели, некоторые из самых отъявленных политиков-демагогов, и не в последнюю очередь Наполеон III и Бенджамин Дизраэли, хорошо представляли избирательский потенциал рабочего класса. По всей Европе в 1860-х годах закон был изменен, чтобы разрешить существование хотя бы некоторым малочисленным рабочим организациям и позво-

* Понятие «социалист», в отличие от более подстрекательского «коммунист» все еще могло бы достаточно условно использоваться для каждого, кто рекомендовал бы проведение государством экономических и социальных реформ, и в таком виде использовалось до всеобщего подъема социалистических рабочих движений в 1880-х годах.

лить проведение забастовок; или, чтобы быть более точным, чтобы создать пространство в теории свободного рынка для свободных переговоров между предпринимателями и профсоюзами об условиях труда рабочих. Однако юридическое положение профсоюзов оставалось весьма сомнительным. Только в Англии политический вес рабочего класса и его движений был достаточно большим — по общему согласию они составляли большинство населения — чтобы произвести, после нескольких лет подготовительных работ (1867—1875), сложную систему юридического признания, такую благоприятную для профсоюзного движения, что периодически предпринимались попытки ограничить свободу, предоставленную им тогда.

Целью этих реформ, безусловно, было стремление предотвратить появление рабочего класса как независимой политической, и еще более как революционной силы. Это имело успех в странах с уже установившимися неполитическими или либерально-радикальными движениями рабочих. Там, где мощь организованных рабочих была довольно сильна, как в Англии и Австралии, независимые партии рабочих не должны были появиться весьма быстро, и даже тогда они оставались по существу не социалистическими. Но, как мы видели, в большей части Европы профсоюзное движение возникло в период Интернационала, в основном под руководством социалистов, и рабочее движение должно было политически отождествляться с ними, и более всего с марксизмом. Так, в Дании, где Международная ассоциация рабочих была организована в 1871 году с целью организации забастовок и кооперативов производителей, секции этой корпорации, после того как руководство распустило Интернационал в 1873 году, сформировали независимые союзы, большинство которых позднее воссоединилось как «социал-демократическая лига». Это было наиболее значительным достижением Интернационала. Это сделало рабочих независимыми и социалистами в одно и то же время.

С другой стороны, это не делало его готовым к восстанию. Несмотря на ужас, который он наводил на правительства, Интернационал не планировал немедленную революцию. Маркс сам, хотя и не менее революционный чем прежде, не рассматривал

это как серьезную перспективу. В самом деле, его отношение к единственной попытке совершить пролетарскую революцию, Парижской Коммуне, было очень осторожным. Он не верил, что у нее был хотя бы малейший шанс на успех. Самое большое, чего она могла бы достичь, состояло в заключении соглашения с Версальским правительством. После ее неизбежной гибели он написал ей некролог в самых трогательных выражениях, но целью этого великолепного памфлета (Гражданская война во Франции) было проинструктировать революционеров будущего, и в этом он преуспел. Однако Интернационал, то есть Маркс, хранил молчание, пока Коммуна фактически существовала. В течение 1860-х годов он работал над долгосрочными перспективами и практически не рассматривал краткосрочные. Он должен был испытывать удовлетворение по поводу образования, по крайней мере в главных промышленных странах, независимых политических движений рабочего класса, организованных (где это было юридически возможно) как массовые движения для завоевания политической власти, освободившихся от интеллектуального влияния либерал-радикализма (включая простой «республиканизм» и национализм), так же как и от разновидности левацкой идеологии (анархизм, мутуализм, и т. д.), которую он рассматривал с некоторым основанием как пережиток прежней эпохи. Он даже не просил такие движения быть «марксистскими»; в самом деле, при этих обстоятельствах, это было бы утопией, так как Маркс фактически не имел никаких последователей за исключением своих сторонников в Германии и среди небольшого числа старых эмигрантов. Он не ожидал, что капитализм должен или потерпеть крах или же быть на грани гибели. Он просто надеялся достичь первых результатов в организации армий, которые вели бы долгие кампании против хорошо укрепившегося неприятеля.

К началу 1870-х годов все выглядело так, будто бы движению не удалось добиться даже этих скромных целей. Английские рабочие оставались крепко привязаны к либералам, их лидеры были слишком слабыми и испорченными даже для того, чтобы заполучить значительное представительство в парламенте, опираясь на свою нынешнюю решающую избирательную силу. Французское рабочее движение находилось в глубоком кризисе в

результате поражения Парижской Коммуны, и среди этих руин не было ничего, кроме устаревшего бланкизма, санкюлотизма и мутуализма. Великая волна рабочего движения схлынула в 1873—1875 годах, оставляя позади себя профсоюзы едва ли более сильные, а в некоторых случаях фактически гораздо более слабые, чем таковые в 1866—1868 годах. Интернационал потерпел крах, будучи неспособен устранить влияние левых ортодоксов, чья собственная неудача была слишком очевидной. Коммуна была мертва, и единственная другая европейская революция, в Испании, быстро близилась к завершению: к 1874 году Бурбоны вернулись в Испанию, отодвинув следующую Испанскую республику почти на шестьдесят лет. Только в Германии наблюдался значительный прогресс. По общему признанию новую, пока еще неясную, перспективу революции можно было разглядеть в отсталых странах, и с 1870 года и далее Маркс начал возлагать некоторые надежды на Россию. Однако представляющие самый непосредственный интерес из этих движений, потому что одно сотрясло Англию, главный бастион мирового капитализма, также потерпели крах. Движение фениев в Ирландии тоже очевидно лежало в руинах (см. главу 5 выше).

Настроения отступления и разочарования характеризует последние годы жизни Маркса. Он писал сравнительно мало* и был более или менее пассивен политически. Все же сейчас мы можем видеть, что два достижения 1860-х годов были неизменны. Отныне имели место организованные, независимые, политические, социалистические массовые движения рабочего класса. Влияние домарксистских левых социалистов в основном было преодолено. И, следовательно, структура политики должна была постоянно меняться.

Большинство этих изменений не стали явными до конца 1880-х годов, когда был восстановлен Интернационал, теперь уже как единый фронт, главным образом марксистских, массовых партий.

* Большая часть материалов, после смерти приведенных в порядок Энгельсом, как *«Капитал»*, тома II и III, и *«Теории прибавочной стоимости»*, фактически были написаны перед публикацией первого тома в 1867 году. Из главных трудов Маркса, за исключением некоторых писем, только *«Критика Готской программы»* (1875) следует за падением Коммуны.

Но даже в 1870-х годах по крайней мере одно государство стояло перед новой проблемой: Германия. Здесь число отданных социалистам голосов (10 200 в 1871 году) начало снова расти с заметной непреодолимой силой после короткой задержки: до 340 000 в 1874 году, до полумиллиона в 1877. Никто не знал, что с этим делать. Массы, которые были и не пассивными, и одновременно не были готовы следовать руководству своих традиционных «старших» или буржуазии, и чьи лидеры не могли приспособливаться, не вписывались в схему политики. Бисмарк, который мог играть в либеральный парламентаризм в своих собственных целях в самом деле лучше, чем кто-нибудь еще, не мог думать ни о чем кроме как о запрете социалистической деятельности с помощью закона.

ГЛАВА 7

ПРОИГРАВШИЕ

Имитация европейских традиций, включая рискованное искусство заимствования, в последнее время возымела действие: но, в руках восточных правителей, цивилизация Запада неплодотворна; и вместо восстановления поколебленного государства появляется угроза его скорейшего разрушения.

Сэр Т. Эрксин Мэй, 1877^{1*}

Слово Бога не дает никакой власти современной нежности для человеческой жизни... Необходимо во всех восточных странах установить страх и благоговение перед Правительством. Тогда, и только тогда, оценятся его выгоды.

Дж. В. Кайе, 1870^{2*}

I

В той «борьбе за существование», которая обеспечила основную метафору экономической, политической, социальной и биологической мысли буржуазного мира, должны были выжить только «самые подходящие», их пригодность подтверждалась не только их выживанием, но и их доминированием. Большая часть населения мира поэтому стала жертвами тех, чье превосходство, экономическое, технологическое, и следовательно, военное, было несомненным и казалось неоспоримым: государства северо-западной и центральной Европы, а также стран, населенных ее эмигрантами за границей, особенно Соединенные Штаты. За исключением Индии, Индонезии и частей Северной Африки немногие стали или были формальными колониями в третьей четверти девятнадцатого столетия. (Мы можем оставить в стороне области англосаксонского расселения, такие, как Австралия, Новая Зеландия и Канада, которые, формально все еще зависимые, однако управлялись не как территории, населенные «аборигенами», термин сам по себе нейтральный, и которые приобрели сильное сознание подчиненного положения.) По общему признанию

эти исключения не были малыми: в 1871 году лишь одна Индия представляла около 14 процентов населения мира. По-прежнему политическая независимость остального мира не имела большого значения. Экономически эти страны зависели от милости капитализма, насколько сильно они находились в пределах его досягаемости. С военной точки зрения их подчиненное положение было очевидным. Канонерка и экспедиционное войско, казалось, были всемогущими.

Фактически, они были совсем не такими грозными, как выглядели, когда европейцы шантажировали слабые или традиционалистские правительства. Было множество таких, кого представители английской администрации любили называть, не без восхищения, «военными расами», вполне способными нанести поражение европейским войскам в решительных сражениях на суше, хотя, правда, никогда на море. Турки пользовались заслуженной репутацией солдат, и, действительно, их способность не только наносить поражения и вырезать восставших подданных султана, но и сопротивляться своему наиболее опасному противнику, русской армии, сослужила Оттоманской империи службу не меньшую, чем соперничество европейских держав, или по крайней мере, замедлила ее распад. Английские солдаты обращались с сикхами и патхами в Индии и зулусами в Африке, французские солдаты с берберами в Северной Африке с большим уважением. Опыт вновь доказывал, что экспедиционные войска жестоко страдали от постоянной народной или партизанской войны, особенно в довольно отдаленных горных областях, где иностранцы испытывали недостаток поддержки местного населения. Русские в течение десятилетий пытались подавить такое сопротивление на Кавказе, а англичане оставили попытки установить прямой контроль над Афганистаном и довольствовались лишь контролем над северо-западной границей Индии. Постоянное занятие обширных стран небольшими контингентами иностранных завоевателей было очень трудным и дорогостоящим предприятием, предоставить возможность развитым странам насаждать свою волю и интересы на этой территории без ее оккупации было едва ли стоящим делом. По-прежнему мало кто сомневался в том, что это могло бы быть сделано, если бы было необходимо.

Поэтому бо́льшая часть мира была не в состоянии определить свою собственную судьбу. В лучшем случае она могла оказывать обратное действие на внешние силы, которые давили на нее все тяжелее. Вообще говоря, этот мир жертв состоял из четырех главных секторов. Во-первых, — это были выживающие неевропейские империи или независимые большие королевства исламского мира и Азии: Оттоманская империя, Персия, Китай, Япония и некоторые более мелкие, как, например, Марокко, Бирма, Сиам и Вьетнам. Более крупные из них выжили, хотя — за исключением Японии, которая будет рассмотрена отдельно (см. главу 8 ниже) — все более и более подрывались новыми силами капитализма девятнадцатого столетия; меньшие в конечном счете были оккупированы после окончания нашего периода, за исключением Сиам, который уцелел как буферное государство между английской и французской зонами влияния. Во-вторых, в обеих Америках существовали бывшие колонии Испании и Португалии, которые теперь формально являлись независимыми государствами. В-третьих, была Африка южнее Сахары, в отношении которой мало что следует сказать, так как она не привлекала сколько-нибудь заметного внимания в этот период. Наконец, были уже формально колонизированные или оккупированные территории, главным образом азиатские.

Все они столкнулись с коренной проблемой, каким должно быть их отношение к формальному и неформальному покорению их Западом. То, что белые были слишком сильны, чтобы просто изгнать их, было, увы, очевидно. Индейцы майя из джунглей Юкатана могли попытаться в 1847 году изгнать их, возвращаясь к прежнему образу жизни, и действительно в определенной степени добились успеха в результате ведения «Расовой войны», начавшейся в 1847 году, пока в конечном счете — в двадцатом столетии — сизаль и жевательная резинка не вернули их назад в орбиту западной цивилизации. Но их случай был исключением, Юкатан был изолированной территорией, ближайшая белая держава (Мексика) была слаба, и англичане (одна из чьих колоний находилась рядом с ними) не смогли одержать победу. Военственные кочевники и горные племена могли бы продолжать тревожить их своими набегами и показать, что редкость, с кото-

рой они появлялись, была следствием скорее их силы, чем их удаленности и недостаточно большой добычи. Но для самых политически организованных народов некапиталистического мира проблема заключалась не в том, чтобы избежать соприкосновения с белой цивилизацией, а должным образом встретить ее воздействие: копируя ее, сопротивляясь ее влиянию, или действуя обоими способами.

Из зависимых частей мира две уже принудительно подверглись «вестернизации» посредством европейского правления или находились в этом процессе: бывшие колонии в обеих Америках и существовавшие в то время в различных частях мира.

Латинская Америка появилась из испанского и португальского колониального статуса как совокупность технически суверенных государств, в которых учреждения либерального среднего класса и законы, соответствующие образцам девятнадцатого столетия (и английским, и французским), были наложены на институционное наследие испанского и португальского прошлого, особенно страстного и глубоко укоренившегося римского католицизма местного населения — который был индейским, смешанным и, в карибской зоне и береговой зоне Бразилии, в основном африканским*. Империализм капиталистического мира не должен был предпринимать никаких систематических попыток евангелизировать свои колонии. Они были полностью аграрными странами и фактически совершенно недоступными удаленному мировому рынку, поскольку располагались вне пределов речных путей, морских портов и караванных троп. Оставляя в стороне область плантаций, где работали рабы, и племена недоступных внутренних районов или удаленные приграничные районы на крайнем севере и юге, населенные преимущественно крестьянами и скотоводами различного цвета кожи, жившими в автономных общинах и непосредственно закрепощенных владельцами больших поместий или, правда, более редко, независимых. Они управлялись богами, владельцами больших поместий, чье положение заметно усилилось после падения испанской колони-

* Культы африканского происхождения, выжившие в областях, где существовало рабство, более или менее синкретизировали с капитализмом, но, за исключением Гаити, кажется, не конкурировали с господствующей религией

альной империи, которая пыталась сохранить определенный контроль над ними, включая некоторую поддержку крестьянских (в основном индейских) общин. Ими также управляли вооруженные люди, которых могли нанять помещики или кто-нибудь еще. Они образовывали основу *caudillos*, которые, во главе своих армий, становились такой привычной частью латиноамериканского политического сценария. В основном, почти все страны континента были олигархиями. На практике это означало, что национальная власть и национальные государства были слабы, если республика не была чересчур маленькой или диктатор достаточно свирепым, чтобы исподволь внушать, по крайней мере, временно ужас своим более отдаленным подданным. Эти страны вступали в контакт с мировой экономикой постольку, поскольку это осуществлялось через иностранцев, которые контролировали импорт и экспорт их основных продуктов торговли и их грузоперевозки (за исключением Чили, имевшей свой собственный процветающий флот). В наш период это были в основном англичане, хотя можно назвать также некоторое количество французов и американцев. Судьбы их правительств зависели от их доли доходов, извлекаемой из иностранной торговли, и успеха в получении ссуд, вновь главным образом от англичан. Первые десятилетия после обретения ими независимости в этих странах наблюдался экономический и во многих областях демографический упадок, за уникальным исключением таких государств, как Бразилия, мирно отделившейся от Португалии под властью местного императора и избежавшей разрушения и гражданской войны, и Чили, изолированная Тихим океаном. Либеральные реформы, осуществленные новыми режимами — самым большим скоплением республик в мире — имели пока еще незначительные практические последствия. В некоторых самых больших и впоследствии наиболее важных государствах, таких как Аргентина при диктаторе Росасе (1835—1852)⁴⁶, господствовали доморощенные, враждебные нововведениям олигархии. Удивительное расширение капитализма по всему миру в третьей четверти столетия должно было изменить это.

Во-первых, к северу от Панамского перешейка, это вело куда больше к прямому вмешательству «развитых» стран, вся Латин-

ская Америка испытывала его в период после ухода испанцев и португальцев. Мексика, главная жертва колониальной экспансии, отдала обширные территории Соединенным Штатам в результате американской агрессии в 1847 году. Во-вторых, Европа (и в меньшей степени Соединенные Штаты) обнаружили товары, пригодные для импорта из этого большого отсталого региона — шерсть из Перу, табак из Кубы и различных других областей, хлопок из Бразилии и других мест (особенно во время Гражданской войны в Америке), кофе, после 1840 года прежде всего из Бразилии, нитраты из Перу, и т. д.

Многие из них были продуктами, пользовавшимися ажиотажным спросом лишь какое то время, и подверженным такому же быстрому упадку как и подъему: эра гуано в Перу едва началась перед 1848 годом и не пережила 1870-е годы. После 1870-х годов Латинская Америка разрабатывает относительно постоянные виды продукции для экспорта, которые дожили до середины нашего столетия или даже до наших дней. Поступление капитала из-за границы начало развивать инфраструктуру континента — железные дороги, портовые сооружения, общественные предприятия коммунального обслуживания; существенно возросла даже иммиграция европейцев, во всяком случае на Кубу, в Бразилию и прежде всего в спокойные области устья River Plate*.

Эти достижения укрепили позиции меньшинства латиноамериканцев, занимавшихся модернизацией своего континента, бедного в настоящее время и богатого своими возможностями и ресурсами; «нищий, сидящий на куче золота», — как описал Перу один итальянский путешественник. Иностранцы, фактически представлявшие угрозу, например, Мексике, казались меньшей опасностью, чем грозное могущество местной инерции, представленной традиционным крестьянством, старомодными неотесанными провинциальными лордами и прежде всего церковью. Или скорее, если бы они не были побеждены сразу, шансы выжить для иностранцев должны были быть весьма невелики. И они мог-

* По приблизительным данным четверть миллиона европейцев поселились в Бразилии в период между 1855 и 1874 годами, в то время как в сопоставимый период свыше 800 000 уехали в Аргентину и Уругвай.

ли быть преодолены лишь с помощью безжалостной модернизации и «европеизации».

Идеологии «прогресса», которые овладели умами образованных латиноамериканцев, были не просто идеологиями «просвещенного» франкмасонства и утилитарного либерализма, которые были так популярны в движении за независимость. В 1840-х годах различные формы утопического социализма пленили интеллектуалов, обещая не только социальное совершенствование, но и экономическое развитие, и с 1870-х годов позитивизм Огюста Конта глубоко проник в Бразилию (до сих пор ее национальным девизом является «Порядок и Прогресс» Конта) и, в меньшей степени, в Мексику. По-прежнему преобладающим оставался классический «либерализм». Революция 1848 года и мировое расширение капитализма предоставили либералам их шанс. Две наиболее существенные — и связанные друг с другом — реформы состояли в систематической ликвидации любых видов владения землей, кроме земель, находящихся в частной собственности, приобретение и продажа (согласно «Земельному закону» Бразилии и устранение ограничений в Колумбии на раздел индейских земель, оба 1850 года), и прежде всего, ярый антиклерикализм, который кстати также стремился отменить церковное землевладение. Своей вершины антиклерикализм в Мексике достиг при президенте Бенито Хуаресе (1806—1872) (Конституция 1857 года), когда церковь была отделена от государства, церковная десятина отменена, священников заставили принимать клятву на верность закону, чиновникам запрещалось посещать религиозные службы и церковные земли продавались. Однако другие страны едва ли были менее воинственны в этом отношении.

Попытка преобразовать общество с помощью организационной модернизации, навязанной политической властью, потерпела неудачу, потому что она не могла найти поддержку в экономической независимости. Либералы были образованной и городской элитой на сельском континенте и, поскольку они обладали подлинной властью, которая опиралась на ненадежных генералов и на местные кланы помещичьих семей, по различным причинам имевших лишь самую отдаленную связь с Джоном Стюартом Миллем или Дарвином, предпочли мобилизовать своих

клиентов на свою сторону. В социальном и экономическом смысле очень немного изменилось в глубинках Латинской Америки к 1870-м годам, кроме того, что власть землевладельцев усилилась, а сила крестьян — ослабла. И так как это изменилось под воздействие внедрения мирового рынка, результатом было подчинение старой экономики требованиям импортно-экспортной торговли, осуществляемой через несколько больших портов или столиц и контролируемых иностранцами или иностранными поселенцами. Единственным заметным исключением были земли River Plate, где в конечном счете массовая европейская иммиграция должна была привести к появлению совершенно нового населения с целиком нетрадиционной социальной структурой. Латинская Америка в третьей четверти девятнадцатого столетия вступила на путь «вестернизации» в своей буржуазно-либеральной форме с бóльшим усердием, и иногда с бóльшей жестокостью, чем любая другая часть мира кроме Японии, но результаты этого были неутешительны.

Оставляя в стороне области, заселенные — обычно совсем недавно — поселенцами из Европы и не имевшие значительного местного населения (Австралия, Канада), колониальные империи европейских держав состояли из нескольких регионов, где большинство или меньшинство белых поселенцев сосуществовали с довольно многочисленным туземным населением (Южная Африка, Алжир, Новая Зеландия) и немалого числа регионов без сколь-нибудь большого или постоянного европейского населения вообще*. Колонии «белых поселенцев» были печально известны тем, что создали наиболее сложную проблему колониализма, хотя во время нашего периода она еще не имела важного международ-

* Смешанные браки не получили большого распространения в этих областях, в отличие от доиндустриальных империй — части которых все еще существуют (например, Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины), и появились, по крайней мере, в Индии, чтобы заметно сократиться с середины девятнадцатого столетия. Такие группы метисов были не просто уподоблены «цветной расе» (как в Соединенных Штатах) или могли «сходиться» за белых, они иногда использовались как каста младших администраторов или техников, как в Индонезии или Индии, где они монополизировали управление железных дорог; но в принципе граница между «белыми» и «цветными» была довольно четкой.

ного значения. В любом случае, главная проблема туземных народов состояла в том, как противостоять продвижению белых поселенцев и, хотя зулусы, маори и берберы располагали достаточным количеством оружия, они не могли сделать ничего большего, чем добиться местных успехов. Колонии преимущественно туземного населения создавали более серьезные проблемы, потому что дефицит белых делал существенным использование аборигенов в заметном масштабе для нужд управления и внушения им благоговейного страха в отношении их правителей. Они должны были в любом случае управлять через уже существующие местные институты, по крайней мере на местном уровне. Другими словами, они стояли лицом к лицу с двойственной проблемой создания корпуса ассимилированных аборигенов, чтобы те заняли место белых людей и способствовали изменению уклона традиционных учреждений стран, часто совсем не подходивших для соответствующих целей. Наоборот, туземные народы противились вызову вестернизации намного более сложным образом, чем простое сопротивление.

II

Индия — самая большая колония — демонстрирует сложности и парадоксы этой ситуации. Простое существование иностранного правления само по себе не представляло здесь никакой проблемы, обширные области субконтинента в ходе его истории завоевывались и перезавоевывались различными иностранными захватчиками (в основном из Центральной Азии), чьи права в значительной степени устанавливались эффективной властью. То, что у теперешних правителей кожа была гораздо белее, чем у афганцев, и административный язык намного непонятнее, чем классический персидский, не вызывало особых трудностей; то, что они не пытались любыми способами обратить народ в свою веру (к огорчению миссионеров), являлось ценным политическим качеством. Все же изменения, которые они провели преднамеренно или вследствие своей любопытной идеологии и беспрецедентной экономической деятельности, были более глубокими и

решительными, чем что-либо принесенное сюда до сих пор через Хайберский перевал.

Все же они были в одно и то же время как революционны, так и ограничены. Англичане стремились переделать их по западному образцу — даже в некотором отношении ассимилировать — не только потому, что местные обычаи вроде сжигания вдов (*suttee*) по-настоящему возмущали многих из них, но в основном из-за потребностей управления и экономики. Оба к тому же разрушали существующую экономику и социальную структуру, даже когда это не входило в их намерение. Таким образом, после долгих дебатов, знаменитый Протокол (1835) Т. Б. Маколея (1800—1859)⁴⁷ установил чисто английскую систему образования для небольшого числа индийцев, в образовании и обучении которых английская администрация была заинтересована, и особенно это касалось младших управляющих. Возникла небольшая англизированная элита, иногда настолько удаленная от массы индийского населения, что фактически не очень хорошо владела собственным местным языком, или даже переименовывала свои имена на английский лад, хотя даже наиболее ассимилировавшийся индеец не испытывал по отношению к себе такого обращения, какое испытывал англичанин со стороны англичан*. С другой стороны, англичане брались, но потерпели неудачу в проведении «вестернизации», как потому что индийцы были, в конце концов, подчиненными народами, чьей функцией было не конкурировать с британским капитализмом, так и потому что политический риск чрезмерного вмешательства в народные обычаи был слишком велик, и также потому, что различия между образом жизни англичан и 190 или около того миллионами индийцев (1871), казались такими большими, что были, фактически, непреодолимы, по крайней мере для крошечных групп английских управляющих. Чрезвычайно ценная литература, созданная людьми, которые управляли или имели большой опыт работы в Индии в девятнад-

* К своей чести английские левые были более терпимы и, в конечном счете, один или два индийских иммигранта были фактически избраны в английский парламент, первый из них как радикальный член Лондонского избирательного округа в 1893 году.

цатом столетии и которые внесли заметный вклад в развитие таких дисциплин, как социология, социальная антропология и сравнительная история (см. главу 14 ниже), отражает серию перемен по теме этого бессилия и несовместимости.

«Переделка на западный образец» («вестернизация») должна была в конечном счете создать руководство, идеологии и программы освободительной борьбы индийцев, чьи культурные и политические лидеры должны были появиться из рядов тех, кто сотрудничал с англичанами, извлекая выгоду из их правления как компрадорская буржуазия или другими способами, или проводя «модернизацию» самостоятельно, подражая Западу. Это привело к возникновению класса местных промышленников, чьи интересы неизбежно сталкивали их с экономической политикой метрополии. Все же следует указать, что в этот период «западнизированная» элита, каково бы ни было ее недовольство, видела в англичанах и достойную подражания модель и открытие новых возможностей. Анонимный националист в «Журнале Мухерджи» (Mukherjee's Magazine) (Калькутта, 1873) все еще был изолированной фигурой, когда писал: «Ослепленные поверхностным блеском вокруг них... местные жители до настоящего времени принимали взгляды своих начальников [и] доверялись им, как будто коммерческой веде. Но день за днем свет знаний расчищает туман в их умах»^{3*} Поскольку имело место сопротивление англичанам как англичанам, оно исходило от традиционалистов, и даже это было — с одним большим исключением — приглушено в век, когда, как вспоминал позже националист Б. Г. Тилак, люди «были поражены прежде всего дисциплиной англичан. Железные дороги, телеграф, шоссе, школы изумили людей. Бунты прекратились и люди могли наслаждаться миром и спокойствием... Люди начали говорить, что слепой человек мог безопасно путешествовать из Бенареса в Рамешвар с золотом, привязанным к палке»^{4*}

Большим исключением было великое восстание 1857—1858 года, развившееся на северных индийских равнинах, известное английской исторической традиции как «индусский мятеж», поворотный пункт в истории британского управления Индией, который в ретроспективе может быть назван предшественником ин-

дийского национального движения. Он был последним мятежом традиционной (северной) Индии против введения прямого британского правления и в конце концов разрушил старую Ост-Индскую компанию. Этот любопытный пережиток частного колониального предприятия, вошедший в плоть и кровь британского государственного аппарата, был наконец заменен им. Политика систематической аннексии до сих пор лишь зависимых индийских территорий, ассоциировавшаяся с правлением вице-короля лорда Дальхузи (1847—1956)*, и особенно аннексия в 1856 году королевства Удх, последнего осколка империи Моголов, спровоцировала его. Скорость и бестактность совершенных англичанами перемен, казалось, были предназначены ускорить это. Поводом для мятежа послужило введение смазанных топленным салом патронов, которые солдаты бенгальской армии расценили как преднамеренное оскорбление их религиозные чувств. (Христианские учреждения и миссионеры явились первыми жертвами народной ярости). Хотя восстание началось как мятеж бенгальской армии (войска в Бомбее и Мадрасе оставались спокойными), оно превратилось в большое народное восстание на севере, под руководством родовой знати и князей, и попытку восстановить Империю Моголов. То, что напряженные экономические отношения, например возникшие в результате изменений, проведенных англичанами в земельном налоге, главном источнике общественных доходов, сыграли свою роль, является очевидным, но то, что лишь они одни произвели столь большой и широкомасштабный мятеж, является сомнительным. Люди восстали против того, что, по их мнению, было все убыстрявшимся и безжалостным разрушением их уклада жизни иностранным обществом.

«Мятеж» был подавлен в море крови, но научил англичан осторожности. В практических целях аннексия прекратилась, за исключением восточных и западных границ субконтинента. Большие территории Индии, еще не попавшие под прямое управле-

* Между 1848 и 1856 годами Англия аннексировала Пенджаб, большую часть центральной Индии, части западного побережья и Удх, таким образом добавив около трети к территории, находящейся под прямым управлением англичан.

ние, были оставлены под властью марионеточных местных князьков, контролируемых англичанами, которым все еще официально льстили и выказывали уважение, а они в свою очередь стали столпами режима, который гарантировал им богатство, власть на местах и положение.

Обозначившаяся тенденция полагаться на более консервативные элементы в стране — помещиков-землевладельцев и особенно на сильное мусульманское меньшинство — развивалась, следуя древнему имперскому указанию «разделяй и властвуй». Со временем это изменение в политике стало означать больше чем признание сил сопротивления традиционной Индией иностранным правителям. Это стало противовесом медленному развитию сопротивления новой индийской элиты среднего класса — порождения колониального общества, иногда его фактических служащих*. Что бы там ни было, политика Индийской империи, ее экономические и административные реалии продолжали ослаблять и разрушать силы традиции, укреплять силы нововведения и интенсифицировать конфликты между ними и англичанами. После окончания Компании правления рост новой общины экспатриированных англичан, сопровождаемых своими женами, которые все более и более подчеркивали его сепаратизм и расовое превосходство, усиливал социальное трение с новым местным средним сословием. Экономические напряженные отношения последней трети столетия (см. главу 16 ниже) увеличили антиимпериалистические аргументы. К концу 1880-х годов Индийский Национальный Конгресс — главное средство индийского национализма и правящая партия независимой Индии — уже существовал. В двадцатом столетии индийские массы непосредственно должны были следовать за идеологическим лидерством нового национализма.

* Первый значительный критический анализ британского империализма в Индии, *«Экономическая история Индии»* и *«Индия в викторианский век»* Р. К. Датта, должен был быть написан индийцем, чья карьера в британской администрации была самой блестящей в его или предыдущее время. Сходным образом был написан индийским функционером англичан, романистом Банкимом Чандрой Чаттерджи национальный гимн Индии.

III

Индийское восстание 1857—1858 годов было не единственным массовым колониальным мятежом прошлого против настоящего. В пределах Французской империи большое восстание алжирцев 1871 года, ускоренное как выводом французских войск во время франко-прусской войны, так и массовым переселением жителей Эльзаса и Лотарингии в Алжир после нее, является аналогичным феноменом. Все же, вообще говоря, возможности для таких восстаний были невелики, хотя бы потому, что основную массу жертв западного капиталистического общества представляли не завоеванные колонии, а значительно ослабленные и разрушающиеся, хотя номинально независимые, общества и государства. Судьбы двух из них могут быть выделены в наш период: Египет и Китай.

Египет, фактически независимое государство, хотя все еще в пределах Оттоманской империи, неизбежно должен был стать жертвой вследствие своего аграрного богатства и своего стратегического положения. Первое из этих двух условий превратило его в сельскохозяйственную житницу, поставлявшую в капиталистический мир пшеницу и особенно хлопок, продажи которого стремительно расширялись. С самого начала 1860-х годов он обеспечивал 60 процентов экспортных доходов страны и, во время большого бума 1860-х годов (когда поставки хлопка из Америки были прерваны Гражданской войной), даже крестьяне временно получали доход от экспорта, хотя половина из них в Нижнем Египте также заболела паразитическими болезнями, благодаря расширению постоянной ирригации. Это значительное расширение сельскохозяйственного экспорта прочно ввело египетскую торговлю в международную (английскую) систему, и привлекло в Египет потоки иностранных бизнесменов и авантюристов, которые были только непрочь расширить кредит Хедиву Исмаилу. Финансовое понимание этого Хедива как и прежних вице-королей Египта, было совсем недостаточным, но в то время как в 1860-х годах расходы египетского государства превысили доходы, возможно, только на 10%, между 1861 и 1871 годами, когда

доходы почти утроились, расход составил в среднем явно больше, чем двойной государственный доход, разрыв по существу заполнялся приблизительно 70 миллионами фунтов в ссудах, которые предоставляли различные финансисты, в диапазоне от деловых до теневых, с отчетливо удовлетворяющими прибылями. Такими средствами Хедив надеялся превратить Египет в современную и имперскую державу и перестроить Каир по подобию Парижа Наполеона III, который тогда представлял стандартную модель рая для богатых правителей его типа. Второй факт, стратегическое положение, привлекал интересы западных держав и их капиталистов, особенно англичан, позиции которых в мире попали под угрозу с сооружением Суэцкого канала. Мировая культура может быть отчасти благодарна Хедиву за представление «Аиды» Верди (1871), впервые поставленной в новом Театре оперы Хедива, в честь открытия канала (1869), но цена для его соотечественников была чрезмерной.

Таким образом, Египет был интегрирован в европейскую экономику как поставщик аграрной продукции. Банкиры через пашей наживались на египетском народе, и когда Хедив и паши больше не смогли платить проценты по ссудам, которые они брали с бездумным энтузиазмом — в 1876 году они в общей сумме составили почти половину фактических доходных поступлений — иностранцы установили финансовый контроль^{5*}. Европейцы, возможно, должны были бы оставаться довольными эксплуатацией независимого Египта, но прекращение экономического бума, совпавшее с крахом административных и политических структур правительства Хедива, подорванного экономическими силами, которые его правители не могли ни понять, ни управиться с ними, затруднило это. Англичане, чье положение было сильнее и чьи интересы были затронуты более чем серьезно, появились как новые правители страны в 1880-х годах.

Но тем временем необычное стремление Египта к Западу создало новую элиту из землевладельцев, интеллигенции, гражданских чиновников и офицеров армии, которая руководила национальным движением 1879—1882 годов, направленным как против Хедива, так и против иностранцев. В течение девятнадца-

того столетия старая турецкая или турко-черкесская правящая группа египетизировалась, потому что египтяне поднялись до положения богатых и влиятельных людей. Арабский язык заменил турецкий в качестве официального языка, вновь усиливая уже и без того мощное положение Египта как центра исламской интеллектуальной жизни. Известный основоположник современной исламской идеологии, перс Джамаль ад-дин Аль Афгани, нашел восторженную публику среди египетских интеллектуалов во время своего имевшего большое влияние пребывания в этой стране (1871—1879)*. Вопрос относительно Аль Афгани, как и относительно его египетских учеников и идеологов, заключался в том, что он не просто защищал отрицательную исламскую реакцию против Запада. Его собственная религиозная ортодоксия вызывала большие сомнения (в 1875 году он стал франкмасоном), хотя он был достаточно трезво мыслящим, чтобы знать, что религиозные убеждения исламского мира должны быть непоколебимы и на самом деле представляют мощную политическую силу. Он призывал к возрождению ислама, который позволил бы мусульманскому миру усвоить современную науку и таким образом постараться превзойти Запад; продемонстрировать, что ислам фактически повелевает современной наукой, парламентами и национальными армиями. Антиимпериалистическое движение в Египте смотрело вперед, а не назад.

В то время как паши Египта были заняты подражанием соблазнительному примеру Парижа Наполеона III, началась самая большая из революций девятнадцатого столетия в самой большой неевропейской империи, так называемое восстание тайпинов в Китае (1850—1866). Оно было проигнорировано евроцентристскими историками, хотя по крайней мере Маркс был достаточно осведомлен о нем, чтобы написать в 1853 году: «Вероятно, следующее восстание европейских народов должно больше зависеть от того, что сейчас происходит в Поднебесной империи, чем

* Аль Афгани продолжил космополитическую традицию исламской интеллигенции в ходе скитальческой жизни, которая оторвала его от родного Ирана и привела в Индию, Афганистан, Турцию, Египет, Францию, Россию и в другие страны.

от любой другой существующей политической причины». Оно было крупнейшим не просто потому что Китай, более чем половину территории которого контролировали тайпины, насчитывал даже в то время, вероятно, 400 миллионов жителей, являясь самым густонаселенным государством мира, а также из-за необыкновенного масштаба и ожесточенности гражданских войн, череду которых открыло движение тайпинов. Возможно, где-то около 20 миллионов китайцев погибли в этот период. Эти потрясения в немалой степени были прямым результатом западного влияния на Китай.

Возможно, единственная среди больших традиционалистских империй мира, Китайская обладала народной революционной традицией, как идеологической, так и политической. Идеологически ее ученые и ее народ принимали как само собой разумеющееся неизменность и централизованность своей империи: она должна была существовать всегда, с императором (кроме случайных периодов раздробленности), управляться учеными-бюрократами, сдавшими серьезные экзамены для поступления на национальную гражданскую службу, введенные почти две тысячи лет назад — и отмененные только когда империя находилась на последнем издыхании в 1910 году. Все же ее история была некоей последовательностью смены династий, проходившей, как полагали, через цикл подъема, кризиса и подавления: приобретение и в конечном счете потеря того «мандата Небес», который узаконивал их абсолютную власть. В процессе смены одной династии другой, народные восстания, вырастающие из социального разбоя, крестьянских мятежей и деятельности тайных народных обществ в пользу главного восстания, были известны и, как предполагалось, должны были сыграть существенную роль. В самом деле, ее успех по своей сути был отражением того, что срок «мандата Небес» истекал. Неизменность Китая, центра мировой цивилизации, достигалась посредством постоянно повторяющегося цикла смены династий, который включал этот революционный элемент.

Маньчжурская династия, возведенная на трон северными завоевателями в середине семнадцатого столетия, сменила таким

образом династию Минь, тогда как та в свою очередь (посредством народной революции) свергла династию Моголов в четырнадцатом веке. Хотя в первой половине девятнадцатого столетия маньчжурский режим по-прежнему, казалось, функционировал без сбоев, умно и эффективно — правда, с необычайно разросшейся коррупцией — там очевидны стали, начиная с 1790-х годов, признаки кризиса и восстания. Как бы то ни было, еще они могли возникнуть из-за того, что необычайное увеличение населения страны в течение прошлого столетия (причины которого еще полностью не объяснены) начало создавать значительное экономическое давление. Число китайцев, по некоторым данным, возросло с почти 140 миллионов в 1741 году до приблизительно 400 миллионов в 1834 году. Новым элементом, обострившим ситуацию в Китае, было западное завоевание, которое нанесло серьезное поражение Империи в первой Опиумной войне (1839—1842). Шок этой капитуляции перед незначительными военноморскими силами англичан был огромен, ибо он показал слабость имперской системы. Вообще, имело место заметное и немедленное усиление в действиях различных сил оппозиции, особенно влиятельных и хорошо организованных тайных обществ, таких как *Триада* южного Китая, предназначенные свергнуть иностранную маньчжурскую династию и восстановить династию Минь. Имперская администрация создала вооруженные силы для борьбы с англичанами и таким образом помогла распределить оружие среди гражданского населения. Требовалась только искра, чтобы произвести взрыв.

Эта искра появилась в образе маниакального, и вероятно, психически ненормального пророка и мессианского лидера Хунь Сю Чуаня (1813—1864), одного из тех провалившихся на экзаменах кандидатов для имперской гражданской службы, которые с такой легкостью предавались политическому недовольству. После неудачи на экзамене он, очевидно, испытал нервное потрясение, которое приобрело религиозную направленность. Около 1847—1848 годов он организовал «Общество тех, кто почитает Бога», в провинции Гуанси, и к нему быстро присоединялись крестьяне и шахтеры, большое количество обнищавших бродяг, члены раз-

личных национальных меньшинств и сторонники прежних тайных обществ. Все же в его проповедях имело место одно существенное новшество. Хунь находился под влиянием христианских сочинений, даже провел некоторое время с одним американским миссионером в Кантоне, и таким образом превратил существенные западные элементы в некую понятную всем смесь антиманьчжурских, еретических и социально-революционных идей. Восстание разразилось в 1850 году в Гуанси и распространялось так быстро, что «Победоносное Царство Всеобщего Мира» было провозглашено в течение года с Хунем в качестве верховного «Поднебесного Царя». Бесспорно, это был режим социальной революции, чья главная поддержка находилась в народных массах и который провозглашал таоистские, буддистские и христианские идеи равенства. Теоретически организованный на базе пирамиды из единиц-семей, он отменил частную собственность (земля распределялась только для использования, а не для владения), установил равенство полов, запретил табак, опиум и алкоголь, ввел новый календарь (включающий семидневную неделю) и провел различные другие культурные реформы, не забыв снизить налоги. К концу 1853 года тайпины, по крайней мере, с миллионом активных вооруженных бойцов контролировали большую часть юга и востока Китая и захватили Нанкин, хотя потерпели неудачу — в значительной степени из-за отсутствия конницы — чтобы развернуть наступление на севере. Китай разделился, и даже части, не находившиеся под властью тайпинов — были сотрясаемы большими восстаниями, такими как крестьянские бунты на севере в Ниене, не подавленные вплоть до 1868 года, восстаниями национального меньшинства миао в Гуйчжоу и других меньшинств на юго-западе и северо-западе.

Тайпинская революция не защитила себя, и фактически вряд ли смогла бы это сделать. Ее радикальные новшества отпугивали умеренных, традиционалистов и людей, потерявших свою собственность — вовсе не обязательно только богатых, неумение ее лидеров соблюдать свои собственные пуританские стандарты ослабила ее народную привлекательность, и среди руководства вскоре обнаружились глубокие разногласия. После 1856 года она

находилась в обороне, и в 1864 году столица тайпинов Нанкин пал. Имперское управление было восстановлено, но цена, которую оно заплатило за его восстановление, была огромной, и в конечном итоге фатальной. Это также продемонстрировали сложности западного влияния.

Парадоксально, но правители Китая были скорее менее готовы принять западные новшества, чем плебейские мятежи, часто используемые для выживания в идеологическом мире, в котором неофициальные идеи, заимствованные из иностранных источников (таких, как буддизм), были приемлемы. Для конфуцианских ученых-бюрократов, которые управляли империей, то, что не было китайским, было варварским. Имело место даже сопротивление технологии, которая несомненно сделала варваров непобедимыми. Не позже 1867 года Великий секретарь Во Йен подал докладную записку, предупреждая, что учреждение колледжа для изучения астрономии и математики должно «сделать народ сторонником иностранного»^{7*} и выльется «в крушение честности и распространение безнравственности». Сопротивление строительству железных дорог, и тому подобное, оставалось весьма значительным. По очевидным причинам развилась «модернизирующая» партия, но можно предполагать, что ее члены предпочли бы сохранить старый Китай неизменным, лишь дав ему способность производить западные вооружения. (Их попытки развить такое производство в 1860-х годах были не слишком успешны по этой причине). Бессильная имперская администрация в любом случае видела себя с небольшим, но все же выбором между различными степенями уступок Западу. Столкнувшись лицом к лицу с большой социальной революцией, она даже не желала мобилизовать огромную силу китайской народной ксенофобии против захватчиков. В самом деле, разгром тайпинов казался в политическом плане самой насущной проблемой, и для этой цели помощь иностранцев была, если не существенной, то во всяком случае, весьма желательной; их добрая воля обязательной. Таким образом имперский Китай быстро подпадал в полную зависимость от иностранцев. Англо-франко-американский триумvirат контролировал шанхайские таможни с 1854 года, но после

второй Опиумной войны (1856—1858) и осады Пекина (1860), которая закончилась полной капитуляцией*, один англичанин фактически должен был быть назначен «помогать» в управлении доходом всех китайских таможен. Фактически, Роберт Харт, который был генеральным инспектором китайских таможен с 1863 по 1909 годы, был хозяином китайской экономики, и хотя он пользовался доверием китайских правительств и отождествлялся со страной, на самом деле договоренность подразумевала полную подчиненность императорского правительства интересам людей с Запада.

Фактически, когда дело дошло до сути, люди с Запада предпочли поддержку маньчжуров их свержению, которое произвело бы или вооруженный националистический революционный режим или, что было более вероятно, анархию и политический застой, который Запад не желал заполнять. (Первоначальное сочувствие некоторых иностранцев явно христианским элементам среди тайпинов скоро улетучилось). Наоборот, китайская империя восстановилась благодаря краху тайпинов с помощью комбинации уступок «Западу, возвращению консерватизма и фатального разрушения ее центральной власти». Действительными победителями в Китае оказались старые ученые-бюрократы. Находясь перед лицом смертельной опасности, Маньчжурская династия и аристократия сблизилась с китайской элитой, лишившись многого из своей прежней власти. Наиболее способные ученые-администраторы — люди подобные Ли Хунь-Чангу (1823—1901) — спасли империю, когда Пекин был бессилён, поднимая провинциальные массы, опирающиеся на местные ресурсы. Поступая таким образом, они предупреждали превращение Китая в собрание областей, находящихся под властью независимых «вое-

* В это время не только Англия, но также Франция, Россия и Соединенные Штаты получили концессии. Был открыт ряд других портов, иностранным торговцам была предоставлена свобода перемещения и независимость от китайских законов, имели место свобода действия для иностранных миссионеров, свободная торговля, включающая свободную навигацию иностранцев внутри страны, компенсации за потери во время войны и т. д.

начальников». Великая и древняя Китайская империя должна была отныне жить на взятое займы время.

Так или иначе, общества и государства, которые стали жертвами капиталистического мира, за исключением Японии (рассматривается отдельно, смотри главу 8 ниже), потерпели неудачу, попытавшись договориться с ним. Их правители и элиты вскоре убедились, что простой отказ принять образ действия людей с Запада или с Севера был невыполним, а если и выполним, то просто увековечил бы их слабость. В завоеванных колониях, находящихся под капиталистическим господством и управляемых Западом, у людей не было большого выбора: их судьбы определялись их завоевателями. Другие были разделены между политикой сопротивления, сотрудничества и уступок, между открытой «вестернизацией» и неким видом реформы, которая позволила бы им получить науку и технологию Запада без утраты своей собственной культуры и учреждений. В целом, бывшие колонии европейских государств в обеих Америках дали согласие на безоговорочную имитацию Западу, цепь независимых и иногда древних монархий, протянувшаяся от Марокко на Атлантике до Китая на берегах Тихого океана, для некоторой версии реформы, когда они больше не могли полностью закрыться от экспансии Запада.

Случаи Китая и Египта являются, при всем их различии, типичными для этого второго выбора. Оба были независимыми государствами, основанными на древних цивилизациях и неевропейской культуре, подорванными проникновением западной торговли и финансов (принятых добровольно или по принуждению) и бессильными оказать сопротивление войскам и военноморским силам Запада, сколь бы скромными ни были брошенные против них силы. Капиталистические державы на этой стадии не особенно интересовались ни оккупацией, ни администрированием, до тех пор пока их гражданам не была дана полная свобода делать то, что они хотят, включая экстерриториальные привилегии. Они просто обнаружили себя все более причастными к делам таких стран вследствие разрушения местных режимов под западным воздействием, так же как и соперничеством

местных режимов, так и соперничеством между западными державами. Правители Китая и Египта отказались от политики национального сопротивления, предпочитая — насколько им позволял выбор — зависимость от Запада, которая сохраняла их собственную политическую власть. На этой стадии относительно немногие среди тех, кто в этих странах хотел организовать сопротивление посредством национального возрождения, одобряли прямую «вестернизацию». Взамен они выбрали некоторый вид идеологической реформы, которая должна была позволить им реализовать все, что сделало Запад столь могущественным в своей собственной системе культуры.

IV

Эта политика потерпела неудачу. Египет скоро оказался под прямым контролем своих завоевателей, Китай стал более чем когда-либо прежде беспомощным, вступив на путь дезинтеграции. Так как существующие режимы и их правители согласились быть зависимыми от Запада, является невероятным, что их национальные реформы могли бы преуспеть, революция была предварительным условием их успеха*. Но ее время еще не наступило.

Таким образом, то, что сегодня называется «третьим миром» или «отсталыми странами», зависит от милости Запада и есть его беспомощная жертва. Но разве эти страны не получили никаких компенсационных преимуществ вследствие своего подчинения? Как мы видели, в отсталых странах были и такие, кто верил, что они обрели эти преимущества. Переделка на западный манер была единственным решением, и если она подразумевала не только обучение и подражание иностранцам, но и союз с ними против местных сил традиционализма, то есть их господство, то тогда цена должна была быть оплачена. Было бы ошибкой рассматри-

* В действительности, самые великие из старых независимых незападных империй были свергнуты революцией в начале двадцатого столетия — Турция, Иран и Китай.

вать таких страстных «модернизаторов» в свете более поздних националистических движений просто как предателей или агентов иностранного империализма. Они могла бы просто представлять, что иностранцы, не говоря уже о их непобедимости, должны были бы помочь им сломать мертвую догму традиции и таким образом позволить им в конечном счете создать общество, способное противостоять Западу. Мексиканская элита 1860-х годов была прозападной, потому что она была разочарована в положении дел в своей стране^{8*} Такие же аргументы использовались и западными революционерами. Сам Маркс приветствовал победу Америки над Мексикой в войне 1874 года, потому что она принесла исторический прогресс и создала условия для капиталистического развития, то есть, иными словами, для возможного свержения капитализма. Его точка зрения относительно британской «миссии» в Индии, выраженная в 1853 году, была сходной с этой оценкой итогов войны 1874 г. Это была двойная миссия: «уничтожение старого азиатского общества и формирование материальных основ западного общества в Индии». Правда, он верил, что: «индийцы не станут пожинаать плоды новых элементов общества, посеянных среди них английской буржуазией, пока в самой Великобритании новый правящий класс не будет вытеснен промышленным пролетариатом, или пока индусы сами не станут достаточно сильны, чтобы всецело сбросить ярмо англичан».

Тем не менее, несмотря на «кровь и грязь... нищету и деградацию», свойственные для буржуазного развития мира, он рассматривал ее завоевания как позитивные и прогрессивные.

Все же, какими бы ни были окончательные перспективы (и современные историки менее оптимистичны чем Маркс в 1850-х годах), в ближайшем настоящем наиболее очевидным результатом западного завоевания была «потеря... старого мира без приобретения какого-либо другого», которая придавала особый вид меланхолии нищете индусов^{9*}, как и других народов, становившихся жертвами Запада. Достижения было трудно увидеть в третьей четверти девятнадцатого столетия, лишь потери были слишком очевидны. Положительными следствиями были пароходы,

железные дороги и телеграф, небольшие кучки мыслящих по-западному интеллигентов, даже еще меньшие объединения местных земледельцев и бизнесменов, которые накапливали огромные состояния из своего контроля над источниками экспорта и распределения иностранных ссуд, подобно *hacendados* (помещикам) Латинской Америки, или благодаря своему положению посредников для иностранного бизнеса, подобно миллионерам *Parsi* из Бомбея. Существовала связь — как материальная так и культурная. Наблюдался рост годной для экспорта продукции в некоторых соответствующих областях, хотя едва ли в значительном масштабе. Возможно, произошла замена порядком общественного беспорядка, ненадежность, опасность в некоторых областях, которые попали под прямое колониальное правление. Но только прирожденный оптимист поспорил бы о том, что они перевешивали отрицательные последствия в этот период. Наиболее очевидным контрастом между развитым и отсталым мирами был и все еще остается контраст между богатством и бедностью. Во-первых, люди по-прежнему умирают от голода, но сегодня меньше чем в девятнадцатом столетии: в среднем, говорят, около пятисот в год в Соединенном Королевстве. В Индии они умирали миллионами — один из десяти в населении Ориссы во время голода 1865—1866 годов, что-то около четверти или трети населения Раджпутана в 1868—1870 годах, 3 1/2 миллиона (или 15 процентов населения) в Мадрасе, один миллион (или 20 процентов населения) в Майсоре во время великого голода 1876—1878 годов, самого ужасного до тех пор в мрачной истории Индии девятнадцатого столетия^{10*} В Китае не так легко отделить голод от многочисленных других катастроф этого периода, но голод 1849 года, говорят, унес приблизительно 14 миллионов жизней, в то время как другие 20 миллионов, кажется, погибли между 1854 и 1864 годами^{11*} Некоторые части острова Ява были опустошены ужасным голодом в 1848—1850 годах. Конец 1860-х и начало 1870-х годов видели эпидемию голода в целом поясе стран, тянущемся из Индии на востоке до Испании на Западе^{12*} Мусульманское население Алжира уменьшилось примерно на 20 процентов между 1861 и 1872 годами. Персия, все население кото-

рой насчитывало где-то между 6 и 7 миллионами человек, в середине 1870-х годов, казалось, потеряла $1\frac{1}{2}$ — 2 миллиона человек во время большого голода 1871—1873 годов^{14*} Трудно сказать, была ли ситуация хуже чем в первой половине столетия (хотя, возможно, это так и было в Индии и Китае), или она просто изменилась. В любом случае, контраст с развитыми странами во время того же самого периода был разительным, даже если мы предположим (что кажется правомерным для исламского мира), что век традиционных и катастрофических демографических движений уже уступал путь новой модели населения во второй половине столетия.

Короче говоря, большая часть народов третьего мира все еще пока не получила существенной выгоды от необыкновенного, беспрецедентного прогресса Запада. Если бы они осознавали это как нечто иное чем простое разрушение их древних образов жизни, это было бы скорее возможным примером чем реальностью; как что-то сделанное посредством и для людей с красными и желтовато-болезненными лицами людьми в странных твердых шляпах и в брюках трубочкой, пришедших из дальних стран или живших в больших городах. Это не принадлежало их миру, и большинство из них очень сильно сомневалось, желанны ли они там. Но те, кто сопротивлялся этому ради сохранения своих древних укладов жизни, были побеждены. День тех, кто сопротивлялся этому оружием самого же прогресса, еще не наступил.

ГЛАВА 8

ПОБЕДИТЕЛИ

Какие классы и слои общества станут теперь реальными представителями культуры, дадут нам наших ученых, художников и поэтов, наших творческих личностей? Или все превратится в большой бизнес, как в Америке?

Якоб Буркхардт, 1868—1871^{1*}

Администрация Японии стала просвещенной и прогрессивной; европейский опыт принят как руководство к действию: иностранцы задействованы на ее службе: а восточные обычаи и идеи уступают дорогу западной цивилизации.

Сэр Т. Эрскин Мэй, 1877^{2*}

I

Никогда европейцы не господствовали над миром более полно и бесспорно как в третьей четверти девятнадцатого столетия. Чтобы быть более точным, никогда господство белых людей европейского происхождения не было меньше оспорено, мир капиталистической экономики и буржуазных держав включал по крайней мере одно неевропейское государство, или скорее федерацию государств — Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты еще не играли важной роли в мировых делах, и таким образом государственные деятели Европы уделяли им внимание лишь от случая к случаю, если у них не было интересов в двух регионах мира, к которым они проявляли непосредственный интерес, а именно к Американскому континенту и Тихому океану; но, за исключением Британии, чьи планы были как всегда глобальны, ни одно другое государство не было постоянно вовлечено в обе эти области. Освобождение Латинской Америки уничтожило все европейские колонии на основной территории Центральной и Южной Америки, за исключением двух Гайан, которые обеспе-

чивали англичан сахаром, французов тюрьмой для опасных преступников и голландцев напоминанием их прошлых связей с Бразилией. Карибские острова, исключая остров Испаньола (который состоял из Негритянской республики Гаити и Доминиканской республики, наконец освободившейся как от испанского господства, так и гаитянского диктата), оставались колониальными владениями Испании (Куба и Пуэрто-Рико), Англии, Франции, Нидерландов и Дании. За исключением Испании, которая страстно желала частичного восстановления своей американской империи, ни одно европейское государство не беспокоилось о своих владениях в Вест-Индии. Только на Североамериканском континенте значительное европейское присутствие имело место вплоть до 1875 года, огромная, но отсталая и большей частью безлюдная, зависимая от Англии Канада, отделенная от Соединенных Штатов протяженной и открытой границей, проходящей прямой линией от границ Онтарио до Тихого океана, где в течение столетия спорные территории по обе стороны этой линии — хотя и не без трудных дипломатических торгов — урегулировались мирно, в основном в пользу Соединенных Штатов. Но для строительства трансканадской железной дороги Британская Колумбия вполне могла оказаться неспособной противостоять привлекательности тихоокеанских штатов Соединенных Штатов. Что касается азиатских берегов этого океана, только русский Дальний Восток Сибири, британская колония Гонконг и британская база в Малайе столкнулись с прямым присутствием великих европейских держав, хотя французы приступили к оккупации Индокитая. Остатки испанских и португальских колониальных владений и голландская колония в сегодняшней Индонезии не порождали никаких международных проблем.

Территориальная экспансия Соединенных Штатов, таким образом, не создала никакой особой политической суматохи в европейских кабинетах. Большая часть юго-запада — Калифорния, Аризона, Юта и части Колорадо и Нью-Мехико — были уступлены Мексикой США после бедственной войны в 1848—1853 годах. Россия продала Аляску в 1867 году: эти и прежде освоенные западные территории превратились в штаты союза как только они стали экономически достаточно перспективными и доступ-

ными: Калифорния в 1850, Орегон в 1859, Невада в 1864 году, в то время как на Среднем Западе Миннесота, Канзас, Висконсин и Небраска обрели государственность между 1858 и 1867 годами. Американские территориальные амбиции не шли дальше в этом вопросе, хотя рабовладельческие штаты Юга страстно желали расширения рабовладельческого хозяйства на большие острова Карибского бассейна и выражали даже более широкие латиноамериканские амбиции. Основным средством американского господства был косвенный контроль, ибо ни одна иностранная держава не выступила в качестве опасного прямого претендента: слабые, но формально независимые правительства, знали, что они должны быть на стороне северного гиганта. Только в конце столетия, в пору международной моды на формальный империализм, Соединенные Штаты должны были быть остановлены на некоторое время этой установившейся традицией. «Бедная Мексика, — вынужден был вздыхать президент Порфирио Диас (1828—1915)⁴⁸, — так далеко от Бога, так близко от США», и даже латиноамериканские государства, которые чувствовали, что сами были в близких отношениях со Всемогущим, все более и более сознавали, что в этом мире Вашингтон был тем, на что они должны были главным образом обращать свое пристальное внимание. Случайный североамериканский авантюрист попытался установить прямую власть на и вокруг перешейков, соединяющих Атлантический и Тихий океаны, но из этого ничего не вышло, до тех пор, пока фактически не был построен Панамский канал, оккупированный американскими войсками, в этой небольшой независимой республике, отделенной для этой цели от большого южноамериканского государства Колумбии. Но это было позже.

Большая часть мира, особенно Европа, была хорошо осведомлена о Соединенных Штатах, хотя бы лишь потому что в течение этого периода (1848—1875) многие миллионы европейцев эмигрировали в них, и в силу того, что их огромная территория и необыкновенный прогресс быстро превратили их в техническое чудо света. Соединенные Штаты были, как первыми выяснили сами американцы, страной всего в превосходной степени. Где еще можно было найти город, подобно Чикаго, с его скромным населением в 30 000 жителей в 1850 году, который стал шестым

по величине городским центром мира с населением более миллиона жителей, спустя всего сорок лет? Никакие железные дороги не охватывали большие расстояния чем ее трансконтинентальные линии, или превышали по общей протяженности в милях (49 168 в 1870 году) железнодорожные магистрали любой другой страны. Никакие миллионеры не были настолько обязанными всем только самим себе, как миллионеры Соединенных Штатов, и если они были еще не самыми богатыми среди себе подобных — хотя должны были скоро стать таковыми — они были, конечно, самыми многочисленными. Никакие газеты не были более смелыми в журналистском отношении, никакие политики более сильно коррумпированными, никакая страна не была более безграничной в своих возможностях.

«Америка» по-прежнему была Новым Миром, открытым обществом в открытой стране, где иммигрант без гроша в кармане, как всем казалось, мог заново сделать себя («человек, всем обязанный самому себе») и действуя таким образом создавать свободную равноправную, демократическую республику, единственную республику любого размера и значения в мире до 1870 года. Образ Соединенных Штатов как революционной политической альтернативы Старому миру монархии, автократии и подчинения не был, возможно, столь же ярким, каким он был прежде, по крайней мере за пределами своих границ. Имидж Америки как места спасения от бедности, надежды на личное обогащение, заменял его. Новый мир все более и более противопоставлялся Европе не как новое общество, а как общество нуворишей.

И все же в пределах Соединенных Штатов революционная мечта была далеко не мертва. Образ республики оставался образом страны равноправия, демократии, и возможно, более всего, образом безграничной анархической свободы, широких возможностей, на фасаде которой было то, что позднее получило название «свободной судьбы»*. Никто не мог понять Соединенные Штаты в девятнадцатом или, в этом отношении, в двадцатом

* «Атлантические Штаты... постоянно обновляют правительства и социальное устройство Европы и Африки. Тихоокеанские Штаты должны обязательно выполнять те же самые возвышенные и полезные функции в Азии» (Вилльям Х. Сьюард, 1850).^{3*}

столетии, не оценив этого утопического компонента. Он был, по своему происхождению, аграрной утопией свободных и независимых фермеров на свободной земле. Он никогда не вступал в отношения с миром больших городов и большой промышленности и не был еще согласован с господством того или другого в наш период. Даже в таком типичном центре американской промышленности, как текстильный город Патерсон, штат Нью-Джерси, нравы делового мира все еще не были господствующими. Во время забастовки ткачей в 1877 году миллионеры горько жаловались, и справедливо, на то, что республиканский мэр, демократические члены муниципального совета, пресса, суды и общественное мнение оказались не в состоянии поддержать их^{4*}

Большую часть американцев все еще составляли сельские жители: в 1860 только 16 процентов жили в городах с населением в восемь или более тысяч жителей. Сельская утопия в ее наиболее либеральной форме — свободный крестьянин на свободной земле — могла бы приобрести бóльшую политическую силу чем когда-либо прежде, особенно среди растущего населения Среднего Запада. Это способствовало образованию Республиканской партии, и не в последнюю очередь ее антирабовладельческой направленности (хотя программа бесклассовой республики свободных фермеров не имела ничего общего с рабством и мало интересовалась неграми, она исключала рабство). Она достигла своего высочайшего триумфа в «Законе о гомстеде» 1862 года, который предоставлял каждому семейному американцу в возрасте старше двадцати одного года 160 акров *gratis* (бесплатно) общественной земли после пяти лет постоянного проживания в данной местности, или приобретение одного акра по цене 1,25 доллара после полугода. Едва ли необходимо добавлять, что эта утопия потерпела крах. Между 1862 и 1890 годами менее чем 4 000 000 семей извлекли пользу из «Закона о гомстеде», в то время как население Соединенных Штатов увеличилось до 32 миллионов, население западных штатов возросло более чем на 10 миллионов. Одни только железные дороги (которые получили в свое распоряжение огромные площади общественной земли для того, чтобы они могли возместить потери от строительства и эксплуатации спекуляциями и развитием собственности) прода-

ли больше земли по 5 долларов, чем им было продано по Закону. Реально извлекавшими выгоду от свободной земли были спекулянты, финансисты и капиталисты-предприниматели. В последние десятилетия столетия было намного меньше слышно о сельской мечте свободного крестьянства.

Будем ли мы рассматривать это преобразование Соединенных Штатов как окончание революционной мечты или наступление нового века, все это произошло в третьей четверти девятнадцатого столетия. Сама мифология является свидетелем важности этой эры, две наиболее глубокие и длительные темы американской истории, заключенные в народной культуре, принадлежат ей: Гражданская война и Запад. Обе тесно связаны между собой, в той же степени, что и открытие Запада (или более точно его южных и центральных частей), ускорило конфликт между штатами республики, одни представляющие свободных поселенцев и растущий капитализм Севера, другие — рабовладельческое общество Юга. Это был конфликт 1854 года между Канзасом и Небраской по поводу введения рабства на Среднем Западе, который ускорил образование Республиканской партии. Она должна была избрать Авраама Линкольна (1809—1865) президентом в 1860 году, событие, которое привело к окончательному разрыву конфедеративных штатов Юга с Союзом в 1861 году*.

Расширение поселений на Западе не было новым. Оно просто чрезвычайно ускорилось в наш период вследствие строительства железных дорог — первые из них достигли и соединили Миссисипи в 1854—1856 годах — и в дальнейшем Калифорнию (см. главу 3 выше). После 1849 года «Запад» перестал быть чем-то вроде границы бесконечности и стал вместо этого большим пустынным пространством прерии, пустыни и гор, затерянным между быстро развивающимися областями к востоку и вдоль Тихого океана. Первые трансконтинентальные линии строились одновременно в восточном направлении от тихоокеанского побережья и в западном направлении от Миссисипи и встретились где-то в

* Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Джорджия, Алабама, Флорида, Миссисипи, Луизиана, Теннесси, Арканзас, Техас. Некоторые пограничные штаты колебались, но не вышли из Союза: Мериленд, Западная Вирджиния, Кентукки, Миссури, Канзас.

Юте, куда секта мормонов переместила свой Сион из Айовы в 1847 году, ошибочно полагая, что он находится вне пределов досягаемости изнеженных людей. На самом деле, регион между Миссисипи и Калифорнией («Дикий Запад») оставался довольно заселенным в наш период; в отличие от «вялого» или Среднего Запада он весьма быстро заселялся, развивал сельское хозяйство и даже промышленность. Было подсчитано, что общие затраты труда на строительство ферм во всем обширном регионе прерий, юго-западных и горных штатах в период с 1850 по 1880 годы были немного больше, чем таковые затраченные в тот же самый период в юго-восточных или в давно заселенных среднеатлантических штатах^{5*}

Земли прерий к западу от Миссисипи потихоньку заселялись фермерами, что предполагало вытеснение (с помощью насильственного перемещения) индейцев, включая и тех, которые уже были переселены сюда прежним законодательством, и с помощью массового уничтожения бизонов, которыми жили индейцы прерий. Их истребление началось в 1867 году, в том же самом году, когда Конгресс учредил главные индейские резервации. К 1883 году около 13 миллионов бизонов было убито. Горы никогда не имели значения для сельскохозяйственного поселения. Они были и оставались границей изыскателей и шахтеров, заселенные с помощью ряда «походов» за драгоценными металлами — в основном за серебром, по запасам которых самой большой оказалось рудная жила в Комсток-Лоуд в Неваде (1859). За двадцать лет она дала продукции на 300 миллионов долларов, создала умопомрачительные состояния полдюжине людей, два десятка или чуть меньше миллионеров и гораздо большее число меньших, но по современным стандартам все еще внушительных состояний, прежде чем ее выработали, оставляя позади себя пустой город-призрак Вирджиния-Сити. Подобные наплывы иммигрантов имели место в Колорадо, Айдахо и Монтане^{6*}. В демографическом отношении они значили немного. В 1870 году Колорадо (признанное государством в 1876 году) насчитывало менее чем 40 000 жителей.

Юго-Запад оставался по существу скотоводческим, то есть ковбойским, сельским регионом. Отсюда обширные стада круп-

ного рогатого скота — около 4 миллионов между 1865 и 1879 годами — перегонялись до пунктов отгрузки и по железной дороге отправлялись в западном направлении, по своему пути на гигантские скотобойни Чикаго. Так или иначе продвижение на запад породило незначительные поселения в Миссури, Канзасе и Небраске, подобно Эбилене и Додж-Сити, репутация которых живет в тысяче вестернов, не будучи переложена строгой библейской прямоотой и популистским усердием фермеров прерий^{7*}

«Дикий Запад» является настолько впечатляющим мифом, что его трудно проанализировать со сколько-нибудь большой долей реализма. Весьма вероятно, что единственным точным историческим фактом о нем, доступным для всех, является тот факт, что он просуществовал лишь короткое время, что его расцвет, в период между Гражданской войной, крахом горной промышленности и разведением крупного рогатого скота, приходится на 1880-е годы. Его «дикость» не зависела от индейцев, которые были готовы скорее жить в мире с белыми, за исключением, возможно, крайнего юго-запада, где племена вроде апачей (1871—1886) и (мексиканских) яки (1875—1926) вели в течение прошлого столетия несколько войн, чтобы сохранить свою независимость от белых людей. Это происходило благодаря учреждениям, или скорее в силу отсутствия эффективных учреждений, правительства и закона в Соединенных Штатах (не было никакого «Дикого Запада» в Канаде, где даже походы золотоискателей не были стихийными, а племена сиу, которые сражались и разбили Кастера в Соединенных Штатах перед своим массовым истреблением, жили здесь довольно мирно). Анархия (или, используя более нейтральный термин, страсть к вооруженной самозащите) была, возможно, преувеличена мечтой о свободе, так же как и о золоте, которая влекла людей на Запад. Вне границы фермерского поселения и города не существовало никаких семей: в 1870 году в Вирджиния-Сити было более двух мужчин на одну женщину, и лишь 10 процентов детей. Это правда, что миф вестерна деградировал даже как мечта. Его героями являются куда чаще не отчаявшиеся люди и бандиты из бара вроде Дикого Билла Хикока, который мало что может сказать в их пользу, а скорее объединившиеся шахтеры-иммигранты. Все же, даже допуская это, его

не нужно идеализировать. Мечта о свободе не относилась к индейцам или китайцам (которые составляли почти треть населения Айдахо в 1870 году). В расистском Юго-Западе — Техас принадлежал к Конфедерации — и эта мечта, конечно, не имела отношения к неграм. И хотя много чего мы рассматриваем как «вестерн», от ковбойского костюма до заведенного испанцами «калифорнийского обычая», который стал эффективным законом горной промышленности в американских горах, заимствованных у мексиканцев, которые, возможно, также оказывали большую поддержку ковбою, чем любой другой отдельной группе населения, она не относилась и к мексиканцам. Это была мечта белых, которые надеялись заменить частное предприятие буржуазного мира азартными играми, золотом и оружием.

Если нет ничего неясного относительно «открытия Запада», характер и происхождение американской Гражданской войны (1861—1865) привели к бесконечным спорам среди историков. Она сосредоточивается на вопросе о природе рабовладельческого общества южных штатов и ее возможности сосуществовать с динамично расширяющимся капитализмом Севера. Было ли это вообще рабовладельческое общество, установленное так, что негры всегда находились в меньшинстве даже на Крайнем Юге (кроме отдельных мест) и можно ли полагать, что большинство рабов работало не на классической большой плантации, а небольшими группами на белых фермах или как прислуга? Едва ли можно отрицать, что рабство было центральным институтом южного общества или что оно было главной причиной противоречий и разрыва между Северными и Южными штатами. Реальный вопрос состоит скорее в том, почему оно привело к расколу и гражданской войне, чем к некоторому виду формулы сосуществования. В конце концов, хотя, без сомнения, большинство людей на Севере не переваривало рабства, вооруженный аболиционизм один никогда не был достаточно силен, чтобы определять политику Союза. И северный капитализм, какими бы там ни были частные точки зрения бизнесменов, мог находить его вполне приемлемым, согласиться вступить с ним в отношения и эксплуатировать рабовладельческий Юг, как поступал международный бизнес с «апартеидом» Южной Африки.

Конечно, рабовладельческие общества, включая и таковое на Юге, были обречены. Ни одно из них не пережило период с 1848 по 1890 год — даже Куба и Бразилия (см. главу 10 ниже). Они уже были изолированы как политически путем отмены работорговли из Африки, которая стала к 1850 году малоэффективной, так и морально, вследствие всеобщего согласия буржуазного либерализма, который расценивал рабовладение как противное ходу истории, нравственно нежелательное и экономически неэффективное. Выживание Юга как рабовладельческого общества в двадцатом столетии так же трудно вообразить, как и выживание крепостничества в Восточной Европе, даже если (подобно некоторым школам историков) мы будем рассматривать обоих экономически жизнеспособными как системы производства. Но то, что привело Юг на грань кризиса в 1850-х годах, было более специфичной проблемой: трудность сосуществования с динамичным северным капитализмом и поток миграции на Запад.

В чисто экономическом отношении Север не очень опасался Юга, аграрного региона, едва ли затронутого индустриализацией. Время, население, ресурсы и производство были на его стороне. Главные камни преткновения были политическими. Юг, фактически полуколония англичан, которым он поставлял основную массу их хлопка-сырца, находил свободную торговлю выгодной, принимая во внимание, что промышленность Севера давно была крепко и надежно связана с защитными тарифами, которые было невозможно в значительной степени применить к его желаниям из-за политического подъема южных штатов (которые представляли, следует напомнить, почти половину общего числа штатов в 1850 году). Промышленность Севера была, разумеется, больше обеспокоена полусвободно торгующей и полузащищенной нацией, чем полурабской и полусвободной нацией. То, что в равной степени относилось к этому вопросу, состояло в том, что Юг прилагал все усилия, чтобы противостоять преимуществам Севера, преградив ему пути в глубь страны, пытаясь установить торговлю и единую территорию, обращенную к югу и базирующуюся скорее на речной системе Миссисипи, чем на обращении лицом к Востоку к Атлантике, и насколько возможно приостановить экспансию на Запад. Это было довольно естествен-

но, так как бедные белые южане давно исследовали и открыли Запад.

Но большое экономическое превосходство Севера означало, что Юг должен будет с возрастающим упорством отстаивать свою политическую власть, ставя на карту свои требования по самым формальным условиям (например, настаивая на официальном принятии рабства на новых западных территориях), делая упор на автономию штатов («права «штатов») против национального правительства, использовать свое вето в вопросах национальной политики, замедлить экономическое развитие Севера и т. д. Фактически, Юг должен был стать препятствием для Севера, в то же время осуществляя политику расширения на Запад. Его единственно ценными преимуществами были политические. Куранты истории (установлено, что Юг не мог или не должен был бы победить Север на его собственном поле капиталистической экспансии) начали свой отсчет против него. Любое улучшение в сфере транспорта укрепляло связи Запада с Атлантическим побережьем. В основном, система железных дорог проходила с востока на запад с едва ли сколько-нибудь протяженными линиями с севера на юг. Кроме того, люди, поселившиеся на Западе, пришли ли они туда с Севера или с Юга, были не рабовладельцами, а бедняками, белыми и свободными, привлеченными свободной землей, золотом или жизнью, исполненной приключениями. Формальное расширение рабства на новые территории и штаты было, поэтому, жизненно необходимо для Юга, и все более и более ожесточенные конфликты двух сторон в течение 1850-х годов в основном разгорались вокруг этого вопроса. В это же самое время рабство не относилось к делу на Западе, и фактически экспансия на запад могла бы действительно ослабить систему рабства. Экспансия не давала никаких дивидендов, на которые рассчитывали южные лидеры, когда задумывали аннексию Кубы и создание Южнокарибской плантационной империи. Короче говоря, Север намеревался объединить континент, а Юг нет. Занимая агрессивное положение, он в действительности хотел отказаться от борьбы и отколоться от Союза, что и сделал, когда избрание Авраама Линкольна от Иллинойса в 1860 году продемонстрировало, что Юг потерял «Средний Запад».

Гражданская война бушевала пять лет. По потерям и разрушению это была одной из самых величайших войн, в которые была вовлечена любая «развитая» страна в нашем периоде, хотя ее в какой-то степени можно сопоставить с более или менее современной ей Парагвайской войной в Южной Америке и с войнами тайпинов в Китае. Северные штаты, хотя заметно уступавшие в военных действиях, в конечном итоге победили из-за их большого превосходства в людских ресурсах, промышленной мощи и технологии. В конце концов, они составляли свыше 70 процентов общего населения Соединенных Штатов, свыше 80 процентов мужчин призывного возраста и свыше 90 процентов их промышленного производства. Их триумф был также триумфом американского капитализма и современных Соединенных Штатов. Но, хотя рабство и было отменено, это не являлось триумфом негров, рабов или свободных. После нескольких лет «Реконструкции» (то есть принудительной демократизации) Юг вновь попал под контроль консервативных белых южан, то есть расистов. Северные оккупационные войска были наконец выведены в 1877 году. В известном смысле это достигло своей цели: северяне-республиканцы (которые сохраняли президентство большую часть времени с 1860 по 1932 годы) не смогли пробиться на единоголосный Демократический Юг, который, следовательно, сохранил существенную автономию. Юг, в свою очередь, посредством своего блока голосов, мог оказывать определенное национальное влияние, так как его поддержка была существенной для успеха другой большой партии, демократов. Фактически он оставался аграрным бедным, отсталым и злопамятным; белые негодовали по поводу никогда не забываемого поражения, черные по поводу лишения прав голоса и безжалостного подчинения, вновь навязанного белыми.

Американский капитализм развивался с огромной скоростью и заметными результатами после Гражданской войны, которая, возможно, временно замедлила его рост, хотя она также предоставила значительные возможности для больших деловых предпринимателей — пиратов, метко прозванных «разбойники-бароны». Этот необыкновенный прогресс привел к появлению третьей характерной черты в истории Соединенных Штатов нашего

периода. В отличие от Гражданской войны и Дикого Запада век «разбойников-баронов» не стал частью американского народного мифа, кроме как частью демонологии демократов и популистов, но все еще остается частью американской действительности. Разбойники-бароны по-прежнему являются узнаваемой частью делового мира. Были сделаны попытки защитить или реабилитировать людей, которые изменили словарь английского языка: когда разразилась Гражданская война, слово «миллионер» еще выделялось курсивом, но когда величайший разбойник в первом поколении, Корнелиус Вандербильт, умер в 1877 году, его состояние в 100 миллионов долларов потребовало создания нового термина «мультимиллионер». Рассуждали о том, что многие из великих американских капиталистов были на самом деле изобретателями, без которых триумфы американской индустриализации, и в самом деле впечатляющие, не были бы достигнуты столь быстро. Их богатство появилось, следовательно, благодаря не экономическому разбою, а благодаря великодушию, с которым общество наградило своих благодетелей. Такие аргументы не могут относиться ко всем баронам-разбойникам, ибо даже ум пылкого апологета приходит в замешательство, столкнувшись лицом к лицу с такими наглыми плутами, как финансисты Джим Фиск или Джей Гулд, но было бы бессмысленно отрицать, что ряд промышленных магнатов этого периода сделал позитивный, и иногда важный, вклад в развитие современной промышленной экономики или (что является не совсем одной и той же вещью) в функционирование системы капиталистического предпринимательства.

Однако такие аргументы не относятся к существу дела. Они просто являются другим способом высказать очевидное, а именно то, что Соединенные Штаты девятнадцатого столетия были капиталистической экономикой, в которой состояния — и очень большие состояния — были созданы, помимо всего прочего, развитием и модернизацией производственных ресурсов обширной и быстро растущей страны в стремительно развивающейся мировой экономике. Три вещи отличают эру американских разбойников-баронов от других процветающих капиталистических экономик того же самого периода, которые также вырастили свои поколения иногда достаточно алчных миллионеров.

Первой было полное отсутствие любого вида контроля над деловыми отношениями, сколь бы ни безжалостными, и мошенническими, и действительно наглядными возможностями коррупция ни обладала, как в национальном, так и в местном масштабе, особенно в годы после Гражданской войны. В Соединенных Штатах действительно имело место нечто меньшее, чем то, что можно было бы назвать правительством по европейским стандартам, а возможности для мощного и беспрецедентного обогащения были фактически неограничены. На деле, в выражении «разбойники-бароны» ударение следует делать скорее на втором, чем на первом слове, ибо, как в слабом средневековом королевстве, люди не могли надеяться на закон, а только на свою собственную силу — а кто в капиталистическом обществе был сильнее если не богатые? Соединенные Штаты, единственные среди государств буржуазного мира, были страной частного правосудия и частных вооруженных сил, и никогда не были более такими, чем в наш период. Между 1850 и 1889 годами созданные явочным порядком команды бдительности убили до 530 предполагаемых или действительных нарушителей закона, или шесть из семи из всех жертв за всю историю этого характерного американского феномена, длившегося с 1760-х по 1909 годы*⁹. В 1865 году и в 1866 каждой железной дороге, угольной шахте, сталеплавильной печи и металлопрокатному заводу в Пенсильвании было предоставлено законной властью право нанимать столько вооруженных полицейских, сколько они хотели и считали нужным, разрешая им действовать по своему усмотрению, хотя в других штатах шерифы и другие местные должностные лица должны были формально назначать членов таких частных полицейских отрядов. Во время этого периода было и так, что наиболее печально известные из частных сил детективов и стрелков, «пинкертоны», приобрели свою темную репутацию, сначала в борьбе против преступников, но в куда более значительной степени против рабочих.

Вторым отличительным признаком этой первопроходческой

* Из 3266 зарегистрированных движений бдительности 230 возникли в этот период.

эры американского большого бизнеса, больших денег и большой власти было то, что большинство из его удачливых деятелей, в отличие от таких многочисленных предпринимателей Старого мира, которые часто казались обладающими технологическим созиданием как таковым, казались несовершенными для любого особого способа делания денег. Все, чего они хотели, состояло в максимальном увеличении прибыли, хотя случилось так, что большинство из них встретилося в сфере железнодорожного строительства. Корнелиус Вандербильт имел всего лишь 10—20 миллионов долларов прежде чем он занялся железными дорогами, которые принесли ему 80—90 с лишним дополнительных миллионов за шестнадцать лет. Не удивительно, что люди, подобные калифорнийской группировке — Коллис П. Хантингтон (1821—1900), Лилэнд Стэнфорд (1824—1893), Чарльз Крокер (1822—1888) и Марк Хопкинс (1813—1878) — могли бесстыдно назначить цену строительства Центральной Тихоокеанской дороги в три раза выше фактической, и рэкетиры подобно Фиску и Гулду могли загребать миллионы с помощью манипулирования контрактом и грабежом, фактически не организовав выпуск хотя бы одного спального вагона и не отправив хотя бы одного локомотива.

Немногие миллионеры первого поколения сделали свою карьеру в одной отрасли деятельности. Хантингтон начинал продажей скобяных изделий шахтерам времен золотого натиска в Сакраменто. Возможно, среди его клиентов был и мясной магнат Филипп Армур (1832—1901), который пробовал нажить состояние на золотоносных участках прежде чем уйти в бакалейный бизнес в Милуоки, который в свою очередь позволил ему заняться забоем свиней во время Гражданской войны. Джим Фикс, в свою очередь, был работником цирка, швейцаром отеля, разносчиком и продавцом галантереи, прежде чем появились возможности заключения военных контрактов, и после того игра на фондовой бирже. Джей Гулд, в свою очередь, был картографом и торговцем кожами до того как открыл то, чего можно достичь с помощью железнодорожных акций. Эндрю Карнеги (1835—1919) не занимался сталелитейным делом до тех пор, пока ему не исполнилось почти сорок лет. Он начал как телеграфист, продолжал в

качестве железнодорожного чиновника — его доход уже состоял из инвестиций, чья ценность быстро увеличивалась — баловался нефтью (которая была избранной сферой деятельности Джона Д. Рокфеллера, который начинал жизнь в качестве клерка и бухгалтера в Огайо), пока постепенно не переместился в промышленность, где он занял одно из главенствующих мест. Все эти люди были спекулянтами, готовыми двигаться в направлении больших денег везде, где они были. Ни один из них не испытывал заметных угрызений совести или мог позволить их себе в экономике и веке, где мошенничество, взяточничество, клевета, и, если надо, оружие были нормальными сторонами конкуренции. Все были жесткими людьми, и большинство должны были бы относиться к вопросу, были ли они честны, как значительно менее уместному по отношению к их делам, чем к вопросу о том, были ли они умны. Не просто так действовал «социальный дарвинизм», догма, что те, кто вскарабкались на вершину благополучия, были лучшими, потому что только самые здоровые выживают в человеческих джунглях, стала чем-то вроде национальной теологии в Соединенных Штатах в конце девятнадцатого столетия.

Третий признак грабителей-баронов уже должен быть очевиден, но был чрезмерно выпячен мифологией американского капитализма: значительная их часть была «людьми, обязанными всем самому себе», и у них не было никаких конкурентов в богатстве и социальном положении. Конечно, несмотря на выдающееся положение некоторых «сделавших себя сами» мультимиллионеров, только 42 процента бизнесменов нашего периода, которые попали в *«Американский биографический словарь»*, вышли из низшего или низшего среднего класса*. Большинство вышло из деловых или профессиональных семей. Только 8 процентов «индустриальной элиты 1870-х годов» были сыновьями отцов-рабочих^{10*} Все еще, для сравнения, стоит вспомнить, что из 189 английских миллионеров, умерших между 1858 и 1879 годами, где-то минимум 70 процентов должны были быть потомками

* Подсчитаны родившиеся между 1820 и 1849 годами. Расчет взят у С. Райт Миллз.

одного и, возможно, нескольких поколений богачей, свыше 50 процентов из них были помещиками^{11*} Конечно, Америка имела своих Асторов и Вандербильтов, наследников старых состояний, и величайший из ее финансистов, Дж. П. Морган (1837—1913), был банкиром во втором поколении, чья семья разбогатела в качестве одного из главных посредников по перемещению британского капитала в Соединенные Штаты. Но то, что привлекало внимание, было, достаточно понятно, карьеры молодых людей, которые просто увидели возможность схватить удачу и разбили всех соперников: люди, которые, прежде всего, были пропитаны обязательным духом капиталистического накопления. Возможности и в самом деле были колоссальными для людей, подготовленных скорее следовать логике получения прибыли, чем средств к существованию, и, при этом, с достаточной компетентностью, энергией, жестокостью и жадностью. Отклонения были минимальны. Не было никакой старой знати, чтобы соблазнять людей титулами и добропорядочной жизнью посаженных аристократов, и политика была скорее чем-то, чтобы покупать, а не производить, за исключением, конечно, как другой способ делать деньги.

Поэтому, по существу, разбойники-бароны чувствовали себя представляющими Америку как еще этого не делал никто другой. И они были не совсем не правы. Имена величайших мультимиллионеров — Моргана, Рокфеллера — вошли в область мифа, в котором упоминаются очень различные мифические имена разбойников и маршалов Запада, они, возможно, являются единственными именами отдельных американцев этого периода (иных, чем Авраам Линкольн), которые были широко известны за границей, кроме тех, которые претендуют на особый интерес в истории Соединенных Штатов. И великие капиталисты наложили свою печать на страну. «Однажды, — сказала «Нэшнл Лейбор Трибьюн» в 1874 году, — люди в Америке смогут быть своими собственными правителями. Никто не может или не должен стать их хозяином. Но сейчас эти мечты не были реализованы... Трудящиеся этой страны... вдруг обнаружили капитал столь же непоколебимым, как и абсолютная монархия».

II

Из всех неевропейских стран только одна фактически преуспела встретиться и победить Запад на его собственном поле. Это была Япония, отчасти к удивлению современников. Для них она была известна меньше всего из всех развитых стран, так как фактически была закрыта для прямого контакта с Западом в начале семнадцатого столетия, сохраняя лишь единственный пункт взаимного наблюдения, где голландцам было позволено торговать в ограниченном масштабе. К середине девятнадцатого столетия она казалась Западу ничем не отличающейся от любой другой восточной страны, или, по крайней мере, predetermined своей экономической отсталостью и военной слабостью стать жертвой капитализма. Коммодор Перри из Соединенных Штатов, чьи амбиции в Тихом океане вышли далеко за пределы интересов ее очень активных китобоев (которые недавно — в 1851 году — стали темой величайшего произведения художественного слова Америки девятнадцатого века, *«Моби Дика»* Германа Мелвилла), заставил их открыть некоторые порты в 1853—1854 годах с помощью обычных методов угроз военно-морскими силами. Англичане, а позднее и объединенные западные войска в 1862 году подвергли их бомбардировке со своим обычным легкомыслием и безнаказанностью: город Кагошима подвергся нападению просто в отместку за убийство одного англичанина. Это едва ли выглядело так, как если бы в течение половины столетия Япония должна была бы стать большой державой, способной легко нанести поражение европейской державе в большой войне, и в течение трех четвертей столетия она приблизилась бы к соперничеству с английским флотом; еще раньше, чем в 1970-х годах, некоторые обозреватели ожидают, она превзойдет экономику Соединенных Штатов в течение нескольких лет.

Историки, обладавшие даром предвидения, возможно, были менее удивлены достижениями японцев, чем они могли бы. Они указывали, что во многих отношениях Япония, хотя и полностью замкнутая в своей культурной традиции, была удивительно сходна с Западом по своей социальной структуре. Во всяком случае, она обладала чем-то весьма напоминающим феодальный

порядок средневековой Европы, наследственная земельная знать, полукрепостные крестьяне и группа торговцев-предпринимателей и финансистов, окруженных необычно активной массой ремесленников, опирающихся на растущую урбанизацию. В отличие от Европы, города не были независимыми, а торговцы не были свободными, но растущая концентрация знати (самураи) в городах сделала их весьма зависимыми от несельскохозяйственного сектора экономики, и систематическое развитие закрытой национальной экономики, отрезанной от внешней торговли, создало группу предпринимателей как необходимую для образования национального рынка, так и тесно связанную с правительством. Мицуи, например, — все еще одна из главных сил в японском капитализме — начинали как провинциальные производители сакэ (рисового вина) в начале семнадцатого столетия, затем занялись предоставлением денежных ссуд, и в 1673 году обосновались в Эдо (Токио) в качестве владельцев магазинов, открыв филиалы в Киото и Осаке. К 1680 году они были тем, что Европа назовет активом на фондовой бирже, вскоре после этого они стали финансовыми агентами императорской семьи и сёгунов (*де факто* правителей страны), а также некоторых главных феодальных кланов. Сумитомо, также все еще занимающие видное положение, начинали с торговли наркотиками и скобяными изделиями в Киото и вскоре стали крупными торговцами и предпринимателями в медном бизнесе. В конце восемнадцатого столетия они действовали в качестве региональных администраторов медной монополии и эксплуатировали шахты.

Вполне возможно, что Япония, предоставленная сама себе, могла независимо развиваться в капиталистическом направлении, хотя вопрос этот никогда не сможет быть разрешен. Не вызывает сомнения, то, что Япония более желала подражать Западу, чем другие неевропейские страны, и была более способной делать это. Китай был явно способен побивать Запад в своей собственной игре, по крайней мере, в той степени, насколько он обладал техническими навыками, интеллектуальной искусностью, образованием, административным опытом и деловыми мощностями, необходимыми для этой цели. Но Китай был слишком огромен, слишком самообеспечен, слишком приучен рассматри-

вать себя как центр цивилизации, чтобы пойти на немедленный полный отказ от древних укладов вследствие вторжения опасных и длинноносых варваров, вооруженных по последнему слову техники. Китай не хотел подражать Западу. Образованные люди в Мексике не хотели подражать либеральному капитализму, демонстрируемому Соединенными Штатами, разве только чтобы стать достаточно сильными, для успешного сопротивления своему северному соседу. Но вес традиции, который они были слишком слабы сломить и преодолеть, сделал невозможным для них действовать эффективно. Церковь и крестьянство, индейцы или ставшие испанцами по средневековому образцу — всех их было слишком много, а они были слишком малочисленны. Желание было больше чем способность. Но японцы обладали и тем, и другим. Японская элита знала, что ее страна была одна из многих, стоящих перед опасностью завоевания или подчинения, с которыми они сталкивались в ходе другой истории. Она была (используя современную европейскую фразеологию) скорее потенциальной нацией чем вселенской империей. В то же самое время она обладала техническими и другими способностями и кадрами, нужными для экономики девятнадцатого столетия. И что, возможно, является наиболее существенным, так это то, что японская элита обладала государственным аппаратом и социальной структурой, способными контролировать движение всего общества. Переделать страну сверху без риска пассивного сопротивления, дезинтеграции и революции было слишком трудно. Японские правители были исторически в исключительном положении, оказавшись способными мобилизовать традиционный механизм социального повиновения для целей внезапной, радикальной, но контролируемой «переделки на западный манер» с ничуть не бóльшим сопротивлением, чем преодоление разногласий у *самураев* и подавление крестьянского восстания.

Проблема противостояния Западу занимала японцев в течение нескольких десятилетий — безусловно, с 1830-х годов — и победа англичан над Китаем в первой Опиумной войне (1839—1842) продемонстрировала достижения и возможности западных путей развития общества. Если сам Китай не мог оказать им сопротивления, не были ли они предназначены преобладать повсюду? От-

крытие золота в Калифорнии, такой критический случай в мировой истории в наш период, привело Соединенные Штаты прямо в область Тихого океана, а Японию прямо в центр западных попыток «открыть» ее рынки, как Опиумная война «открыла» рынки Китая. Прямое сопротивление было безнадежным, как доказали это слабые попытки организовать его. Простые уступки и дипломатические увертки могли быть не более чем временными приемами. Потребность в преобразовании, как с помощью освоения приемлемых западных методов, так и с помощью восстановления (или создания) желаний для национальной защиты своих прав, горячо обсуждалось среди образованных чиновников и интеллектуалов, но то, что превратило ее в «Революцию Мейдзи» 1868 года, то есть решительную «революцию сверху», было очевидной неудачей феодально-бюрократической военной системы сёгунов справиться с кризисом. В 1853—1854 годах правители были разделены и не уверены в том, что делать. Впервые правительство формально попросило даймию, или феодальных лордов, большинство из которых одобряло сопротивление или отсрочку высказать свое мнение и дать совет. Поступая так, оно показывало, свою собственную неспособность действовать эффективно, его военные контрмеры были и неэффективны и достаточно дороги для финансовой и административной системы страны. Пока бюрократия демонстрировала свою неуклюжую неэффективность и в пределах сёгуната шло соперничество фракций, второе поражение Китая в другой Опиумной войне (1857—1858) подчеркнуло слабость Японии в отношении Запада. Но новые уступки иностранцам и растущий развал внутренней политической системы произвели контрреакцию среди более молодой самурайской интеллигенции, которая в 1860—1863 годах подняла одну из тех волн террора и убийств (как против иностранцев, так и против непопулярных лидеров), которые прерывали историю Японии. С 1840-х годов воинственно настроенные патриоты объединились в военном и идеологическом обучении как в провинциях, так и в некоторых фехтовальных школах в Эдо (Токио), где они попадали под влияние подходящих философов, возвращались в свои провинции (хан) с двумя лозунгами: «Изгоним варваров» и «восславим императора». Оба лозунга были логичны: Япония не должна была позволить себе пасть жер-

твой иностранцев, и, принимая во внимание провал сёгуната, было естественно, что внимание консерваторов должно было обратиться к традиционной политической альтернативе теоретически всемогущего, но практически бессильного и незначительного императорского трона. Консервативная реформа (или революция сверху) была почти готова принять форму восстановления императорской власти против сёгуната. Иностранная реакция на террор экстремистов — бомбардировка англичанами Каюшимы, просто ускорила внутренний кризис и подорвала уже шатающийся режим. В январе 1868 года (после смерти старого императора и назначения нового сёгуна) было наконец объявлено о восстановлении императорской власти с помощью войск некоторых мощных и раскольнических префектур, что и было закреплено после короткой гражданской войны. «Восстановление» по Мейдзи было осуществлено.

Если бы оно означало только консервативно-ксенофобную реакцию, оно было бы сравнительно незначимым. Крупные феодальные кланы западной Японии, особенно Сацума и Чизошу, чьи войска свергли старую систему, традиционно не любили дом Токугавы, который монополизировал сёгунат. Ни их мощь, ни воинственный традиционализм молодых экстремистов не обеспечили программу как таковую, и люди, которые теперь занялись судьбой Японии, преимущественно молодые *самураи* (в среднем только чуть за тридцать лет в 1868 году), не представляли силы социальной революции, хотя ясно, что они пришли к власти в эпоху, когда экономические и напряженные социальные отношения были по существу острыми и проявились как в росте числа локальных крестьянских восстаний, так и в появлении среднего класса и крестьянских активистов. Но между 1853 и 1868 годами основная масса выживших молодых *самураев*-активистов (некоторые наиболее подверженные ксенофобии погибли в ходе их террористической деятельности) признала, что их цель спасти страну требовала систематического обращения к западным образцам. Некоторые к 1868 году имели связи с иностранцами; некоторые фактически путешествовали за границей. Все признавали, что сохранение государства подразумевает его преобразование.

Параллель между Японией и Пруссией проводится довольно часто. В обеих странах капитализм формально был установлен не с помощью буржуазной революции, а сверху, старым бюрократически-аристократическим порядком, который признавал, что его выживание не могло бы иначе произойти. В обеих странах последовательные экономико-политические режимы оставались важными характеристиками старого порядка: этика дисциплины повиновения и уважения, которая проникла как в средние классы, так даже и в новый пролетариат, и, кстати, помогла капитализму решать проблемы трудовой дисциплины, сильной зависимости экономики частного предпринимательства от помощи и надзора бюрократического государства, и не в последнюю очередь милитаризма, который должен был сделать обеих огромными силами в войне, и скрытого, страстного и временами патологического экстремизма правых политиков. Все же есть различия. В Германии либеральная буржуазия была сильной, осознающей себя как класс и независимой политической силой. Как показали революции 1848 года, «буржуазная революция» была реальной возможностью. Прусский путь к капитализму проходил через союз буржуазии, отказывавшейся делать буржуазную революцию, и юнкерского государства, готового дать ей многое из того, что она хотела, без революции, ценою сохранения политического контроля земельной аристократии и бюрократической монархии. Юнкеры не начинали этих перемен. Просто они (благодаря Бисмарку) убедились, что они не будут сокрушены ими. В Японии, с другой стороны, инициатива, направление и кадры «революции сверху» вышли из рядов самих феодалов. Японская буржуазия (или ее эквивалент) играла роль только постольку, поскольку существование сословия бизнесменов и предпринимателей сделало реальным установление капиталистической экономики по образцам, заимствованным у Запада. «Восстановление» по Мейдзи не может, поэтому, расцениваться в любом прямом смысле как «буржуазная революция», хоть и прерванная, хотя она может рассматриваться как функциональный эквивалент части одной из них.

Это делает радикализм изменений, представленных «революцией Мейдзи», все более впечатляющим. Она упразднила старые

феодалы, заменив их централизованным государственным управлением, которое получило новую десятичную валюту, финансовый базис через инфляцию, с помощью общественных ссуд, основанных на банковской системе, вдохновленной Американской Федеральной резервной системой, и (в 1873 году) все-сторонний земельный налог. (Следует вспомнить, что в 1868 году центральное правительство не имело никакого независимого дохода, временно полагаясь на помощь феодалов провинций, вскоре упраздненных, на принудительные займы и на частные поместья экс-сёгунов клана Токугава.) Эта финансовая реформа подразумевала радикальную социальную реформу, регулирование земельной собственности (1873 г.), которое установило индивидуальную, а не коллективную ответственность за налог, и, следовательно, индивидуальную передачу прав собственности, с последовательным правом продажи. Прежние феодалы, уже в упадке в отношении возделываемой земли, следовательно, отходили в сторону. Высшая знать и немногие знатные *самураи* сохранили некоторые горные и лесные земли, правительство взяло под контроль бывшую коммунальную собственность, крестьяне по существу становились арендаторами у богатых помещиков — а знать и *самураи* теряли свою экономическую базу. В первую очередь, они получали компенсацию и правительственную помощь, но даже прежде чем они оказались неадекватными для многих из них, изменение в их положении было тем не менее глубоким. Это было сделано даже более решительно с помощью военной реформы, и особенно «Законом о военной службе» 1873 года, который, согласно прусской модели, вводил воинскую повинность. Его наиболее далекоидущим последствием был эгалитаризм, ибо закон отменял последние признаки отдельного и более высокого статуса для *самураев* как класса. Однако сопротивление как крестьян так и *самураев* новым мерам — происходило, в среднем, возможно, около тридцати крестьянских восстаний в год в период между 1869 и 1874 годами, и значительный бунт *самураев* в 1877 году — было подавлено без особого труда.

Целью нового режима не было устранение аристократии и классовых различий, хотя они были упрощены и модернизированы.

ваны. Образовалась даже новая аристократия. В это же самое время перестройка на западный манер подразумевала отмену старых разрядов, общество, в котором богатство, образование и политическое влияние значили бы больше чем определенный рождением статус, и поэтому некоторые действительно эгалитарные тенденции: неблагоприятные для более бедных самураев, многие из которых скатились до положения обычных рабочих, благоприятные для обычных людей, которым (с 1870 года) разрешалось принимать фамилии и свободно выбирать занятие и место жительства. Для правителей Японии они были, в отличие от западного буржуазного общества, не программой в себе, а инструментами для достижения программы национального возрождения. Они были необходимы, следовательно, они должны были быть сделаны. И они были оправданными для кадров старого общества, по причине огромной силы традиционной идеологии службы государству, или более конкретно, из-за потребности «укреплять государство», и сделались менее неприемлемыми с помощью важных открытий в военной, административной, политической и деловой карьерах, которые новая Япония предусмотрела для многих из них. Они испытывали сопротивление со стороны крестьян-традиционалистов и *самураев*, особенно тех, для кого новая Япония в действительности не предусмотрела никакого светлого будущего. Тем не менее, радикализм изменений, внесенных в дело в течение нескольких лет людьми, сформировавшимися в старом обществе и принадлежащими к гордому классу ее военного дворянства, остается необыкновенным и уникальным феноменом.

Движущей силой была вестернизация (то есть подражание во всем западным образцам). Запад явно обладал секретом успеха, и следовательно, ему нужно было подражать любой ценой. Перспектива признания в целом ценностей и учреждений другого общества была, возможно, менее невероятной для японцев чем для многих других цивилизаций, потому что они однажды уже поступили так — начиная с Китая — но, тем не менее, она была удивительной попыткой, как болезненной, так и проблематичной. Ибо она не могла быть выполнена просто с помощью поверхностного, избирательного и контролируемого заимствования,

особенно в обществе, так глубоко отличающемся своей культурой от Запада, как японское. Отсюда и та преувеличенная страсть, с которой многие сторонники вестернизации принялись за свою задачу. Для некоторых она, казалось, должна была подразумевать устранение всего, что было японским, поскольку все прошлое было отсталым и варварским: упрощение, возможно, даже отказ от японского языка, улучшение плохого японского генофонда — с помощью смешанных браков с лучшим западным генофондом — предложение, основанное на торопливо проглоченных западных теориях социал-дарвинистского расизма, который фактически получил временную поддержку в высших домах^{13*} Западные костюмы и прически, западная пища (японцы до сих пор не ели мясо) были приняты с едва ли меньшим усердием, чем западная технология, архитектурные стили и идеи^{14*}. Не включала ли в себя вестернизация принятие идеологий, которые были фундаментальными для западного прогресса, включая даже христианство? Не подразумевала ли она в конечном счете устранение всех древних институтов, включая императора?

Все же здесь вестернизация, в отличие от более ранней синификации, породила большую дилемму. Ибо «Запад» был не единой последовательной системой, а комплексом конкурирующих учреждений и конкурирующих идей. Какие из них должны были выбрать японцы? В практическом отношении, выбор был не труден. Британская модель, естественно, служила руководством для железных дорог, телеграфа, общественных работ, текстильной промышленности и многих методов бизнеса. Французская модель вдохновила реформу законодательства и первоначально реформу армии, пока не заняла господствующее положение прусская модель. (Военно-морской флот, естественно, следовал примеру английского). Университеты почерпнули многое как из немецких, так и из американских образцов, начальное образование, сельскохозяйственные новшества и почтовые службы у Соединенных Штатов. К 1875—1876 годам работали пять-шесть сотен иностранных экспертов, к 1890 году три тысячи или около этого — под японским контролем. Но политически и идеологически выбор был куда более трудным. Что должна была выбирать Япония между конкурирующими системами буржуазно-ли-

беральных государств — английской и французской — или более авторитарной прусско-германской империей? Прежде всего, как должно выбирать между интеллектуальным Западом, представленным миссионерами (которые обладали удивительной привлекательностью для деклассированных и дезориентированных *самураев*, готовых перенести свое традиционное послушание от светского господина Господу Небесному), и Западом, представленным агностической наукой — Гербертом Спенсером и Чарльзом Дарвином? Или между конкурирующими светской и религиозной школами?

В пределах поры десятилетий проявилась реакция против крайностей вестернизации и либерализма, частично с помощью западных традиций, критических по отношению к общему либерализму, такому как немецкий, который помог вдохновить конституцию 1889 года, главным образом с помощью неотрадиционалистской реакции, которая фактически должна была изобрести новое государство-религию, сосредоточенное на поклонении императору, синтаистском культе. Оно было той комбинацией неотрадиционализма и избирательной модернизации (как воплощенное в примере в императорском Указе об образовании 1890 года), которая преобладала. Но противоречие между теми, для кого она только означало сильную Японию, оставалось. Революция не должна была произойти, но преобразование Японии в огромную современную державу произошло. Экономические достижения Японии в 1870-х годах по-прежнему оставались скромными и все еще основывались почти полностью на том, что составляло основу экономики государства — торговлю, это странно контрастировало с официальной идеологией экономического либерализма. Военные действия новой армии по-прежнему были полностью направлены против упорных борцов старой Японии, хотя в 1873 году была спланирована война против Кореи, и не началась только потому, что более разумные члены элиты Мейдзи полагали, что внутреннее преобразование должно предшествовать заграничной авантюре. Следовательно, Запад продолжал недооценивать значение преобразований в Японии.

Западные наблюдатели не смогли до конца понять эту странную страну. Некоторые не видели в ней ничего, кроме экзотиче-

ского и привлекательного эстетизма и тех элегантных и угодливых женщин, которые так легко подтверждали мужское (как это и предполагалось) западное превосходство: страны Пинкертон и мадам Баттерфляй. Другие были слишком убеждены в неполноценности неевропейцев, чтобы увидеть что-либо другое. «Японцы — счастливая раса и довольствуясь малым, вряд ли достигнут много», — писала «Джапан Геральд» в 1881 году^{15*} До окончания второй мировой войны вера, что технологически японцы смогут производить только дешевые образцы западных товаров, составляла часть белой мифологии. Все же уже были трезвые наблюдатели — в основном американцы, — которые отмечали замечательную эффективность японского сельского хозяйства*, искусство японских ремесленников, возможности японских солдат. В 1878 году один американский генерал предсказывал, что благодаря им их «страна предназначена играть важную роль в истории мира»^{17*} И как только японцы доказали, что они и в самом деле могут выигрывать войны, мнения людей на Западе о них стали значительно менее самонадеянными. Но в конце нашего периода они все еще должны были выглядеть главным образом как живое доказательство того, что буржуазная цивилизация Запада была победоносной и выше всех остальных; и на этой стадии образованные японцы сами согласились бы с этим.

* При «бережливости, экономии и навыке в сельском хозяйстве, без домашнего скота, чтобы преобразовать буйную растительность неводеланной земли в удобрение для своих возделываемых полей, или любой системы севооборота зерновых культур... и без помощи механических устройств всякого рода, японский фермер производит ежегодно с одного акра земли зерновые культуры, которые требуют четырех сезонов по своей системе в Соединенных Штатах»^{16*}.

ГЛАВА 9

МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО

Согласно коммунистам: «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Другими словами, твои сила, ум или трудолюбие не принесут тебе никакого дохода, потому что надо удовлетворять потребности слабых, глупых и ленивых.

Сэр Т. Эрскин, май 1877 г.^{1*}

Правление переходит из рук тех, кто владеет какой-то собственностью, в руки тех, кто не владеет ничем, из рук тех, чей интерес в сохранении общества имеет материальную основу, в руки тех, кто не имеет ни малейшего представления о том, что такое порядок, стабильность, бережливость... В соответствии с законом исторического развития можно сказать, что наши современные союзы рабочих являются тем, чем в свое время были для античного общества варварские племена, конвульсивными носителями разрушения и разложения.

Гонкуры, во время Парижской Коммуны^{2*}

В то время, как продолжается триумфальное развитие капитализма и буржуазного общества, все более уменьшается перспектива появления каких-либо альтернатив, и это несмотря на возникновение массовых политических и трудовых движений. Эти перспективы были не более многообещающими, скажем, и в 1872—1873 годах. И тем не менее в течение всего лишь нескольких лет будущее общества, получившего столь триумфальное развитие, вновь оказалось покрытым мраком, а движения, целью которых была его замена или кардинальный переворот, вновь потребовали серьезного отношения к себе. Поэтому мы должны рассматривать эти движения за радикальное социальное и политическое переустройство в том виде, в каком они существовали во второй половине XIX века. Непростая задача — писать историю с позиций прошлого, хотя нет и весомых причин,

по которым следует лишать историка его самого мощного оружия. Оружия, за которое держащие пари или вкладчики с радостью отдали бы вырвать себе зуб. Имеется в виду знание будущего. Непросто писать историю так, как видели ее современники. Обеспеченные и влиятельные люди редко бывают настолько самоуверенны, чтобы не бояться, что их правлению придет конец. Более того, память о революционных событиях была все еще свежа. Все, достигшие в 1868 году возраста сорока лет, пережили Великую европейскую революцию, когда были молодыми юношами. Все, кому исполнилось пятьдесят, были детьми во время революционных событий 1830 года и уже достаточно взрослыми в 1848-м. Итальянцы, испанцы, поляки и многие другие в течение последних 15-ти лет прошли через восстания, революции или события, носившие печать бунта, подобные освобождению Южной Италии отрядами Гарибальди. Вряд ли стоит удивляться тому, что надежды или страх перед революцией были все еще сильны и ярки.

Сейчас мы знаем, что в годы, следовавшие за 1848-м, это уже не имело такого большого значения. И правда, писать о социальной революции в эти десятилетия — это все равно что писать о змеях в Британии: они, конечно, существуют, но являются слишком незначительной частью фауны. Европейская революция, казавшаяся такой близкой и такой реальной в год великих надежд и великих разочарований, осталась за горизонтом. Маркс и Энгельс, как известно, надеялись на ее ближайшее возрождение. Они вполне серьезно ожидали очередного взрыва, который должен был последовать за всеобщим экономическим кризисом 1857 года. Когда этого не произошло, они уже больше не ожидали прихода революции в ближайшем будущем, и уж конечно, не в том виде, в каком она произошла в 1848 году. Ошибочно будет предполагать, что Маркс превратился в своего рода умеренного социал-демократа в современном смысле этого слова или что он надеялся на мирный переход к социализму. Даже в тех странах, где рабочие смогли бы получить власть мирным путем через победу на выборах (он имел в виду Соединенные Штаты Америки, Британию и, возможно, Нидерланды), подобная смена власти и

уничтожение старой политической системы и общественных институтов, которые он рассматривал в качестве неперемennого условия, скорее всего приведут к жесткому сопротивлению со стороны бывших правителей. Здесь он мыслил вполне реалистично. Правительства и правящие партии терпимо воспринимают рабочие движения до тех пор, пока они не представляют для них серьезной угрозы, но нет никаких оснований предполагать, особенно после кровавого подавления Парижской Коммуны, что эта терпимость будет сохраняться в случае появления подобной угрозы.

Тем не менее, перспективы свершения революции, пусть даже социалистической, в развитых странах Европы уже не зависели исключительно от политических вопросов, и, как видно, Маркс не принимал их в расчет даже во Франции. В обозримом будущем можно было рассчитывать лишь на создание в европейских капиталистических странах массовых партий рабочего класса, чьи ближайшие политические требования были совсем не революционными. Когда Маркс в интервью американской прессе излагал программу немецких социал-демократов (Гота/Gotha, 1875), он сохранил в ней только один пункт, связанный с социалистическим будущим, — создание социалистических производственных кооперативов под демократическим контролем трудящихся. Это было чисто тактической уступкой лассальянцам⁴⁹. «Социализм, — заметил он, — будет результатом движения. Но все это вопрос времени, образования и развития новых форм общественного устройства»^{3*}

Это непредсказуемо отдаленное будущее могло быть значительно приближено развитием не в самом центре буржуазного общества, а на его периферии. Начиная с 1860-х гг. Маркс серьезно берется за стратегию непрямого влияния на процесс свержения буржуазного строя. Стратегия включала три возможных пути, два из которых оказались действительно пророческими, а один был явно ошибочным: колониальную революцию, Россию и Соединенные Штаты. Первый путь, по расчетам Маркса, шел через организацию революционного движения в Ирландии (подробнее см. гл. 5). Британия в то время была краеугольным камнем раз-

вития пролетарской революции, потому что это был центр средоточия капитала, хозяин мирового рынка и к тому времени «единственная страна, где созрела материальная база для будущей революции»^{4*} Следовательно, основной задачей Интернационала должно было стать стимулирование английской революции, а единственным путем к этому — завоевание ирландской независимости. Ирландская революция, или более широко, революция поработенных народов, планировалась не ради нее самой, а как возможный катализатор революции в ведущих буржуазных странах, как ахиллесова пята монополистического капитализма.

России отводилась, возможно, еще более претенциозная роль. С 1860-х, как будет ясно в дальнейшем, революция в России стала не просто возможностью, но вероятностью и даже реальностью. Правда, если в 1848 году эту вероятность приветствовали как первый шаг на пути к победе западной революции, теперь революция в России стала самоценной. Русская революция могла стать «сигналом к пролетарской революции на Западе, так что обе они будут дополнять друг друга». Это слова из введения к русскому изданию «Манифеста» Маркса и Энгельса^{5*}. Более того, хотя Маркс никогда твердо не отстаивал этого мнения, революция, возможно, приведет к переходу России от деревенской общины к коммунистическому развитию, минуя стадию капитализма. Маркс прозорливо предвидел, что революционная Россия изменит перспективы революции во всем мире.

Роль Соединенных Штатов была не столь важна, как роль России. Им предназначалась функция разрушителя: разрушить посредством мощного индустриального развития промышленную монополию Западной Европы и в особенности Британии, а посредством сельскохозяйственного экспорта подорвать систему больших и малых земельных владений в Европе. Это, конечно, было верное суждение. Но сыграет ли все это на руку триумфальному шествию революции? В 1870-х Маркс и Энгельс небезосновательно ожидали наступления кризиса политической системы Соединенных Штатов, так как аграрный кризис ослабит фермерские хозяйства, «базу всего конституционного строя», а приход в политику политических махинаторов и представителей

большого бизнеса вызовет недовольство граждан. Кроме того, они всячески старались подчеркнуть проявившиеся тенденции к организации массового пролетарского движения. Возможно, они не возлагали на эти тенденции больших надежд, хотя Маркс высказывался довольно оптимистично: «Народ настроен более решительно, чем в Европе... Созревание идет гораздо быстрее»^{6*} И все же они допустили большую ошибку, приравняв Россию и Соединенные Штаты как две страны, исключенные из первоначального варианта «Манифеста»; будущее этих стран оказалось кардинально противоположным.

Учение Маркса получит признание только после его смерти. В описываемое время оно не имело большого политического веса, хотя к 1875 году уже стали очевидными некоторые последствия его влияния: мощная немецкая социал-демократическая партия и стремительное распространение его идей, неожиданное для него самого, но вполне обоснованное с позиций времени, в среде русской интеллигенции (см. ранее). В конце 60-х и начале 70-х «красного доктора» признали ответственным за деятельность Интернационала, в котором он играл не последнюю роль и чьим «серым кардиналом» являлся в то время. Тем не менее, как мы уже убедились, Интернационал не был в полном смысле слова марксистским движением. Из последователей Маркса в него входила лишь горстка немецких эмигрантов одного с Марксом поколения. Основную же часть составляли группировки левого толка, объединенные, главным образом, на почве стремления организовать «рабочих». Деятельность этих группировок имела переменный успех. Их идеи являлись синтезом идей 1848 года (или точнее 1789 как переходной ступени между 1830 и 1848 гг.), взглядов, предвосхитивших реформистские движения трудовиков и определенной разновидности революционной мечты под названием «анархизм».

В общих чертах все революционные теории этого времени являли собой попытки примириться с опытом 1848 года. Это в равной степени относится и к Марксу, и к Бакунину, и к парижским коммунарам, и к русским народникам, о которых пойдет речь позже. Можно сказать, что все они были порождением 1830—

1848-х гг., причем ни один оттенок не исчез полностью с палитры, составлявшей картину этого времени, с утопического социализма. Основные утопические течения как таковые уже прекратили свое существование. Сен-симонизм порвал все связи с левыми. Со временем он трансформировался в позитивизм Огюста Конта (1798—1857) и одновременно в эксперимент, проводимый группой в основном французских искателей приключений. Последователи Роберта Оуэна (1771—1858) направили всю свою умственную энергию на занятия спиритуализмом и секуляризмом, а практический опыт — на скромные просторы кооператорской деятельности. Фурье, Кабе и другие вдохновителя создания коммунистических общин с неограниченными возможностями и на свободных землях были забыты. Гораций Гриль (1811—1872) и его знаменитый лозунг «Молодежь, на Запад» имел несравненно больший успех, чем его предшественники-фурьеристы. Утопическому социализму не суждено было дожить до 1848 года.

С другой стороны, благополучно дожили до этого времени теоретические посылки Великой французской революции. Их влияние распространялось на широкий круг организаций от радикальных демократических республиканцев, которые время от времени подчеркивали свой интерес то к национальному освобождению, то к социальным проблемам, до коммунистов-якобинцев, последователей Огюста Бланки, начавших свою деятельность незамедлительно после выхода из тюрем, откуда их освободила Великая французская революция. Эти левые традиционалисты ничему не научились и ничего не забыли. Некоторые экстремисты из их числа во время Парижской Коммуны не могли придумать ничего лучшего, как всеми силами стараться воспроизвести события Великой французской революции. Бланкизм, с его четкой и конспиративной организацией сыграл решающую роль в победе революции, но это была его лебединая песня. Впоследствии это движение само по себе уже больше никогда не будет играть важной роли и со временем затеряется в потоке нового социалистического движения во Франции.

Более стойким оказался демократический радикализм. Его программа подлинным образом соответствовала сокровенным

желаниям «маленьких людей» всех мастей (владельцев магазинов, учителей, крестьян), удовлетворяла в большей части требования рабочих и приспосабливалась к мнению либеральных политиков, прося их отдать голоса в поддержку движения. Лозунг «свобода, равенство, братство», возможно, не вполне соответствовал его сути, но бедные и скромные слои населения, которым пришлось вступить в конфликт с богатыми и влиятельными, понимали значение этих слов по-своему. Даже после того, как программа демократических радикалов была полностью реализована, в стране, подобной Соединенным Штатам, где существовало всеобщее равное избирательное право*, потребность «народа» в действенной борьбе против богатых и коррумпированных слоев привела к сохранению в обществе демократических тенденций. Но демократический радикализм как реальность вряд ли сохранился даже в среде скромных местных правителей.

И все же к этому времени радикальная демократия уже не являлась по существу революционным движением, а была средством, хотя и не автоматическим приближения конца. С одобрения марксистских партий революционная республика стала «социальной республикой», а революционная демократия — «социальной демократией». Среди первоначально националистически настроенных революционеров, таких как сторонники Мадзини в Италии, подобного согласия не наблюдалось, так как они верили в то, что достижение независимости и объединения на базе демократического республиканизма поможет решить все остальные проблемы. Истинный национализм одновременно был демократическим и социальным, а иначе он не смог бы существовать. Но даже сторонники Мадзини не исключили из числа требований социальную свободу, а Гарибальди вполне серьезно объявил себя социалистом в том смысле слова, в каком он его понимал. После наступивших разочарований в объединении и республиканизме, новые последователи новых социалистических дви-

* Что касается мужского избирательного права, то ни одна страна до сих пор серьезно не рассматривала гражданские права женщин, за исключением американских военных, которые развернули кампанию после того, как в 1872 году Виктория Вудхалл участвовала в президентской кампании.

жений произрастали именно из среды бывших радикальных республиканцев.

Анархизм, хотя и восходит своими корнями к революционным сороковым, скорее является продуктом времени после 1848 года или, точнее, шестидесятых годов. Его двумя основателями были Прудон, французский художник-самоучка, плодовитый писатель, почти не участвовавший в политической смуте, и Михаил Бакунин, потомственный русский аристократ, который окунался в нее при каждой появлявшейся возможности*. Оба они с самого начала вызвали неодобрительное отношение Маркса и в ответ на это платили ему враждебностью, хотя не переставали им восхищаться. Теория Прудона, бессистемная, не лишенная предубеждений и в сущности своей далекая от либеральной — он был одновременно антифеминист и антисемит — не представляет сама по себе большого интереса, но она породила два основных принципа анархической мысли. Первый принцип — это вера в малые сообщества производителей, пользующиеся поддержкой друг друга, которые должны прийти на смену антигуманным фабрикам, а второй — это ненависть к правительству как таковому, любому правительству. Эти принципы не оставили равнодушными независимых мелких производителей, профессиональных, но относительно свободных рабочих, сопротивляющихся процессу пролетаризации, людей, которые не забыли свое деревенское или провинциальное детство, жителей районов, находившихся на периферии развитой индустрии. Именно этим людям из подобных районов анархизм пришелся особенно по душе. Самых преданных анархистов можно было встретить среди часовщиков маленькой швейцарской деревеньки, входивших в «Jura Federation».

Бакунин мало что добавил к теории Прудона, если не считать его неутолимой страсти к свершению революции. «Страсть к разрушению, — говорил он, — является в то же время страстью созидательной». В своем неразумном энтузиазме он опирался на

* Можно проследить теоретические корни анархизма, но на само анархическое движение они имели мало влияния.

революционный потенциал преступных слоев и люмпенов, здравый смысл крестьянства и мощную интуицию. Он не был обычным мыслителем, но скорее пророком, агитатором и, несмотря на отрицание анархистами дисциплины и организации, которая, по их мнению, служила предзнаменованием государственной тирании, прекрасным конспиративным организатором. Обладая этим качеством, он распространил анархистское движение в Италии, Швейцарии и, через своих учеников, в Испании, а кроме того, он стал причиной того, что позже назовут крахом Интернационала в 1870—1872 гг. Обладая этим качеством, он стал практически создателем анархистского движения, потому что французские прудонисты как партия были не чем иным, как довольно неразвитой формой тред-юнионизма, взаимопомощи и кооперации, и, в сущности, они совсем не были революционны. Но не этот анархизм стал влиятельной силой к концу рассматриваемого периода. Он породил несколько организаций во Франции и французской Швейцарии, влиятельные ячейки в Италии и довольно успешно распространился в Испании, где новую доктрину приветствовали как ремесленники и рабочие Каталонии, так и сельские труженики Андалузии. Здесь она слилась с доморощенными верованиями в то, что деревни и мастерские смогут прекрасно управлять сами собой, если инфраструктура государства, а вместе с ней богатые слои населения будут просто уничтожены, и в то, что легко достичь идеала страны, состоящей из самоуправляемых районов. И действительно, такая попытка была предпринята движением «кантоналистов» во время испанской республики 1873—1874 гг., идеологом которых стал Ф. Пи и Маргалл (1824—1901). Его следовало бы возвести в анархистский пантеон вместе с Бакуниным, Прудоном и Гербертом Спенсером.

Анархизм одновременно являлся попыткой сопротивления доиндустриального прошлого настоящему и истинным порождением этого настоящего. Он отрицал традиции, но интуитивный и спонтанный характер мысли и действия стал причиной сохранения и даже некоторого акцентирования ряда традиционных принципов, как например, антисемитизм или ксенофобия вообще. И

тому и другому были подвержены Бакунин и Прудон. В то же время анархизм страстно ненавидел религию и церковь и приветствовал источники прогресса, включая науки и технологии, разум и, пожалуй, больше всего, «Просвещение» и образование. Он отрицал любые авторитеты и в этом странным образом совпадал с крайним индивидуализмом буржуазии с ее «невмешательством». Идеологически Спенсер, написавший книгу «Человек против государства», был не менее анархистом, чем Бакунин. Единственное, что не предусматривал анархизм, так это будущее, о котором он не мог сказать ничего, кроме того, что оно не сможет наступить, если не свершится революция.

Анархизм не имел серьезного влияния за пределами Испании и интересует нас главным образом как кривое зеркало, в котором отразился этот век. Самым интересным революционным движением времени было движение с абсолютно противоположными принципами — русское народничество. Ни тогда, ни впоследствии оно не стало массовым движением, а совершенные им драматические акты террора, кульминацией которых стало убийство Александра II (1881 год), приходятся на время, наступившее после описываемого периода. Но это движение стало одновременно прародителем целой группы общественных движений в отсталых странах уже в двадцатом веке и русского большевизма. Оно стало прямым связующим звеном между революционными тридцатыми и сороковыми годами и революцией 1917 года, еще более прямым, как могут возразить, чем Парижская Коммуна. Более того, являясь движением, которое состояло большей частью из интеллигенции в стране, где вся серьезная интеллектуальная жизнь была в то же время политической, народничество оказалось навсегда запечатленным на страницах произведений гениальных русских писателей, его современников: Тургенева (1789—1871) и Достоевского (1821—1881). Даже на Западе вскоре слышали о «нигилистах», которых одно время путали с бакунинскими анархистами. Это вполне понятно, так как Бакунин «болтался» в русском революционном движении так же, как и в ряде других революционных движений, и его самого периодически принимали за героя гениального Достоевского. (в России жизнь и

литература очень тесно связаны), молодого адвоката с почти патологической верой в террор и насилие Сергея Геннадиевича Нечаева. Но русское народничество ни в коей мере не было анархистским движением.

В России «должна» произойти революция. В Европе это ни у кого не вызывало сомнений, ни у умеренных либералов, ни у крайних левых. Ее политический режим, неприкрытый диктат самодержавия при Николае I (1825—1855) были явным анахронизмом и не могли, как предполагалось, больше существовать. Самодержавие держалось у власти благодаря отсутствию мощного среднего класса и, самое главное, благодаря традиционной лояльности или, точнее, пассивности отсталого и поработанного крестьянства, которое воспринимало правление помещиков как Божью волю, а царя — как правителя святой Руси. Помимо этого, крестьян удерживал тот факт, что им предоставили возможность заниматься мелким предпринимательством за счет средств мощных деревенских общин. Эти общины привлекали внимание как русских, так и иностранных политиков начиная с 1848 года. Крестьяне не были довольны. Несмотря на свою бедность и угнетение владельцами, они никогда не признавали за помещиками право владеть землей и поместьями: крестьяне принадлежали помещикам, но земля принадлежала крестьянам, потому что только они возделывали ее. Просто крестьяне не были активными или способными действовать. Если бы они, наконец, избавились от своей пассивности и поднялись на борьбу, российскому самодержавию и правящим классам в России пришлось бы туго. Но если бы это волнение организовано направили в нужное русло левые силы, результатом стало бы не простое повторение великих восстаний XVII и XVIII вв. подобных пугачевщине, которые периодически потрясали Россию, а социальная революция.

После Крымской войны русская революция перешла из области желаний в область необходимости. В этом заключалась главная особенность 60-х годов. Царский режим, каким бы реакционным и неэффективным он ни был, до сих пор представлялся внутренне стабильным и внешне мощным, способным не только противостоять революции в 1848 году, но и бросить войска на ее

подавление в 1849 г. После Крымской войны обнаружилась его внутренняя нестабильность, а внешне он оказался не таким мощным, как предполагалось. Эта слабость касалась как политической, так и экономической сфер жизни, и реформы Александра II (1855—1881 гг.) следует скорее рассматривать как симптомы, а не средство излечения этой слабости. В общем, как мы убедимся позже (в главе 10) отмена крепостного права (1861 г.) создала необходимые условия для революционно настроенных крестьян, в то время как административная, юридическая и другие реформы царя (1864—1870 гг.) оказались не в состоянии возродить былую мощь самодержавия, революция в России перестала быть простой утопией.

Учитывая незрелость России и нового промышленного пролетариата, можно сказать, что в это время существовал только один немногочисленный социальный слой, который смог поддержать политическую смуту. В 60-е годы этот слой уже приобрел самосознание, связь с политическим радикализмом и имя — интеллигенция. Относительная малочисленность помогала этой группе высокообразованных людей чувствовать себя сплоченной силой. Даже в 1897 году слой «образованных» насчитывал немногим более ста тысяч мужчин и шести тысяч женщин по всей России. Цифры крайне незначительные, хотя со временем они начали быстро расти. В 1840 году в Москве было немногим более тысячи двухсот педагогов, докторов, адвокатов и работников искусства, но к 1882 году их число увеличилось до пяти тысяч учителей, двух тысяч докторов, пятисот адвокатов и тысячи пятисот деятелей искусства. Но что особенно важно, никто из них не пополнил ряды предпринимателей, которые в XIX в. вряд ли могли похвастаться своей профессиональной образованностью, за исключением Германии, и ряды работающей интеллигенции, которая иначе называлась государственными чиновниками. Из 333 выпускников образовательных учреждений в Санкт-Петербурге в 1848—1850 гг. только 96 поступили на гражданскую службу.

Два признака отличали русскую интеллигенцию от слоя просто образованных людей: ее вхождение в отдельную социальную группу и политический радикализм, который был ориентирован

скорее социально, чем национально. По первому признаку русскую интеллигенцию можно отличить от западной интеллигенции, которую со временем поглотил превосходящий по численности средний класс и которая стала сторонницей распространенной либеральной или демократической идеологии. За исключением литературной и артистической богемы (см. гл. 15) и представителей полуофициальной, терпимо настроенной субкультуры, не встречалось других организаций диссидентов, а богемные диссиденты были в очень малой степени политически настроенными. Даже университеты, которые до 1848 г. кипели революционными идеями, превратились в рассадники политических конформистов. И действительно, чего еще стоило ожидать от интеллигенции в эпоху триумфального шествия буржуазии? По второму признаку русская интеллигенция отличалась от развивающихся европейских народов, чья политическая активность была связана исключительно с националистическими тенденциями, иначе говоря с борьбой за превращение либерального буржуазного общества в общество, которое смогло бы их сплотить. Русская интеллигенция не могла пойти по первому пути, т. к. Россия не была буржуазной страной, а царское правительство приравнивало проявление даже слабого либерализма к политической революционности. Реформы царя Александра II в 60-х годах — отмена крепостного права, судебная реформа, реформа образования, учреждение органов местного самоуправления — земств в 1864 году — были крайне нерешительными и постепенными. Но в любом случае этот период реформ оказался кратковременным. Не могла русская интеллигенция пойти и по второму пути, и не столько потому, что Россия к тому времени уже была независимой нацией или потому, что ей не хватало национальной гордости, сколько потому, что лозунг русского национализма — Священная Россия, панславизм и др. уже были присвоены царем, церковью и в общем носили реакционный характер. Пьер Безухов из романа Толстого (1828—1910 гг.) являет собой самый типичный русский образ из всех героев «Войны и мира». Он был вынужден следовать идеям космополитизма и даже защищать захватчика Наполеона, только потому, что не был согласен с об-

щественным строем в России, а его духовные племянники и внуки, интеллигенция 50-х и 60-х годов, пошли по его стопам.

Как уроженцы страны, находившейся в основном на задворках европейского развития, они были модернизаторами или иначе говоря «западниками». И вместе с тем они не могли быть только «западниками», потому что западный либерализм и капитализм в это время не представляли собой жизнеспособной модели, которой могла следовать Россия в своем развитии и потому что потенциальной революционной силой в стране было крестьянство. В результате возникло народничество, которое превратило это противоречие в напряженное равновесие сил. Эта особенность народничества позволяет понять многое в характере революционных движений стран третьего мира в двадцатые годы нашего столетия. Быстрое развитие капитализма в России, наступившее вслед за описываемым периодом, породило быстрый рост организованного промышленного пролетариата и помогло преодолеть неопределенность народнической эры, а крушение самого народничества (примерно 1868—1881 гг.) вызвало переоценку его теории. Марксисты, появившиеся на обломках народничества, были, по крайней мере в теории, чистыми «западниками». Россия, утверждали они, пройдет те же фазы развития, что и западное общество: сначала буржуазия установит демократическую республику, а потом пролетариат выроет ей могилу. Но даже некоторые марксисты после революции 1905 года осознали всю неправдоподобность этих перспектив. Российская буржуазия окажется слишком слабой, чтобы исполнить свою историческую роль, а пролетариат, поддерживаемый негибимой силой крестьянства и возглавляемый «профессиональными революционерами», свергнет и царизм, и незрелую буржуазию, вынося окончательный приговор российскому капитализму. Народники были модернизаторами. Россия их мечты — это Россия прогресса, науки, образования и революционного производства, но это Россия социалистическая, а не капиталистическая. И основой строя должен был стать самый привычный из всех российских институтов, исторически сложившаяся община или, иначе говоря, деревенское общество, которое таким образом становилось прароди-

телем и моделью социалистического общества. Снова и снова интеллигенты-народники семидесятых годов, переняв теории Маркса, обращались к нему с вопросом, считает ли он возможным подобный путь развития, и Маркс решительно выступил против этого заманчивого, но идущего вразрез с его теорией, предположения, уклончиво заметив, что, возможно, так оно и будет. С другой стороны, Россия не должна была следовать традициям Западной Европы, включая ее модели либерализма и доктрины демократии, потому что в самой России не существовало подобных традиций. Так что даже этот единственный принцип народников, который, казалось бы, явно связывал их с западными революционерами 1789—1848 гг., был совершенно новым и отличным от западных идей.

Мужчины и женщины, которые начали объединяться в тайные организации с целью сбросить царизм путем восстания и террора, были больше чем просто наследники якобинцев или профессиональные революционеры, чьими потомками они являлись. Они должны были порвать все связи с обществом для того, чтобы полностью посвятить свою жизнь борьбе за счастье народа и революции, чтобы войти в этот народ и выразить его волю. В этом безоглядном служении была доля неромантической напряженности и самопожертвования, аналоги которым мы вряд ли найдем на Западе. Они были ближе к Ленину, чем к Буонарроти. Свои первые ячейки они создавали в среде студентов, особенно новоиспеченных и неимущих, больше не ограничивая себя кругом молодежи благородного происхождения. Впоследствии этой практикой воспользуются члены многочисленных революционных движений.

Активные участники нового революционного движения были действительно «новыми» людьми, а не просто выходцами из дворян. Из 924 человек, подвергшихся тюремному заключению или отправленных в ссылку с 1873 по 1877 гг., только 279 были дворянского происхождения, 117 — разночинцами, 33 — из купеческой среды, 68 были евреями, 92 — из мещан, 138 — крестьянского происхождения и около 197 детей священников. Количество женщин среди них поражает своей численностью. Не менее 15%

из 1600 или около того арестованных пропагандистов были женщинами^{8*} Первоначально движение колебалось между небольшой группой анархистов-террористов под предводительством Бакунина и Нечаева и защитниками идеи массового политического воспитания народа. Но в конечном итоге получилось нечто иное — централизованная тайная конспиративная организация с жесткой дисциплиной якобинско-бланкистского толка, состоявшая из элиты общества и противостоявшая большевикам.

Историческая миссия народников не ограничивается результатами их практической деятельности — они достигли не так уж и многого — или численностью людей, вошедших в организацию, — их насчитывалось немногим более нескольких тысяч. Значение этого движения заключается в том, что оно положило начало непрерывной цепи революционных событий в России, которые за пятьдесят лет привели к свержению самодержавия и установлению первого в мировой истории общественного строя, поставившего целью строительство социализма. Народники стали первыми ласточками кризиса, который с 1848 по 1870 год неожиданно быстро для многих западных политиков превратит царскую Россию из прочного оплота мировой реакции в великана на глиняных ногах, неизбежно обреченного на свержение революцией. Даже более того. Народники явили собой некое подобие химической лаборатории, в которой проходили первичную проверку все главные революционные идеи XIX века, видоизменившиеся и перешедшие затем в XX век. Несомненно, только благодаря счастливому стечению обстоятельств, причина которых навсегда останется неразгаданной, народничество совпало по времени с одним из самых мощных в мировой истории интеллектуальных и культурных взрывов. Отсталые страны, стремящиеся прорваться на новый уровень развития обычно идеологически, хотя отнюдь не обязательно практически, следуют по уже проложенному другими мыслителями пути. Довольно часто чужие идеи слепо принимаются ими на веру: представители образованного класса в Бразилии и Мексике сделали своим идейным вождем Огюста Конта^{9*} работы которого практически не подвергались критике, испанцы в это же время пристрастились к учению зага-

дочного немецкого философа второго ряда, жившего в начале XIX века, Карла Краузе, которое они сделали своим главным орудием в антиклерикальной борьбе. Левые течения в России не просто воспринимали и перенимали передовые достижения европейской мысли — например, студенты Казанского университета читали Маркса еще до того, как «Капитал» был переведен на русский язык — они почти сразу пропускали их через себя и перерабатывали. Этим они завоевали всеобщее признание. Некоторые великие имена до сих пор сохраняют общенациональную известность: Н. Чернышевский (1828—1889), В. Белинский (1811—1843), Н. Добролюбов (1836—1861) и даже блистательный Герцен (1812—1870). Другие русские мыслители переработали социологию, антропологию и историографию западных мыслителей, например, П. Виноградов (1854—1925) в Британии, В. Лучицкий (1877—1949) и Н. Кареев (1850—1936) во Франции. Правда, это произошло двумя десятилетиями позже. Сам Маркс сразу же по достоинству оценил теоретические достижения русских читателей, и не только потому, что они были его самой первой читательской аудиторией.

Мы увлеклись изучением революционеров. А как же революции? Самая великая революция рассматриваемого периода прошла практически незамеченной для большинства политиков и уж никак не была связана с революционной идеологией Запада. Речь идет о восстании тайпинов (см. гл. 7). Самые многочисленные революции — в Латинской Америке — представляли собой в основном военные перевороты или региональные переделы территорий, не оказавшие заметного влияния на положение дел в стране и терявшие в связи с этим свою социальную направленность. Революции в Европе либо оканчивались поражением, как польское восстание 1863 года, перешедшее в область умеренного либерализма, или революционное покорение Гарибальди Сицилии и южной Италии в 1860 году, либо были событиями местного значения, как испанские революции 1854 года и 1868—1874 гг. Первая из этих революций явилась, подобно колумбийской революции, отсветом событий 1848 года. Иберия, как всегда, шла не в ногу со всеми остальными европейскими странами. Вторая рево-

люция предвещала привыкшим к политической нестабильности и к Интернационалу современникам новый виток революций в Европе. Но 1848 году не суждено было повториться. Произошла только Парижская Коммуна 1871 года.

Как и большинство революционных событий этого времени. Парижская Коммуна вошла в историю не столько благодаря своим завоеваниям, сколько как символ. Реальная картина происходивших событий была затуманена искусственно создаваемым вокруг нее мифом, как усилиями Маркса в самой Франции, так и в среде международного социалистического движения. Влияние этого мифа чувствуется до сих пор, особенно в Китайской Народной Республике^{10*} Коммуна была событием чрезвычайным, героическим, драматическим и трагическим, хотя, говоря сухим языком фактов, это была кратковременная, заранее обреченная попытка взбунтовавшихся рабочих создать свое правительство в одном отдельном городе, главным завоеванием которых был сам факт существования этого правительства, хотя оно и продержалось меньше двух месяцев. Ленин в октябре семнадцатого года с нетерпением считал дни до знаменательной даты, когда он смог бы торжественно заявить, что «мы продержались дольше, чем Парижская Коммуна». И все же историки должны удержаться от соблазна приуменьшить значение этого события. Если Коммуна и не представляла серьезной опасности для буржуазного общества, только самим фактом своего существования она заставила умы трепетать в страхе. Ее жизнь и смерть были окружены паникой и истерией, особенно в международной прессе, которая обвиняла Коммуну в строительстве коммунизма, экспроприации собственников и разделе их жен, терроре, поголовной резне, хаосе, анархии и во всем, что мучает по ночам кошмарами респектабельных особ. Нет нужды говорить, что все это было придумано Интернационалом. На самом же деле правительства сами почувствовали необходимость предпринять какие-либо действия против международной угрозы порядку и цивилизации. Помимо международного сотрудничества полиции и тенденции не предоставлять беглым коммунарам статуса политических беженцев (в те времена это вызвало гораздо больше шума, чем могло бы

вызвать сейчас), австрийский канцлер, поддерживаемый Бисмарком, человеком, которого вряд ли можно обвинить в паникерских настроениях, предложил организовать капиталистический контринтернационал. Страх перед революцией стал главной причиной создания Лиги трех императоров (Германии, Австрии и России) в 1873 году⁵⁰, которую стали рассматривать как новый священный союз в борьбе против «европейского радикализма, угрожавшего всем монархам и государственным институтам»^{11*} хотя ко времени подписания договора быстрый распад Интернационала сделал эту цель не столь насущной. То, что на самом деле приводило в ужас правительства, — это не социальная, а пролетарская революция. Марксисты, смотревшие на Интернационал и Парижскую Коммуну как на пролетарские движения, в этом были заодно с правительствами и мнением «респектабельной» публики той поры.

В действительности Коммуна была восстанием рабочих. Под этим словом подразумевались не просто фабричные рабочие, а нечто среднее между обычными людьми и пролетариями. В этом значении слово устраивало всех активных членов рабочих движений этого времени^{12*} 36 000 арестованных коммунаров были представителями рабочей среды Парижа. Из них 8% — высококвалифицированные рабочие, 7% — служащие, 10% — лавочники. В остальном же это были главным образом чернорабочие — строители, металлурги, мебельщики, печатники, портные и, конечно, всегда радикально настроенные сапожники. Но можно ли назвать Парижскую Коммуну социалистической революцией? Почти наверняка можно, хотя этот социализм был все еще мечтой времени, предшествовавшего 1848 году, о самоуправляемом сообществе или сообществах производителей, требующих радикального и систематического вмешательства правительства. На самом деле завоевания Коммуны были гораздо более скромными, но это была не ее вина.

Дело в том, что Коммуна была изолированным режимом, порождением войны и блокады Парижа, реакцией на капитуляцию. Прусское нашествие в 1870 году покончило с империей Наполеона III. Скромные республиканцы, сбросившие Наполео-

на, нерешительно продолжали войну, а затем и вовсе прекратили ее, осознав, что дальнейшее сопротивление приведет к мобилизации сил революционных масс, появлению новых якобинцев и социалистической республики. В осажденном Париже, покинутом правительством и буржуазией, реальная власть сосредоточилась в руках мэров муниципальных округов и Национальной гвардии, иначе говоря, правительственными центрами стали народные и рабочие кварталы. Попытка разоружить Национальную гвардию после капитуляции привела к революции, которая вылилась в создание независимой муниципальной организации Парижа (Коммуны). Но саму Коммуну почти сразу осадили правительственные войска (правительство временно расположилось в Версале), в то время, как победоносная немецкая армия от интервенции воздержалась. Два месяца Парижской Коммуны стали временем почти непрерывной борьбы с превосходящими по силе войсками Версаля. Не прошло и двух недель со дня ее провозглашения 18 марта, как Коммуна утратила инициативы в этой борьбе. К 21 мая правительственные войска уже вошли в Париж, а последняя неделя Коммуны показала, что рабочий класс Франции умирает так же стойко, как и живет. Версальцы потеряли около 1 100 человек убитыми и ранеными и более сотни заложников были убиты коммунарами.

Кто знает, сколько членов Коммуны погибло в этих боях? Тысячи были уничтожены уже после ее подавления*. Версальцы приводят цифру 17 000, но это наверняка не составляет и половины подлинного числа жертв. Более 43 тысяч коммунаров были арестованы, 10 тысяч были приговорены к ссылке, из которых почти половину принудительно выслали в Новую Каледонию, а остальных заключили в тюрьму. Это была месть «респектабельных людей». С этих пор пролитые реки крови встали между рабочим классом Парижа и знатью. И с этих же пор революционеры уже точно знали, что будет ожидать их в случае, если они не смогут удержать власть.

* 32% арестованных печатников в составе Национальной гвардии были офицерами или унтер-офицерами, 19% мастерами по деревообработке и только 7% — строительными рабочими.

Часть третья

РЕЗУЛЬТАТ

ГЛАВА 10

ЗЕМЛЯ

Как только индеец начнет зарабатывать три реала в день, он никогда не станет работать больше трех дней в неделю, так, чтобы в результате получать те же девять реалов, что он получает сейчас. Как только вы кардинально все измените, вам придется вернуться к тому, с чего вы начинали: к свободе, к той реальной свободе, которая не подразумевает наличия налогов, ограничивающих правил и средств развития сельского хозяйства, к тому гениальному невмешательству, которое является последним словом политической экономии.

Мексиканский землевладелец, 1865 г.^{1*}

Предубеждение, существующее против всех рабочих людей, распространяется и на крестьянство. Крестьяне не получают образование, доступное среднему классу. Отсюда проистекает их отличие, недостаточное уважение, которым пользуются сельские жители, и их страстное желание избежать всеобщего презрения. Отсюда проистекает упадок старых традиций, продажность и вырождение нашей расы.

Мантуанская газета, 1856 г.^{2*}

В 1848 году население мира и даже Европы все еще большей частью составляли сельские жители. Даже в Британии, этой первой индустриальной стране мира, количество городских жителей вплоть до 1851 года не превосходило количества сельских жителей, и впоследствии городские жители насчитывали лишь 51 %. Во всем мире, за исключением Франции, Бельгии, Саксонии, Пруссии и Соединенных Штатов, на 10 деревенских жителей приходился 1 городской. В середине семидесятых и позже положение существенно изменилось, но за некоторым исключением сельское население все еще превосходило численностью городское. Итак, для большей части человечества жизненный успех определялся тем, что происходило с землей и на земле.

То, что происходило на земле, в основном зависело от экономических, технических и демографических факторов, которые,

принимая во внимание особенности и недостатки конкретной местности, рассматривались относительно мировых масштабов, или по крайней мере, климатических зон и, кроме того, от основных факторов (социальных, политических, юридических), сохранявших коренное отличие даже тогда, когда на них смыкались основные тенденции мирового развития. Географически можно было сравнить прерии Северной Америки, пампасы Южной Америки, степи Юга России и Венгрии. Все они представляли собой равнины в разных климатических зонах, подходящие для широкомасштабного возделывания зерновых культур. И действительно, все они стали центрами развития одного, с точки зрения мировой экономики, вида сельского хозяйства, превратившись в массовых поставщиков зерна. Социальные, политические и юридические различия были более заметны. Одно дело американские равнины, большей частью незаселенные, за исключением индейских охотничьих племен, и другое дело равнины европейские, плотно заселенные сельскими жителями; одно дело свободные фермеры-поселенцы Нового мира и другое дело — крепостные крестьяне старого мира. Не менее резкие отличия существовали между формами свободного труда крестьян в Венгрии, после 1848 года и в России после 1861 года, между владельцами огромных ранчо и поместий в Аргентине и мелкими и крупными дворянами-землевладельцами в Восточной Европе, между юридическими системами, административными порядками и земельной политикой в различных государствах. С точки зрения историка, будет неправильным искать у них общие черты, потому, что это будет означать пренебрежение различиями.

Общее у развивающегося сельского хозяйства всех стран мира было то, что оно подчинялось промышленному сектору экономики. Промышленность, развивающаяся за счет быстрого роста городов, значительно увеличивала число товаров на рынке сельскохозяйственной продукции. В основном возникала потребность в продуктах питания и в сырье для текстильной промышленности. Меньшим спросом пользовались другие технические культуры. Технический прогресс сделал возможным включение недоступных до этого времени и неизведанных районов в систему мирового рынка за счет строительства железных дорог и разви-

тия кораблестроения. Переход сельского хозяйства на рельсы капиталистического развития или по крайней мере в сферу широкомасштабной коммерции привел к его конвульсивному разрушению, ослаблению исконных связей человека с землей его предков. Особенно когда люди приходили к пониманию того, что эта земля им уже ничего не дает или дает слишком мало для того, чтобы обеспечить семью. В то же время растущие требования промышленных производств в рабочей силе и все увеличивающаяся пропасть между отсталыми, темными странами и передовыми городами и промышленными поселениями заставляла сельских жителей покидать обжитые места. В наше время мы наблюдаем одновременно как процесс огромного роста торговли в секторе сельскохозяйственного производства, растущее количество возделываемых площадей, так и процесс «ухода с земли», особенно в странах с высоким уровнем развития капитализма.

По двум причинам эти процессы приобрели в конце XIX века массовый характер. Обе они связаны с теми тенденциями расширения и углубления мировой экономики, которые стали в мировой истории отличительными чертами этого периода. Технический прогресс позволил включить в число экспортеров сельскохозяйственной продукции отдаленные и до того времени недоступные районы в центральной части Соединенных Штатов и на юго-востоке России. С 1844 по 1853 год Россия экспортировала около 11,5 миллионов гектолитров зерна ежегодно, а уже во второй половине семидесятых — от 47 до 89 миллионов. Соединенные Штаты, экспортировавшие в сороковые годы ничтожно малое количество — около 5 миллионов гектолитров, теперь увеличили объем экспорта до 100 миллионов^{3*}. В то же время были предприняты попытки освоения заокеанских стран, поставлявших в «развитые» страны специфическую продукцию — индиго и джут из Бенгалии, табак из Колумбии, кофе из Бразилии и Венесуэлы, хлопок из Египта и т. п. Эти товары заменили собой или стали дополнением к уже налаженному экспорту подобной продукции из других стран: сахара с Карибских островов и Бразилии, хлопка из южных штатов американского континента, торговля с которым была прервана гражданской войной 1861—1865 гг. В целом, за некоторым исключением, как, например,

египетский хлопок и индийский джут, подобная экономическая специализация оказалась непостоянной, а там, где стала постоянной, ее развитие не шло ни в какое сравнение с тем, что началось в XX веке. Окончательно мировой рынок сельскохозяйственной продукции сформировался к периоду с 1870 по 1930 гг., время господства империалистической мировой экономики. Спрос на различную продукцию поднимался и падал. Те районы, которые в рассматриваемый период были центрами экспорта товаров, впоследствии не справлялись и теряли свою специализацию. Так, например, если Бразилия в это время уже была главным поставщиком кофе, то штат Сан-Паулу, который в наши дни считается важнейшим экспортером этого продукта, тогда собирал лишь четвертую часть объема урожая в Рио и пятую часть объема урожая в стране; в два раза меньше, чем Индонезия и только в два раза больше, чем Цейлон, где уровень развития торговли чаем был настолько низок, что Цейлон не был зарегистрирован как отдельный поставщик чая вплоть до семидесятых годов, да и в эти годы количество продаж все еще было ничтожным.

Тем не менее, международная торговля в сфере сельскохозяйственного производства развивалась и по очевидным причинам вела к крайней специализации или даже монокультуре экспортирующих регионов. Технический прогресс сделал это возможным, ибо до сороковых годов главное средство перевозки объемных грузов, железная дорога, едва ли было широкодоступным. В то же время технический прогресс явно следовал за спросом и по возможности старался опережать его. Это было особенно заметно на широких равнинах Южной Америки, где скот, размножавшийся явно без помощи человека, пасли на пастбищах многочисленные гаучо, жители льяносов и ковбои, которые взывали к помощи предпринимателей, чтобы превратить его в деньги. Техас поставлял скот в Новый Орлеан, а после 1849 года — в Калифорнию. Потребности огромного северо-восточного рынка заставляли ковбоев преодолевать эти большие расстояния. Позже подобные переходы станут частью героической романтики «дикого Запада». Они помогли связать отдаленные юго-западные районы с медленно приближающимися путями железных дорог, а через них — с гигантским транспортным центром Чикаго, где в

1865 году появились первые скотные дворы. Скотоводы шли десятками тысяч перед гражданской войной, сотнями тысяч в течение двадцати лет после нее, шли до тех пор, пока не закончилось строительство железнодорожной сети, а плуг, вспахавший дикие прерии и превративший их в возделываемые земли, не положил конец классическому периоду в истории «дикого Запада». Это произошло в 80-х годах. Одновременно с этим развивались другие методы использования рогатого скота: заготовка мяса про запас традиционными методами соления и сушки, путем переработки (мясные экстракты Льебига вошли в производство в 1863 году), консервирования, и наконец, замораживания. И тем не менее, хотя Бостон получал мороженое мясо в конце пятидесятых, а в Лондон поставлялись партии мяса из Австралии с 1865 года, этот вид торговли не получил достаточного развития вплоть до последних лет рассматриваемого периода. Неудивительно, что два пионера торговли, консервные магнаты Свифт и Армор, не могли развернуть своей деятельности в Чикаго до 1875 года.

Как видно, основным двигателем сельскохозяйственного развития был спрос: растущий спрос на продукты питания в урбанизированных и индустриальных районах мира, растущий спрос в этих же районах на рабочую силу и соединяющий их экономический подъем, который приводил к росту потребления товаров на душу населения и, соответственно, к повышению спроса на них. Когда произошло окончательное формирование всемирной капиталистической экономики, новые рынки, по словам Маркса и Энгельса, начали появляться повсюду, в то время как старые разрослись до невероятных размеров. Первый раз со времени промышленной революции возможности новой капиталистической экономики на рынке рабочей силы совпали с ее возможностями в наращивании производства (см. гл. 12). Как результат, например, потребление чая на душу населения в Великобритании менялось с 1844 по 1876 год, а потребление сахара выросло за это время с 17 до 60 фунтов.

Мировой сельскохозяйственный сектор экономики распался, таким образом, на 2 части, одну из которых регулировал капиталистический рынок, другая была, в основном, независимой. Это не означает, что в этом независимом секторе ничего не продава-

лось и не покупалось, просто относившиеся к нему сельскохозяйственные производители производили достаточно продукции, чтобы прокормить себя, хотя возможно, что большую часть этой продукции приходилось расходовать на нужды самого хозяйства либо использовать в качестве сырья для обмена, потому что маленькие городишки в большинстве районов могли получать продукты питания только из хозяйств, расположенных на расстоянии 10 или 20 миль от них. И все же существует большая разница между сельскохозяйственной экономикой, для которой производство продуктов на продажу является не обязательным и не основным занятием, и экономикой, существование которой полностью зависит от торговли производимой продукцией или, иначе говоря, между теми, кого преследуют призраки неурожайного года, грозящего голодом, и теми, кто, наоборот, боится неожиданного перепроизводства, влекущего конкуренцию и падение цен. К 70-м годам большая часть сельскохозяйственного сектора была на грани того, чтобы придать спаду в сельском хозяйстве черты всеобщего кризиса и сделать его политически опасным.

С экономической точки зрения традиционный сектор сельского хозяйства был негативной силой. Он либо оставался безразличен к колебаниям рынка, либо мог им противостоять. В тех районах, где он был достаточно силен, он мог удерживать крестьян на земле до тех пор, пока она давала им средства к существованию. Избыток населения он мог погнать по уже проторенным дорогам сезонной миграции, наподобие тех, что вели мелких землевладельцев центральной Франции как в, так и из строящихся кварталов Парижа. В исключительных случаях это оставалось за гранью понимания городских жителей. Убийственные засухи *sertão* на северо-востоке Бразилии приводили к периодическому появлению потока спасающихся «дикарей», таких же тощих и изможденных, как их скот. Но как только приходило известие, что засуха отступила, они сразу же отправлялись назад, в свою страну кактусов, туда, где не ступала нога «цивилизованного» бразильца и лишь изредка появлялись карательные экспедиции, преследующие какого-нибудь черноглазого мессию. В Карпатах и на Балканах, в болотах западной России, в Скандинавии и Испании, ограничиваясь перечислением только самых

развитых континентов, были районы, на которые не распространились законы мировой экономики, куда не дошли технические достижения цивилизованного мира. Уже в 1931 году жители Полесья во время переписи населения в Польше просто не поняли обращенного к ним вопроса о национальной принадлежности. «Мы живем поблизости» или «Мы местные», — отвечали они^{5*}

Регулируемый сектор представлял собой более сложный механизм. Он зависел как от структуры рынка или в некоторых случаях от механизмов распределения, так и от уровня специализации производителей и социальной структуры сельского хозяйства. С одной стороны, новые сельскохозяйственные районы должны были быть фактически монокультурными. Специализацию диктовали требования далекого мирового рынка и закрепляли налаженные механизмы торговли иностранных торговых фирм, расположенных в больших портовых городах, которые контролировали экспортную торговлю. Например, греки держали в руках российскую торговлю зерном, шедшее через Одессу, Банджесы и Борны из Гамбурга выполняли примерно ту же функцию в странах Риве Плейт, получавших товары из Буэнос-Айреса и Монтевидео. Там, где производителями подобных экспортных товаров были огромные поместья, как например, тропические плантации, поставлявшие сахар, хлопок и т. п., тип специализации оставался единственным и неизменным. Зачастую совпадение интересов в подобных случаях порождало тесный симбиоз крупных производителей при условии, что они были местными жителями, а не иностранцами, больших торговых домов, компрадоров в экспортирующих и импортирующих портах и политиков штатов, представлявших интересы европейского рынка и поставщиков. Крупные рабовладельцы на Юге Соединенных Штатов, владельцы животноводческих ферм в Аргентине, фермеры-скотоводы Австралии были также самозабвенно преданы свободной торговле и иностранным предприятиям, как и британцы, от которых они зависели. Это было связано с тем, что их доход зависел исключительно от свободной продажи товаров с имений, в обмен на которые они всегда рады были получить несельскохозяйственные товары, экспортом которых занимались их партнеры. Там, где зерном торговали одновременно большие поместья и

маленькие фермы или крестьяне, ситуация была гораздо сложнее, хотя, по очевидным причинам, количество зерна, поступавшего на мировой рынок из больших поместий, иначе говоря зерна, не востребованного производителем, было куда больше, чем количество зерна, поступавшего из крестьянских хозяйств.

С другой стороны, рост урбанизированных районов приводил к росту потребности в различных видах продуктов питания. Для производителей этих продуктов размеры фермерских хозяйств практически не имели значения и не давали преимуществ или, если и давали, то они вполне были сравнимы с преимуществами, получаемыми в результате интенсивного производства, естественной возможности избежать высоких транспортных расходов и отсталой технологии. Производителям необработанного зерна приходилось принимать во внимание уровень конкуренции на национальном и мировом рынках, в то время как поставщикам молочной продукции, яиц, фруктов, овощей, даже свежего мяса и других скоропортящихся продуктов, не подлежащих перевозке на длительные расстояния, можно было не принимать эти факторы во внимание. Большие аграрные кризисы семидесятых и восьмидесятых годов были по преимуществу кризисами производителей основной сельскохозяйственной продукции национального и международного значения. Смешанные хозяйства, крестьянские наделы, особенно богатых крестьян-предпринимателей, могли успешно процветать в таких условиях.

В этом крылась одна из причин, почему не сбылись прогнозы о наступающей разрухе в сельском хозяйстве, в то время как в высокоразвитых индустриальных странах ситуация была действительно сложной. Нетрудно было установить факт нежизнеспособности фермерского хозяйства, если его размеры и ресурсы были меньше минимальных. Критерии менялись в зависимости от качества земли, климатической зоны и вида продукции. Гораздо труднее было доказать, что большие поместья являются экономически более выгодными, чем средние и мелкие хозяйства, особенно учитывая тот факт, что потребности малых хозяйств в рабочей силе легко удовлетворялись за счет неработающих членов семьи, не получавших за свой труд никакой платы. Численность крестьян постоянно менялось за счет утечки в города тех хозяев,

чьи имения были слишком маленькими, чтобы прокормить семью, или эмиграции лишних членов семей, которые не могли прокормиться на отчей земле и количество которых непрерывно росло. Многие из них были почти на грани бедности, а сектор мелких владельцев и бедных крестьян явно разрастался. Но как бы ни были они важны с экономической точки зрения, количество средних хозяйств держалось на одном уровне и даже росло*.

Растущие потребности капиталистической экономики преобразили сельское хозяйство. Неудивительно поэтому, что в наше время мы наблюдаем увеличение размеров возделываемых площадей, а повышение производительности труда ведет к росту объема продукции сельского хозяйства. Правда, до сих пор остается неизвестным, какова была общая площадь возделываемых земель. Данные статистики гласят, что с 1840 по 1880 год территории возделываемых площадей в мире увеличилось вдвое или, иначе говоря, с 500 до 750 миллионов акров^{7*} Половина указанного роста пришлась на Соединенные Штаты, где количество фермерских хозяйств утроилось за это время (в Австралии увеличилось в пять раз, в Канаде — в 2,5 раза). Америка вышла на первое место за счет чисто географического разрастания возделываемых территорий вглубь страны. С 1849 по 1877 год, особенно в середине шестидесятых, районы выращивания пшеницы продвинулись на 9 градусов долготы. Конечно, стоит упомянуть о том, что земли к западу от Миссисипи все еще оставались целинными. Об этом говорит сам факт того, что «бревенчатый домик» стал символом фермеров-первооткрывателей: бревна в американских прериях не были широкодоступным материалом.

* В земле Рейн-Вестфалия количество мелких и средних хозяйств (1,25—7,5 гектаров) значительно уменьшилось с 1858 по 1878 год, в то время как число крупных фермеров немного выросло. В связи с исчезновением мелких хозяйств, владельцы которых уходили в промышленное производство, они составили половину от общего числа фермерских хозяйств, в то время как до этого составляли всего треть. В Бельгии с 1846 по 1870 год количество хозяйств значительно выросло, но даже в 1880 году 60% всех возделываемых площадей принадлежали крестьянам, владевшим от 2 до 50 гектаров земли, остальные площади в равной пропорции делили крупные предприятия и мелкие хозяйства. В этих по преимуществу индустриальных странах сельские крестьяне явно содержали сами себя.

Данные по Европе еще более поразительны. С 1840 по 1880 год Швеция увеличила площади возделываемых земель больше чем в 2 раза, Дания и Италия — больше чем в половину, Россия, Германия и Венгрия — на треть^{8*} Подобный рост происходил за счет уничтожения земель под паром, освоения болотистых местностей и пустошей, и, к несчастью — за счет вырубки лесов. В южной Италии с конца шестидесятых по 1911 год было уничтожено 600 000 гектаров леса, почти третья часть от общего числа деревьев, которыми итак не изобиловали эти высушенные земли^{9*} В благодатных регионах, таких как Египет и Индия, большое значение придавалось широкомасштабным оросительным работам, но горячая и слепая вера в прогресс обернулась другой стороной медали — непредвиденной экологической катастрофой, плоды которой мы пожинаем сегодня^{10*} Только в Великобритании новое сельское хозяйство завоевало к тому времени уже всю страну — площадь возделываемых земель увеличилась на 5%.

Не станем предаваться скучному перечислению статистических данных о росте сельскохозяйственного производства и валового продукта. Гораздо интереснее проследить, как эти изменения были связаны с процессом индустриализации и с новыми методами и технологиями, развиваемыми промышленностью. До 1848 года ответ был однозначным: в очень малой степени. Даже в наше время большая часть сельскохозяйственных работ проводится по технологиям, выработанным столетия назад. И в этом нет ничего удивительного, так как комплексное применение многих методов выращивания, известных в доиндустриальный период, позволяет достичь блестящих результатов. Целинные земли в Америке расчищали, как и в средние века, при помощи огня и топора. Взрывчатку для удаления пеньков применяли только в крайнем случае как вспомогательное средство. Дренажные каналы рыли при помощи лопат и плуга, запряженного лошадьми и быками. Для повышения производительности труда замена деревянного плуга на железный и очень важное, но часто игнорируемое новшество, — коса вместо серпа были гораздо важнее, чем паровая энергия, так и не нашедшая применения на сельскохозяйственных работах. Единственным исключением было время сбора урожая, которое требовало множества рабочих рук для

выполнения стандартных операций. При общем сокращении числа фермеров, цена рабочей силы резко возрастала. В развитых странах большое распространение получили молотилки. Главное новшество — комбайн применялся в основном в Соединенных Штатах, где рабочей силы было мало, а посевные площади большие. В общем же применение технических изобретений в сфере сельского хозяйства поразительно возросло. В 1849—1851 гг. в Соединенных Штатах ежегодно выдавалось в среднем 191 патент в год на сельскохозяйственные изобретения, в 1859—1861 гг. — 1,282 патента, в 1869—1871 гг. — не менее 3,217 патентов в год.

И все же фермерство и фермеры в полном смысле слова оставались такими же, какими они всегда были во всех странах мира: процветающими в развитых районах, и поэтому имеющими возможность вкладывать деньги в строительство и улучшение условий труда, более «деловыми», но все же не изменившимися до неузнаваемости. За пределами Нового света и промышленность, и промышленные технологии были довольно неразвитыми. Массово производимые дренажные трубы, бывшие, пожалуй, единственным вкладом промышленности в сельское хозяйство, были закопаны, потребности в проволочных сетках и колючей проволоке, предназначавшейся для ограждения стен и деревянных заборов, ограничились пределами Австралии и Соединенных Штатов, рифленое железо только начинало находить другое применение помимо железной дороги, для нужд которой оно создавалось. И все же промышленность все больше обращалась к потребностям сельского хозяйства, а через органическую химию (преимущественно в Германии), на сельское хозяйство стала работать и наука. Искусственные удобрения (поташ, нитраты) еще не имели широкого применения. Чилийский импорт нитратов в Британию к 1870 году составлял всего лишь 60 000 тонн. С другой стороны, грандиозные масштабы приняла торговля естественным удобрением гуано. Она принесла немалый доход экономике Перу и некоторым британским и французским фирмам: с 1850 по 1880 год было экспортировано 12 миллионов тонн гуано, невообразимое количество для того времени, ведь эра массовых перевозок еще не наступила.

II

Движущие силы экономики заставляли сельское хозяйство распространяться в районы, пригодные для возделывания сельхозкультур. И тем не менее почти во всем мире оно сталкивалось с социальными и другого рода препятствиями, мешавшими его распространению. Обходя препятствия, сельское хозяйство оказывалось перед лицом важного задания, накладываемого на него капиталистическим, да, пожалуй, любым индустриальным обществом. Смысл этого задания состоял в том, что от сельскохозяйственного сектора требовалось не только удовлетворять быстрорастущие потребности индустриального мира в продуктах питания и сырье, но, что очень важно, в рабочей силе, иначе говоря быть рынком резервной армии труда. Третья важнейшая функция сельского хозяйства, состоявшая в обеспечении капиталом городского и промышленного развития, вряд ли была выполнима в аграрных странах, где правительство и богатые слои населения имели другие источники дохода. Сельское хозяйство справлялось с ней неэффективно и неполноценно.

Основных препятствий было три: сами крестьяне, их социальные, политические и экономические власти и вся масса традиционалистских обществ, сердцем и плотью которых было доиндустриальное сельское хозяйство. Все три препятствия преимущественно являлись порождениями капитализма, хотя, как мы убедились ранее, ни крестьянство, ни основанная на сельском хозяйстве социальная иерархия не были на пороге неизбежного краха. По меньшей мере все три составляющих этого взаимосвязанного феномена были теоретически несовместимы с капитализмом и имели тенденцию вступать с ним в конфликт.

Для капитализма земля была фактором производства и товаром, особенность которого определялась его неподвижностью и ограниченным количеством, хотя, как оказалось, великие открытия новых земель в это время делали эту ограниченность относительно неважным фактором, таким образом, проблема, что делать с теми, кто оказался владельцем этой «естественной монополии» и собирал дань со всех остальных отраслей экономики, была вполне решаемой. Сельское хозяйство было той же самой «индус-

трией», основанной на принципах получения максимальной выгоды, а фермеры мало чем отличались от предпринимателей. Сельские районы в целом представляли собой рынок, являясь источником рабочей силы и источником капитала. И до тех пор, пока закоренелый традиционализм не позволял ему подчиняться законам политической экономии, он вынужден был уступать.

Тогда не представлялось возможным примирить с этой точкой зрения крестьян и мелких землевладельцев, для которых земля была не просто источником максимальной прибыли, но и сферой жизни, примирить с ней общественные системы, в рамках которых отношение людей к земле и отношение их друг к другу на почве сельскохозяйственного труда были не просто добровольными, но обязательными. Даже на уровне правительства и политического мышления, там, где «законы экономики воспринимались безоговорочно, конфликт представлялся очень острым». Традиционное крупное землевладение было экономически нежелательным, но не являлось ли оно, с другой стороны, цементом, скрепляющим воедино общественную структуру, которая, при его исчезновении, погрузилась в анархию и революцию? Земельная британская политика в Индии встала перед лицом дилеммы. С экономической точки зрения было проще не иметь крестьянства. Но не был ли его традиционный консерватизм одновременно гарантией социальной стабильности, а его сильное и многочисленное потомство — основой большей части правительственной армии? В период, когда капитализм очевидно уничтожал свой рабочий класс, могло ли государство допустить уничтожение резервной армии крепких селян, из которых оно набирало «рекрутов» для городов*.

* «Крестьянство представляет собой физически самую крепкую и сильную часть населения, из которой города постоянно черпают своих рекрутов, — писал Дж. Конрад, выражая широко распространенное на континенте мнение. — Из него формируется ядро армии... С политической точки зрения, установившийся характер крестьян и их привязанность к земле приводят к созданию ими процветающего сельского сообщества... Крестьянство во все времена было самым консервативным элементом государства... Его приверженность к собственности, его любовь к родной земле делают его естественным врагом городских революционных идей и надежным оплотом борьбы против социал-демократического движения. Поэтому крестьянство всегда рассматривалось как самая надежная опора любого нормального общества и, по мере быстрого роста городов, его значение возрастало»^{13*}.

Тем не менее капитализм не мог не подрывать сельскохозяйственную базу политической стабильности, особенно на окраинах или в пределах развитой периферии передового Запада. Экономически, как мы уже убедились, переход к рыночному производству, и особенно экспортная монокультура одновременно подрывали традиционные общественные отношения и дестабилизировали экономику. Политически «модернизация» для тех, кто принял ее, означала прямое столкновение с аграрным обществом как главным носителем традиций (см. главы 7 и 8). Правящие классы Британии, где арендодатели и крестьяне докапиталистической эпохи совершенно исчезли, и с другой стороны, Германии и Франции, где *modus vivendi** с крестьянами было основано на базе взаимного процветания и где был хорошо защищенный внутренний рынок, могли полагаться на лояльное отношение сельских жителей. Этого не скажешь о других странах мира. В Италии и Испании, в России и Соединенных Штатах, Китае и Латинской Америке сельскохозяйственный сектор, похоже, не являлся источником социального брожения и неожиданного возмущения.

По той или другой причине три типа сельскохозяйственного производства находились под постоянным давлением. К ним относились плантации, где использовался труд рабов; имения, в которых трудились крепостные; и традиционное некапиталистическое крестьянское хозяйство. Первый из перечисленных типов был уничтожен в течение рассматриваемого периода путем отмены рабства в Соединенных штатах Америки и большинстве частей Латинской Америки, за исключением Бразилии и Кубы, где рабство просуществовало более долгий срок. Официально оно было отменено в 1889 году. К концу нашего периода рабовладельческая система по определенным причинам осталась в более отдаленных частях Востока и Средней Азии, где она уже больше не играла важной сельскохозяйственной роли. Второй из перечисленных типов сельскохозяйственного производства был формально ликвидирован в Европе с 1848 по 1868 гг., хотя положение бедных и особенно безземельных крестьян в районах боль-

* Временное соглашение (с лат.) (прим. переводчика).

ших имений Южной и Западной Европы часто оставалось сродни полурабскому положению, постольку, поскольку они подчинялись превосходившему их по силе внеэкономическому давлению. Там, где крестьяне имели на практике, независимо от теории, меньше юридических и гражданских прав в сравнении с богатыми и влиятельными слоями населения, на них могло оказываться экономическое давление, что мы и наблюдаем в Валахии, Андалузии и на Сицилии. Всеобщая трудовая повинность во многих латиноамериканских странах все еще не была отменена, а наоборот, лишь укреплялась, поэтому едва ли можно говорить о повсеместной ликвидации крепостного права в этих районах*. И тем не менее они все больше ограничивались областями, где индейские крестьяне подвергались эксплуатации неиндейских землевладельцев. Третий тип сельскохозяйственного производства, как мы уже убедились, содержал себя сам.

Причины такой широкомасштабной ликвидации докапиталистических (т. е. внеэкономических) форм сельскохозяйственной зависимости следует рассматривать в комплексе. В некоторых случаях решающую роль, очевидно, сыграли политические факторы. В империи Габсбургов в 1848 году и в России в 1861 году в число таких факторов входила не столько непопулярность крепостного права среди крестьян, приведшая к их освобождению, хотя и она сыграла в этом не последнюю роль, сколько боязнь некрестьянской революции, которая могла объединить большие силы на почве недовольства положением крестьян. Крестьянское восстание являлось потенциальной возможностью, о чем свидетельствовали восстания крестьян в Галиции в 1846 году, Южной Италии в 1848 году, на Сицилии в 1860 году и в России после Крымской войны. Впрочем, правительства пугали не слепые крестьянские бунты сами по себе, их легко было усмирить при помощи

* Крепостное право (в др. языках это система экономических отношений обозначается терминами *унасонас*, *хуасипунгос* и др.) не следует путать с близкими ему по сути долговыми обязательствами, так же как и импортирование контрактных рабочих нельзя смешивать с понятием рабства. Два указанных типа отношений не противоречат отмене рабства и крепостного права, но одновременно они стремятся воссоздать их в рамках формально «свободного» контракта.

«меча и огня», причем это практиковали даже либеральные правительства, как, например, произошло в Сицилии^{14*}, а мобилизация крестьянских волнений на почве политического вызова централизованной власти. Так, например, Габсбурги пытались лишить различные национально-освободительные движения крестьянской почвы, а русский царь сделал то же самое в Польше. Без крестьянской поддержки радикальные движения либералов в аграрных странах мало что значили, или, по крайней мере, были легко контролируемы. И Габсбурги, и Романовы действовали в соответствии с этим. Тем не менее, восстание и революция, организованные крестьянами или кем-то еще, в очень малой степени объясняют причины отмены крепостного права и совсем не объясняют причины отмены рабства, потому что в отличие от крестьянских восстаний восстания рабов не носили всеобщий характер (не считая Соединенных Штатов^{15*}) и никогда в XIX веке не представляли серьезной политической угрозы. Тогда, вероятно, причины отмены крепостного права и рабства носили экономический характер. В некоторой степени так оно и было. Современным историкам эконометрики хорошо рассуждать с высоты времени о том, что рабовладельческое и крепостное сельское хозяйство было более доходным и даже более эффективным, чем сельское хозяйство, основанное на свободном труде*. Это представляется возможным, и аргументы в пользу этого действительно сильны.

Конечно, современники, оперируя современными методами и критериями учета, признают, что этот труд был подневольным, хотя очень трудно сказать, насколько при этих подсчетах учитывается пусть даже экономически оправданный ужас рабства и крепостничества. И все же можно услышать мнения, подобные высказываниям железнодорожного предпринимателя Томаса Брессея, который, рассуждая с позиций здравого предпринимательского смысла, говорил о крепостном праве, что урожай, собранный в рабской России, составлял половину от собранного в Англии и Саксонии и был меньше, чем в любой другой

* Этот аргумент касается в основном рабства и в гораздо меньшей степени — крепостного права^{16*}.

европейской стране, а о рабстве — что оно было «очевидно» менее продуктивным способом сельскохозяйственного производства и более дорогим, чем принято было считать, если принять во внимание деньги, которые тратились на покупку рабов, их содержание и увеличение их числа^{17*} Британский консул в Пернамбуко в своем докладе правительству, считавшемуся страстным борцом против рабовладения, заметил, что владелец рабов теряет 12% своего дохода, который мог бы принести капитал, затраченный на покупку рабов. Были ли эти взгляды ошибочными или нет, но они получили широкое распространение среди тех, кто не принадлежал к числу рабовладельцев.

Практически рабовладение находилось в состоянии упадка, и не только по причинам гуманности, хотя прекращение международной работорговли под давлением Британии (Бразилия подчинилась отмене рабства только в 1850 году) заметно сократило численность рабов и подняло цены на них. Ввоз африканских рабов в Бразилию сократился с 54 тыс. в 1849 г. практически до нуля к середине 50-х. Внутренняя торговля рабами уже, казалось, не играла такой значительной роли. И тем не менее переход от рабовладельческого труда к нерабовладельческому был ощутимым. К 1872 году количество свободных цветных жителей Бразилии почти в три раза превышало число рабов, и даже среди чистых представителей негритянской расы это соотношение составляло 50%. На Кубе в 1877 году количество рабов уменьшилось вдвое, с четырехсот тысяч по двухсот^{18*}. Возможно, даже в сфере производства сахара, где традиционно применялся труд рабов, механизация сахарных заводов привела к уменьшению с середины века потребности в рабочей силе, применявшейся для обработки сахарного тростника. В то же время в быстрорастущих сахарных производствах, подобных кубинскому, она привела к соответствующему росту потребности в рабочих, работавших на полях. Тем не менее, подчиняясь конкуренции европейского сахара и сахарной свеклы и слишком высоким потребностям сахарных производств в рабочей силе давление на низкооплачиваемую рабочую силу было значительным. Могла ли экономика рабовладельческой плантации вынести двойные расходы по вложению капитала в механизацию производства и на покупку рабов? По-

добные расчеты привели к замене рабской силы (по крайней мере, на Кубе) не столько свободными рабочими, сколько рабочими, работавшими по контракту. Они набирались из числа индейцев майя, племени юкотан, жертв расовой войны (см. главу 7) и из недавно открытого Китая. И все же не вызывает сомнения, что рабство как форма эксплуатации в Латинской Америке находилось в состоянии упадка даже до того, как было полностью отменено, и что экономические аргументы против этого вида рабочей силы оказались после 1850 г. довольно сильными.

Что касается крепостного права, то направленные против него аргументы экономического порядка носили одновременно общий и специфический характер. В общем казалось очевидным, что повсеместное распространение прикрепленных к земле крестьян препятствовало развитию промышленности, которой требовалась свободная рабочая сила. Отмена крепостного права, таким образом, создала бы условия для формирования рынка подобной силы. Кроме того, как могло крепостное сельское хозяйство быть экономически рациональным, если, цитируя одного из русских защитников крепостного права 50-х гг., оно «препятствовало возможности установления точной цены продукта»^{19*} Помимо этого, оно препятствовало наиболее рациональному приспособлению к рыночной экономике.

Из более специфических факторов — развитие внутреннего рынка различных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья, с одной стороны, а другой стороны — экспортного рынка, большей частью зерна, подрывали крепостное право. В северных районах России, которые никогда не были пригодны для широкомасштабного выращивания зерна, крестьянские хозяйства вытеснили усадебное производство пеньки и льна и других продуктов интенсивного земледелия, в то время как ремесленное производство создавало дополнительный рынок для крестьян. Количество крепостных, всегда бывших в меньшинстве, еще больше упало. Они платили землевладельцам, чтобы заменить трудовую повинность на рыночно ориентированную денежную ренту. На пустынном юге, где целинные степи превратились в пастбища для скота, а затем в пшеничные поля, крепостное право не имело столь большого значения. Что действительно было нуж-

но землевладельцам для быстрорастущей экспортной экономики, так это лучший транспорт, кредит, свободная рабочая сила и даже машины. Крепостное право сохранилось только в России и Румынии, в основном в районах выращивания пшеницы, где крестьянское население было довольно многочисленным и где землевладельцы могли компенсировать свою неконкурентоспособность поднятием ренты или наоборот надеялись при помощи того же метода временно вклиниться в экспортный рынок зерна.

Тем не менее, отмена подневольного труда не должна рассматриваться исключительно в рамках экономических подсчетов. Общественные силы буржуазного мира противостояли рабству и крепостному праву не только потому, что понимали его экономическую отсталость и не только по моральным соображениям, а потому, что подобные системы отношений казались им несовместимыми с рыночным обществом, основанным на свободном проявлении интересов каждого гражданина. Рабовладельцы и крепостники, наоборот, твердо отстаивали незыблемость этих систем, потому что они представлялись им основным фундаментом общества и их класса. Они, должно быть, не могли представить себя без принадлежавших им рабов или крепостных, числом которых определялся их социальный статус. Русские землевладельцы не могли восстать и не восстали против царя, который единственный давал им законное оружие борьбы с твердой уверенностью крестьян в том, что земля принадлежит тем, кто возделывает ее. Равно они не могли восстать и против иерархии подчинения представителям Бога и империи. Но освобождению крестьян они сопротивлялись достаточно стойко. Оно было навязано извне или свыше какой-то верховной силой. И действительно, если бы отмена рабства и крепостного права проистекала только из экономических причин, она вряд ли бы принесла столь неудовлетворительные результаты, как в России, так и в Соединенных Штатах. Области, в которых труд рабов или крепостных не имел большого значения или был «неэкономичным» (имеются в виду северные и южные районы России и пограничные штаты и юго-западные районы Соединенных Штатов), с готовностью признали его ликвидацию. Но в центральных районах с господством старой системы эта проблема была не столь легко ре-

шаемой. Так, например, в российском черноземье (его следует отличать от украинского и степной границы) капиталистическое сельское хозяйство развивалось медленно, а барщина была преобладающей системой отношений до конца 80-х гг., в то время как рост числа возделываемых земель за счет распахивания лугов и пастбищ и отмены трехполья отставал от южных территорий*. Короче говоря, чисто экономическая выгода от прекращения использования подневольной силы остается спорным вопросом.

В странах, где прежде использовался рабский труд, его отмену невозможно было объяснить политическими причинами, так как юг был завоеван и старая землевладельческая аристократия на время оказалась беспомощной, хотя и вернула вскоре свое влияние. В России интересы землевладельцев, разумеется, уважали и оберегали. Здесь проблема состояла лишь в том, почему отмена крепостного права не принесла положительных результатов ни мелкопоместному дворянству, ни крестьянам и не создала перспектив для развития капиталистического сельского хозяйства. По всем этим вопросам ответ зависит от того, что считать лучшей формой сельскохозяйственного производства и, в еще большей степени, от положения крупномасштабного сельского хозяйства при капитализме.

Существуют два основных варианта капиталистического сельскохозяйственного производства, которые Ленин соответственно назвал «пруссский» и «американский». Под первым типом понимаются большие поместья, управляемые земельным капиталистом-предпринимателем, использующим наемный труд, под вторым типом — независимые фермеры-предприниматели, управляющие хозяйствами разного размера и также использующие наемный труд, но в гораздо меньших масштабах. Оба варианта предполагают наличие рыночной экономики, но в то время, как еще до триумфального шествия капитализма большинство крупных имений действовали сообща, формируя производственные

* Объем пахотных земель в черноземной полосе увеличился с 60-х по 80-е годы в среднем на 60%. На Южной Украине и Нижней Волге, Северном Кавказе и в Крыму эта цифра возросла вдвое, а в Курске, Рязани, Орле и Воронеже (с 1860 по 1913 гг.) она возросла менее чем на четверть^{20*}.

объединения для продажи производимой ими продукции, большинство крестьянских хозяйств, которые были самостоятельны, таких объединений не создавали*. Поэтому преимущество крупных имений и плантаций для экономического развития определялось не столько их техническим превосходством, более высокой продуктивностью, экономией площадей и т. п., сколько их необычайной способностью накапливать излишки сельскохозяйственной продукции для продажи на рынке. Там, где крестьянство оставалось в «докоммерческом» состоянии, как, например, в большинстве областей России и среди освобожденных рабов в Америке, вернувших к существованию крестьянское земледелие, имения сохранили это преимущество, хотя не используя принудительный труд в виде рабства и крепостничества, они столкнулись с трудностями в найме рабочей силы, потому что прежде рабы и крепостные крестьяне землей не владели или владели в столь малом количестве, что были вынуждены наниматься к землевладельцам. Кроме того, у них не было другой альтернативы приложения своей рабочей силы.

В целом бывшие рабы, получившие небольшие земельные наделы (хотя и не те «сорок акров и мула», о которых они мечтали) и бывшие крепостные крестьяне, тоже получившие свою землю, несмотря на то, что были вынуждены уступить часть ее своим бывшим господам, особенно в районах с высоким уровнем коммерциализации сельского хозяйства**, по существу остались крестьянами. И действительно, сохранение и даже укрепление старой деревенской общины с ее установленным порядком периодического справедливого перераспределения земель стояло на страже крестьянской экономики. Отсюда шла возрастающая тенденция землевладельцев развивать издольщину вместо того, чтобы самим выращивать урожай, что, по их мнению, было сложнее. Совсем другой вопрос, была ли русская земельная аристок-

* Конечно, имениям не было необходимости формировать производительные сообщества. Они могли спокойно получать доход в виде денежной ренты, натуральной платы или части урожая крестьян-арендаторов, входивших в это производительное сообщество.

** В центральных черноземных районах потери крестьян были не столь значительными, а в некоторых случаях они даже выигрывали.

ратия, землевладельцы, подобные толстовскому графу Ростову или чеховской г-же Раневской, готовы стать аграрными капиталистами-предпринимателями в большей степени, чем ante-bellum* владельцы плантаций, мечтавшие в духе Вальтера Скотта.

«Прусский» способ производства встречался не так часто, чего, в свою очередь, нельзя сказать об «американском» способе. Это было связано с появлением большой группы инициативных крестьян-фермеров, выращивающих в основном сельскохозяйственные товарные культуры. Для этого требовались земельные наделы минимальных размеров. Минимум устанавливался в зависимости от обстоятельств. Так, в южных штатах Америки после Гражданской войны «опыт показал, что тот земледелец, чей годовой урожай не превышал пятидесяти тюков, вряд ли мог рассчитывать на какой-либо доход... Человек, который не мог собрать по меньшей мере восьми или десяти тюков, почти не имел цели в жизни и средств к существованию»^{21*} Вследствие этого большая часть крестьян оставалась зависимой от существовавшей системы земледелия, если размеры их наделов позволяли им работать, остальные же, не владевшие скотом и механическими средствами производства, вынуждены были своим трудом восполнять недостаточные размеры своих хозяйств. В крестьянской среде росло количество фермеров-предпринимателей. В России к 80-м годам они приобрели большое значение. Правда, различные факторы препятствовали классовой дифференциации, среди которых не последнее место занимали расизм в Соединенных Штатах и устойчивость организованной деревенской общины в России**. В результате частично или полностью коммерциализированные и капиталистические сельские районы оставались на периферии рыночной торговли или ограничивались финансовыми операциями, осуществляемыми через коммерческие фирмы и банки.

Ни отмена крепостного права, ни освобождение рабов не ста-

* Довоенный (лат.) (прим. переводчика).

** Освобождение рабов принесло парадоксальный с либеральной точки зрения результат. Оно вывело земледельцев из-под власти официального закона и заставило их формально подчиняться традиционному закону земледельцев, который был далеко не на руку капитализму.

ли решением «аграрной проблемы», и можно поставить под сомнение то, что она вообще могла быть решена до тех пор, пока в районах, находившихся на периферии крепостнической и рабовладельческой экономики, подобных Техасу, Богемии и некоторым частям Венгрии, не созрели условия для развития капиталистического сельского хозяйства. В этих районах мы наблюдаем «пруссский» и «американский» пути развития в действии. Великолепные большие имения, пользовавшиеся иногда финансовой поддержкой в виде компенсационных выплат за потерю рабочей силы*, стали на путь капиталистического предпринимательства. На чешских землях в 70-е годы им принадлежали 43 % всех пивоваренных заводов, 65 % сахарных заводов и 60 % винокурен. Здесь, специализируясь на выращивании интенсивных сельскохозяйственных культур, процветали не только крупные имения, использовавшие наемный труд, но и большие крестьянские хозяйства, которые со временем даже перестали уступать имениям**. В Венгрии эта система оставалась доминирующей, а безземельные крепостные крестьяне, получив свободу, остались совсем без земли^{24*}. Тем не менее в Чехии наблюдался процесс дифференциации крестьян на бедных и богатых, о чем говорит тот факт, что количество самых распространенных среди бедняков животных — коз, почти удвоилось с 1846 по 1869 гг. (с другой стороны, производство баранины на душу населения в сельских местностях также удвоилось, что явилось отражением роста рынка сельскохозяйственных товаров в городах).

Но в центрах, издавна использовавших принудительный труд, таких как Россия и Румыния, где крепостное право продержалось дольше, крестьянство оставалось достаточно однородным

* В чешских землях Шварценберги получили 2,2 млн гульденов компенсации, Лобковичи — 1,2 млн, Вальдштейны и Алоиз Лихтенштейн — по миллиону каждый, Кински, Дитриштейн и Коллоредо-Мансфилд — по полмиллиона каждый.^{22*}

** В последней трети XIX века было установлено, что, по крайней мере в Венгрии, для обработки Joch (около 0,6 гектаров) земли требовался один рабочий день, если это было пастбище; 6 рабочих дней, если это были луга; 8,5 дней — для пшеничных полей; 22 дня — для кукурузных; 23 — для картофельных; 30 — для корнеплодов; 35 — для возделывания садов; 40 — для сахарной свеклы; 120 — для виноградников и 160 — для табачных плантаций^{23*}.

(за исключением разделения по национальной или расовой принадлежности). Одновременно оно было недовольно своей долей и являлось потенциальным источником революционного взрыва. Однако неспособность к сопротивлению, обусловленная расовым гнетом или зависимостью безземельных крестьян, держала их в относительном спокойствии. Это касалось негров — жителей сельских районов Южной Америки или венгерских земледельцев. С другой стороны, традиционное крестьянство, особенно организованное в общину, представляло настоящую угрозу. Великий застой 70-х гг. открыл собой эру крестьянских волнений и крестьянской революции.

Можно ли было избежать всего этого, используя «более разумные» формы освобождения? Вопрос спорный. По крайней мере, сходные результаты мы встречаем в тех районах, где попытка создать условия для развития капиталистического сельского хозяйства представляла собой не всеобщий указ об отмене принудительного труда, а более широкий процесс навязывания закона буржуазного либерализма — передачу земельной собственности в частную собственность и превращение земли в свободно покупаемый товар, такой же, как и все остальные товары. Теоретически этот процесс получил широкое распространение уже в первой половине века (см. книгу «Век революции», гл. 8), но на практике он возобновился с новой силой после 1850 года за счет распространения либерализма. Это означало, прежде всего, крушение старых общинных организаций и перераспределение или отчуждение земель, находившихся в коллективной собственности, либо земель, подобных церковным. Наиболее драматично и жестоко этот процесс прошел в Латинской Америке, в том числе в Мексике в 60-е гг. при Хуаресе, в Боливии с 1866 по 1871 гг. при диктаторе Мельгарехо, в Испании после революции 1854 г., а также в Италии после объединения страны под влиянием либеральных преобразований в Пьемонте, и во многих других местах, где экономический и юридический либерализм одержал победу. Но либерализм распространился и там, где правительства оказались компетентны в своем ревностном стремлении претворить в жизнь его принципы.

Французские власти предпринимали меры, чтобы сохранять

общинную собственность среди своих мусульманских подданных в Алжире, несмотря на то, что Наполеон III (в сенатском указе 1863 г.) говорил о невозможности ситуации, когда индивидуальная частная собственность на землю формально не устанавливается среди членов мусульманских общин «где только возможно». Эта мера практически приравнивалась к разрешению европейцам впервые в истории выкупать эти земли. И все же этот указ не был хартией широкомасштабной экспроприации, наподобие закона 1873 г., который после великого восстания в 1801 г. разрешил немедленный переход собственности местных жителей в руки французов, мера, от которой «не выгадал никто, кроме европейских бизнесменов и спекулянтов»^{25*} Впрочем, имея на то юридическое основание или не имея такового, белые поселенцы и земельные компании отнимали земли у мусульман.

Немалую роль в процессе экспроприации сыграла жадность: жадность правительства, стремящегося заполучить доход от земельных продаж, жадность землевладельцев, поселенцев и спекулянтов, жаждущих легко и дешево приобрести имения. Хотя будет несправедливым отрицать искреннее убеждение законодателей в том, что превращение земель в свободно отчуждаемый товар и передача общинных, церковных, родовых земель и других исторических реликтов иррационального прошлого в частную собственность реально создаст базу для успешного сельскохозяйственного развития. Но этого не произошло. По крайней мере, со стороны крестьянства, которое в большинстве своем отказалось превратиться в класс процветающих дельцов даже когда у него был для этого реальный шанс. (В большинстве оно отказалось от этого, так как было не в состоянии приобрести земли, выставленные на продажу, или хотя бы понять суть запутанных юридических мер, которые вели к экспроприации этих земель). Все эти процессы не привели к укреплению «латифундии» — термин неясный, но глубоко укоренившийся в политической терминологии, и если хоть кто-то в результате них выгадал, то в любом случае это были не крестьяне, старые или новые — сельские жители, зависевшие от общей земли, а на окраинах — от природных условий: исчезновения лесов, эрозии, от качества самой земли, не защищенной более контролем общины

над ее использованием*. Главным результатом либерализации стало крайнее обострение крестьянского недовольства.

Новым в этом недовольстве было то, что крестьяне могли направить в нужное им русло левые политические силы. На самом деле за пределами южной Европы крестьяне еще не были организованной силой. На Сицилии и в южной Италии восставшие крестьяне не примкнули в 1860 году к движению Гарибальди. Причем вера этого блистательного блондина, краснорубашечника, выглядевшего до кончиков ногтей народным освободителем, в радикально демократическую, светскую и относительно «социалистическую» республику совсем не шла в разрез с верой этих крестьян в святых, Деву Марию, папу и в короля из династии Бурбонов (за пределами Сицилии). В это время в южной Испании быстро возрастало значение республиканизма и Интернационала в бакунинской трактовке — с 1870 по 1874 год в Андалузии вряд ли был хоть один населенный пункт, где бы не было «рабочий организация»^{27*}. (Во Франции, конечно, после 1848 года, уже развивался республиканизм как самая распространенная форма объединения левых сил и, являясь умеренным движением, он получил поддержку большинства населения после 1871 года). Похоже, левый сельский революционный дух, зародившись в Ирландии с появлением фениев в шестидесятые, вылился в форму грозной «Земельной лиги» в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов.

Правда, надо признать, что во многих странах мира, и даже в Европе, ни левые, ни революционные, ни все другие силы не смогли оказать воздействия на мировоззрение крестьян. Пример тому — русские народники (см. гл. 9), которые в семидесятые годы «пошли в народ». До тех пор, пока левые являлись урбанизированными сторонниками светского общества, даже воинствующими антиклерикалами (см. гл. 14), презрительно относившимися к «отсталости» сельских жителей и ни разбиравшимися в проблемах деревни, крестьянство было вправе проявлять по отношению к ним подозрительность и враждебность. Успех воин-

* Реймонд Карр отмечает, что с середины века «лесной вопрос стал главной темой возрождающейся литературы»^{26*}

ствующих анархистов — антихристиан в Испании или республиканцев во Франции являлись исключением из правил. Но и старомодные восстания сельских жителей за церковь и короля против погрязших в неверии и либерализме городов стали редкостью в этот период, по крайней мере в странах Европы. Даже вторая Карлистская война в Испании (1872—1876 гг.) носила гораздо меньший размах, чем первая война в тридцатые годы и по существу ограничилась пределами баскских провинций. Великий подъем 60-х и начала 70-х годов проложил дорогу аграрной депрессии конца 70-х и начала 80-х гг., и крестьянство уже не могло рассматриваться только как консервативный элемент на политической арене.

И все же, насколько глубоко проникли в ткань деревенской жизни веяния Нового Мира? Трудно ответить на этот вопрос с позиций человека конца XX века, ведь со времени появления сельского хозяйства оно еще ни разу не переживало такой глобальной трансформации, как во второй половине нашего века. Глядя назад, кажется, что пути развития сельских жителей и жителейниц замыкались в кругу традиционного обмена, иначе говоря развитие шло черепашьям шагом. Конечно, это иллюзия, но истинную суть этих изменений сейчас разглядеть очень сложно, за исключением разве что кардинально новых методов ведения сельского хозяйства поселенцев американского Запада, готовых менять и продавать свои фермы и урожай с учетом колебания цен. Их хозяйства были хорошо оснащены технически, а необходимые им вещи они приобретали через новомодные каталоги почтой.

Но перемены коснулись и деревни. Появились железные дороги. Все чаще стали появляться начальные школы, в которых детей обучали местному национальному языку (для многих из них это был новый язык и второй после их родного). Организовывались местные администрации, устанавливалась национальная политика. Все это вело к расщеплению личности. К 1875 году, как следовало из отчетов, клички, по которым можно было идентифицировать жителей деревень Брай в Нормандии и даже местные варианты их имен перестали употребляться. Это было «заслугой учителей, которые не разрешали детям в своих школах

называть друг друга иначе, как правильными именами»^{28*} Скорей всего они не исчезли совсем, а вместе с местным диалектом ушли в неофициальное подполье народной культуры. Деление населения на грамотных и неграмотных в сельских районах стало мощным толчком к грядущим переменам. В повседневной жизни неграмотность, незнание букв алфавита, национального языка и национальных институтов не является помехой для общения, за исключением тех случаев, когда знание языка необходимо для работы (причем эта работа бывает редко связана с сельским хозяйством). В образованном обществе «неграмотный» человек обычно приравнивается к низам общества и всеми силами стремится оградить от этого хотя бы своих детей. В 1849 году не было ничего удивительного в том, что крестьянская политика в Моравии приняла форму слуха о том, что венгерский революционный лидер Кошут являлся сыном «императора крестьян» Иосифа II, близкого родственника древнего короля Сватоплука и что он собирается в поход на страну во главе огромной армии^{29*} К 1875 году политическая терминология в чешской деревне усложнилась настолько, что ожидающие спасения от мнимых родственников «народных» императоров, возможно, оказались в затруднительном положении. Им было трудно ее понять. Такого рода политическое мышление к этому времени ограничилось лишь пределами слаборазвитых стран, которые даже крестьяне центральной Европы признавали отсталыми. К ним принадлежала, например, Россия, где как раз в это время русские революционные народники предприняли безуспешную попытку поднять крестьянскую революцию посредством «народного претендента» на царский престол^{30*}

За пределами западной и центральной Европы (в основном протестантской) и северной Америки было все еще очень немного грамотных крестьян*. Но даже среди самых отсталых и патри-

* В Испании 75% всех мужчин и 89% женщин были безграмотными в 1860 году, в южной Италии — около 90% жителей и даже в самых развитых районах Ломбардии и Пьемонта безграмотными были от 57 до 59% жителей (1885 год), в Далмации — 99% призывников (1870). Во Франции наоборот к 1876 году 80% сельских жителей и 67% жителей были грамотными, в Нидерландах — 84% призывников. В провинциях Голландия и Кронинген —

архальных крестьян находились люди — носители старинных традиций и старинных норм жизни. К ним принадлежали старики и женщины, чьи «бабушкины сказки» передавались из поколения в поколение и, по счастью, дошли до собирателей фольклора. И все же парадоксально, что перемены в сельскую жизнь несли не женщины. Иногда, как например в Англии, деревенские девушки были более грамотными, чем молодые люди. Данные относятся к 50-м годам. В Соединенных Штатах именно женщины стали представительницами «цивилизованного» мира в деревне. Они несли в жизнь любовь к чтению, гигиену, «хорошенькие» домики, меблированные на городской манер, трезвость в противовес грубости, ожесточенности и пьянству мужчин, подобных Геккельбери Финну из романов Марка Твена (1884)⁵¹. Матери, а не отцы заставляли своих сыновей «самосовершенствоваться». Но, пожалуй, самым мощным фактором подобной «модернизации» стала миграция молодых сельских девушек, которые нанимались на службу в дома, пополняя собой в городах средний и низший слои общества. Процесс разрыва со средой обитания стал и для мужчин, и для женщин процессом уничтожения старых норм жизни и обучения новым. К ним мы сегодня и возвращаемся^{31*}

от 89 до 90% и даже в относительно неразвитой Бельгии почти 65% призывников могли читать и писать (1869). Стандарты грамотности, естественно, были невысокими.

ГЛАВА 11

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ

Мы спросили ее, где ее муж.

— Он в Америке.

— Что он там делает?

— Он получил работу царя.

— Но как еврей может быть царем?

— В Америке возможно все, — ответила она.

Шолом Алейхем, 1900^{1*}

Мне сказали, что ирландцы всюду. Они начали выживать негров с должности домашней прислуги... Процесс принял всеобщий характер. Трудно найти слугу, который бы не был ирландцем.

А. Х. Клау — Томасу Карлейлю
Бостон, 1853^{2*}

I

Середина XIX века отмечена началом процесса величайшей в истории миграция народов. Сейчас трудно детально измерить ее масштабы, тем более что существовавшая в те времена статистика не в состоянии была зафиксировать все передвижения мужчин и женщин в пределах страны или из государства в государство. Еще труднее установить число сельских жителей, переселявшихся в города, жителей, мигрировавших из района в район и из города в город, пересекавших океан и вторгавшихся в пределы государственных границ, постоянно менявших место жительства. Только одна драматическая форма миграции в какой-то мере документально зафиксирована. С 1846 по 1875 годы около 9 миллионов человек покинули Европу, большинство из них ради Соединенных Штатов^{3*} Эта цифра была в 4 раза больше, чем все население Лондона в 1851 году. В начале века она не могла превысить и полутора миллионов человек.

Переселение людей и индустриализация шли нога в ногу. Современное развитие мировой экономики, с одной стороны, способствовало переселению, а с другой стороны, вследствие развития техники делало его более доступным и дешевым. Кроме того, оно способствовало росту населения в мире. Массовое выселение с мест жительства в рассматриваемый нами период не было неожиданным и основывалось на предыдущем, правда, не столь широкомасштабном опыте. В 30-е и 40-е годы его уже можно было предвидеть (см. «Век революции», с. 169—179). Но то, что раньше было веселым родничком, вдруг стало бурным потоком. До 1845 года в Соединенные Штаты прибывало немногим более 100 000 человек за год. С 1846 по 1860 год среднее количество прибывших достигало четверти миллиона, за следующие несколько лет эта цифра возросла до 350 000, а в одном только 1854 году в Штаты прибыло 428 000 человек. И хотя эта цифра колебалась, разница экономических условий в родной стране и стране прибытия вела к значительному увеличению числа эмигрантов.

И тем не менее, какими большими ни казались бы масштабы миграции в это время, они выглядели достаточно скромными впоследствии. Так, в восьмидесятые годы в среднем 700—800 тыс. европейцев эмигрировали ежегодно, а после 1900 года — от 1 до 1,4 миллионов человек в год. Поэтому с 1900 по 1910 год в Соединенные Штаты прибыло несравнимо большее количество людей, чем за весь рассматриваемый нами период.

Очевидным препятствием процессу миграции были географические условия. Не считая оставшихся со времен работорговли африканцев (теперь их продажа считалась противозаконной и перевозка негров была практически прекращена силами британского флота), большинство эмигрантов составляли европейцы, если быть более точными — жители Западной Европы и Германии. Китайцы уже находились в процессе переселения в северные и центральные пограничные районы своей империи, за пределы территории расселения народов Хэн (Han) и из южных береговых районов — на полуострова и острова юго-восточной Азии. Количество переселившихся определить трудно. Возможно, оно было небольшим. В 1871 году в поселениях Стрэйтс (Малайский архипелаг) насчитывалось 120 000 человек^{4*}. После 1852 года ин-

дийцы в незначительном количестве начали переезжать в соседнюю Бирму. Возникшую после отмены работорговли брешь в эмиграционном потоке заполнили контрактные рабочие, в основном из Индии и Китая. 125 тыс. китайцев прибыли на Кубу в период с 1803 по 1874 год^{5*}. Именно названные поселенцы сформировали индийскую диаспору в Гайане и Тринидаде, на островах Индийского и Тихого океанов и более мелких китайских колоний на Кубе, в Перу и на британских Карибских островах. Некоторые смелые китайцы уже начали осваивать районы Америки на тихоокеанском побережье и стали причиной многочисленных шуток местных журналистов о рабочих в прачечной, поварах (они организовали китайские рестораны в Сан-Франциско во время золотой лихорадки)*, и народных вождях, выступавших во время падения цен с лозунгами о расовой исключительности. Корабли быстро растущих торговых флотилий были полностью укомплектованы матросами-индийцами — выходцами из малых цветных народностей, проживавших в главных международных портах. Французы, производившие вербовку для колониальных войск, надеялись таким образом компенсировать демографическое превосходство немцев (этот вопрос широко обсуждался в обществе в 60-е годы). Многие из завербованных туземцев впервые попадали в европейскую среду**.

Среди общей массы европейцев, мигрировавших с континента на континент, встречались главным образом выходцы из нескольких стран. В этот период это были в основном британцы, ирландцы и германцы, а с 60-х годов к ним присоединились норвежцы и шведы. Они в огромном количестве выезжали из своих стран, но в общем потоке эмигрантов составляли не очень большой процент, так как в то время численность этих народов в Европе была не так велика (эмигрантов-датчан было еще меньше). Так, из Норвегии в Соединенные штаты выехало 2/3 от прироста

* Лучшими ресторанами в этих местах бостонский «Банкирский журнал» признал рестораны, принадлежавшие выходцам из «цветных» земель^{6*}.

** Национальные войска предназначались в это время в основном для использования в пределах Индии, либо в тех регионах, где индийцы чувствовали себя куда комфортнее, чем в лондонских офисах британского правительства.

населения. В этом Норвегию превзошли только ирландцы, которые выезжали в еще большем количестве, чем составлял прирост населения в этой стране: в течение десятков лет, следовавших за Великим голодом 1846/1847 гг., поток эмигрантов из Ирландии не прекращался. Англия и Германия потеряли чуть более 10% от общего прироста населения, но сами по себе это были очень большие цифры. С 1851 по 1870 гг. около 5,3 миллионов человек покинули Британские острова (из них 3,5 млн уехали в Соединенные Штаты, 1 млн в Австралию, 0,5 млн в Канаду). Число эмигрантов было едва ли не самым большим в мире (принимая во внимание только переезжавших с континента на континент).

В это время жители юга Италии и Сицилии, которые впоследствии заполонят большие города Америки, только начали покидать пределы своих захолустных деревень, а жители Восточной Европы, католики или православные, в основном оставались на обжитых местах. Только евреи в небольших количествах просачивались в провинциальные города, откуда они в свое время были изгнаны, а из них — уже в более крупные населенные пункты*. К 1880 г. русские крестьяне едва только начали переселяться на широкие просторы Сибири, в то время как большое количество крестьян поселилось в европейской части России. Их поселения вполне сформировались к 80-м годам. Поляки еще только начинали заселять территории около Рурских рудников, хотя чехи к этому же времени (1890 г.) уже потянулись на юг, в Вену. К 80-м годам относится начало Великого переселения славян, евреев и итальянцев на Американский континент. В общем немало эмигрантов ехало с Британских островов, из Германии и Скандинавии, за исключением кочующих национальных меньшинств, подобных галликанцам и баскам, часто встречаемым в испанском мире.

Большинство европейцев были сельскими жителями. То же можно сказать и об эмигрантах. XIX век был гигантским комбайном, выкашивавшим крестьян с насиженных мест. Большин-

* Венгерские города были открыты для евреев-переселенцев только в 1840 году.

ство из них перебиралось в города или, по крайней мере, подальше от привычных занятий сельским хозяйством. Они ехали за счастьем в незнакомый, пугающий, но обещающий безграничные возможности новый мир, где мостовые, по слухам, были вымощены золотом, хотя потом редко кто из эмигрантов поднимал с них больше медяка. Не совсем верно, что процессы миграции и урбанизации — это одно и то же. Группы эмигрантов, большей частью немцы и скандинавы, приехавшие в Соединенные Штаты, в район Великих озер или ранние шотландские поселенцы в Канаде променяли свое нищенское крестьянское существование на более выгодное: только 10% иностранных иммигрантов в Соединенных Штатах в 80-е годы занимались сельским хозяйством, причем многие из них — не в качестве фермеров. Как отмечал один из обозревателей по поводу капитала, необходимого для покупки и организации фермы, одно только оборудование стоило в 70-е годы 900 долларов^{7*}

Нельзя игнорировать факт территориального перераспределения земледельцев в мировых масштабах, но в сравнении с тем, сколько крестьян отошло от сельского хозяйства, даже этот факт теряет свою значимость. Миграция и урбанизация шли нога в ногу, и во второй половине XIX века только Британия и промышленные районы Германии превосходили по уровню урбанизации Соединенные Штаты, Австралию и Аргентину, где эти процессы развернулись с полной силой. (К 1890 году в это число входили 20 крупнейших городов западного мира, включая 5 американских и 1 австралийский). Мужчины и женщины переезжали в города, хотя большей частью они ехали из других городов (это, конечно, касается только Британии).

Если они мигрировали в пределах страны, это не влекло за собой особых проблем. В большинстве случаев они не выезжали на далекие расстояния, а если выезжали, то дороги из сельского района в город были в то время уже хорошо протоптаны их родственниками и соседями, которые чаще всего становились уличными торговцами или сезонными рабочими. Эту привычку имели жители центральной Франции, приезжавшие на работу в Париж. Их число росло по мере того, как разворачивались строи-

тельные работы во французской столице до тех пор, пока в 1870 году они не превратились из сезонных рабочих в постоянных жителей Парижа^{8*} Иногда новые пути миграции открывались в связи с развитием технического прогресса. Примером тому служат появившиеся железные дороги, перевозившие бретонцев в Париж. Здесь у ворот Монпарнаса, они, как тогда говорили, теряли последнюю надежду и пополняли число обитателей городских трущоб. Бретонские девушки потеснили обительниц публичных домов, в качестве которых обычно выступали жительницы Лотарингии. Женщины-эмигрантки в большинстве случаев получали должность домашней прислуги или, в редких случаях, им удавалось выйти замуж за сельского парня либо найти другую работу. Реже всего эмигрировали семьи или женатые пары. В городах люди старались продолжать то дело, которым занимались в своих районах. Так, жители графства Кардиганшир в Уэльсе становились продавцами молока, куда бы они ни переезжали. Жители Оверни — продавцами топлива, если хватало знаний — они могли стать ремесленниками, если инициативы — организовать небольшое дело. Чаще всего это была торговля продуктами питания или напитками. Во всех остальных случаях существовало два вида работ, не требовавших особых знаний или навыков — строительство и транспортные перевозки. В Берлине в 1885 году иногородними были 81% работавших в сфере обеспечения столицы продуктами, 83,5% работавших в строительстве и более 80% — занятых транспортными перевозками^{9*}. И хотя у них вряд ли был шанс получить более квалифицированную работу, за исключением тех, кто обучался какому-либо ремеслу у себя на родине, они все же жили немного лучше, чем беднейшие слои коренного населения городов. Самая страшная и скользкая пучина нищеты затягивала все больше местных жителей, чем иммигрантов. В наше время в сфере фабричного производства большинства крупных столиц все еще задействовано не так много иммигрантов.

Большинство узкоспециализированных промышленных предприятий можно было встретить в небольших по размеру, но быстрорастущих городах или даже деревнях и маленьких городиш-

ках. Здесь в основном процветали текстильные предприятия и рудники. Потребность в женщинах на подобного рода предприятиях была невелика, не считая текстильных фабрик, а на долю мужчин оставался неквалифицированный и низкооплачиваемый труд.

Те, кто пересекали границы государств и океаны, встречались с гораздо большими трудностями. Эти трудности не были связаны с незнанием иммигрантами языка тех стран, в которые они переселялись. По существу большая часть переселенцев с Британских островов не испытывала языковых трудностей. Эта проблема могла возникнуть только у тех, кто мигрировал в пределах многонациональных империй центральной и восточной Европы. Тем не менее, не принимая в расчет языковых проблем, эмиграция остро поставила вопрос о национальном самосознании (см. главу 5). Должны ли были те, кто поселялся в новой стране, рвать все связи со своей исторической родиной, а если должны, то кто захочет это сделать? Этот вопрос не возникал у тех, кто селился в колониях своих государств, кто мог продолжать оставаться англичанином или французом в Новой Зеландии или Алжире, продолжая считать своим домом страну, где он родился. Проблема касалась в основном Соединенных Штатов, которые с радостью принимали иммигрантов, но при этом заставляли их превращаться в англоговорящих жителей Америки, причем как можно скорее. Обосновывалось это тем, что любой трезвомыслящий гражданин не может не желать стать американцем. Действительно, в основном так оно и было.

Перемена гражданства совсем не означала разрыва с исторической родиной. Даже наоборот. Обычные эмигранты, сплотившиеся в незнакомом для них окружении, которое приняло их довольно холодно, и где воинствующая ксенофобия по отношению к «невеждам» была реакцией коренных американцев на приток умирающих с голода ирландских беженцев в 50-х гг., естественно, искали помощи со стороны тех, кто был к ним ближе всех — своих соплеменников. Америка, которая учила их английскому языку на примере простейших предложений: «Я слы-

шу свисток. Я должен спешить», была не обществом, а способом зарабатывать деньги*.

Иммигранты первого поколения, как бы рьяно они ни пытались приспособиться к новым условиям жизни, жили в своеобразных гетто и моральную поддержку могли получить, только опираясь на старые условия жизни, подобных себе эмигрантов и память о родине, которую они так легко предали. Недаром улыбчивые ирландцы дали возможность разбогатеть богемным чернорабочим, которые как раз собирались сделать бизнес в области современной популярной музыки в городах Соединенных Штатов. Даже процветающие нью-йоркские финансисты — евреи Гугенхаймы, Кохи, Сацы, Селихманы и Лехманы, имевшие все, что можно было купить за деньги в Соединенных Штатах, то есть практически все, не были в полном смысле американцами и не чувствовали себя так, как, скажем, Вертеймштейны в Вене, считавшие себя австрийцами, Блейкроттеры в Берлине, считавшие себя немцами, и даже многонациональные Ротшильды в Лондоне и Париже, считавшиеся англичанами и французами. Они оставались немцами и одновременно были американцами. Они учили немецкий, говорили и писали по-немецки, часто посылали своих детей учиться на бывшую родину, вступали в немецкие общества и спонсировали их^{11*}

Эмиграция подняла массу более мелких материальных проблем. Как только люди становились эмигрантами, им приходи-

* Эти предложения взяты из брошюры международной корпорации по производству уборочных машин, которая была предназначена для обучения польских работников этой корпорации английскому языку. Далее приводятся предложения из первого урока брошюры:

- «Я слышу свисток на пятиминутный перерыв»
- «Время идти в магазин»
- «Я беру чек в кассе и кладу его на прилавок»
- «Я переодеваюсь и готовлюсь к работе»
- «Звучит сигнальный свисток»
- «Я ем мой ланч»
- «До свистка есть запрещается»
- «Через пять минут звучит повторный свисток»
- «Я готовлюсь идти на работу»
- «Я работаю до сигнального свистка об окончании работы»
- «Я оставляю рабочее место чистым и убраным»
- «Я должен идти домой»^{10*}

лось решать, куда ехать и что делать. Кому-то надо было добраться в Миннесоту с отдаленного норвежского фьорда, кто-то хотел попасть в страну Великих озер, Висконсин из Померании или Бранденбурга, а кто-то стремился в Чикаго из захолустного городка в Керри. Сами по себе цены не являлись непреодолимым препятствием, хотя, конечно, условия путешествия четвертым классом через океан, особенно во времена, последовавшие за ирландским голодом, были ужасны, если не сказать — убийственны. В 1885 году пассажирский билет эмигранта из Гамбурга в Нью-Йорк стоил 7 долларов (судоходные линии из Саутгемптона в Сингапур, обслуживающие торговцев более высокого класса, снизили оплату с 110 фунтов стерлингов в 50-е годы до 68 фунтов стерлингов в 80-е годы)^{12*}

Цены за проезд были низкими не только потому, что пассажиры из низших слоев общества, по общепризнанному мнению, вряд ли нуждались в лучших условиях, чем перевозимая скотина, и, по счастью, занимали меньше места, или даже в связи с улучшением путей сообщения, но в основном по экономическим причинам. Эмигранты были выгодным грузом. Возможно, для многих из них цена билета до конечного пункта путешествия — Гавра, Бремена, Гамбурга и Ливерпуля, была гораздо выше, чем реальная стоимость путешествия через океан.

Несмотря на это, бедным не по силам было раздобыть большие суммы денег, хотя при этом им удавалось скопить немного денег и вместе с жалованьем послать их из Америки или Австралии ближайшим родственникам на бывшую родину. Эти небольшие суммы превращались в результате в большой поток денежных переводов, шедших из-за границы, так как эмигранты, не привыкшие тратить деньги в таких количествах, как это было принято в их новых странах, были рачительными экономами. Так, одни ирландцы в начале 50-х годов выслали на бывшую родину от 1 до 1,7 млн фунтов стерлингов. В тех случаях, когда родственники не могли оказать финансовую помощь, за дело брались посредники по найму рабочей силы, которым подобная помощь была финансово выгодной. Там, где, с одной стороны,

* Так, немецкий кузнец в Принстоне (Штат Висконсин) скупил все фермерские земли и продавал их в кредит иммигрантам-земледельцам^{14*}.

наблюдалась большая нехватка в рабочей силе (или земле)*, а с другой стороны, безразличие выезжающих к условиям избранной страны и огромные расстояния между этой страной и бывшей родиной, агенты и вербовщики наемных рабочих процветали.

Эти люди зарабатывали деньги тем, что направляли человеческое стадо в руки судостроительных компаний, нуждавшихся в рабочей силе, железнодорожных компаний, заинтересованных в том, чтобы заселить пустующие территории, владельцев рудников и фабрикантов железных изделий и других работодателей, которым требовалась дешевая рабочая сила. За свою посредническую деятельность они получали деньги от работодателей и гроши от потерявших надежду беспомощных женщин и мужчин, которые вынуждены были пересечь половину незнакомого континента для того только, чтобы сесть на корабль, перевозивший их через Атлантический океан: из Центральной Европы в Гавр или вдоль Северного моря и через дымные долины Пеннинских гор в Ливерпуль. Следует признать, что посредники пользовались беззащитностью, вынужденной непротивительностью людей, хотя жесткие требования контрактного труда и отработки долгов к этому времени уже ушли в прошлое, за исключением разве что индийцев и китайцев, плывших за границу работать на плантациях. (Это не означает, что не было массы наивных ирландцев, совершенно зря плативших неким «друзьям» из покинутой ими страны за привилегию устройства на работу в новом мире). В целом посредничество по найму рабочей силы процветало бесконтрольно, не считая небольшого наблюдения, установленного за условиями перевозки пассажиров на кораблях после устрашающей эпидемии конца 40-х годов. В глазах общественности это были влиятельные люди. Буржуазия середины XIX века считала, что континент перенаселен бедняками. И чем больше их уедет за границу, тем лучше будет для них самих, потому что у них появится возможность улучшить условия своей жизни, и для тех, кто остается, потому что рынок рабочей силы станет менее заполненным. Различные благотворительные об-

* Тред-юнионы (от англ. trade — профессия, ремесло и union — объединение, союз) — профсоюзы в Англии, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других англоязычных странах, в основном объединяли рабочих не по производственному признаку, а по профессиям (прим. переводчика).

щества, в том числе и тред-юнионы*, организовывали субсидирование эмигрантов из числа своих членов и клиентов как единственную практическую возможность покончить с нищетой и безработицей. А тот факт, что большинство быстроразвивающихся промышленных стран, подобно Британии и Германии, также были экспортерами людей, казалось, оправдывал это убеждение.

На самом деле, как сейчас считают, оно было ошибочным. По зрелому размышлению экономика стран, выславших людей, выиграла бы больше, используя принадлежавшую ей рабочую силу, нежели чем избавляясь от нее. Экономика стран Нового Света, наоборот, неизмеримо выиграла за счет выезда людей из Старого Света. То же можно сказать и о самих эмигрантах. Худший для них период бедности и эксплуатации в Соединенных Штатах наступил уже после рассматриваемого нами времени.

Почему люди эмигрировали? Большей частью вследствие экономических причин. Иначе говоря потому, что были бедными. Несмотря на политические гонения, наступившие после 1848 года, политические и идеологические беженцы составляли лишь небольшой процент среди общей массы эмигрантов, даже в 1849—1854 гг. Правда, одно время радикалы из числа беженцев контролировали половину немецкоязычной прессы в Соединенных Штатах и использовали ее как рупор для обвинений в адрес своей страны, поощрявшей эмиграцию^{15*}. Рядовые политические беженцы вскоре осели за границей, как и большинство неидеологических иммигрантов, направив свою революционную энергию в новое русло борьбы с рабством. Эмиграция членов религиозных сект, искавших страну, где они смогли бы свободно претворять в жизнь свои довольно странные идеи, уже не имела такого значения, как в первой половине прошлого века. Возможно, это было связано с тем, что в то время викторианские правительства довольно терпимо относились к сектантству, хотя, вероятно, и не испытывали удовольствия от посещения британских и датских мормонов, чья склонность к полигамии создавала ряд определенных проблем. Что касается Восточной Европы, то масштабная антисемитская кампания, ставшая толчком к массовой эмиграции евреев, была еще впереди.

И все-таки — почему люди эмигрировали? Чтобы избежать

нищенского существования у себя на родине или в поисках лучшей жизни за границей? По этому вопросу велись долгие и довольно безрезультатные споры. Нет сомнений в том, что чаще эмигрировали малообеспеченные слои населения и что причиной этого в основном было ухудшение условий жизни. Так, из Норвегии чаще эмигрировали ремесленники, чем фабричные рабочие, а впоследствии, когда парусные лодки сменили пароходы и быстроходные суда, к ним присоединились оставшиеся без работы моряки и рыбаки. Правда и то, что в это время сама возможность лишиться своих корней представлялась страшным и пугающим выходом для большинства людей, только какие-то чрезвычайные обстоятельства могли заставить их подняться с насиженных мест и уйти в неизвестность. Например, фермер графства Кент в своем письме из Новой Зеландии благодарил своих бывших собратьев-фермеров, которые заставили его уехать после закрытия Союза сельскохозяйственных рабочих. В эмиграции, по его словам, он устроился гораздо лучше, но если бы не это досадное происшествие, он бы сюда никогда не приехал.

Тем не менее, массовая эмиграция вошла в привычную жизнь людей, и теперь, когда любой ребенок в графстве Килдер имел какого-нибудь двоюродного брата, дядю или родного брата, уже поселившегося в Австралии или Соединенных Штатах, процесс разрыва с родиной стал обычным делом. Причиной отъезда, причем необязательно безвозвратного, мог стать простой расчет, а не какие-либо удары судьбы. Если распространялся слух, что в Австралии нашли золото, а в Соединенных Штатах пустует множество высокооплачиваемых рабочих мест, поток эмигрантов мог увеличиваться. И наоборот, процесс эмиграции затормозился после 1873 года, когда экономика Соединенных Штатов находилась в кризисе. И все же нельзя отрицать того, что первая волна эмиграции нашего времени, которая относится к 1845—1854 гг., была в основном бегством от голодной жизни и проблем перенаселения на свободные земли, большей частью из Ирландии и Германии, дававших в эти годы 80% эмигрантов, пересекавших океан.

Процесс миграции не обязательно был постоянным. Эмигранты, хотя и трудно сказать в каком количестве, мечтали о том,

чтобы скопить денег за границей и вернуться богатыми и уважаемыми в свои родные деревни. Значительное число — от 30 до 40% эмигрантов — именно так и поступали, хотя причины этого были совсем противоположными — им не по душе пришелся Новый Свет или они не могли ужиться в новой обстановке. Некоторые из них эмигрировали повторно. По мере совершенствования путей сообщения рынок рабочей силы, на котором особым спросом пользовались люди, владевшие ремеслом, расширялся до тех пор, пока не захватил весь индустриальный мир. Список лидеров британского ремесленного союза этого времени пестрит именами тех, кто выезжал на временную работу в Соединенные Штаты или какие-либо другие заморские страны, точно так же, как до этого они могли временно работать в Ньюкасле или Барроу. Теперь появилась возможность даже для временных сезонных рабочих, эмигрировавших из Италии и Ирландии в качестве сборщиков урожая или строителей железных дорог, пересекать в поисках работы океан.

Фактически расширение потока миграции было связано с тем, что в него вливались временные эмигранты — сезонные рабочие и просто бродяги. В распространении этих эмигрантов не было ничего нового. Жнецы, бродяжничавшие квалифицированные рабочие, лудильщики, уличные торговцы, каменотесы, ломовые извозчики довольно часто встречались еще до времен промышленной революции. Тем не менее быстрое и широкомасштабное распространение новой экономики неизбежно повлекло за собой спрос на рабочую силу, а значит, и появление новых типов подобных бродяг.

Возьмем, к примеру, символ индустриальной революции — железную дорогу. Посредники по найму рабочей силы, работавшие на железнодорожные компании, ездили по всему миру, а вместе с ними передвигался штат мастеровых, квалифицированных рабочих и рабочей элиты (в основном британского и ирландского происхождения). Иногда они во благо себе оседали в какой-нибудь зарубежной стране и их дети становились, например,

* На строительстве индийских железных дорог работали в основном евразийцы, дети индианок и британских рабочих, которые не столь отрицательно относились к смешанным бракам, как средние и высшие классы.

англо-аргентинцами*, а иногда они кочевали из страны в страну, подобно нефтепромышленникам наших дней, правда, их насчитывается гораздо меньшее количество. Так как строительство железных дорог велось повсюду, их владельцы не могли рассчитывать исключительно на местную рабочую силу. В результате этого возникали группы кочующих рабочих (в Британии они были известны как *pauvres*, т. е. чернорабочие). Эти группы все еще являются характерной чертой железнодорожного строительства по всему миру. В большинстве промышленных стран их набирали из представителей маргинальных и низших слоев населения, из числа тех, кто готов был выполнять тяжелую работу за хорошую плату в любых условиях, для того чтобы потом пропить ее или проиграть в карты, не думая о будущем. Ведь те же моряки всегда имели возможность наняться на другой корабль, а кочующие землекопы — принять участие в строительстве очередного грандиозного объекта, когда тот, где они работали, будет закончен. Свободные люди на задворках цивилизации, приводящие в ужас респектабельных дельцов всех мастей, мужественные герои народного фольклора, — они играли ту же роль что и моряки, что рабочие на рудниках и старатели. И хотя их зарплаты были выше, у них не было надежды на благосклонность фортуны, питавшей им подобных.

В районах с традиционно аграрным строем экономики бродячие рабочие были связующим звеном между сельской и индустриальной сферами жизни. Организованные постоянные группы или команды по типу сезонных сборщиков урожая, подчинявшиеся выбранному бригадиру, который оговаривал сроки работ и распределял полученную выручку, нищие крестьяне из Италии, Хорватии и Ирландии исколесили вдоль и поперек не один континент и даже пересекали океан, чтобы предоставить свои рабочие руки в распоряжение строителей городов, фабрик и железных дорог. На равнинах Венгрии подобного рода миграция началась с 50-х годов. Менее организованные крестьяне всегда с презрением относились к завышенным требованиям контрактов, жесткой дисциплине и послушанию этих тружеников, их готовности работать за низкую плату.

И все же будет недостаточно просто бросить взгляд на про-

цесс роста тех, кого Маркс назвал «легкой кавалерией» капитализма. Надо принять во внимание и проанализировать коренные отличия, существовавшие между самими странами, или точнее говоря, между Старым и Новым светом. Экономическая экспансия привела к повсеместному созданию «границ». В некотором смысле поселения, возникавшие в районе рудников, подобные Gelsenkirchen в Германии, население которых выросло с 3,5 тысяч человек до 96 тысяч человек в период 1858 по 1895 гг., можно назвать «Новым светом» в сравнении с Буэнос-Айресом и индустриальными центрами Пенсильвании. Что касается Старого света, то здесь потребность в кочующем населении удовлетворялась в основном за счет создания относительно немногочисленных групп временных мигрантов, если не считать крупных портов и больших городов, традиционно являвшихся центрами постоянно меняющегося населения. Возможно это было связано с тем, что жители Нового света рано или поздно оседали в месте появления какого-нибудь поселения, принадлежавшего какому-либо многофункциональному товариществу. Это чаще всего случалось в редко населенных районах или за пределами границы расселения, где существовала потребность в кочующих группах рабочих и где эти свободно передвигавшиеся труженики создавали впечатление сплоченной организации или по крайней мере были более «заметны». Старый свет кишел пастухами и каменотесами, но никто не привлекал к себе столько внимания, сколько «ковбой», хотя и их австралийские собратья — кочующие погонщики овец, и другие сельские рабочие из глубинки, тоже давали повод к появлению различных местных мифов.

II

Миграция была единственным доступным способом путешествия для бедных. Средние и богатые слои общества довольствовались туризмом. Туризм был порождением железных дорог, пароходостроения и скоростной почтовой связи, поскольку почтовая открытка, изобретение этой эпохи и до сих пор остается его неотъемлемой частью. (Почтовая связь была систематизиро-

вана с появлением Международного почтового союза в 1869 году). Бедняки, жившие в городах, путешествовали по необходимости и очень редко ради удовольствия, за исключением любителей небольших пеших походов. Автобиографии самосовершенствовавшихся бродячих мастеровых викторианской эпохи наполнены свидетельствами об их бесконечных переходах по стране. Бедняки, жившие в сельской местности, вообще не путешествовали из удовольствия, сочетая развлечения с делами на рынках и ярмарках. Аристократы, отправляясь в путешествия, руководствовались не столь банальными причинами, но этот туризм значительно отличался от того, к которому мы привыкли в наше время. Состоятельные семьи выезжали на определенное время в загородные дома, прихватив с собой целый штат слуг и повозки с багажом, — все это напоминало выступление маленькой армии. (Например, отец князя Кропоткина обычно отдавал своей жене и крепостным приказы в военном стиле). На какое-то время этим семьям требовалось осесть в центре общественной жизни, как, например, одной латиноамериканской семье, которая, по сообщению «Guide de Paris» от 1867 г., привезла с собой 18 вагонов багажа. Традиционный «Гранд-тур» молодого аристократа не имел ничего общего с туризмом в капиталистическую эпоху: их не связывал даже «Гранд-отель», который, во-первых, тогда только строился, а во-вторых, потому, что аристократ никогда бы не унизился до того, чтобы остановиться в гостинице.

Индустриальный капитализм породил две новые формы приятного путешествия — туризм или летние каникулы для буржуа и однодневный выезд за город на каком-нибудь виде транспорта для средних классов. Такие выезды были очень распространены в Британии. Оба вида путешествия появились с изобретением и распространением парового транспорта. Впервые в истории стали возможными регулярные и безопасные путешествия большого количества людей с багажом в любые районы мира, в том числе и по воде. В сравнении с дилижансами, которые легко могли быть ограблены бандитами где-нибудь в отдаленных районах, поезда были абсолютно безопасными, даже в пользующихся дурной славой областях Испании и Балкан. Исключение составлял только американский Запад.

Однодневный выезд представителей средних классов, если не считать пароходные экскурсии, был полностью порождением 50-х годов, или, говоря точнее, Всемирной выставки 1851 г., когда толпы туристов устремились в Лондон полюбоваться на обещанные чудеса. Это массовое путешествие стало возможным благодаря железной дороге, обеспечившей, помимо всего прочего, льготный проезд. Оно было организовано членами многочисленных местных обществ и сект для своих же членов. Томас Кук, чье имя в последующие 25 лет станет символом организованного туризма, начинал свою карьеру в качестве устроителя подобных экскурсий, которые он превратил в 1851 г. в широкомасштабный бизнес. Многочисленные международные выставки (см. главу 2), привлекали огромные толпы зрителей, а начавшаяся реконструкция столичных городов побуждала провинциалов к тому, чтобы собственными глазами увидеть эти чудеса. Следует еще немного остановиться на проблеме массового туризма в это время. Он все еще не выходил за рамки коротких туров, с довольно жестким по сегодняшним меркам графиком, которые привели к расцвету индустрии сувенирной продукции. Владельцы железных дорог в большинстве своем были мало заинтересованы в перевозках пассажиров третьим классом, хотя правительство вынуждало их обеспечить хотя бы установленный минимум посадочных мест. Только после 1872 года массовые перевозки стали приносить железнодорожным компаниям 50% от общей прибыли, и как только передвижение в поездах третьим классом стало широко доступным, отпала необходимость в организации специальных экскурсионных поездов.

Средний класс относился к путешествиям со всей серьезностью. Самым распространенным видом путешествий был семейный выезд на летние каникулы, а самые богатые и заевшиеся отправлялись поправлять свое здоровье на воды. На конец XIX века приходится расцвет водных курортов, расположившихся на британском побережье и в горах в глубине континента. (Хотя Биарриц был модным курортом уже в 1860 году благодаря покровительству Наполеона III, а художники-импрессионисты проявляли явный интерес к пляжам Нормандии, буржуазия центральных частей Европы все еще настороженно относилась к со-

ленной воде и солнечным ваннам). К середине 60-х годов у средних классов уже вошло в привычку выезжать в период отпуска на море, что неожиданно сыграло на руку землевладельцам, которые, воспользовавшись любовью публики к вечерним променадам по морскому побережью, обустроили пляжи и стали получать приличный доход от ранее нерентабельных участков скалистой земли и побережья. Подобный отдых был прерогативой средних слоев общества. Курорты для рабочих не имели столь важного значения, до 80-х годов, и представители аристократии и мелкопоместного дворянства вряд ли сочли бы пребывание в Борнмуте (где оказался французский поэт Верлен) или в Вентноре (где совершали прогулки Карл Маркс и Тургенев) подходящим времяпрепровождением на период отпуска.

Континентальные курорты, среди которых британские пользовались особой популярностью, были гораздо более модными и поэтому здесь можно было встретить фешенебельные гостиницы и развлечения, рассчитанные на состоятельных клиентов, как, например, казино и публичные дома самого высокого класса. Виши, Спа, Баден-Баден, Э-ле-Бен, и, помимо них, огромные международные курорты, принадлежавшие монархам из династии Габсбургов — Гаштайн, Мариенбад, Карлсбад, были для Европы XIX века тем же, что и Бат для Англии XVIII века. Это были места сбора фешенебельной публики, оправдывавшей свое пребывание здесь питьем противной минеральной воды из источников или погружением в ванны с непонятной жидкостью под присмотром благожелательного врача*. Тем не менее больная печень была весомым аргументом, и минеральные источники притягивали к себе как магнитом богачей неаристократического происхождения и представителей средних классов, чья любовь к обильной еде и питью усугублялась принадлежностью к процветающей прослойке общества. В конце концов доктор Кугельман

* Статус курорта определялся той ролью, которую он играл в дипломатической жизни страны этого времени. Так, например, Наполеон III встретился с Бисмарком в Биаррице, а с Кавуром — в Пломбьере. Конвенция была подписана в Гаштайне. Это были первые ласточки многочисленных дипломатических конференций, проводившихся во второй половине XIX века где-нибудь на озере или на Ривьере между 1890 и 1910 годами.

рекомендовал лечение в Карлсбаде такому несколько нетипичному представителю средних классов, как Карл Маркс, который, боясь быть узнанным, зарегистрировался как «неофициальное частное лицо», пока не обнаружил, что оставаясь доктором Марксом, он мог бы сэкономить в дорогостоящем «Куртаксе» кучу денег^{16*} В 40-е годы некоторые подобные курорты возникли из деревень. Еще в 1858 году в путеводителе Мюррея Мариенбад описывался как «сравнительно недавно возникший курорт», а по поводу Гаштайна говорилось, что в нем всего 200 гостиничных мест. А в 60-х годах это были уже процветающие курорты.

Sommerfrische и Kurort существовали для средних буржуа. Традиционалисты во Франции и Италии до сих пор считают, что ежегодная эпидемия болезней печени была буржуазным изобретением. Ехать за мягким ласковым солнцем можно было, скажем, зимой на Средиземное море. Лазурный берег был открытием лорда Брогхэма, политика-радикала, чье каменное изваяние до сих пор возвышается над Каном. Несмотря на то, что русские аристократы и дворяне были здесь самыми прибыльными посетителями, сохранившаяся в Ницце надпись «Английский бульвар» указывает на то, кто был первооткрывателем этого прибежища для любителей тратить деньги. «Отель де Пари» был построен в Монте-Карло в 1886 году. После открытия Суэцкого канала и особенно после того, как была проложена железная дорога, тянувшаяся до берегов Нила, Египет стал местом отдыха для тех, кому была противопоказана сырая северная осень и зима. Здесь удачно соединились преимущества климата, экзотика, памятники древних культур и пока еще неофициальное европейское господство. Неутомимый Бедейкер выпустил свой первый путеводитель по этой стране в 1877 году.

Если бы вы поехали летом на Средиземное море разве что только полюбоваться памятниками искусства и архитектуры, тогда бы вас сочли еще не вполне сумасшедшим. Только XX век, с его поклонением солнечным ваннам и загорелой коже, сделал возможным такие путешествия. Лишь несколько мест на карте, например, Неаполитанская бухта и остров Капри, пользовавшиеся покровительством русской императрицы, были признаны подходящими местами для жаркого сезона. Умеренные цены 70-х го-

дов говорят о том, что туризм находился на начальной стадии своего развития. Богатые американцы, независимо от того, больные или здоровые, а еще точнее — их жены и дочери — проложили туристические пути в центры европейской культуры. Впрочем, уже к концу рассматриваемого периода относятся первые образцы построек летних резиденций для миллионеров, которые создавались по специальным заказам. Они разместились вдоль побережья Новой Англии. Богатые люди в тропических странах предпочитали строиться в горах.

Мы должны провести различие между двумя видами отдыха: длительным зимним или летним выездом и обычным туром, который со временем стал практичной и быстрой формой отдыха. Как всегда, самым большим спросом пользовались романтические пейзажи и памятники культуры, но к 60-м годам британцы (и здесь, как всегда, первые) направили свою страсть к физическим упражнениям в горы Швейцарии, где впоследствии они организовали лыжный туризм. Альпийский Клуб был основан в 1858 году, а в 1865 году Эдуард Вимпер покорил вершину Маттерхорна. По непонятным причинам, такой активный отдых в живописном окружении пришелся по душе англосаксонским интеллектуалам и либеральным преподавателям (возможно, не последнюю роль в этом сыграла сплоченная компания крепких и статных местных гидов). Теперь альпинизм наряду с долгими прогулками по сельской местности стал неотъемлемой частью жизни профессоров Кембриджа, высших государственных чиновников, школьных учителей, философов и экономистов. Что касается менее активного отдыха, то разработку туристических маршрутов взял на себя Томас Кук и солидные путеводители, вышедшие в это время, причем первый в этом роде «Путеводитель Мюррея» вскоре заслонил многотомные издания для туристов, эти немецкие «бедеккеры», изданные на нескольких языках. Туристические поездки обходились недешево. В начале 70-х годов шестинедельный тур для двух человек по маршруту Лондон-Рейнская долина (через Бельгию), Швейцария — Франция, пожалуй, самый стандартный для того времени туристический маршрут стоил около 85 фунтов стерлингов, что составляло примерно двадцать процентов от дохода человека, зарабатывавшего 8 фунтов

стерлингов в неделю. Это была зарплата преуспевающего государственного служащего^{17*}, в то время как для высокооплачиваемого квалифицированного британского рабочего такая сумма равнялась 3/4 годового дохода. Очевидно, что железнодорожные компании, гостиницы и путеводители предназначались для неприхотливых туристов среднего класса. Эти туристы, безусловно, принадлежали к числу тех, кто мог пожаловаться, что цены на немеблированный домик в Ницце выросли в период 1858—1876 гг. с 64 до 100 фунтов стерлингов в год, а оплата прислуги — с 8—10 фунтов стерлингов до невероятно высокой — 24—30 фунтов стерлингов в год^{18*}. Но одновременно это были туристы, которые просто-напросто могли себе позволить заплатить эти деньги.

Можно ли на основании сказанного сделать вывод, что мир 70-х представлял из себя сплошной поток мигрирующих, переезжающих с места на место и путешествующих людей? Увлекаясь, можно забыть о том, что большинство из них работали на земле и оставались жить и умирать там, где они родились, а число переезжавших было не больше, чем в доиндустриальную эпоху. Большинство людей в мире следовали примеру французов, 88 % которых в 1861 году остались жить в месте своего рождения, например, в департаменте Ло — 97 % населения, а не примеру мигрирующих народностей^{19*}. И все же люди покидали обжитые места, привыкали к нормам жизни, которые были невозможны для их отцов и о которых они даже не подозревали. К концу рассматриваемого периода иммигранты составляли количественное большинство не только в таких странах, как Австралия и в городах, подобных Нью-Йорку и Чикаго, но и в Стокгольме, Христиании (современный Осло), Будапеште, Берлине, Риме (от 55 до 65 %), Париже и Вене (около 65 %)^{20*}. Большие города и новые промышленные районы были подобны магнитам, притягивающим людей. Какая жизнь их там ожидала?

ГЛАВА 12

ГОРОДА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС

*Сегодня наш пекарь хлеб белый печет
Включая и пар, и турбины.
А завтра его и запихивать в рот
Нам умные будут машины.*

*Два кладбища есть в Тратенау моем,
И разных людей там хоронят.
На этом ты свете живешь, иль на том:
Богатому нищий — не ровня.*

Trautenau Wochenblatt, 1869^{1*}

В прежние времена, если бы кто-нибудь назвал квалифицированного мастера «рабочим», ему пришлось бы поплатиться за свои слова... Но сейчас мастерам внушили, что они высшая прослойка рабочего класса, и они все настаивают на том, чтобы их считали рабочими.

М. Мэй, 1848^{2*}

Проблема нищеты — это проблема смерти, болезни, зимы и страха перед другими погодными условиями. И ни от одной из этих проблем я не знаю как можно было бы избавиться.

У Теккерей, 1848^{3*}

Очевидно, что новые мигранты, новые поколения людей призваны были жить в индустриальном мире. Но достаточно ли сказанного, чтобы понять, что в действительности представлял из себя этот мир?

Прежде всего, это был мир не просто фабрик, служащих и пролетариев, а мир, преобразующийся под воздействием индустриального сектора. Но какими бы кардинальными ни были изменения, вызванные развитием промышленности и урбанизацией, сами по себе они не являлись прямым порождением капита-

лизма. В 1866 г. в Рейхейберхе, центре текстильной промышленности Богемии, половина выпускаемой продукции производилась на станках ткачей-ремесленников, хотя к этому времени они в основном зависели от нескольких крупных фабрик. Конечно, этот центр нельзя было назвать промышленно развитым в сравнении с, например, Ланкаширом, где последние ткачи окончательно растворились в массе фабричных служащих еще в 50-е годы. Но нельзя и утверждать обратное — что он не являлся промышленным. Во время сахарного бума в начале 70-х годов на чешских сахароперерабатывающих заводах было занято 40 тысяч рабочих. Но о все возрастающем значении новой, сахарной промышленности свидетельствует не этот факт, а тот, что в Богемии количество площадей, занятых под сахарную свеклу, увеличилось более чем в 20 раз, в период с 1858—1854 гг. (4 800 га) по 1872—1873 гг. (123 800 га). Гораздо важнее знать, что число пассажиров британской железной дороги увеличилось почти в два раза с 1848 по 1854 гг. — приблизительно с 58 до 108 млн человек, а доход железнодорожных компаний соответственно возрос в 2,5 раза, — чем точный процент промышленных товаров и рабочих командировок, которые скрываются за этими цифрами.

И все же, работа на предприятиях в ее характерной форме и урбанизация, т. е. жизнь в быстрорастущих городах были, пожалуй, наиболее драматичными сторонами новой жизни. Новой потому, что даже те, кто оставался на прежнем месте работы, не избежали влияния далекоидущих перемен. Через несколько лет после рассматриваемого нами времени, в 1887 г., немецкий профессор Фердинанд Тоэннис (Toennies) сформулировал основное различие между *Gemeinschaft* (общиной) и *Gesellschaft* (обществом индивидуалистов), двумя проявлениями одного целого, с которыми сегодня знаком любой студент-социолог. Это различие было подмечено в выводах других его современников, и, используя соответствующую терминологию, заключалось в том, что разделяло «традиционалистское» и «современное» общества. К примеру, формула общественного прогресса Генри Майна (Maine) гласила: «от положения в обществе к контракту». Вопрос в том, что Тоэннис в своем анализе опирался не на различия, существовавшие между крестьянской общиной и урбанизированным обще-

ством, а на различия между городом старого образца и капиталистическим городом, «в основном коммерческим, а поскольку коммерция превалировала над производительным трудом — городом-факторией»^{5*} Эта новая среда обитания и ее структура являются предметом рассмотрения этой главы.

Город действительно стал наглядным символом индустриального мира, не считая другого символа — железных дорог. С 1850 года процесс урбанизации пошел ускоренными темпами. В первой половине века уровень урбанизации в Британии равнялся 0,20 пунктам*, ненамного уступала ей Бельгия. С 1850 по 1890 годы даже Австро-Венгрия, Норвегия и Ирландия держались по проценту урбанизации на этом уровне; Бельгия и Соединенные Штаты Америки достигли 0,30—0,40 пунктов, Пруссия, Австралия и Аргентина — 0,40—0,50; Англия и Уэльс, все еще идущие несколько впереди, и Саксония — 0,50 пунктов в год. Заявить, что процесс концентрации людей в городах стал «самым значимым социальным феноменом нашего века»^{7*}, значит утверждать очевидное. По сегодняшним меркам урбанизация в это время все еще не являлась столь широкомасштабной — к концу века не многим более десятка стран догнали по уровню концентрации населения в городах Англию и Уэльс 1801 года. Все остальные страны (за исключением Шотландии и Нидерландов) достигли этого уровня только после 1850 года.

Типичный промышленный город этого времени был городом средних размеров, хотя в Центральной и Восточной Европе некоторые столичные города (считавшиеся очень большими) стали важнейшими центрами мануфактурного производства, как, например, Берлин, Вена и Санкт-Петербург. В Олдене в 1871 году насчитывалось 83 тыс. жителей, в Бармене — 75 тыс., в Рубе — 65 тыс. Прежде старые города доиндустриальной эпохи редко брались за выпуск новых видов продукции, поэтому типичный новый индустриальный район обычно представлял собой растущий в нескольких направлениях организм: отдельные деревни вырастали в небольшие города, а небольшие прежде города пре-

* Эти цифры отражают изменения процентного соотношения городских жителей за период, прошедший между двумя переписями населения, поделенные на количество лет^{6*}.

вращались в более крупные. Эти районы не были похожи на огромные, фундаментальные, густозастроенные районы XIX века, хотя фабричные трубы, выстроившиеся в долинах рек и по сторонам железных дорог, монотонная безликость типичных строений и покрывающая все это завеса дыма придавали им некоторое сходство с современными. Часть жителей все еще обитала далеко за пределами этой территории. До 70-х годов крупные промышленные центры западной Германии, такие как Кельн и Дюссельдорф, кормились за счет крестьян близлежащих районов, которые каждую неделю привозили продукты на местный рынок^{8*} В каком-то смысле одной из шокирующих сторон индустриализации стал резкий контраст между черными, скучными и людными поселениями и соседствующими с ними бок о бок разноцветными фермами и живописными холмами, как, например в Шеффилде, где «шумное, дымное, отвратительное... было окружено со всех сторон самым очаровательным деревенским пейзажем из всех что можно встретить на этой планете»^{9*}

Именно это давало возможность рабочим, хотя все в меньшей и меньшей степени, оставаться в новых промышленных районах наполовину сельскими жителями. Вплоть до 1900 года бельгийские рудокопы брали в определенный сезон отпуска (это было время «картофельных бунтов») для того, чтобы присмотреть за своими земельными участками. Даже в Северной Англии городской житель, оставшийся без работы, мог легко наняться летом на близлежащую ферму: бастующие ткачи в Падигэме (Ланкашир) в 1859 году зарабатывали на жизнь, устроившись косарями на фермах^{10*} Огромные города — для того времени это поселения до 200 тыс. человек или столичный город с населением немногим более полумиллиона человек, которых к тому времени было не столь много*, являлись не столько центрами индустрии

* В середине 70-х считалось, что в Европе есть всего четыре города с населением более миллиона человек (Лондон, Париж, Берлин, Вена), шесть городов с населением более полумиллиона (Санкт-Петербург, Константинополь, Москва, Глазго, Ливерпуль, Манчестер), и двадцать пять городов, с количеством жителей, превышающим 200 тыс. Из них 5 находилось в Соединенном Королевстве, по 4 в Германии и Италии, 3 во Франции, 2 в Испании и по одному в Дании, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, России, Польше, Румынии и Португалии. В 41 городе население составляло 100 тыс. человек: девять из них находились в Соединенном Королевстве, восемь — в Германии.

(хотя в них могло находиться несколько фабрик), сколько центрами транспортных линий, торговли, администрации и большого количества услуг. Появление различных бытовых услуг было обусловлено большим скоплением народа, и они в свою очередь, задействовали немало людей. Большинство жителей городов были рабочими различных специальностей. В это число входил большой процент домашней прислуги — каждый пятый лондонец в 1851 году был занят в этой области, хотя в сравнении с Парижем их количество было небольшим^{12*} И все же эти цифры сами по себе свидетельствуют о существовании довольно большой прослойки представителей среднего и низшего классов общества, в Лондоне и Париже — от 20 до 23 %.

Подобные города росли с невероятной быстротой. Население Вены увеличилось в 1880 году с 400 тыс. до 700 тыс. человек, Берлина — с 378 тыс. (1849 год) до миллиона (1875 год), Парижа — с 1 млн до 1,9 млн человек, Лондона — с 2,5 млн до 3,9 млн (с 1851 по 1881 годы). Впрочем, эти цифры бледнеют на фоне каких-нибудь заокеанских городов наподобие Чикаго и Мельбурна. Менялась форма, внешний вид и структура городов. Это происходило как вследствие появления зданий особого назначения и перепланировки городов (в основном Парижа и Вены), так и в результате разрастания жадных до прибыли предприятий. Большинство населения далеко не радовало присутствие в городах нищих, но одновременно все осознавали прискорбную необходимость существования этой прослойки.

Для архитекторов городов нищие являлись общественной угрозой. Планировавшиеся широкие авеню и бульвары должны были пройти через места обитания городской нищеты, что, естественно, заставило бы их покинуть эти районы, которые в свою очередь можно было расчистить и сделать приличными и не столь опасными городскими территориями. Схожие взгляды на проблему выражали и владельцы железнодорожных компаний. Прокладывая линии железных дорог к центру городов, они старались, чтобы те проходили через городские трущобы, где цены на дома были ниже, а на протесты жителей можно было бы не обращать внимания. Для строительных компаний и торговцев недвижимостью бедняки являлись невыгодным рынком в сравне-

нии с теми доходами, которые приносили им новые торговые кварталы, солидные дома и апартаменты для средних классов и разраставшиеся предместья. С тех пор, как богатые хозяева жизни запретили своим нищим собратьям селиться в центральных районах городов, строительством жилищ для бедняков занялись нечистые на руку строители, чаще всего обычные ремесленники и создатели тех мрачных, переполненных многоквартирных домов, которые на немецком языке называли «доходными бараками» (Mietskasernen). Три четверти квартир, построенных в Глазго с 1866 по 1874 гг., были одно- и двухкомнатными, но и те вскоре оказались перенаселенными.

Сказать «город середины XIX века» — это все равно что другими словами сказать «перенаселенный» город и «трущобы». Причем чем больше он разрастался, тем больше становился перенаселенным. Несмотря на санитарные реформы и пусть недостаточное, но планирование, перенаселение городов увеличивалось, проблемы болезней и смертности не только не исчезали, но наоборот, обострялись. Основные улучшения в этой области произойдут уже после рассматриваемого нами периода. Города продолжали поглощать людскую массу, и пионер индустриальной эпохи — Британия — была на пороге того, чтобы сохранять определенное количество населения без постоянных болезненных приливов иммигрантов.

Вряд ли желание удовлетворить нужды бедняков привело бы к увеличению числа лондонских архитекторов в два раза за 20 лет (с тысячи человек до двух тысяч — в 30-е годы их, возможно, было даже меньше тысячи), хотя строительство и аренда недвижимости в трущобах могли принести немалую прибыль, судя по доходам с кубического фута дешевой жилой площади. В действительности бум в сфере архитектуры и строительства принял такие масштабы, потому что никакая сила в мире не могла изменить течение денежного потока и направить его от того, что «The Builder» назвал в 1848 году «одной половиной мира... стоящей на страже инвестиций» к «другой половине, пребывающей в постоянных поисках постоянного места жительства для своих семей»^{14*}, на нужды городской бедноты, которая явно осталась на обочине капиталистического мира. Третья четверть XIX века стала пер-

вой в мире эпохой городской недвижимости и строительной лихорадки класса буржуазии. История этой эпохи описана в романах Золя⁵². Она отмечена взлетом цен на дома в престижных районах городов, появлением лифтов и строительством в 80-х годах первых небоскребов в Соединенных Штатах. Следует заметить, что когда манхэттенский бизнес вырос таким образом до небес, Ист-Сайд в Нью-Йорке, район для бедняков, стал пожалуй, самым перенаселенным районом трущоб в западном мире, около 520 человек на акре земли. Для них никто не строил небоскребов, возможно, что и к счастью.

Парадоксально, но чем больше разрастался и процветал средний класс, направляя денежный поток на строительство своих домов, офисов и универсальных магазинов, ставших характерной чертой эпохи, тем меньше денег шло на поддержание рабочих кварталов, если не считать общепринятых расходов на уборку улиц, освещение и места общественного пользования. Единственными частными заведениями, работающими на нужды людей, помимо рынков и маленьких магазинов, были таверны. В Британии 60-х и 70-х их называли «дворцами джина». Одновременно появились и собраты таверн — театры и мюзик-холлы. Ведь по мере того, как люди привыкали к городской жизни, прежние привычки и нормы жизни, шедшие от деревенского, доиндустриального прошлого, оказывались неуместными и неприемлемыми в новом мире.

II

Большие города были настоящим чудом, хотя в них проживала меньшая часть населения. Промышленные предприятия еще не приобрели большого значения. И действительно, по современным стандартам эти предприятия не поражали своими большими размерами, хотя и имели тенденцию к росту. В 50-е годы фабрика в Британии, на которой работало 300 человек, все еще могла считаться очень большой. На британской текстильной фабрике средних размеров было занято около 180 человек, а на среднем заводе, производящем промышленные механизмы — 85 че-

ловек^{15*} Правда, предприятия тяжелой промышленности, ставшие характерным символом эпохи, были гораздо больше. Причем намечалась тенденция к концентрации капитала, державшего под контролем целые города и регионы, и мобилизации под крышей этих предприятий, огромной армии рабочей силы.

Железнодорожные компании были огромными строительными предприятиями, даже если существовали на условиях конкурентоспособных свободных предприятий. Впрочем, это случалось крайне редко. К рассматриваемому времени — конец 60-х годов — британская система железнодорожных компаний сформировалась окончательно: каждый фут железнодорожных путей, на территории между шотландской границей, Пеннинским хребтом, морем и рекой Хамбер находился под контролем Северо-Восточной железнодорожной компании. Шахты были по преимуществу все еще частными предприятиями, иногда небольшими по размеру. Число погибших шахтеров во время неожиданных происшествий дает представление о масштабах угледобывающей промышленности: 145 человек погибло в Риске в 1860 г., 178 — в Ферндейле (Южный Уэльс) в 1867 г., 140 — в Суэйте (Йоркшир) и 110 в Монсе (Бельгия) в 1875 г., 200 — в Хайблентире (Шотландия) в 1877 г. А впрочем, комбинация вертикальных и горизонтальных креплений, получивших широкое распространение, особенно в Германии, помогала выжить этой огромной промышленной империи, которая несла ответственность за жизни тысяч людей. Концерн, известный с 1873 г. как Gutehoffnungshütte A. G. не относившийся к числу самых крупных в Руре, расширил свою деятельность за счет перехода от литья чугуна к разработке каменных карьеров и добыче железной руды и угля. Этот концерн добывал, все 215 тысяч тонн необходимой железной руды и половину от требуемых 415 тысяч тонн угля. Кроме того, концерн занялся транспортным бизнесом, металлопрокатом, строительством мостов, кораблей и промышленных машин^{16*}

Совсем не удивительно, что число рабочих на заводах Круппа в Эссене выросло с 72 человек в 1848 г. до 12 тысяч человек в 1873 г. или что во Франции на предприятиях Шнейдера эта же цифра возросла соответственно до 12 500 человек в 1870 г. Получилось так, что более половины населения города Ле Крезе рабо-

тало на обслуживании городских доменных печей, в металлопрокатных цехах, в машиностроительных мастерских и на обслуживании паровых молотов^{17*} Тяжелая промышленность породила не столько промышленные районы сами по себе, сколько города-компании, в которых судьба мужчин и женщин зависела от удачи и расположения одного хозяина, за спиной которого стояли закон и государственная власть и который расценивал свои полномочия как необходимые и благотворные*.

Но на самом деле предприятиями руководили не бесплотные власти «компаний», а разного пошиба «мастера», и даже сама компания отождествлялась скорее с ними, чем с советом директоров. В сознании большинства людей, да и в действительности, капитализм все еще оставался предпринимательской деятельностью одного человека, или, в крайнем случае, семьи. И все же этот факт породил две серьезные проблемы в области организации предприятий. Они были связаны с вложением капиталов, с одной стороны, и управлением предприятий — с другой.

В основном все типичные, промышленные предприятия первой половины века финансировались частными лицами, то есть за счет сбережений отдельных семей, а затем расширялись благодаря повторному инвестированию. Правда, часто это означало, что фирмам, распределившим таким образом свой капитал, приходилось при проведении собственных операций рассчитывать на кредиты. Но укрупнение предприятий, подобных железнодорожным и металлургическим концернам, требовавших изначальных крупных инвестиций, делало эту задачу довольно сложной, особенно в тех странах, где процесс индустриализации только начинался и где ощущалась нехватка накоплений частного капитала. В некоторых странах подобные резервы капитала были уже сформированы, причем в количестве, достаточном не только для

* Пункт 414-й французского уголовного кодекса, принятого в 1864 году, предусматривал наказание за попытку прекращения или за коллективное прекращение работы с целью повышения или понижения заработной платы, либо за любое вмешательство в трудовой процесс посредством насилия, угроз или обмана. Даже в тех странах, где это не было предусмотрено законом, как, например, в Италии, подобный подход отражал всеобщее отношение к проблеме^{18*}.

удовлетворения нужд самих стран, но и для того, чтобы быть вложенными (за подходящую процентную ставку) в экономику других стран мира. Британия вкладывала капитал в иностранную экономику в количестве большем, чем когда-либо прежде или даже после того. То же можно сказать и о Франции, которая занималась иностранными инвестициями иногда в ущерб своим промышленным предприятиям, развивавшимся гораздо медленнее иностранных. Но даже в Британии и Франции приходилось изобретать способы мобилизации частных сбережений и направлять их в русло инвестирования нужных предприятий и создания совместных компаний вместо частных.

Третья четверть XIX века была, таким образом, плодотворным временем для экспериментов в области мобилизации капитала на промышленное развитие. За весомым исключением Британии, большинство капиталов шло через банки, либо прямо, либо посредством модной в то время службы «*credit mobilier*» — своего рода финансовой компании, которая считала обычные банки малоинтересованными в инвестициях в промышленность и соперничала с ними в этом. Братья Перье, эти промышленники, вдохновляемые воззрениями Сен-Симона и опирающиеся в некотором роде на идеи Наполеона III, создали модель этих операций. Они первоначально распространили ее по всему миру, соревнуясь со своими жестокими конкурентами Ротшильдами, которые недолюбливали саму идею, но были вынуждены следовать их примеру и, как обычно происходит в период финансовых бумов, когда финансисты чувствуют себя на гребне волны и деньги стекаются к ним в большом количестве — схему широко перенимали во многих странах (особенно в Германии). «*Credits mobiliers*» были повальным увлечением по крайней мере до тех пор, пока Ротшильды не выиграли битву с Перье и — как это часто происходит в период бумов — некоторые дельцы зашли слишком далеко за всегда нечеткую границу, разделявшую предпринимательский оптимизм и обыкновенное мошенничество. Одновременно развивалось множество других финансовых схем, имевших целью ту же мобилизацию капитала. — например, инвестиционные банки (или *banque d'affaires*) и, конечно, биржи, которые к этому времени торговали в основном акциями промышленных

предприятий и транспортных компаний и процветали, как никогда прежде. В 1856 г. парижская Биржа внесла в свой реестр акции 33 железнодорожных и каналостроительных компаний, 38 рудников, 22 металлургические компании, 11 портов и судостроительных компаний, 7 компаний по производству транспорта, 11 газовых компаний и 42 различных предприятия — от текстильных фабрик до заводов по производству оцинкованного железа и резины на общую сумму 5,5 млн золотых франков, что было гораздо больше четверти всех выставленных на торги ценных бумаг.

Насколько необходимы были эти новые способы мобилизации капитала? Насколько они были эффективными? Промышленники никогда не жаловали финансистов, и те из них, кто уже твердо стоял на ногах, старались как можно меньше иметь дело с банкирами. «Лилль, — писал в 1869 г. местный обозреватель, — не является капиталистическим городом, это прежде всего значительный, огромный промышленный и коммерческий центр»^{20*} где люди вкладывают заработанные деньги в дело, стараясь не транжирить их. Они надеялись, что им никогда не придется занимать. Ни один промышленник не согласился бы сдать на милость кредиторам. И все же им приходилось это делать. Крупная начала так быстро набирать обороты с 1853 по 1866 гг., что скоро оказался без денег. Существует исторически проверенная точка зрения, что чем более отсталой была экономика страны и чем позже начинался в ней процесс индустриализации, тем большие надежды возлагались на широкомасштабные методы мобилизации капитала и использование сбережений. В развитых западных странах частный капитал и рынок капитала были вполне достаточными. В центральной Европе банкам и сходным с ними финансовым компаниям как «двигателям» истории приходилось работать, координируя свои действия друг с другом. Дальше на восток, юг и за море функции координатора брали на себя правительства, которые с помощью иностранных инвестиций либо пытались сохранить весь капитал, либо, что случалось гораздо чаще, следили за тем, чтобы инвесторы получали дивиденды — или по крайней мере думали, что они их получают. Гарантия дивидендов была единственной возможностью привлечь деньги

инвесторов. Иногда правительства сами брались руководить финансовыми операциями. Можно оспаривать справедливость этой теории, но нельзя оспаривать тот факт, что в рассматриваемый период банки (и сходные с ними учреждения) играли гораздо более важную роль в качестве организаторов и катализаторов развития промышленности в Германии, новичке индустриального мира, чем за океаном. Остается спорным вопрос, насколько важны они были для промышленности, как, например, *credits mobiliers*, и насколько хорошо они в ней ориентировались? Вероятно, они не были крупными специалистами в этой области до тех пор, пока известные промышленники, осознав необходимость создания более продуманной системы финансирования, чем та, что существовала в старые добрые времена, не подчинили своему влиянию крупные банки. Так произошло в Германии после 1870 года.

Финансы не оказывали заметного влияния на предпринимательскую деятельность, хотя могли изменить политику предпринимательства. Гораздо более сложной была проблема управления. Для предприятий, находящихся в частном, индивидуальном или семейном владении, патриархальная семейная автократия становилась помехой на пути промышленного развития второй половины XIX века. «Лучше всего отдавать устные распоряжения, гласил немецкий справочник 1868 года. — Пусть это делает сам владелец предприятия, всевидящий, вездесущий, всегда нужный, чьи приказы подкреплены личным примером, который постоянно перед глазами его рабочих»^{21*} Этот совет, подходящий для небольших мастерских и фирм, еще мог иметь смысл в сравнительно небольших бухгалтериях даже крупных банкиров и торговцев, и поскольку «приказы» были важным процессом элемента управления — он оставался в силе во многих новых промышленных странах. Были люди, владевшие основами ремесленного мастерства (особенно в сфере металлообработки), которым приходилось обучаться для того, чтобы приобрести статус квалифицированного рабочего. Большинство квалифицированных рабочих фабричных предприятий Круппа, да и практически всех немецких машиностроительных предприятий, судя по всему, именно таким образом приобретали навыки работы. Только в Британии работодатели могли спокойно положиться на гото-

вую резервную армию квалифицированных рабочих, чаще всего самостоятельно получавших квалификацию и имевших опыт работы в сфере промышленного производства. Отечественное наставничество, процветавшее на большинстве промышленных предприятий континента, в какой-то мере привело к тому, что долгое время рабочие поддерживали связь с фирмой, в которой, как зачастую случалось, они вырастали и от которой зависели. Впрочем, от владельцев железных дорог, рудников и металлургических заводов вряд ли можно было ожидать того, что они будут все время по-отечески стоять за спиной каждого рабочего, и они, естественно, этого и не делали.

Альтернативой и дополнением к распоряжениям были приказы. Но здесь ни фамильная автократия, ни мелкие финансовые сделки ремесленников и торговцев не могли представить поведенческой модели для действительно крупных капиталистических предприятий. Поэтому парадоксальным образом частные предприятия в период, когда ничто не препятствовало их росту и развитию, следовали самым доступным для них моделям широкомасштабного управления — военной и бюрократической. Самый яркий тому пример — железнодорожные компании с их иерархией, дисциплинированной и одетой по форме рабочей силой. Здесь рабочие были застрахованы от потери рабочих мест, часто получали повышение в должности и даже пенсии. Руководители и администраторы первых железнодорожных компаний часто прибегали к использованию в своей работе военных званий. Но это не означало, что они готовы были перенять иерархию солдатских и офицерских званий только из-за ее четкой структуры, просто частные предприятия еще не создали специфической формы управления большим бизнесом. С организационной точки зрения в этом были большие преимущества. И все же подобный подход не решал главной проблемы — как лояльно и настойчиво заставить людей на себя работать. Все это было очень хорошо для стран, где униформа была в моде, чего нельзя сказать о Британии и Соединенных Штатах. За исключением этих двух стран, рабочим обычно удавалось внушить солдатские качества, из которых очень малое количество хорошо оплачивалось.

Фабричной армии солдат —
Под флагом я стою.
Чтоб край родимый был богат,
тружусь и песнь пою:
«Я за станком — как на войне,
Но ясно уж давно,
Что счастье лишь в таком труде
мне обрести дано»

Так пел один рифмоплет из Лилля, но даже здесь патриотизма было явно недостаточно.

Эпоха капитала так и не нашла решения этой проблемы. Буржуазия настойчиво требовала от рабочих лояльности, дисциплины и скромного довольства, но это не могло скрыть ее действительного взгляда на то, что сможет заставить рабочих трудиться по-другому. Что же представляли из себя эти рабочие? Теоретически они должны были работать во имя того, чтобы как можно скорее покинуть ряды рабочих и влиться в ряды буржуазии. Об этом говорил «Е. Б.» в своей «Песне для английских рабочих» в 1867 г.:

Работайте, парни, трудитесь,
Хоть вам тяжело, как в аду.
А кончив свой труд — веселитесь —
смогли же купить вы еду.

Кто лишь на себя положился,
Тот спутник удаче своей.
Трудясь, он деньгами разжился,
и смотрит на мир веселей.

Вполне возможно, что этой надеждой жили как те, кто действительно смог подняться из среды рабочих, так и гораздо большее число тех, кто не пошел дальше мечты о карьере, о которой они читали в руководстве Самюэля Смайлза «Помоги себе сам» (1859 г.) и других подобных изданиях. И тем не менее было очевидно, что большинство рабочих так и останутся рабочими на всю жизнь и что это выгодно для экономики страны. Обещания фельдмаршальского жезла, лежащего в ранце каждого солдата⁵³, вовсе не означало существования широкомасштабной программы по продвижению в фельдмаршалы каждого «солдата».

Если продвижение по службе не могло стать стимулом для работы, могли ли эту функцию взять на себя деньги? Но ведь это было своеобразной аксиомой для работодателей середины XIX века, что зарплаты должны быть как можно ниже, хотя некоторые, самые умные из них, имевшие опыт международного предпринимательства, как, например, Томас Брессей, владелец компании по строительству железных дорог, стали обращать внимание руководителей на то, что труд высокооплачиваемого британского рабочего фактически стоил дешевле, чем труд баснословно много получавших кули, так как производительность рабочего была намного выше. Но подобные парадоксы не могли убедить в обратном предпринимателей, воспитанных на теории «фонда заработной платы», которую они считали научным подтверждением невозможности повышения заработной платы и вследствие чего профсоюзная деятельность была обречена на провал. Около 1870 года «наука» стала более гибкой, когда организованный труд начал завоевывать главные роли в театре под названием «индустрия», где ранее он мог лишь незаметно мелькнуть в сцене массовки. Ученый муж экономической науки Джон Стюарт Милль (1806—1873 гг.) (лично симпатизировал рабочему классу) изменил свою позицию по этому вопросу в 1869 году, после чего теория «фонда заработной платы» перестала быть всеобщим канон. И все же коренного изменения принципов предпринимательской деятельности не произошло. Только очень небольшое количество руководителей согласно было платить рабочим больше чем было принято.

Оставим в стороне экономику. Средний класс в странах «старого света» был уверен в том, что рабочие должны быть бедными не только потому, что они всегда были таковыми, но и потому, что экономическое подчинение в стране являлось хорошим показателем подчинения классового. Если же, как иногда случалось, например, во время немецкого экономического бума (1872—1873 гг.), некоторым рабочим удавалось заработать достаточную сумму денег для того, чтобы на короткий срок вкусить тех удовольствий, которые руководители считали своей прерогативой, гнев последних был вполне искренним и праведным. Зачем шахтерам рояли и шампанское? В стране с неразвитой системой со-

циальной иерархии, с грубым и демократичным рабочим классом, где ощущался недостаток рабочей силы, положение вещей могло быть иным, но в Британии и Германии, Франции и империи Габсбургов, а также Соединенных Штатах максимум, на что могли рассчитывать рабочие — это достаточное количество еды (и желательно меньшее количество спиртных напитков), не слишком перенаселенное жилье и одежда, подходящая для того, чтобы не нанести ущерб моральным принципам общества и своему здоровью, комфортная, но в то же время без излишнего подражания костюмам лучшим мира сего. Оставалось надеяться на то, что прогресс капитализма постепенно приблизит рабочих к удовлетворению этого максимума их потребностей и приведет к появлению у богачей жалости в отношении тех, кто живет хуже них (правда, не настолько, чтобы это удержало их от понижения заработной платы). Иначе говоря, было нежелательно, не нужно, да и опасно подниматься выше этого установленного максимума.

Получилось, что экономические теории и социальная надменность либералов среднего класса вступили в противоречие друг с другом. В каком-то смысле восторжествовали теории. Постепенно, с течением времени политика заработной платы перешла в сферу чисто рыночных, денежных отношений. Мы уже убедились, что в 60-е годы британский капитализм отошел от неэкономических форм принудительного труда (типа трудовых соглашений Хозяев и Слуг, которые предусматривали тюремное заключение в качестве наказания для рабочего за нарушение контракта), от долгосрочных долговых контрактов (подобных «годовому обязательству» северных шахтеров) и от оплаты труда натурой. В то время как сократилась продолжительность трудовых контрактов, условия оплаты труда усовершенствовались до оплаты за неделю, за день и даже за час, а рыночные сделки стали более гибкими и восприимчивыми. С другой стороны, если бы рабочие начали требовать обеспечения тех условий жизни, которые они считали для себя заслуженными и более того, достигли бы успехов в их получении, это привело бы в шок и ужас представителей средних классов.

Именно это удерживало их от претворения в жизнь тех эконо-

номических стимулов труда, к необходимости которых они уже были готовы. Работодатели стремились привести заработную плату в зависимость от производительности. Для этого они изобретали различные виды сдельной оплаты, которые, судя по всему, были широко распространены в рассматриваемый период. Кроме того, они стояли на той позиции, что рабочие должны быть благодарны за то, что им вообще предоставили работу, в то время как за стенами предприятия их ожидала огромная резервная армия безработных, жаждущих получить хоть какое-нибудь место.

Сдельная оплата труда имела ряд явных преимуществ. Маркс назвал ее самой подходящей для капитализма формой оплаты. Она являлась действительно мощным стимулом для более производительного труда рабочих. Это была гарантия от неполного приложения рабочих сил, механизм автоматического понижения тарифных ставок во времена экономических спадов, а кроме того удобный способ снижать оплату труда и таким образом препятствовать повышению заработной платы выше того уровня, который считался достаточным и необходимым. Все это приводило к разобщению рабочих, так как разброс заработной платы даже в пределах одного предприятия мог быть значительным, а разные виды труда и оплачивались по-разному. Иногда квалифицированные рабочие становились кем-то вроде субподрядчиков. Работая в соответствии с условиями сдельной оплаты, они нанимали на работу неквалифицированных помощников, которым назначалась фиксированная заработная плата, и следили за тем, чтобы последние работали в полную силу. Беда заключалась в том, что введение сдельной оплаты (там где это еще не стало традиционным способом) всегда вызывало сопротивление со стороны рабочих, особенно квалифицированных, а сама система начисления была сложной и непонятной не только для рабочих, но и для работодателей, которые зачастую имели очень туманное представление о том, как устанавливаются нормы производительности. К тому же эта система оказалась едва пригодной для рабочих некоторых специальностей. Через профсоюзы и неофициальным путем рабочие пытались устранить эти недостатки, выдвинув идею о возвращении к фиксированной, не поддающейся умень-

шению средней оплате, рассчитанной на основании «тарифной ставки». Работодатели уже были на грани того, чтобы перейти к тому, что американцы называют «научным управлением экономикой», но в рассматриваемое время они лишь встали на путь решения этой проблемы.

Возможно, это привело к росту значения другого экономического стимула. Если можно одним словом сформулировать, что определяло жизнь рабочего в XIX веке, этим словом будет «нестабильность». Они никогда не знали в начале недели, сколько денег принесут домой в ее конце. Они не знали, как долго проработают на своем месте или, если потеряют его, сколько времени им потребуется на то, чтобы найти другую работу и на каких условиях. Они не знали, когда несчастный случай или болезнь лишат их трудоспособности и, осознавая, что когда-нибудь, возможно в сорок лет для неквалифицированных рабочих или в пятьдесят лет — для квалифицированных они будут не в состоянии вынести ту физическую нагрузку, которая необходима для продолжения работы на своем месте, они не представляли, что будут делать с этого страшного момента до конца жизни. Это не было похоже на нестабильность в жизни крестьян, отданных на милость, если говорить честно, более убийственных факторов, таких как стихийные бедствия, засуха или голод. Но здесь с относительной точностью можно было предсказать, как человек проведет свою жизнь с момента рождения и до самой смерти. Что касается рабочих, они жили в полной непредсказуемости, несмотря на то, что большинство из них большую часть жизни работало на одного хозяина. Даже высококвалифицированные рабочие не могли быть уверены в том, что на их труд всегда будет спрос. Во время экономического спада 1857—1868 гг. количество рабочих в Берлине, занятых в машиностроительной промышленности, сократилось почти втрое. Не было ничего, что напоминало бы сегодняшнюю службу социальной безопасности, за исключением благотворительной деятельности и того факта, что рабочие действительно не попадали в разряд нищих, хотя грань была очень тонка.

Для либерального мира нестабильность была той ценой, которую общество заплатило за прогресс и свободу, за свое благо-

состояние и к которой оно привыкло по мере продолжающейся экономической экспансии. Стабильность иногда приходилось покупать, но не свободным людям, а тем, кого английский язык четко обозначил словом «служащие»: домашние служащие, служащие железных дорог, даже гражданские служащие (иначе говоря государственные чиновники). По существу большинство домашних слуг в городах не могли пользоваться той стабильностью и безопасностью, которой пользовалась любимая домашняя прислуга аристократов и мелких дворян. Они постоянно сталкивались с нестабильностью в самой страшной ее форме — неожиданном увольнении (без характеристики), т. е. рекомендации бывших хозяев для будущего места работы. В мире буржуа ситуация тоже отличалась нестабильностью. Они находились в постоянном состоянии войны, на которой могли пасть неожиданной жертвой конкуренции, обмана или экономического спада. Впрочем, те, кто был таким образом уязвим, составляли меньшинство среднего класса и результатом падения очень редко становился труд у станка и уж совсем в исключительных случаях — рабочий дом. Самой серьезной опасности подвергались не по своей воле праздные горожанки — она заключалась в неожиданной смерти кормильца.

Экономическая экспансия смягчила эту постоянную нестабильность. Нет прямых указаний на то, что реальная заработная плата в Европе начала существенно повышаться до 60-х годов, но даже к этому времени в развитых странах распространилось ощущение того, что наступают лучшие времена. Это чувствовалось в сравнении с беспокойными и полными отчаяния 30-ми и 40-ми годами. И уже ни резкий скачок цен в 1853—1854 гг., ни драматический повсеместный спад в экономике 1858 года не вызвали серьезных общественных волнений. Дело в том, что великий экономический бум спровоцировал неведомую прежде потребность в рабочей силе как внутри самих стран, так и среди эмигрантов за границей. Драматические спады в экономике, как бы ни были они тяжелы, теперь уже не воспринимались как доказательство экономического упадка. Недостатка в рабочих местах явно не ощущалось, доказательством чего служит армия сельских жителей, которые впервые в истории двинулись *en masse* (в массе)

покорять рынок промышленной рабочей силы. Сам факт того, что подобный наплыв людской массы не повлиял на наметившееся к этому времени улучшение условий жизни рабочих, говорит о масштабах и стимулах экономической экспансии.

И все же, в отличие от средних классов, положение рабочих было ничуть не лучше положения нищих и нестабильность являлась поэтому постоянной и реальной угрозой. У рабочих не было никаких сбережений. Те, кто мог прожить на свои сбережения недели и месяцы, был «тем самым редко встречаемым элементом»^{25*} Зарплаты квалифицированных рабочих даже в случае удачи были скромными. В лучшие времена надсмотрщик над рабочими текстильной фабрики, получавший 4 фунта стерлингов в неделю, притом, что у него было семь детей, мог стать предметом зависти соседей. Но не прошло и нескольких недель со времени острого нехватки хлопка в Ланкашире (поставки хлопка были прерваны из-за гражданской войны в Америке), как подобной семье уже было не на что надеяться, кроме фондов благотворительности. Обычный, даже можно сказать — неизбежный жизненный путь рабочего пролегал вдоль края пропасти, в которую он сам и его семья могли в любой момент упасть, что зачастую и случалось. Причиной могло стать рождение детей, преклонный возраст или увольнение. В Престоне 52% рабочих семей с детьми, не достигшими трудоспособного возраста, работали днями напролет в достопамятный год удачной торговли (1851 г.) и при этом могли остаться по жизненному уровню ниже черты бедности^{26*} Что касается возрастных проблем, это было настоящей катастрофой, прихода которой стоически ожидали. Катастрофа надвигалась в возрасте 40 лет, когда физическая сила начинала угасать, особенно у чернорабочих, а потом следовала нищета и, весьма вероятно, нищенское пособие. Для средних классов середина XIX века была золотой эрой зрелого возраста, когда человек находился на пике карьеры, богатства и деятельности, оставаясь при этом физически здоровым и без признаков старения. Только для угнетенных слоев рабочих людей обоих полов цвет жизни угасал уже в юности.

Ни экономические стимулы, ни постоянная нестабильность не давали действенного универсального рецепта, как заставить

рабочих трудиться с полной отдачей сил. Экономические стимулы были небеспредельны, а нестабильность казалась столь же неизбежной, как и перепады погоды. Средним классам это было трудно понять. Почему лучшие, способнейшие и самые здравомыслящие рабочие пополняли ряды членов профсоюзов, хотя были достойны самых высоких зарплат и постоянной работы? Но во главе и в составе профсоюзов были именно такие люди, хотя буржуазная мифология определяла их как шайки глупцов, сбитых с толку агитаторами и неспособных по-другому заработать себе на жизнь: В действительности, никакого чуда не было. Рабочие, за которыми охотились руководители предприятий, не просто обладали достаточным практическим умом, чтобы осуществлять работу профсоюзов, но и принадлежали к числу тех, кто хорошо осознавал, что рынок сам по себе не даст им ни гарантии стабильности, ни всего того, на что они имели право.

Тем не менее, неорганизованные рабочие, или даже те, кому удавалось вступить в организацию, сами предоставили работодателям решение проблемы управления рабочей массой. Постепенно они втягивались в работу, а требования их при этом оставались крайне умеренными. Неквалифицированные и необученные рабочие-иммигранты, приехавшие из сельской глубинки, гордились своей физической силой. Они приехали из тех мест, где тяжелый труд был критерием ценности и достоинства человека, и жен они выбирали не по внешнему виду, а по их трудоспособности. «Мой опыт показывает, — говорил в 1875 г. директор сталепрокатного предприятия, — что немцы, ирландцы, шведы и те, кого я называю «гречихой» — американские сельские парни — если подобраны с умом, являются самой эффективной и послушной рабочей силой, какую только можно найти». В общем, все были хороши, только не «англичане, с их приверженностью к высоким зарплатам, низкой производительности и забастовкам»^{27*}

С другой стороны, у квалифицированных рабочих был еще один некапиталистический стимул — профессиональные знания и профессиональная гордость. Лучшим доказательством тому служат железные и медные станки, на которых они работали в это время. Отшлифованные и отполированные любящей рукой, они до сих пор, столетие спустя, остаются в прекрасном рабо-

чем состоянии. Нескончаемый каталог экспонатов, выставленных на международных выставках, сколь страшно неэстетичными они бы ни были, является памятником профессиональной гордости людей, которые их создавали. Эти люди не смогли привыкнуть к приказам и надзору и часто действительно не подчинялись никакому контролю, кроме контроля таких же рабочих. Бывало, они протестовали против сдельной оплаты и других необдуманных методов решения сложной проблемы повышения производительности труда, в результате которых она только падала. Если они не работали больше и быстрее, чем того требовала работа, то и меньше и медленнее трудиться они себе не позволяли. Никто не мог заставить их работать с полной отдачей сил. «Честная работа за честную оплату» — был их девиз. И если они стремились получить ту сумму, которую хотели, то и работать они стремились так, чтобы порадовать всех, в том числе и себя.

На самом деле такой некапиталистический подход к работе больше играл на руку руководителям, чем рабочим. Покупатели на рынке дешевой рабочей силы всегда действовали по принципу «купить подешевле, продать подороже», часто игнорируя при этом стоимость товара. Что касается продавцов, они никогда не просили максимальных зарплат и взамен предлагали минимальное количество затрат рабочей энергии. Они старались заработать на достойную человеческую жизнь. Возможно, они хотели «стать лучше». А вообще, не оставаясь безразличными к разнице, существовавшей между высокими и низкими зарплатами, они больше интересовались человеческой жизнью, чем торговой сделкой*.

* Яркий пример подобного контраста — профессиональные зрелищные спортивные состязания, хотя в то время они находились еще в зачаточном состоянии. Британский профессиональный футболист конца 70-х должен был (до окончания мировой войны) работать за зарплату, доведом к которой была слава и иногда неожиданная удача. Правда, скоро его стоимость на футбольном рынке выросла до нескольких тысяч фунтов стерлингов. Когда же футбольная звезда сам стал требовать, чтобы ему платили в соответствии с его рыночной стоимостью, с этого момента спорт претерпевает фундаментальные перемены. В США они произошли быстрее, чем в Европе.

III

Но можно ли говорить о рабочих как об однородной массе или вообще классе. Что могло быть общего у людей, зачастую выросших в разной среде, людей разного социального происхождения, уровня образованности, достатка, и иногда даже языка и традиций? Этим объединяющим фактором была даже не нищета, ибо, несмотря на то, что с точки зрения представителей среднего класса, все рабочие имели скромный доход, за исключением разве что Австралии 50-х гг., этого рая для людей труда, где даже типографские наборщики могли получать до 18 фунтов стерлингов в неделю^{28*}, с точки зрения рабочих существовала огромная разница между высокооплачиваемыми «мастеровыми», имевшее постоянное место работы и носившими точные копии костюмов богачей, и оборванной гольтьбой, очень смутно представлявшей, откуда ей в следующий раз перепадет кусок хлеба. То, что действительно их всех объединяло — это одинаковое восприятие ручного труда и эксплуатации, а также общая судьба всех, чья жизнь зависит от зарплаты. Их объединяла все более разраставшаяся пропасть между ними и классом буржуа, чье благосостояние увеличивалось, в то время как их жизнь оставалась все такой же нестабильной. Буржуа, которые стали откровенно надменными и непримиримыми по отношению к возможным выходцам из низов*. Все отличало скромные вершины комфорта, которые удачливые рабочие небезосновательно надеялись покорить, и действительно огромные горы благосостояния. Массовое сознание рабочих формировалось не только под влиянием этого социального расслоения, но и под влиянием общего стиля жизни (в этой жизни таверна, «рабочая церковь», как называла ее либеральная буржуазия, играла одну из центральных ролей), общего стиля мышления. Наименее сознательные молчаливо теряли веру в Бога, наиболее сознательные

* В Лилле число представителей высших классов увеличилось с 7 до 9% в период с 1820 по 1873—1875 гг., а доля собственности, оставляемой в наследство, возросла с 58 до 90%. Количество представителей средних классов увеличилось с 62 до 68%, а их завещательная собственность составляла всего лишь 0,23%. Эта незначительная цифра, зафиксированная в 1821 г., впоследствии возросла до 1,4%.

становились радикалами, сторонниками Интернационала в 60—70-е гг., будущими последователями социализма. Два феномена были взаимосвязаны, так как традиционная религия всегда являлась основой общественного единения. Это шло еще от ритуальных требований общины. Но общий церковный ход и церковные церемонии изжили себя во время Второй империи. Мелкие ремесленники 50-х гг. в Вене, с их набожностью и наивной радостью во время пышных католических служений и спектаклей *Le play*, известных в 1850-х годах, теперь, похоже, потеряли интерес к этим вещам. Не сменилось и двух поколений, как их вера в Бога превратилась в веру в социализм^{30*}

Неоднородные группы рабочей бедноты несомненно склонялись к тому, чтобы примкнуть к пролетариату в городах и промышленных регионах. Возросшее значение тред-юнионов в 60-е гг. подтверждает этот факт. Без этого было бы невозможным существование Интернационала, не говоря уже о его мощи. И все же «рабочая беднота» не была простым скоплением разрозненных групп. В трудные, отчаянные годы начала века она стала классом недовольных и угнетенных. Теперь эта сплоченность и однородность была утеряна. Эра расцвета и укрепления либерального капитализма дала рабочему классу возможность улучшить условия своей жизни через создание его коллективной организации. Но те, кто остался просто классом «бедноты», получили очень мало практической выгоды от тред-юнионов, и еще меньше от обществ взаимопомощи. Тред-юнионы были, по-существу, организациями удачливого меньшинства, хотя массовые забастовки смогли привлечь большое количество рабочих. Помимо прочего, либеральный капитализм нарисовал перед отдельными рабочими радужные перспективы роста по правилам буржуазии, которыми большинство рабочих не смогли или не захотели воспользоваться.

Наметился раскол и среди самого рабочего класса. Он прошел между «рабочими» и «бедняками», или, иначе говоря, между «преуспевающими» и «непреуспевающими». Используя политическую терминологию (см. главу 6), разошлись пути «смышленных мастеровых», кому британские радикалы из средних слоев с радостью предоставили право голоса, и опасной массы оборван-

цев, которую бы они с не меньшим удовольствием изолировали от общественной жизни.

Очень трудно анализировать термин «преуспевающие» в отношении рабочего класса середины XIX века. В этом понятии отражено одновременно и проникновение в среду рабочих ценностных ориентиров и жизненных норм среднего класса, и отношение, без которого рабочему трудно было добиться уважения к себе, невозможность организации массовой борьбы, так как все перевешивали здравомыслие, самопожертвование и временное воздержание от удовольствий. И если бы рабочее движение было чисто революционным или полностью отрезанным от мира представителей среднего класса (как это было до 1848 года и должно было повториться во времена II Интернационала), различие между этими двумя слоями общества было бы достаточно четко выраженным. А так в третьей четверти XIX века трудно было провести четкую границу между личным и коллективным усовершенствованием, между подражанием среднему классу и разрушением его своим же собственным оружием. Как определить социальный статус Вильяма Маркрофта (1822—1894 гг.)? Его можно рассматривать как наглядный результат теории Самюэла Смайла за «помоги себе сам». Незаконный сын фермерского слуги и ткачихи, не получивший даже начального образования, он проделал путь от рабочего текстильной фабрики в Олдхэме до мастера в области машиностроения, а в 1861 году организовал свою зубо-врачебную фирму. Его состояние после смерти составило 15 тысяч фунтов стерлингов, ничтожно малая сумма. Но при этом он в течении всей жизни был радикальным либералом и умеренным адвокатом. И все же своему скромному месту в истории он обязан своей сильной страстью к кооперативному производству (иначе говоря социализму посредством все той же «самопомогающей» теории). Идее кооперативного производства он остался верен до конца своих дней. А Вильям Аллан (1813—1874 гг.) наоборот, был сторонником классовой борьбы. В его некрологе говорилось о том, что «в вопросах социального устройства он следовал идеям Роберта Оуэна». Тем не менее этот рабочий — радикал, воспитанный школой революции, оставил след в истории рабочего движения как осторожный, предусмотрительный и уме-

лый администратор профессионального общества нового типа — «Объединенного союза инженеров». Одновременно он работал священником англиканской церкви, а «в политике являлся убежденным и последовательным либералом, не склонным к политическому шаманству в любом его проявлении»^{31*}

Дело в том, что в это время способные и умные рабочие, особенно имевшие квалификацию, являлись одновременно главной опорой для социального контроля среднего класса и промышленной дисциплины и активными членами коллективной рабочей самообороны. Первое качество они приобретали в силу того, что устойчивый, процветающий и расширяющийся капитализм в нем нуждался. Капитализм давал им перспективу роста, к тому же на данный момент он в любом случае казался неизбежным. Капитализм перестал быть временным явлением. Скорее наоборот, великая революция представлялась уже не первой вехой на пути к сменяющемуся миру, а последней вехой безвозвратно ушедшей эпохи. В лучшем случае она осталась в памяти ярким красочным пятном, в худшем — стала доказательством того, что не существует трагического короткого пути к прогрессу. Но одновременно рабочие приобрели и второе качество. Оно было обусловлено тем, что за исключением разве что Соединенных Штатов им было обещано, что капитализм, наконец, выведет их из постоянного состояния нищеты, что рабочие получат возможность подняться из привычной среды и что все граждане будут иметь равные права. Но рабочие знали, что один только либеральный свободный рынок никогда не обеспечит их прав и не удовлетворит их нужд. Они знали, что надо объединяться и бороться. В Британии «рабочая аристократия», к которой относились «белые воротнички» и мелкие бюрократы — слой типичный для этой страны, где класс независимых мелких производителей, владельцев магазинов и им подобных не играл большой роли в общественной жизни, помогла превратить либеральную партию в партию, выражавшую интересы широких народных масс. В то же самое время эта аристократия формировала ядро необычайно мощного организованного движения тред-юнионов. В Германии даже самые «преуспевающие» рабочие входили в число «пролетариев» на основании тех же различий, что отделяли их от буржуазии и

многочисленного слоя «середняков». В 60-е годы здесь многие вошли в новые ассоциации «самосовершенствования» (Bildungsvereine). К 1863 году насчитывалось около 1000 подобных клубов, к 1872 году в одной Баварии их численность составила 2000. Став членами этих организаций, рабочие начали быстро отходить от их среднеклассового либерализма, но так и не смогли избавиться от среднеклассовой культуры, прочно вошедшей в их образ жизни^{32*} Им суждено было стать членами нового социал-демократического движения, правда, это произойдет уже после рассматриваемого нами времени. И все-таки они оставались рабочими из числа тех, которые сами пробивают себе дорожку в жизни. Они были «преуспевающими», потому что требовали от других уважение к себе. Вместе с собой они несли в партии Лассаля и Маркса как плохие, так и хорошие стороны своей респектабельности. Только в тех странах, где революция все еще представлялась единственным способом улучшения жизни рабочей бедноты и где, как например во Франции, традиция рабочих восстаний и революционной республики была доминирующей традицией в политической жизни, «респектабельность» не являлась важным фактором, либо же имела значение только в среде представителей среднего класса и тех, кто хотел на них походить.

Что же представляли собой другие слои рабочего класса? Хотя они всегда были предметом тщательного исследования (в наше время, правда, гораздо меньше, чем до 1848 или после 1880 г.) мы все же очень мало знаем о них, кроме того, что жили они в нищете и убожестве. Они не являлись выразителями общественного мнения и очень редко имели дело с разного рода политическими организациями, даже с тред-юнионами, которые постоянно апеллировали к их мнению. Даже Армия спасения, созданная специально для помощи таким «непреуспевающим» беднякам, едва ли стала для них чем-то большим, нежели еще одним публичным развлечением (с ее униформой, шляпными лентами и веселыми гимнами) и полезным источником благотворительности. В действительности для многих неквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих формирование организаций, которые как раз начинали придавать силу рабочему движению, было невы-

полнимой задачей. Правда, их могло захлестнуть волной политического движения, наподобие движения чартистов в 40-е годы. Мелкие уличные торговцы, описанные Генри Мэйем, все были чартистами. Великие революции могли на короткое время вдохновить даже самых забитых и аполитичных граждан. Например, парижские проститутки горячо поддержали Коммуну в 1871 году. Но эпоха триумфального шествия капитализма далеко не была эпохой революций или даже массовых политических движений. Бакунин, пожалуй, был частично прав, когда предполагал наличие в среде маргиналов и низших слоев пролетариата настроений брожения и потенциальной готовности к восстанию, но он глубоко заблуждался в том, что эти слои населения станут оплотом революционного движения. Бедняки всех мастей поддержали Парижскую Коммуну, но их вождями были более квалифицированные рабочие и ремесленники. А самый низший слой бедноты — подростки, были представлены среди них в очень малом количестве. Люди в возрасте, особенно те, что могли хранить в памяти события 1848 года, являлись типичными потенциальными участниками восстания 1871 года.

Граница, которая разделяла рабочую бедноту на воинствующие элементы рабочего движения и всех остальных, не была четкой. И все же она существовала. «Ассоциация» — свободная и зрелая организация добровольных демократических сообществ в борьбе за социальную защиту и улучшение условий жизни рабочих, стала магической формулой эры либерализма. Благодаря этой «ассоциации» развивались даже те рабочие движения, которые впоследствии будут отрицать либерализм^{33*}. Те, кто хотел и мог «объединиться», зачастую презирали или с предубеждением относились к тем, кто не мог и не хотел этого делать. Но еще в большей степени это относилось к женщинам, которых просто не допускали к процедурным вопросам и которые были исключены из списков желающих стать членами «ассоциации». Сеть общественных клубов — обществ взаимопомощи, британских благотворительных обществ (обычно сопряженных с рядом ритуалов), хоров, гимнастических или спортивных клубов, даже добровольных религиозных организаций и политических сообществ — была связана с этой частью рабочего класса, в ряды ко-

торого вливались независимые ремесленники, владельцы магазинов и даже мелких предприятий и который зарекомендовал себя общественной и политической силой. Большая часть рабочих являлась членами этих клубов, в том числе в Британии — около 40%. Но очень многие так и не стали членами никаких ассоциаций. Они были целью, а не средством эры либерализма. Другие ожидали многого, а получили довольно мало — даже меньше, чем могли предположить.

Трудно глядя в прошлое прийти к определенной точке зрения на условия жизни всех слоев рабочего класса. С одной стороны, расширился круг стран с преобладанием современных городов и современной промышленности и вместе с ними расширилась иерархия уровней промышленного развития, которому эти страны соответствовали. Делать какие-то обобщения с учетом этих фактов очень сложно и ценность их будет ограничена, даже если мы остановимся на рассмотрении относительно развитых стран (в противовес отсталым) и на городском рабочем классе (в противовес аграрному и крестьянскому сектору). Проблема состоит в том, чтобы связать, с одной стороны, страшную нищету, которая все еще являлась определяющей чертой жизни большинства рабочих, отвратительную среду их существования и падения нравов и, с другой стороны, несомненное улучшение условий жизни рабочих и жизненных перспектив, начиная с 40-х годов. Самодовольные ораторы от буржуазии были склонны преувеличивать масштабы этих улучшений, хотя никто не взялся бы отрицать слова Сэра Роберта Гиффена (1837—1900 гг.), который, анализируя полувековое существование Британии (до 1883 года), тактично заметил, что «жизнь низов не улучшается, что улучшения, даже если подходить к ним с самыми скромными мерками, носят очень незначительные масштабы и никто не возьмется здраво размышлять об улучшении жизни народных масс, подсознательно не думая о чем-то вроде близкой революции»^{34*} Менее самодовольные общественные реформаторы, не отрицая в целом сдвигов в лучшую сторону, приводили в качестве примера элитных рабочих, чья редко встречаемая специальность приводила к постоянному спросу на их рабочие руки. Но при этом они рисовали не столь радужную картину происходящего: «В городах на-

считывается около 10 000 000 рабочих, включая машинистов и тех, чья жизнь не находится под постоянной угрозой потери работы и получения пособия, — писала в начале все тех же 80-х мисс Эдит Симкокс, — Нельзя провести четкой границы между рабочими, живущими «на грани нищеты» и еще не вступившими за эту грань. Поток обнищавших растет, кроме того, многих ремесленников, торговцев и деревенских жителей, страдающих от постоянной недооплаты, засасывает трясина нищеты. Трудно посчитать, сколько же человек из числа этих 10 000 000 принадлежат или имеют шансы принадлежать к процветающей аристократии рабочего класса. Это прослойка рабочих, с которыми считаются политики и общество опрометчиво приводит в пример как «представителей рабочего класса». Хотелось бы надеяться на то, что 2 000 000 квалифицированных рабочих, которые представляют пятимиллионную рабочую армию, живут в относительной свободе и безопасности, что является привилегией средних классов... В то же время остальные 5 000 000, включая чернорабочих, получают ровно столько, чтобы едва хватало на еду и самую необходимую одежду. Поэтому любая неудача означает для них моментальный переход в разряд нищих»^{35*}

Впрочем, даже такие глубокие суждения хорошо информированных людей были по двум причинам несколько оптимистичными. Во-первых, потому, что, как показали социальные исследования конца 80-х, бедняки из числа рабочих, они составляли 40% рабочего населения Лондона, едва ли могли обеспечить себе даже самые скромные условия существования. Во-вторых, потому, что «состояние свободы и безопасности», являвшееся привилегией средних классов, было доступно далеко не всем. Юная Беатрис Поттер, живя анонимно среди текстильных рабочих Бакупа, нисколько не сомневалась, что ведет жизнь «обеспеченного рабочего в сплоченной общине, в которой нет не согласных и не уважаемых. Эти рабочие занимают высокооплачиваемые должности и живут в комфортабельных меблированных коттеджах, устраивая у себя ежедневно прекрасный вечерний час. И все-таки, тот же самый проницательный наблюдатель, практически не сознавая истинной глубины своих наблюдений, отметит, что люди здесь бывают физически истощены в периоды особо бурной тор-

говли, что едят и спят они очень мало и что находятся они во власти случайности, когда любая авария может привести к потере привычных жизненных удобств. Простое и глубокое благочестие этих мужчин и женщин, как она отметила, является реакцией на постоянный страх перед «погубленной и искаленной жизнью». «Жизнь во Христе» и надежда на потустороннюю жизнь привносят элементы свободы и изысканности в простую борьбу людей за существование, охлаждают их постоянной погоней за земными удовольствиями и превращают неудачи в «милость господню»^{36*}

Эта картина явно не запечатлела «униженных», готовых пробудиться ото сна, но и не изобразила она жизни людей «лучшей, неизмеримо лучшей, чем 50 лет назад», а в еще меньшей степени этих рабочих можно назвать представителями класса, «которые пользуются всеми материальными благами и достижениями этих последних 50-ти лет» (Гриффен)^{37*} Именно так оценивали рабочих самодовольные и безразличные экономисты-либералы. Здесь скорее изображены уважающие себя и уверенные в своих силах люди, которые не питали особых надежд на лучшее будущее и которые отлично знали, что может быть еще хуже, потому что, возможно, в их памяти еще сохранились времена, когда они были беднее, чем сейчас. Перед ними постоянно маячил призрак нищеты, в том смысле, в котором они ее понимают. Им никогда не удастся вкусить жизненных удобств среднего класса, а призрак нищеты будет всегда рядом. «Хорошими вещами нельзя злоупотреблять, деньги утекают слишком быстро», — говорил один из хозяев, в доме которого жила Беатрис Хоттер, кладя предложенную сигарету на камин после двух затяжек, чтобы докурить в следующий вечер. Тот, кто забыл о том, что именно так относились к хорошим вещам, в это время не сможет судить о незначительных, но истинных улучшениях в жизни рабочего класса последней трети XIX века, вызванных великой экономической экспансией. А пропасть, отделявшая их от мира буржуа, так и осталась глубокой и непреодолимой.

ГЛАВА 13

МИР БУРЖУАЗИИ

Вы знаете, что мы все — дети века, который ценит людей только по их рабочим качествам. Ежедневно какой-нибудь мастер, недостаточно энергичный и серьезный, становится изгоем в обществе, которое казалось ему нерушимым оплотом, а на его место приходит смысленый и решительный клерк.

Мадам Мотте-Босс — своему сыну, 1856^{1*}

Он смотрит на детей, окруживших его и купающихся в лучах его улыбки. Невинность и радость сквозят на их счастливых лицах. Он святой и они поклоняются ему, он любящий и они любят его, он последователен в своих поступках и они уважают его, он тверд и они боятся его. Его друзья — лучшие представители мира сего, он идет в хорошо устроенный дом.

Мартин Таппер, 1876^{2*}

I

Итак, давайте взглянем на это буржуазное общество. Часто внешние, с первого взгляда незначительные черты являются лучшей характеристикой эпохи. Поэтому изучение этого общества, которое достигло в это время апогея своего развития, мы начнем с рассмотрения одежды, которую носили его представители, и интерьера, который их окружал. «Человека встречают по одежке» — гласит русский вариант немецкой пословицы «Одежда создает человека». Лучше всего это понимали в эпоху, когда вследствие социальной мобильности человек мог оказаться в совершенно новой для него обстановке и, чтобы исполнять возложенную на него более высокую социальную роль, должен был придерживаться определенных правил в одежде. Это было вскоре после того, как австриец Нестрой создал свой одновременно смешной и горький фарс «Талисман» (1840 г.), в котором судьба несчастного рыжеволосого героя кардинальным образом меняется после потери им приобретенного ранее черного парика. Дом был концентрированным выражением образа жизни буржуазного

мира, потому что в нем и только в нем можно было забыть о противоречиях и проблемах, царящих за его стенами. Здесь и только здесь буржуазное и даже более того мелкобуржуазное семейство могло поддерживать иллюзию гармоничного и иерархического счастья, находясь в окружении древних остатков материальной культуры, которые символизировали это счастье и делали его возможным. Сказочная жизнь, кульминационным проявлением которой в намеренно создаваемой системе домашних ритуалов было празднование Рождества. Рождественский ужин (его праздновал Диккенс), рождественская елка (появилась в Германии, но благодаря королевскому покровительству стала популярной в Англии), рождественская песня — широко известная в Германии «Stille Nacht» («Тихая ночь»), — все это вместе символизировало контраст между внешним враждебным миром и теплом домашнего очага.

Первое впечатление, которое производит буржуазный интерьер середины века — это чрезмерная наполненность и обилие маскировки. Масса предметов, скрытых под многочисленными подушками и скатертями, теряющихся на фоне обоев и многочисленных драпировок. Все вещи искусной работы: нет ни одной картины, не заключенной в позолоченную, резную, украшенную драгоценными камнями и даже бархатом, раму, нет сидения, не облагороженного обивкой, покрывалом, нет ни одного куса ткани, не увешанного кистями, нет деревянной вещи, которой бы не коснулась искусная рука столяра, и нет поверхности, не покрытой скатертью, венчаемой какой-либо вещичкой. Эти вещи несомненно говорили об уровне благосостояния и социальном статусе их владельца. Прелесть аскетической простоты бидермейеровского стиля скорее являлась свидетельством финансовых затруднений немецких провинциальных буржуа, чем показателем их врожденного чувства стиля, и обстановка комнат прислуги в буржуазных домах была довольно бедной. Вещи являлись отражением их цены: в это время большинство предметов для дома производилось вручную в ремесленных мастерских и искусность работы являлась показателем уплаченных за них денег, включая стоимость дорогого материала. Очевидный и добротный комфорт предметов интерьера также повышал их стоимость. Но вещи не

могли служить сугубо утилитарной функции и быть свидетельством лишь социального статуса и финансового благополучия их хозяев. Они были ценны сами по себе как выражение человеческой индивидуальности, как мечта и реальность буржуазной жизни, более того, вещи изменяли людей. В интерьере все это было отражено наилучшим образом. Именно поэтому интерьер был так насыщен вещами.

Предметы, как и дома, в которых они находились, казались «крепкими». Обычно это слово служило высшей похвалой предпринимательскому делу. Они были сделаны добротнo, надолго и оправдывали свою цену. В то же время они олицетворяли своей красотой стремление к лучшей духовной жизни в том случае, если не являлись прямым ее выражением, подобно книгам и музыкальным инструментам. Кстати, последние получили в это время удивительно функциональный дизайн в сравнении с роскошным украшением любой самой незначительной поверхности в доме. Красота означала украшение, так как сама по себе архитектура домов буржуа и предметы, их наполнявшие, были недостаточно величественны, чтобы давать моральное и духовное наслаждение, которое люди испытывали от таких полезных вещей, как железные дороги и пароходы. Внешне все было подчинено практической целесообразности и только внутренний интерьер постольку, поскольку он был таким же детищем буржуазного мира, как и недавно изобретенные спальные вагоны Пульмана (1865 г.), каюты первого класса и парадные покои, требовал особой отделки. Поэтому красота означала украшение и иногда это символизировала поверхность предметов.

Раздвоенность между прочностью и красотой отражала резкий контраст между материальным и идеальным, телесным и духовным, что было вполне типичным для буржуазного мира. Духовное и идеальное в этом мире зависело от материального и могло быть выражено только через материальное или, в крайнем случае, через деньги, на которые можно было купить и то и другое. Не было ничего более духовного чем музыка, но материальным ее воплощением стали рояли огромных размеров, искусной работы и стоившие огромных денег. Эти особенности сохранились даже тогда, когда рояли, следуя требованиям тех слоев на-

селения, которые стремились перенять буржуазные ценности были уменьшены до размеров более практичного пианино. Интерьер дома буржуа был неполным без этого инструмента, а дочери были просто обязаны практиковаться в игре на пианино, разыгрывая бесконечные гаммы.

Связь, существовавшая между моралью, духовностью и нищетой, столь очевидная для небуржуазных обществ, не была окончательно оборвана. Широко распространенное мнение гласило, что слишком настойчивая погоня за высоким не дает желаемой прибыли, если не считать некоторые виды искусства, пользующиеся большим спросом, да и то занимавшиеся ими могли достичь благосостояния только в зрелые годы. Бедный студент или молодой артист, нанятый учителем к детям или просто приходящий в качестве гостя на субботние ужины, стал неотъемлемым атрибутом буржуазной семьи, по крайней мере в тех странах, где к культуре питали неизменное уважение. Но выводы были сделаны совсем не в пользу того, что существует некое противоречие между погоней за материальным и погоней за умственным развитием, а в духе того, что кто-то обязательно должен стать для другого опорой. Романист Е. М. Форстер так отозвался о золотой осени буржуазии: «Возвышенные мысли улетают, а нажитое остается». Самой большой удачей для философа было родиться в семье какого-нибудь банкира. Так, например, повезло Джорджу Лукасу. Слава немецкого образования *Privatgelehrter* (что значит частный учитель) зависела от уровня личного благосостояния. Бедный еврейский ученый должен был жениться на дочери самого богатого местного купца, потому что награда общины, ценившей образование, своим образованным членам не имела никакого другого материального воплощения, кроме похвалы.

Подобное деление на материальное и духовное порождало лицемерие, которое, по мнению недоброжелательных наблюдателей, не только проникло во все сферы жизни, но стало главной характерной чертой буржуазного мира. Нигде больше это не было так заметно в прямом смысле этого слова, как в вопросах пола. Это вовсе не означает, что мужчина-буржуа середины XIX века (или тот, кто стремился быть на него похожим) должен был обязательно проявить нечестность и проповедовать одну мораль, на

деле следуя совсем другой, хотя, конечно, никто не станет спорить с тем, что сознательное лицемерие чаще всего возникает там, где образовавшаяся пропасть между официальной моралью и требованиями человеческой природы становится непроходимой, что как раз и наблюдалось в это время. Генри Уорд Бичез, известный пуританский священник из Нью-Йорка, должен был отказаться от бурных любовных романов на стороне или же выбрать профессию, которая не требовала столь строгого укрощения любовного пыла. И при этом нельзя не улыбнуться над непостижимой игрой судьбы, связавшей его с красавицей-феминисткой и сторонницей свободной любви Викторией Вудхалл, чьи убеждения не требовали скрывать любовные связи*. И все-таки было бы неправильным считать, как делали например некоторые современные писатели, что официальная мораль в отношениях полов была простым очковтирательством.

Лицемерие прежде всего не было простой ложью за исключением тех случаев, когда сексуальная ориентация являлась препятствием к карьере, например, выдающихся политиков, зависящих от голосов своих пуританских избирателей или уважаемых бизнесменов-гомосексуалистов в провинциальных городах. В странах же, где двойственность поведения была официально принятой нормой (большинство католических стран), вовсе не возникало необходимости лицемерить. Для незамужних женщин буржуазного круга нормой было целомудренное поведение, а для замужних — верность, но при этом поощрялось преследование юным буржуа любой женщины из семей средних и высших классов (кроме разве что дочерей на выданье) и терпимое отношение к супружеским изменам. Здесь правила игры были всем понятны, они даже включали меры предосторожности, в случаях, когда возникала угроза стабильности семьи или собствен-

* Блестящая женщина, одна из двух равно привлекательных и эмансипированных сестер, доставившая Марксу несколько волнительных минут, когда пожелала превратить американскую секцию Интернационала в орган пропаганды свободной любви и спиритизма. Две сестры немало выгадали от общения с капитаном Вандербилтом, который стал их финансовым распорядителем. В конце концов Виктория удачно вышла замуж и умерла в роскоши в Англии в Bredon's Norton, графство Вустершир.

ности. Любой итальянец среднего класса знал, что страсть — это одно дело и совсем другое дело — «мать моих детей». Лицемерие было частью этого типа поведения постольку, поскольку женщины, как предполагалось, были вне игры и соответственно не знали, что замышляют мужчины и другие женщины. В протестантском мире требования морали в общении полов распространялись как на мужчин, так и на женщин. Факт существования этих требований приводил к тому, что нарушители подвергались не столько обвинению в обмане, сколько страдали от моральных мучений. Было бы совершенно нелогичным назвать человека, оказавшегося в такой ситуации, обычным мошенником.

Кроме того, буржуазная мораль во многих случаях оказывалась выгодной. Так, например, ее значение могло сильно возрасти в процессе того, как массы «преуспевающих» рабочих обратились к ценностям культуры руководящего класса, а численность представителей средних классов быстро увеличивалась. Эти факты мешали подсчетам «статистики падения нравов», к которой буржуазия проявляла особый интерес. В справочном издании конца XIX века с грустью говорилось о том, что все попытки установить масштабы распространения проституции окончились неудачей. Единственная попытка провести широкомасштабный подсчет больных венерическими заболеваниями, наличие которых связывали в основном со вступлением во внебрачные связи, не открыла ничего нового: в Пруссии, что вполне закономерно, количество больных в таком мегаполисе как Берлин, было гораздо больше, чем в любой провинции (причем чем меньше город, тем меньше обнаруживалось больных) и что цифра эта достигала максимальных размеров в портовых городах. Здесь находились военные гарнизоны и высшие учебные заведения, иначе говоря, места с высокой концентрацией неженатых молодых людей, живущих вдали от дома*. Нет оснований считать, что среднему члену из числа представителей средних и низших классов общества или рабочему, принадлежавшему к прослойке «преуспевающих», скажем в викторианской Англии или Соединен-

* В Пруссии врачам было приказано сдавать отчеты о количестве пациентов, больных венерическими заболеваниями, в апреле 1900 года. Думаю, что 30 лет назад эти цифры не сильно отличались от полученных.

ный Штатах не удавалось следовать в жизни своим нормам морали. Молодые американские девушки, пораженные молодых циничных повес Парижа времен Наполеона III той свободой, с которой родители отпускали их одних гулять в компании молодых американских парней, являются таким же очевидным доказательством свободы нравов, как и журналистские разоблачения мест пристанища порока в викторианском Лондоне. Возможно, первое доказательство является даже более веским^{5*} Невозможно судить с позиций постфрейдовской морали дофрейдовский мир или считать, что сексуальное поведение в это время должно быть сродни нашему. По современным понятиям такие светские монастыри, как колледжи Оксфорда и Кембриджа, скорее напоминают журнал для учета сексуальных патологий. Что бы мы сегодня сказали о Льюисе Кэрроле, чьей страстью было фотографирование обнаженных девочек? По нормам викторианской эпохи обитателям Оксфорда и Кембриджа скорее бы вменили в качестве греха не прелюбодеяние и чревоугодие, а нежные чувства, которые очень многие преподаватели испытывали к молодым ученикам — наверняка «платонического» характера (впрочем, слово говорит само за себя), могли быть расценены всего лишь как невинные причуды маститых бакалавров. Уже в наше время выражение «любить друг друга» превратилось в синоним выражения «вступать в половой контакт». Буржуазный мир был помещен на сексе, но это не означало сексуальной неразборчивости: в народной мифологии характерное возмездие, как четко подметил великий романист Томас Манн, непременно следовало даже за единственное прегрешение. Достаточно вспомнить признаки последней стадии сифилиса у композитора Адриана Леверкуэна в «Докторе Фаусте». Сама боязнь возмездия говорит о наивности людей, а значит и об их невинности*.

Эта невинность, тем не менее, дает нам возможность рас-

* О силе моральных убеждений в странах протестантского мира говорит факт поведения рабовладельцев Северной Америки в отношении своих рабынь. В противовес тому, что можно было бы ожидать, следуя распространенному в католических странах Средиземноморья типу поведения (кубинская пословица, например, гласила: «Нет плода слаще финика и девственной мулатки»), количество смешанных браков или незаконнорожденных детей на рабовладельческом Юге было довольно скромным^{6*}.

смотреть истинную природу сексуальной жизни в буржуазном мире, скрытой под маской одновременно соблазна и запрета. Викторианские буржуа середины века были даже в тропических странах тщательно закутаны в одежды, для взоров публики оставалось только лицо. В крайних случаях (как например, в Соединенных Штатах) следовало прятать от глаз даже неживые предметы, напоминавшие части человеческого тела (например, ножки стола). В то же время на 60-е и 70-е годы приходится пик моды на гротескное подчеркивание вторичных половых признаков: у мужчин — волос и бороды, у женщин — волос, груди, бедер и ягодиц. Все это увеличивалось до непомерных размеров при помощи накладных шиньонов, *culs-de-Paris* (буквально «Парижский зад») и тому подобных штучек*. Шокирующий эффект, который производит знаменитая картина Мане «Завтрак на траве» (1863 г.), обусловлен именно контрастом между шикарными одеждами мужчин и наготой женщин. Настойчивость, с которой буржуазная цивилизация доказывала, что женщина существо духовное, влечет за собой два вывода. Первый — что мужчина таким существом не являлся, и второй — что очевидное физическое притяжение полов не укладывается в рамки буржуазной системы ценностей. Понятие успеха было несовместимо с понятием удовольствия, а в практике проведения спортивных соревнований все еще существовало правило изоляции спортсменов от супружеской жизни накануне серьезного состязания. В общем говоря, цивилизация держалась на принципах подавления естественных человеческих инстинктов. Величайший из буржуазных психологов Зигмунд Фрейд сделал это предположение краеугольным камнем своей теории, хотя последующие поколения перешли к своему толкованию выводов психолога, увидев в них призыв к отмене любого подавления.

Но почему эти сами по себе не столь уж невероятные идеи проводились в жизнь с таким невероятным, почти патологическим экстремизмом, что совсем не соответствовало, как остроумно подметил Бернард Шоу, умеренности и *juste milieu* (золотая середина), которые искони отличали средний класс^{7*}. На нижних

* Мода на кринолины, скрывавшие нижнюю часть тела и резко подчеркивавшие талию, стала переходным знаменем 50-х годов.

ступенях социальной лестницы эти вопросы решались гораздо легче. Только невероятным усилием воли бедняк мог вырваться из болота морального разложения и подняться на более высокую социальную ступень, тем более утвердиться на ней. Что касается членов общества анонимных алкоголиков, здесь не могло быть компромиссного решения — либо полное воздержание, либо возвращение к старому. Это наглядно иллюстрирует движение за полный отказ от алкоголя, которое развернулось в это время в протестантских и пуританских странах. Движение было организовано не столько с целью запрещения или ограничения массового употребления алкоголя, сколько для того, чтобы продемонстрировать свою силу воли, выделить себя как класс, непохожий на остальных «непреуспевающих» бедняков. Сексуальное пуританство выполняло ту же задачу. Правда, «буржуазным» феноменом оно оставалось постольку, поскольку являлось отражением гегемонии буржуазной респектабельности. Подобно чтению Самюэля Смайла или следованию другим руководствам по «самопомощи» и «самоусовершенствованию», оно подменяло собой действительный успех в продвижении по социальной лестнице, к которому безрезультатно готовили эти руководства. На уровне «преуспевающего» ремесленника или клерка воздержание зачастую и было единственной наградой. Материальная выгода от него была очень небольшой.

На самом деле проблема буржуазного пуританства — проблема сложная и многогранная. Заявления, подобные тому, что средневековые буржуа были людьми физически здоровыми и поэтому им приходилось создавать искусственные преграды для выхода своей сексуальной энергии, кажутся неубедительными. Что действительно способствовало концентрации этой энергии, так это экстремально жесткие нормы морали, которые, кстати говоря, придавали особый драматизм моральному падению, как, например, в случае с католиком-пуританином графом Муффа из романа Эмиля Золя «Нана». Это роман о проституции в Париже 60-х гг. Проблема, конечно, носила в какой-то степени экономический характер, в чем мы убедимся позже. «Семья» была не просто основной социальной единицей буржуазного общества, но и основой благосостояния и предпринимательской деятельности.

Она была связана с другими подобными социальными единицами посредством системы обмена добавочной женской собственности (свадебного приданого). Женщина в семье по давней, строгой, добуржуазной традиции должна была играть роль девственницы. Все, что разрушало эту социальную единицу, считалось непозволительным, а самой разрушительной силой обладала физическая страсть. Она могла привести к появлению «неподходящих» (т. е. экономически невыгодных) поклонников и женихов, увести мужа от жены и стать причиной растраты общего состояния.

Впрочем, напряженные отношения лишь отчасти носили экономический характер. Они особенно обострились в рассматриваемый период, когда мораль воздержания, умеренности и ограничений вступила в трагический конфликт с реальностями буржуазного мира. Буржуазия уже не была стеснена рамками скудного семейного бюджета и больше не принадлежала к классу, для которого соблазны высшего общества были недоступны. Проблемы среднего буржуа уже не сводились к необходимости копить деньги. Во-первых, увеличилась прослойка неработающей буржуазии — в Кельне количество рантье, плативших налоги, выросло со 162 человек в 1854 году до почти 600 в 1874 году^{8*}. Во-вторых, продемонстрировать свою силу, независимо от того, обладала ли буржуазия политическим влиянием как класс или нет, можно было только демонстрируя свои расходы. Слово *rauchen* (нувориш, выскочка) автоматически стало синонимом «человека, щедро тратившего деньги». Старались ли эти буржуа перенять стиль жизни аристократии, или, подобно Круппу, обладающему классовым чутьем, и его друзьям-магнатам из Рура, строили себе замки и промышленные феодальные империи еще более внушительных размеров, чем империи юнкеров (пруссские дворяне), чьи титулы они отрицали — им надо было тратить деньги. Причем тратить в такой манере, которая неизбежно делала их жизнь сходной с жизнью непуританской аристократии. До 1850-х годов это было проблемой лишь некоторых семей, а в таких странах, как Германия, их было и того меньше. Теперь же это стало проблемой класса.

Буржуазия как класс столкнулась с большими трудностями, когда пыталась следовать нормам морали, добывая и тратя деньги. Так же мало ей удавалось решать проблему создания одной

династии расторопных и способных бизнесменов в рамках одной семьи. Эта проблема привела к возрастанию роли дочерей в семье, которые могли способствовать притоку «новой крови» в предпринимательское дело. Из четырех сыновей банкира Фридриха Вихельхауза из Вапперталя (1810—1886) только Роберт (1836 г. рожд.) стал банкиром. Остальные трое сыновей (1831, 1842, 1846 гг. рожд.) окончили жизнь землевладельцами, один из них — академиком, а обе дочери при этом (1829, 1838 гг. рожд.) вышли замуж за промышленников, среди которых были члены семьи Фридриха Энгельса^{9*} Доход — единственное, за что готова была бороться буржуазия, перестал играть роль мотивирующего фактора в жизни, если уже стал однажды основой приличного состояния. Ближе к концу века буржуазия наконец вывела временную формулу разумного сочетания добычи и траты денег, нажитых в прошлом. Эти последние десятилетия, перед катастрофой 1914 года, стали «бабьим летом» (*belle époque*) буржуазной жизни, ретроспективно оплаканные оставшимися в живых. Но в последней четверти XIX века противоречия крайне обострились. Борьба за жизнь и стремление к удовольствиям сосуществовали, но постоянно сталкивались. А сексуальная жизнь стала одной из жертв конфликта. В результате победило лицемерие.

II

В окружении стен, предметов одежды и быта жила буржуазная семья, самый загадочный из всех социальных институтов века. Потому, что если не составит труда обнаружить связи, существовавшие между пуританством и капитализмом, свидетельством чего стала великая литература, то связи между структурой семьи и буржуазным обществом остаются загадкой. И правда, конфликт, существовавший между этими двумя структурами, редко обращает на себя внимание. Почему в самом деле общество, основанное на свободной конкуренции рентабельных предприятий, на борьбе за место под солнцем отдельных индивидов, на равенстве прав, возможностей и принципах свободы, должно опираться на институт семьи, где все эти принципы в корне отрицаются?

Отдельная семья, как социальная единица, не только жила в соответствии с традициями патриархальной автократии, но и представляла из себя микрокосм с общественным строем, который буржуазия осуждала и стремилась уничтожить, — иерархией личной зависимости. «Здесь в традициях неизменной житейской мудрости всем правит отец, муж, хозяин. Он — основа экономического процветания семьи, он — наставник, руководитель и судья»^{10*}. Ниже него по старшинству, продолжая цитировать общеизвестного философа Мартина Таппера, стояла «добрый ангел дома, мать, жена и хозяйка»^{11*}, чьи обязанности (по Раскину), состояли в следующем:

- «1. Угождать членам семьи;
2. Кормить их лакомствами;
3. Одевать их;
4. Содержать их в порядке;
5. Обучать их».

Для того, чтобы с успехом выполнять эти обязанности, от хозяйки не требовалось ни высокого интеллекта, ни большого ума. («Будь хорошей доброй хозяйкой, а ум оставь для других» — поучал Чарльз Кингсли). Все это имело причиной не только тот факт, что новая роль жены буржуа — всячески подчеркивать способность своего мужа содержать ее в праздности и роскоши, никак не стыковалась с извечной ролью хозяйки дома, но и было обусловлено необходимостью демонстрировать свое подчиненное положение: «Обладает ли она мудростью? Это несомненно, но берегись, чтобы эта мудрость не превзошла твою. Потому что женщина должна быть существом подчиненным, а истинное господство — это господство ума»^{13*}

Тем не менее это прелестное невежественное, глупое, подчиненное существо тоже могло проявлять свою долю господства — не столько над детьми, которые подчинялись все тому же *pater familias* (отцу семейства)*, сколько над домашними слугами, присутствие которых стало отличительной чертой буржуазного се-

* Дети, в свою очередь, делали все возможное, чтобы доставить удовольствие своим дорогим, обожаемым папам: они рисовали, работали, читали стихи, писали сочинения, играли на пианино, и все это в честь празднования дня рождения Альберта, принца-консорта королевы Виктории^{14*}.

мейства. Термином «леди» награждали женщину, которая не работала и командовала теми, кто не обладал этой привилегией^{15*} Ее превосходство было обусловлено именно такой системой отношений. С социологической точки зрения разница между трудящимися и неработающими средними классами — это разница между теми, кто держит слуг и потенциальными слугами. Именно этот подход был использован при изучении социальной структуры общества Йорка конца века в социологическом исследовании Сибоба Раунтри. Служанками были преимущественно женщины. С 1841 по 1881 гг. процентное соотношение мужчин среди домашних слуг и личной прислуги в Британии упало с 20 до 12%. Модель идеальной буржуазной семьи, таким образом, представляла из себя следующее — мужчина-хозяин, возглавлявший иерархию женщин. Среди сыновей буржуа наметилась тенденция покидать отчий дом по достижении совершеннолетия или, как в среде британских высших классов — после окончания школы.

Но слуги, хотя и получали жалованье и поэтому в какой-то мере были семейным аналогом рабочих, чья работа определяла их социальный статус в обществе, все-таки сильно отличались от последней, так как ее (или реже его) отношения с работодателем не ограничивались чисто денежными отношениями, а определялись личными связями и полной зависимостью от хозяина. Вся жизнь прислуги была четко расписана и так как жила она обычно на скудно обставленном чердаке того же дома, где и работала, то всегда находилась под контролем. Все, начиная от фартука или униформы, которую она носила, до характеристики о хорошем поведении, так называемой рекомендации, без которой она могла остаться практически безработной, стимулировало взаимоотношения, основанные на власти и подчинении. Это вовсе не исключало наличия близких если не сказать неравных отношений слуги и хозяина, которые напоминали отношения, существовавшие в рабовладельческих странах. Возможно, это даже вселяло в слуг уверенность, хотя нельзя забывать о том, что на каждую няньку или садовника, всю жизнь находившихся на службе у одной семьи, приходились сотни деревенских девушек, чья короткая служба в качестве домашней прислуги оканчивалась беременностью, замужеством или поисками другой работы. На

этих последних смотрели чисто как на одну из сторон «проблемы слуганок», обсуждение которой занимало большую часть времени их хозяек. Самое интересное состоит в том, что структура буржуазной семьи решительно отличалась от структуры буржуазного общества. Здесь свобода, равные возможности, денежные отношения и погоня за личной выгодой не имели никакой силы.

На это можно возразить, что причиной тому был индивидуалистический анархизм Хоббесиана, который играл роль теоретической модели буржуазной экономики. В ней не оставалось места для каких-либо форм социальной организации, включая семью. И действительно, семья в каком-то смысле являлась резким контрастом с окружающим миром, оазисом спокойствия в мире борьбы, *Le heros du guerrier* (перерыв в военных действиях). Жена французского промышленника писала своим сыновьям в 1856 году: «Вы знаете, что мы живем в такую эпоху, когда человек имеет цену постольку, поскольку способен в жизни бороться. Ежедневно смелый и умный помощник становится на место своего начальника, чья неактивность и недостаток конкретной деятельности приводят к тому, что ему приходится покинуть работу, которую он считал неизменно своим местом».

«Какая битва на самом деле скрывается под конкурентной борьбой с британскими текстильными промышленниками, — писал ее муж. — Многие погибнут в этой схватке, еще больше будет тяжело раненых»^{16*} Метафорическое сравнение с войной вполне естественно приходило на ум людям, описывающим свою «борьбу за существование» или «выживание самых достойных», точно так же, как слово «мир» символизировало для них дом, семью — «место, где живет веселье», место, где «удовлетворенная сердечная жажда приносит радость». Внешний же мир не сможет ее удовлетворить и, следовательно, не может приносить радость. Здесь даже нельзя допустить мысли о том, что эта жажда будет удовлетворена^{17*}

Возможно, что эгалитаризм, процветавший в буржуазной семье и бывший основой капиталистического строя, нуждался здесь в особом выражении. Он не имел под собой коллективного, установленного традиционного неравенства и поэтому зависимость в семье относилась к сфере личных взаимоотношений. Поскольку

высокое положение человека в обществе было переменчивым фактором, он нуждался в том, чтобы хоть где-то оно имело постоянную прочную почву. Материальным его воплощением были деньги. Но они являлись всего лишь необходимым средством для процесса денежного обмена, к ним следовало прибавить другие формы выражения превосходства человека над человеком. Конечно, в структуре патриархальной семьи, основанной на подчинении жены и детей, не было ничего нового. Но там, где логически можно было ожидать ломки или трансформации в буржуазном обществе института семьи, что и произошло впоследствии, — это подчинение, наоборот, всячески поддерживалось и укреплялось.

Как бы идеально мы себе ни представляли буржуазный патриархат, на деле все выглядело иначе. Современник отмечал, что типичный буржуа из Лилля — это человек, который «боится Бога, но больше всего своей жены и читает *«Echo du Nord»*^{18*}». Это является такой же устоявшейся чертой жизни буржуазной семьи, как и изобретенная мужской половиной человечества теория о женской беспомощности и зависимости, иногда разраставшаяся до масштабов мужской мечты о жене-девочке, выбранной и воспитанной будущим мужем. В жизни такие случаи были крайне редки. Тем не менее факт существования и укрепления буржуазной семьи идеального типа в рассматриваемое время сам по себе очень важен. Достаточно упомянуть о начале систематических феминистских движений представительниц среднего класса, которые развернулись в это время.

Буржуазная семья была центром широкой сети семейных связей, внутри которой вращались отдельные ее члены — Ротшильды, Круппы или те же Форсайты. Социальная и экономическая история XIX века была историей этих династий. Хотя огромное количество материала об этих семьях было накоплено за прошедшее столетие, ни социальные антропологи, ни составители родословных книг (занятие аристократов) не проявляли к ним достаточного интереса, поэтому трудно делать какие-либо общие выводы об этих династиях.

Насколько они продвинулись на своем пути из более низких социальных слоев? На самом деле ненамного, хотя теоретически

ничто не могло помешать этому продвижению. Из всех британских стальных магнатов в 1865 г. 89% процентов были выходцами из среднего класса, 7% из низов среднего класса (включая мелких владельцев магазинов, независимых ремесленников и т. п.) и только 4% — из рабочих, квалифицированных и что еще менее вероятно, неквалифицированных^{19*} В то же время большинство владельцев текстильных предприятий Северной Франции имели сходное происхождение — 2/3 из них в прошлом были торговцами трикотажных изделий. Отцами литейного дела на капиталистических предприятиях в юго-западной Германии не всегда были богатые люди, но все же большую их часть составляли те, чьи семьи имели долгий опыт предпринимательской деятельности. Швейцарско-эльзасские протестантские семьи наподобие Кохлинов, Гейгов или Сарразанов по существу являлись мелкими финансовыми князьками, а не ремесленниками-новаторами, ставшими владельцами предприятий. Образованные люди, к числу которых относились в основном сыновья протестантских пасторов или гражданские служащие, улучшали, но существенно не могли изменить свой социальный статус представителей среднего класса, даже путем предпринимательской деятельности^{20*} Правда то, что талантливым была открыта дорога в буржуазном обществе, но только тем, кто родился в семье более или менее образованной, обеспеченной и имевшей связи с другими подобными семьями того же уровня. Эти же преимущества повышали шансы на удачное заключение брака с себе равными, что приводило к слиянию капитала и продолжению начатого бизнеса.

Экономические преимущества большой семьи или нескольких семей, объединенных крепкими связями, все еще играли большую роль в буржуазном обществе. В сфере бизнеса это гарантировало капитал, возможные полезные деловые связи и, кроме того, надежных партнеров. Семья Лефевров из Лилля в 1851 г. финансировала шерстечесальные предприятия своего шурина, Амадея Прюво. Известная электрическая компания «Сименс и Хальске», основанная в 1847 г., была обязана первыми вложениями своему двоюродному брату. Брат был первым работником компании, получавшим жалованье и вполне естественно, что три

филиала компании в Берлине, Санкт-Петербурге и Лондоне возглавляли три брата — Вернер, Карл и Вильям. Известные протестантские кланы Мальхаусов пользовались поддержкой друг друга: Андре Кохлин, зять Дольфа, основавшего «Дольф-Миг» (оба — и отец и сын были женаты на Мигах) принял на себя руководство фирмой, пока четыре его шурина не стали достаточно взрослыми, чтобы самим ей управлять. В то же время его дядя — Николас — управлял компанией, принадлежавшей Кохлинам, «к которой он присоединил в качестве компаньонов своих братьев, шуринов и своего старого отца»^{21*}. А тем временем другой Дольф, правнук основателя компании, вошел в другую местную семейную фирму, «Шломбергер и Сье». История предпринимательства XIX века пестрит примерами подобных семейных союзов. Для их существования требовалось большое количество способных сыновей и дочерей, но в них не было недостатка и потому в отличие, например, от французских фермеров, которым хватало одного наследника, чтобы передать ему управление фермой, не было необходимости в контроле рождаемости, за исключением семей бедняков и низов среднего класса.

Что можно сказать об организационной структуре этих кланов? Как они работали? На каком этапе они переставали быть просто семейными союзами и превращались в сплоченный социальный союз, в местную буржуазию или даже (как, например, в случае с протестантскими и еврейскими банкирами) в распространенную сеть, одним из звеньев которой был семейный союз? У нас еще нет ответа на этот вопрос.

III

Что же представляла из себя буржуазия как класс в рассматриваемый период? Экономические, политические и социальные корни определения слишком разнятся, но все же достаточно тесно связаны, чтобы не создавать трудностей при его формулировке.

Так, с экономической точки зрения существенная часть буржуазии представляла из себя «капиталистов», (то есть либо тех, кто владел капиталом, либо тех, кто сделал его основным источ-

ником доходов, либо предпринимателей, нажившихся за счет предприятий, либо все, вместе взятое). А имя «буржуа» в это время носили те немногие, кто не укладывался в рамки ни одного из этих требований. Сто пятьдесят лучших семей в Бордо в 1847 г. насчитывали 90 предпринимателей (купцов, банкиров, владельцев магазинов, в том числе нескольких промышленников), 45 владельцев собственности и рантье, 15 представителей свободных профессий, которые в это время, естественно, были вариантами частного предпринимательства. Среди них не было ни одного высокооплачиваемого (хотя бы номинально) администратора, несмотря на то, что они составляли довольно большую группу среди представителей лучших семей в Бордо в 1960 г.^{22*} Следует добавить, что хотя прибыли с земель или еще чаще с городской недвижимости оставались важным источником доходов для буржуазии, особенно среди средних и низших ее слоев в промышленно неразвитых районах, роль этих доходов постепенно падала. Даже в Бордо, где отсутствовала промышленность, подобные доходы составляли 40% от общего количества капитала, лежавшего в 1873 г. мертвым грузом, в то время как в промышленном Лилле эта цифра составляла 31%^{23*}

Социальный состав буржуазных политиков был кардинально другим, возможно потому, что политика — это специфическая сфера деятельности, которая отнимает много времени. Она не может привлекать равно всех, да и не все были способны на подобную деятельность. Тем не менее в рассматриваемое время очень многие буржуа из числа работавших или вышедших в отставку занимались политикой. Так, во второй половине XIX века от 25 до 40% членов швейцарского Федерального Совета являлись предпринимателями и рантье (20—30% членов Совета составляли «федеральные бароны», управлявшие банками, железнодорожными и промышленными компаниями), что было гораздо больше, чем в XX веке. Другие 15—25% включали представителей свободных профессий, в том числе адвокатов. Хотя 50% членов Совета имели низкое звание, юридическое образование являлось необходимым условием для участия в общественной и административной жизни во многих странах. Еще 20—30% являлись «профессиональными» общественными деятелями (пре-

фектами, сельскими судьями и так называемыми магистратами)^{24*} Демократическая группа в палате парламента Бельгии на 83 % состояла из буржуа; 16 % ее членов были предпринимателями, 16 % собственниками, 15 % рантье, 18 % профессиональными администраторами, 42 % представителями свободных профессий, в числе которых были адвокаты и несколько медиков^{25*}. Это было примерно столько же или даже больше, чем среди местных политиков в городах, большое число которых неизменно являлись представителями буржуа. Если высшие эшелоны власти состояли из старых группировок знати, традиционно сложившихся здесь с 1830 года, то буржуазия с 1848 г. «завоевывала низшие уровни политической власти», к которым относились муниципальные советы, мэрии, районные советы, и держала их под контролем вплоть до появления в последние десятилетия века волны новых политиков. С 1830 г. Лиллем управляли мэры, в прошлом являвшиеся крупными предпринимателями^{26*}. В Британии, как известно, крупные города находились во власти олигархии местных бизнесменов.

С социальной точки зрения четкое определение буржуазии дать еще труднее, хотя очевидно, что «средний класс» включал все перечисленные группы, в их число тем не менее входили достаточно преуспевающие и богатые: бизнесмены, собственники, представители свободных профессий, и высших эшелонов власти, которые за пределами капиталистических городов, естественно, составляли очень немногочисленную группу. Трудность заключается в определении верхней и нижней границ социального слоя в иерархии общественных статусов, а равно и в том, чтобы учесть всю разнородность представителей одного слоя. Ведь всегда существовало внутреннее расслоение на буржуазию «больших» и «малых» возможностей. Последняя постепенно превратилась в слой фактически оставшихся за пределами класса.

Верхушка буржуазии более или менее четко отличалась от аристократии (высшей и низшей), что отчасти было обусловлено юридической и социальной исключительностью этой группы населения и ее собственным классовым сознанием. Ни один буржуа не мог стать настоящим аристократом в России или, скажем, в Пруссии, да и там, где можно было свободно получить

дворянскую грамоту, как, например, в империи Габсбургов. Ни один граф Шотек или Ауэрсперг, даже если был готов вступить в совет директоров промышленного предприятия, не стал бы считать какого-нибудь барона фон Вюртемштейна кем-то более банкира среднего класса и еврея. Британия была единственной страной, где в это время аристократия поглощала, пусть все еще в небольших количествах, представителей сословия бизнесменов-банкиров и финансистов.

С другой стороны, до 1870 года и даже после, именно немецкие промышленники отказывали своим племянникам в праве становиться офицерами запаса, считая это положением неподходящим для молодых людей их класса, а сыновьям — поступать служить в пехотные и инженерные войска вместо более престижной кавалерии. Но следует оговориться, что по мере роста доходов — а прирост этот в рассматриваемое время был значительным — богатые буржуа все меньше противились таким соблазнам, как украшения, титулы, браки со знатью и вообще аристократическому стилю жизни. Английские предприниматели-нонконформисты примкнули к английской церкви, а на севере Франции «слегка завуалированное вольтерианство», существовавшее до 1850 года, постепенно превратилось в страстное католичество (после 1870 года)^{27*}

Нижний предел разделяющей границы носил экономическую окраску, хотя бизнесмены — по крайней мере в Британии — четко отделяли себя от тех социальных изгнанников, которые продавали товар непосредственно покупателям (к числу таких, например, принадлежали владельцы магазинов). Эта ситуация сохранялась до тех пор, пока не стало очевидным, что розничная торговля тоже может приносить миллионные доходы. Независимые ремесленники и мелкие владельцы магазинов явно принадлежали к низам среднего класса или *Mittelstand*. Они имели мало общего с буржуа, кроме горячего желания обрести их социальный статус. Богатые крестьяне не являлись буржуа, не относились к ним и «белые воротнички». Тем не менее, в середине XIX века сформировалась довольно большая прослойка экономически независимых мелких производителей или продавцов товаров широкого спроса, а кроме того, квалифицированных рабочих и мас-

теров (они все еще занимали место современных технологических кадров). Их наличие делало разделяющую границу еще более размытой, потому что многим из них будет сопутствовать удача и они впоследствии станут полноправными буржуа.

Одной из главных отличительных черт буржуазии было то, что этот класс общества объединял только влиятельных людей, имеющих власть и не зависящих от традиционных вопросов происхождения и социального статуса. Только люди, чего-то добившиеся в жизни, могли принадлежать к этому классу. Эти люди должны были являться «личностями», чье влияние объяснялось благосостоянием, правом командовать другими людьми и влиять на них. Вследствие этого классическая форма буржуазной политики, как мы могли убедиться, значительно отличалась от политики нижестоящих классов, включая мелких буржуа. Классическим выходом для буржуазии, в случае неприятности или неудач, было обращение к авторитетным людям за личной помощью — шепнуть словечко мэру, депутату, министру, старому школьному товарищу, родственнику или другому бизнесмену. Буржуазная Европа расцвела на базе системы личных связей, протекционизма и взаимовыручки, поддержания отношений со старыми друзьями и друзьями друзей, среди которых самыми выгодными были связи с бывшими институтскими товарищами, разраставшиеся до национальных масштабов*. Среди подобных организаций взаимовыгодных отношений важную роль играло масонство. Там, где оно было особенно распространено, как например в католических странах латинского мира, масонство служило идеологическим цементом, скрепляющим политические притязания либеральной буржуазии или, как например в Италии, фактически единственной постоянной национальной организацией класса буржуазии^{28*} Отдельные представители буржуазии, чувствовавшие потребность публично высказаться по волновавшим вопросам общественного устройства, знали, что письмо в «Times» или «Nevé Freie Presse» не просто станет достоянием большинства представителей их класса, но что куда важнее, сыг-

* В Британии так называемые «публичные школы», которые начали быстро развиваться в это время, собирали сыновей буржуа из разных частей страны. Во Франции ту же функцию выполняли знаменитые парижские лицеи.

рает на руку репутации этого буржуа как «личности». Буржуазия как класс не выступала организатором массовых движений, но формировала влиятельные группы. Ее политической моделью был не чартизм, а «лига борьбы за антихлебный закон».

Конечно, степень «почитаемости» у представителей буржуазии была разной — от гранд буржуа, чья деятельность носила национальный, даже международный характер, до более скромных фигур, влияние которых ограничивалось каким-нибудь Оссежем или Гронингеном. Естественно, что Крупп вправе был ожидать и действительно пользовался гораздо большим уважением и влиянием, чем Теодор Бенингер из Дуйсбурга, который был рекомендован областной администрацией на звание советника по торговле, потому что имел репутацию преуспевающего, способного промышленника, активного участника общественной и церковной жизни, а кроме того поддержал правительство на выборах в муниципальном и областном советах. И тем не менее, оба они были людьми, «с которыми считаются». Непробиваемая стена снобизма отделяла богачей от миллионных масс народа и от просто преуспевающих дельцов, чье появление было вполне объяснимо в классе, сама сущность которого состояла в том, чтобы взбираться выше и выше по социальной лестнице путем невероятных личных усилий. Но несмотря на это продолжало существовать ощущение некой общности мировоззрения, превращавшего «средний слой» общества в «средний класс» или буржуазию.

Единство буржуазии покоилось на почве общей самонадеянности, общей веры, общих форм деятельности. Буржуазия третьей четверти XIX века была в большинстве своем «либеральной», не столько в смысле партийном (хотя как мы уже видели, либеральные партии были широко распространены), сколько в идеологическом. Она верила в капитализм, конкуренцию частных предприятий, в технологии, науку и разум. Они верили в прогресс, представительное правительство, гражданские права и свободу, но только так, чтобы все это распространялось ровно настолько, насколько распространялся закон и чтобы при этом сохранялся порядок, державший бедняков на своих местах. Она верили скорее в культуру, чем в религию и в экстремальных случаях могла променять дежурное посещение театра, оперы или

концерта на церковную службу. Она верила в то, что карьера открыта для талантливых и предприимчивых и что все заслуги оправданы жизнью. Как мы уже убедились, к этому времени традиционная и зачастую пуританская вера в преимущества воздержания и умеренности уже с трудом могла сопротивляться реальностям жизни. И все же потеря этой веры вызывала жалость. Если немецкому обществу суждено погибнуть, — утверждал писатель в 1855 году, — это произойдет вследствие того, что средние классы пустились в погоню за роскошью и внешними признаками достатка, «не позаботившись о том, чтобы уравновесить все это простым и здравым рассудком трудолюбивых буржуа (Buergersinn), с их уважением к духовным сторонам жизни, с их стремлением идентифицировать науку, идеи и талант с прогрессивным развитием третьего сословия (т. е. буржуазии)»^{29*} Возможно, это всеобщее чувство необходимости борьбы за существование, естественный отбор, в результате которого побеждал или просто выживал тот, кто обладал необходимыми моральными качествами, ибо только они могли свидетельствовать о пригодности к этой жизни, было не чем иным, как приспособлением старой буржуазной этики к новой жизненной ситуации. Социальный и любой другой дарвинизм был не просто научным течением, а стал идеологией еще до того, как оформился в это течение. Быть буржуа означало не просто быть исключительным, но и проявлять моральные качества, сходные со старой пуританской моралью.

И все же, прежде всего это означало превосходство. Буржуа был не просто независимой личностью, человеком, которому никто (кроме государства и бога) не мог приказывать. Он был не просто служащим, предпринимателем или капиталистом. Он был «хозяином», «господином», «патроном» или «шефом». Монопольное право на командование в бизнесе, в семье, на фабрике — было решающим фактором в определении его статуса, формальное утверждение которого, независимо — номинальное или реальное — стало краеугольным камнем всех споров вокруг промышленности в это время. «Но я ведь тоже директор рудников, иначе говоря — глава (Chef) большого количества рабочих... Я являюсь носителем принципа авторитетности и обязан заставить всех ува-

жать его во мне: таков всегда был сознательный подход к моим взаимоотношениям с рабочими»^{30*} Только представители свободных профессий, либо артисты и люди умственного труда, не являвшиеся, по существу, служащими и не имевшие подчиненных, не были в первую очередь «хозяевами». Но даже здесь принцип «авторитетности» не отсутствовал вовсе и зачастую проявлялся в манере поведения университетского профессора, медицинского работника, склонного к диктаторским методам, дирижера или своенравного художника. Если Крупп командовал армией своих рабочих, то Рихард Вагнер вправе был ожидать полнейшего подчинения от своих слушателей.

Господство предполагало наличие нижестоящих. Но буржуазия в середине XIX века разошлась во мнениях относительно природы этих низших слоев общества. Поэтому она так и не пришла к окончательному решению вопроса, хотя предпринимались попытки выделить в среде нижестоящих тех, которые, как можно было надеяться, поднимутся хотя бы до низов среднего класса, и тех, которые были безнадежно неисправимы. Своим успехом человек был обязан собственным заслугам, неудачи объяснялись нехваткой подобных заслуг. Традиционное буржуазное общество, светское или пуританское, приписывало эту нехватку моральному и духовному несовершенству человека, а не недостатку у него интеллекта, так как было очевидно, что для успеха в бизнесе большого ума не требовалось, и наоборот — наличие такового вовсе не означало богатство, и еще менее «практического ума». Все это не предполагало антиинтеллектуальной кампании в буржуазном обществе, хотя и в Британии, и в Соединенных Штатах подобные взгляды были довольно распространены. У истоков триумфа предпринимательства преимущественно стояли люди малообразованные, сумевшие извлечь выгоду из своего практицизма и «практического ума». Даже Раскин не избежал влияния этих общераспространенных взглядов. Он заявлял, что «неугомонные метафизики только запутывают «людей дела», сплетая паутину вокруг мощных колес мирового предпринимательства». Самюэль Смайлз высказался еще проще: «Опыт, получаемый человеком из книг, хотя и важен, но по природе своей носит характер заученности, а опыт, полученный из жизни — это и есть муд-

рость. Недостаток последнего неизмеримо более тяжел, чем большой запас первого»^{31*}

Но простое деление на морально превосходящих и морально подчиненных хотя и четко отделяло «респектабельных» от пьяниц и распущенных рабочих масс, уже не являлось адекватным отражением в сложившейся ситуации. Дело в том, что прежние добродетели уже едва были приложимы к преуспевающим и богатеющим буржуа. Этика воздержания и борьбы больше не лежала в основе успеха американских миллионеров 60—70-х гг. да и преуспевающих фабрикантов, проводивших свободное время в деревенских развлечениях. А тем более их родственников-рантье. Для них идеалом стала, по Раскину, «жизнь, протекающая в удовольствиях меняющегося мира, в недрах которого лежат железо и уголь. И чтобы на каждый прекрасный банк в этом мире приходился красивый особняк... с парком среднего размера, садом и оранжереей, по аллеям которого ездят прекрасные кареты. И чтобы жил в этом особняке... английский джентльмен с доброй супругой и его замечательная семья. Чтобы он всегда мог обеспечить своей супруге будуар и драгоценности, дочерям — красивые бальные платья, охотников для сыновей и охоту где-нибудь в Хайлэнде для себя». Здесь заключается объяснение возросшего значения альтернативных теорий о биологическом превосходстве класса, глубоко проникшее в сознание буржуазии XIX века. Превосходство явилось результатом естественного отбора, фактором, заложенным генетически (см. гл. 14). Буржуа если и не были особой породой людей, то по крайней мере принадлежали к высшей расе, являясь венцом эволюционного развития человека. Этим они отличались от остальной неразвитой массы, оставшейся в своем историческом и культурном развитии на стадии детства или юношества.

Таким образом получилось, что от хозяина до представителя избранной расы был всего один шаг. И все-таки право на власть, неоспоримое превосходство буржуазии как особого рода людей предполагало не просто зависимость, но в идеальном варианте добровольно установленную зависимость низших классов, наподобие отношений между мужчиной и женщиной (которые еще раз символизировали эту ипостась буржуазного мировоззрения).

Рабочие, как и женщины, должны были быть верными и послушными. Если они таковыми не были, это приписывалось влиянию магической фигуры в сознании буржуазии — некоего постороннего провокатора. Хотя и невооруженным глазом было заметно, что ремесленные союзы объединяли самых умных, самых квалифицированных рабочих, миф о существовании лентяя, уклоняющегося от работы и воздействующего на умы незрелых, хотя и изначально сознательных рабочих, был действительно нерушимым. «Поведение рабочих внушает сожаление», — писал в 1869 году управляющий шахтами во Франции в дни жестокого подавления забастовки шахтеров. Подобные случаи прекрасно описаны в романе Э. Золя «Жерминаль», «но следует признать, что они являются простым грубым орудием провокаторов»^{33*}. Говоря точнее, потенциальный активный лидер рабочего класса должен был, по определению, быть «провокатором», так как он не подходил под стереотип послушания и тупости. Когда в 1859 г. девять самых честных шахтеров шахты Seaton Delaval — «все трезвенники, шестеро из них — простые методисты, а двое местные проповедники», были заключены на два месяца в тюрьму, после того как оказали сопротивление, участвуя в забастовке, управляющий шахты высказался по этому поводу вполне ясно: «Я знаю, что это уважаемые люди, и поэтому я посадил их в тюрьму. Нет смысла сажать в тюрьму тех, кому это будет безразлично»^{34*}.

Подобное отношение преследовало цель обезглавить низшие классы, по крайней мере там, где это не происходило естественным путем, через поглощение потенциальных лидеров средним классом общества. Кроме того, оно свидетельствовало о небольшой доли уверенности. Ушли в прошлое фабриканты 30-х, жившие в постоянном страхе перед чем-то вроде восстания рабов (см. «Эпоха революций», эпиграф ко второй главе). Когда хозяева — владельцы фабрик говорили об опасности коммунизма, таившейся в любой попытке ущемления прав рабочих наниматься на работу и быть уволенными по своей воле, они имели в виду не социальную революцию, а только тот факт, что могут лишиться права собственности и права господства. Допустив однажды вмешательство в права собственности, буржуазное общество неизменно вылетело бы в трубу^{35*}. Поэтому чувство страха и ненависти

приобретало характер истерии, когда спектр социальной революции вновь обращался на святая святых капиталистического мира. Кровь Парижской Коммуны стала свидетельством его мощи (см. главу 9).

IV

Итак, класс хозяев? Да. Руководящий класс? Ответ будет более сложным. Буржуазия явно не была правящим классом в том смысле, в каком им являлись старые землевладельцы, юридически или фактически наделенные государством властью над людьми, жившими на их землях. Буржуа действовали в существующих рамках государственной и административной власти, которая не была их властью по существу, по крайней мере за стенами дома, в котором они проживали («мой дом — моя крепость»). Только в отдаленных районах, не доступных для центральной власти, например в шахтерских поселениях или в Соединенных Штатах, где государственная власть была слабой, хозяева от буржуазии были полноправными правителями. Их власть могла проявляться в подчинении себе местных органов управления, в командовании армиями пинкертонов или в объединении «наблюдателей» в вооруженные группы для поддержания порядка. Кроме того, в рассматриваемое время, государства, где буржуазия получила официальное право на политическое управление и где ей не приходилось делить власть с бывшей политической элитой, были исключением. В большинстве стран буржуазия не обладала политической властью и не имела политической силы, кроме разве что на более низком, муниципальном уровне.

Объективно буржуазия была гегемоном и влияла на выработку политической линии. Капитализму, как способу экономического развития, другой альтернативы не существовало. И в рассматриваемое время это означало как реализацию экономической и промышленной программ либеральной буржуазии (с местными вариантами), так и центральное положение самой буржуазии в государственной жизни. Даже для социализма дорога к победе пролетариата шла через стадию развитого капитализма.

До 1848 года казалось, что кризис переходного момента в развитии капитализма (см. «Эпоха революции») станет его «окончательным кризисом», по крайней мере в Англии. Но в 1850-е годы стало очевидным, что период мощного роста капитализма был только началом. Капитализм оказался непоколебимым в своем главном бастионе, Британии, а во всех остальных странах перспективы социальной революции парадоксальным образом оказались как никогда зависимыми от перспектив развития буржуазии, местной и иностранной. Триумф капитализма должен был привести к тому, что он сам себя изживет. В известной мере и Маркс приветствовал завоевание Индии Британией и американский захват части Мексики как исторически прогрессивные и полезные для этого времени завоевания. Мексиканцы и индийцы, искавшие союза с Соединенными Штатами или с британскими Раджа для борьбы со своими собственными традиционалистами (см. главу VII) именно так смотрели на сложившуюся в мире ситуацию. А что касается сторонников консервативных, антибуржуазных и антилиберальных режимов в Европе, независимо от того, в Вене, Берлине или Санкт-Петербурге, они были вынуждены неохотно признать, что единственной альтернативой развитию капиталистической экономики может быть только возврат к экономической отсталости. Они стремились к тому, чтобы, способствуя развитию капитализма и буржуазии, вместе с тем не признавать существования буржуазно-либеральных политических режимов. Позиция простого отрицания буржуазного общества и его идей уже себя не оправдывала. Единственная организация, которая осмелилась откровенно противостоять капитализму, — католическая церковь, просто изолировала себя как институт. «Syllabus of Errors» («список грехов») 1864 г. (см. ранее) и Ватиканский собор ясно дали понять, что церковь, проповедуя экстремистские взгляды в отношении всего, что являлось символом середины XIX века, заняла оборонительную позицию.

С 1870-х годов эта фактическая монополия буржуазной программы (в ее «либеральном» толковании) начала разрушаться. В основном же в третьей четверти XIX века она оставалась неопровержимой. Даже абсолютистские правители центральной и восточной Европы начали вносить изменения в экономическое уст-

ройство своих стран: отменили крепостное право, сломали традиционный аппарат государственного контроля над экономикой, отменили корпоративные привилегии. В области политики они были вынуждены пойти на уступки умеренным буржуазным либералам и, хотя бы формально, примириться с существованием их представительских институтов. В области культуры именно буржуазный стиль жизни превалировал над аристократическим, если только не говорить о полном исключении старой аристократии из мира культуры (в том смысле слова, в котором она понимается сегодня). Аристократы превратились в «варваров» Мэтью Арнольда (1822—1888 гг). После 1850 года уже нельзя было встретить ни одного короля, покровительствующего искусству, за исключением сумасшедших правителей наподобие Людвига II Баварского (1864—1886 гг). Иногда магнаты благородного происхождения коллекционировали произведения искусства*. До 1848 года страх перед социальной революцией смягчал реалии буржуазного мира. После 1870 года они вновь оказались под угрозой, правда уже совсем по другой причине. Но в промежуточный период триумф буржуазии был неоспорим. Бисмарк, не питавший симпатии к буржуазному обществу, отозвался об этом времени как веке «материального интереса». Экономические интересы были «движущей силой общества». «Я верю в то, что проникновение экономических принципов во внутренние дела страны — процесс прогрессирующий и необратимый»^{36*} Но что символизировали собой эти движущие силы, как не капитализм и мир, построенный буржуазией и для буржуазии?

* Исключение составлял русский императорский балет, но отношения между членами царской семьи и танцовщицами традиционно выходили за рамки просто официальных.

ГЛАВА 14

НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИДЕОЛОГИЯ

Наша аристократия благороднее (страшнее, как сказал бы китаец или негр), чем средние классы. Именно она породила цвет женского населения планеты. Но как жаль пращура, уничтожившего естественный отбор.

Чарльз Дарвин, 1864^{1*}

Это похоже на то, как люди демонстрируют высокий уровень своего ума степенью своей отдаленности от библейских писаний и катехизиса.

Ф. Шаубах. О современной литературе, 1863^{2*}

Джон Стюарт Милль не перестает бороться за предоставление избирательного права неграм и женщинам. Подобные выводы являются неизбежным результатом всех логических посылок, откуда он их начинает и доводит до абсурда.

Антропологический журнал, 1866^{3*}

Буржуазное общество третьей четверти XIX века было обществом самоуверенных индивидов, гордящихся своими достижениями. Ни в какой другой области завоеваний человечества это не проявлялось так, как в области знаний; в «науке». Образованные люди этого времени не просто гордились своей наукой, но готовились к тому, чтобы подчинить науке все остальные формы интеллектуальной деятельности человека. В 1861 г. статистик и экономист Курно отмечал, что «вера в философские истины настолько утеряна, что ни простой народ, ни академики уже не жалуют работы в этой области, смотря на них исключительно как на памятники мысли, представляющие исторический интерес»^{4*} Это время действительно не было благоприятным для философов. Даже в традиционно философской стране — Германии не было ни одной достойной фигуры, способной пополнить собой плеяду выдающихся философов прошлого. Сам Гегель, на-

званный одним из своих бывших французских поклонников Ипполитом Тэном (1828—1893) «выпущенным паром» немецкой философии, вышел из моды в своей родной стране. Манера, в которой трактовали Гегеля «скучные, тщеславные, посредственные эпигоны, задававшие тон в среде немецкой образованной публики», подвигла Маркса на то, чтобы в 1860-х объявить себя «последователем великого мыслителя»^{5*} Два основных направления в философии приняли подчинительное положение к науке: первое — французский позитивизм загадочного Огюста Конта и второе — британский эмпиризм, который связывали с именем Джона Стюарта Милля и посредственного мыслителя Герберта Спенсера (1820—1903), чье влияние в это время было несравнимо ни с чьим другим в мире. Философия позитивизма Конта опиралась, с одной стороны, на непреложность законов природы, а с другой стороны — на невозможность беспредельного абсолютного знания. Когда позитивизм вышел за рамки эксцентричной секты контистов «Религия человечества», он стал не более чем философией оправдания удобного метода экспериментальных наук. Также для большинства современников Милль был, говоря словами того же Тэна, человеком, открывшим «старый добрый путь индукции и эксперимента». И все же эта точка зрения явно основывалась у Конта и Спенсера на историческом подходе к эволюционному прогрессу. Позитивистский или научный метод стал (или стал бы) триумфом последней из стадий развития человечества. В терминологии Конта это были следующие стадии: теологическая, метафизическая и научная. Каждая характеризовалась своими институтами, самым лучшим из которых, с согласия Милля и Конта, был либерализм (в широком смысле этого слова). Без преувеличения можно сказать, что с этой точки зрения прогресс науки привел к потере значения философии. Последняя стала чем-то вроде интеллектуальной лаборатории для помощи ученым.

Кроме того не удивительно, что с подобной верой в научный метод образованные люди второй половины XIX века не могли не впечатляться его достижениями. Иногда они были на грани того, чтобы рассматривать эти достижения не просто как впечатляющие, но как венчающие прогресс. Вильям Томпсон (лорд

Кельвин), выдающийся физик, считал, что все основные вопросы физики уже решены и остается только прояснить некоторые относительно мелкие проблемы. Он, как мы теперь понимаем, кардинально ошибался.

Тем не менее, сама возможность ошибки является важным и многозначительным фактором. В науке, как и в обществе, есть периоды революционные и неревolutionные. Если XX век был богат на революции во всех областях, пожалуй, даже в большей степени, чем «эпоха революций» (1789—1848), то в период, описываемый в этой книге (за редким исключением), никаких революций не наблюдалось. Это не означает, что обычные в плане ума и способностей люди считали еще не разрешенными основные проблемы общественной и научной жизни, за исключением тех, что связаны с разработкой основной схемы экономики и основной схемы Вселенной. Люди одаренные считали эти вопросы давно решенными. Это означает, что последние не испытывали сомнений в том, в каком направлении им следует идти и какими методами, умом или практикой, достигать желаемого. Никто не оспаривал факт материального и интеллектуального прогресса, так как он был слишком очевиден, чтобы его отрицать. Концепция прогресса была ведущей концепцией эпохи, хотя существовала четкая граница, разделявшая тех, кто считал прогресс явлением более или менее непрерывным и развивающимся линейно, и тех (например, К. Маркс), кто знал, что он должен быть и будет прерывистым и противоречивым. Исключение могли составлять только вопросы вкуса, к которым относились манеры, поведение и мораль. Здесь простое количественное накопление не могло стать руководящим фактором. Не вызывает сомнений, что люди в 1860 г. знали больше, чем когда-либо прежде, но были ли они при этом «лучше» — об этом судить гораздо сложнее. Эти проблемы волновали в равной степени теологов (их интеллектуальный уровень был невысок), философов, служителей искусства (они вызывали восхищение, но восхищение, подобное тому, которое испытывает богач перед бриллиантами, зная, что он может позволить себе подарить их своим женщинам) и общественных критиков правого и левого толка, недолголюбивавших общество, в котором они жили, или вынужденные его недолголю-

вать. Вышеперечисленные группы составляли явное меньшинство в среде думающих и образованных людей 1860-х гг.

Хотя широкомасштабный прогресс явно охватил все отрасли знания, было очевидно, что некоторые из них продвинулись дальше в своем развитии, некоторые оформились лучше, чем другие. Так, например, казалось, что физика была более зрелой наукой, чем химия и давно оставила позади период взрывных экспериментальных открытий, которые явно переживала сейчас химия. Химия, в свою очередь (даже «органическая химия»), гораздо дальше продвинулась в своем развитии, чем общественные науки, которые, казалось, только что стали полноправными членами эры восхитительного прогресса. Лицом всех естественных наук в это время стала теория эволюции, а безусловным воплощением образа ученого — фигура ее создателя, несколько неотесанного, обезьяноподобного Чарльза Дарвина (1809—1882). Загадочный, абстрактный и фантастический мир математиков оставался недоступным как ученым, так и широкой публике, может быть недоступнее, чем когда-либо. Потому что главная связующая нить — физика (через физические технологии) — оказалась на этой стадии развития наук менее полезной для самых передовых и смелых абстракций, чем великие времена создания астрологической (небесной) механики. Математические вычисления, без которых стали бы невозможными достижения инженерии и коммуникаций этого времени, оказались далеко позади достижений решительно двигавшейся вперед науки. Лучше всего это отражено в работах математиков рассматриваемого времени. Одним из таких математиков был университетский преподаватель Джордж Бернارد Райман (1826—1866). Его диссертация «Гипотезы, лежащие в основе геометрии» (написана в 1864, издана в 1868 г.) стала таким же событием в науке XIX века, как в свое время в XVII веке законы Ньютона. В этой диссертации были заложены основы топологии, дифференциальной геометрии топологических пространств, космического времени и гравитации. В работах Раймана намечена даже теория, близкая к сегодняшней теории квантов. И все-таки, эти и другие глубоко оригинальные математические исследования не могли оказать влияние до тех пор, пока в конце XIX века не начался новый революционный век физики.

Кажется, что ни одна естественная наука не сомневалась, в каком направлении должно идти ее развитие или какова будет концептуальная методологическая основа этого развития. Исследований было множество, теории отличались новизной, но при этом не были неожиданными. Даже дарвинская теория эволюции произвела впечатление не новизной концепции — ее разрабатывали уже несколько десятилетий — а потому, что впервые представила приемлемое объяснение происхождения видов. Причем объяснение было сделано в понятных всем, даже несколько ненаучных категориях, разительного напоминая привычную концепцию либеральной экономики-конкуренции. Огромное количество выдающихся ученых действительно намеренно старалось оперировать терминами широко доступными, что вело к быстрой популяризации их трудов. Это можно сказать о Дарвине, иногда переходившем границы в этом своем стремлении, Пастере, физиологах Клоде Бернаре (1813—1878), Рудольфе Вирхове (1821—1902) и Гельмгольце (1821—1894), не говоря уже о физиках вроде Вильяма Томпсона. Основные модели или «образцы» научных теорий казались неизменными, хотя великие ученые — например Джеймс Клерк Максвелл (1831—1879) — формулировали свои теории с инстинктивной предосторожностью, что ставит их в один ряд с позднейшими теориями, основанными на совсем других моделях.

В сфере естественных наук наблюдалось немного из тех горячих и головоломных споров, возникавших в результате столкновения даже не различных гипотез, а различных точек зрения на ту же проблему. Иначе говоря, когда одна группа предлагала не просто иное решение проблемы, а решение, которое другая группа считала недопустимым и «немыслимым». Подобные конфликты возникали не так давно в мире математических наук, когда Г. Кронекер (1839—1914) яростно напал на К. Вейерштрасса (1815—1897), К. Дедекинда (1831—1916) и Дж. Кантора (1845—1918) по поводу проблемы математической бесконечности. Подобные *Methodenstreite* (борьба методов) разделили представителей общественных наук, но как только дело касалось естественных наук — даже отношения биологов к болевой проблеме эволюции — борьба переставала быть просто научным конфликтом

и принимала идеологический, оттенок. Нет убедительной научной причины, почему подобные споры возникали в сфере естественных наук. Самый типичный ученый викторианской эпохи Вильям Томпсон (лорд Кельвин), типичный в своей мощной, если не сказать — традиционной теоретической силе, огромной технической плодovitости* и соответственного успеха на бирже — явно не испытывал радости по поводу электромагнитной теории света Максвелла, которая, правда, многими расценивалась как отправная точка современной физики. Тем не менее на языке терминов своего собственного типа математики он не стал бросать ей вызова. Томпсон вновь, к своему удовлетворению, продемонстрировал, что, полагаясь на основные известные законы физики, Солнце не может быть старше 500 млн лет и что этого времени было бы недостаточно для геологической и биологической эволюции на земле. Он был верным христианином и эти выводы пришлись ему по вкусу. Фактически, по меркам физиков 1864 г., он был прав: только открытие неизвестных тогда источников ядерной энергии дало физикам возможность предположить, что период жизни Солнца, а следовательно — и Земли — был гораздо больше. Но Томпсона мало заботило, что его физические теории могут быть неполными, так как вступают в противоречие с существующими данными геологии, а геологи просто шли вперед в своих исследованиях, не оглядываясь на физику. Еще одной причиной отсутствия конфликтов может быть дальнейшее развитие обеих наук.

Мир науки двигался проторенной интеллектом дорогой, и дальнейший прогресс, как и прогресс железной дороги, казалось, будет представлять собой прокладку тех же самых рельсов, только через новые территории. Небеса уже не представляли большого интереса для опытных астрономов, и они не сделали, как им казалось, никаких потрясающих открытий, не считая большого количества новых наблюдений, ставших возможными благодаря более мощным телескопам и исследовательским приборам (и те

* Доктор Зинау напомнил мне, что в «доэлектрическую эру» не было ни одного электроинструмента, телеграфа, железнодорожного блокпоста, почтовой станции или электростанции, которая не была хотя бы частично обязана своим существованием Томпсону.

и другие были в основном немецкого производства)*, использованию новой техники фотографии, а также спектрального анализа, впервые примененного для исследования света звезд в 1861 г. и оказавшегося неизмеримо мощным орудием исследования.

В прошедшие полвека развитие физических наук шло драматическим путем, когда была сделана попытка объединить на основе законов термодинамики столь разные явления, как теплота и энергия, а электричество, магнетизм и даже свет сводились к одной аналитической модели. За рассматриваемое время термодинамика мало продвинулась вперед, хотя Томпсон завершил процесс приведения новых доктрин тепла в соответствие со старыми законами механики (динамический эквивалент тепла). Замечательная математическая модель электромагнитной теории света, созданная одним из прародителей современной теоретической физики Джеймсом Максвеллом в 1862 г., была одновременно и основательной, и не оконченной. Неоконченной, возможно потому, что сам Максвелл так и не смог дать понятного объяснения своей, как он выразился, «неуклюжей теории» (это так и не было сделано до 1941 г.)^{6*} Его выводы не смогли убедить его выдающихся современников — Томпсона, Гельмгольца и даже блестящего австрийского учетного Людвигу Больтцмана (1844—1906), который в своей статье в 1868 г. практически заложил основы статической механики. Возможно, физика середины XIX века не была столь захватывающей, яркой наукой, какой она была до этого времени и после него. Но ее теоретические завоевания в это время действительно грандиозны. Электромагнитная теория света и законы термодинамики «явились, — по словам Бернала, — определенным завершением»^{7*} Действительно, британские физики, возглавляемые Томпсоном, занимавшиеся исследованиями в области термодинамики, высказывали мнение, что человек

* До 1890-х модель телескопа Джорджа Траунхофера (1787—1826) оставалась основой для создания гигантских рефракторов, установленных в американских обсерваториях. Британская астрономия теперь отставала в качественном отношении от континентальной, но восполняла свое отставание рекордами длительности наблюдений. «Гринвич» можно было сравнивать со старомодной фирмой солидной репутации с гарантированной клиентурой, занимающейся повседневной рутинной», — считал С. Зинау.

наконец достиг правильного понимания законов природы (правда, Гельмгольц и Больтцман не были в этом так уверены). Возможно, замечательная технологическая плодovitость физики, создавшей механические модели, укрепляла эту иллюзию окончательности познания.

Другая великая наука из числа естественных, достигшая, пожалуй, своего наибольшего расцвета в XIX веке — химия — была далека от подобных иллюзий. Освоение ее достижений приняло широкомасштабный характер, особенно в Германии совсем не потому, что эти достижения нашли разнообразное применение в промышленности — от отбеливателей, красителей и удобрений до фармацевтических товаров и взрывчатки. Химия стояла на пороге того, чтобы втянуть в ряды своих последователей более половины всех профессиональных ученых^{8*} Основы химии как зрелой науки были заложены в последней трети XIX века. С тех пор она расцвела и продолжает развиваться, буквально фонтанируя новыми идеями и открытиями.

Основные элементарные химические процессы были окончательно исследованы, а способы анализа — доступны всем. Все сводилось к следующему: существует ограниченное количество химических элементов, состоящих из различного числа основных единиц строения — атомов и соединения элементов, состоящих из большого скопления атомов — молекул, и есть правила, по которым происходит соединение элементов. Эти правила уже исследованы химиками, положившими их в основу анализа и синтеза различных химических соединений. Расцвела специфическая отрасль химической науки — органическая химия, хотя пока она ограничивалась изучением свойств материалов, возникших из когда-то живой материи, таких, как уголь (причем изучались в основном те свойства, которые могли быть полезными в промышленности). До биохимии, иначе говоря — до понимания того, как все эти химические соединения функционируют внутри живых организмов, было еще далеко. И все же в рассматриваемый период химические модели были очень не совершенны, большой прогресс в их понимании будет сделан только в третьей четверти XIX века. В соответствии с этими моделями структура химических соединений

рассматривалась только с точки зрения количества составляющих молекулы атомов.

В это время для установления точного числа разного вида атомов в молекуле пользовались законом Авогадро, открытым в 1811 г. Этот закон итальянский химик-патриот представил на рассмотрение международного симпозиума химиков в 1860 г. — год объединения Италии. Кроме того, еще одним существенным вкладом со стороны физиков были исследования Пастера, обнаружившего в 1848 г., что химически идентичные вещества могут иметь разные физические свойства, например, вращающаяся или невращающаяся плоскость поляризованного света. Из этого следовало, помимо прочего, что молекулы имеют трехмерную пространственную структуру, и блестящий немецкий химик Кекуль (1829—1896) в очень викторианском духе, разъезжая на втором этаже лондонского автобуса, в 1865 г. представил себе полную структурную модель молекулы, знаменитый бензольный круг из шести углеродных атомов, к каждому из которых примыкает атом водорода. Можно сказать, что архитектурная или инженерная модель пришла на смену существовавшей до сих пор модели, основанной на количественной концепции, — простом подсчете числа атомов, отраженном в химической формуле C_6H_6 .

Пожалуй, еще более блестящим открытием химической науки стала периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (1834—1907), открытая в 1869 г. и наконец-то упорядочившая все известные химические элементы. Много новых элементов было открыто после решения проблемы атомного веса и валентности (то есть количества связующих элементов, при помощи которых атом вещества присоединяет к себе другие атомы), а также после появления в 1860 г. теории атомов, забытой в начале XIX века, но получившей второе рождение после 1860 г. К этим открытиям добавилось улучшение формы спектроскопа (1859 г.), что сделало возможным открытие новых элементов. 1860-е годы были временем великой стандартизации и измерения. Они также стали свидетелями появления привычных единиц измерения электрической энергии (вольт, ампер, ватт и ом). В связи с этим начали предприниматься попытки классификации химических элементов с учетом их валентности и атомно-

го веса. В основу таблиц Менделеева и немецкого ученого Лотара Мейера (1830—1895) был положен тот факт, что свойства химических элементов меняются по мере увеличения веса их атомов. Гениальность ученых состояла в предположении, что в соответствии с этим принципом определенные места таблицы, включавшей 92 элемента, должны остаться пустыми для пока еще не открытых элементов, а также в том, что свойства этих элементов можно представлять. С первого взгляда, таблица Менделеева казалась итогом развития теории атомов, не допускающей наличия других фундаментально отличающихся форм существования вещества. На самом же деле, окончательное толкование теории было осуществлено только после появления новой конструкции состава материи. Теперь материя уже не представлялась состоящей из неизменных соединений атомов. Было установлено, что «она состоит из относительно временных комбинаций нескольких основных частиц, которые сами по себе способны изменяться и трансформироваться». Но в рассматриваемое время таблица Менделеева, как и исследования Максвелла, казалось, стали последней точкой в старых научных спорах, а совсем не началом новых.

Биология долгое время оставалась позади физических наук. Причиной этого были не только консерватизм людей двух профессий, использовавших достижения на практике — фермеров и особенно врачей. Самым великим из первых физиологов был Клод Бернард. Его работы заложили основу современной физиологии и биохимии. В работе «Введение в экспериментальную медицину» (1865 г.) он дал самый лучший из когда-либо написанных анализов научных процессов. Тем не менее, хотя это был очень почитаемый ученый, особенно в родной Франции, его исследования не нашли быстрого практического применения, поэтому его влияние на современную науку было гораздо меньшим, чем его земляка Луи Пастера. Пастер, как и Чарльз Дарвин, стал, пожалуй, самым широко известным ученым середины XIX века. Он занимался исследованиями в области бактериологии и был первооткрывателем в этой области благодаря достижениям промышленной химии. Вместе с ним в этом же направлении работал Роберт Кох (1843—1910), сельский врач из Герма-

нии. Именно Пастеру удалось установить причины плохого качества пива и уксуса, которые не мог определить химический анализ. Методы бактериологического исследования — работа с микроскопом, подготовка культур и предметных стекол, а также возможность незамедлительного применения полученных данных на практике при лечении болезней людей и животных сделали новую науку доступной, понятной и необходимой. Такие достижения, как антисептика (разработана Листером) 1827—1912 (в 1865 г.), пастеризация и другие методы предохранения органических продуктов от микробов, всевозможные прививки всегда были в арсенале этой науки, а очевидность результатов могла сломать извечную стену враждебности по отношению к медицине и медикам. Изучение бактерий обеспечило биологию исключительно ценным подходом к исследованию основ жизни, но в это время в науке еще не поднимались теоретические вопросы, которые не смогли бы получить одобрения рядовых ученых.

Самое важное и значительное достижение в биологии имело в это время весьма относительную ценность для изучения физической и химической структуры вещества, а также механизмов жизни. Теория эволюции и естественного отбора выходила далеко за рамки биологической науки, и в этом заключалась ее ценность. Она обнаружила превалирование истории над всеми остальными науками, хотя «история» в этом смысле часто смешивалась современниками с понятием «прогресса». Кроме того, включение самого человека в схему биологической эволюции стирало четкую грань между естественными и общественными науками. Впредь надо было признать, что весь космос, или по крайней мере вся Солнечная система находятся в процессе постоянных исторических изменений. В центре этих изменений стоят Солнце и планеты, и то же самое, как это установили геологи (см. «Эпоха революций», гл. 15), можно было сказать о Земле. Теперь и живые существа были включены в этот процесс, хотя вопрос возникновения жизни из неживой материи все еще оставался нерешенным, причем большей частью по идеологическим причинам (великий Пастер был уверен в том, что доказал невозможность подобной трансформации). А Дарвин включил в схему эволюционного развития не только животных, но и человека.

Трудности развития науки в середине XIX века лежали не столько в отказе принять подобную историзацию Вселенной — ничего не могло быть легче в век потрясающих и массовых исторических изменений — сколько в невозможности связать ее с действиями единых непрерывных и нереволюционных законов природы. Эти законы распространялись и на социальные революции, на традиционную религию, чьи священные тексты обрекали ее на непрерывное изменение (воссоздание), и вмешательство природных сил (чудеса). И все же на этой стадии развития науки казалось, что она зависит от законов единообразия и постоянства. Механицизм был ее неотъемлемой особенностью. Только революционные мыслители вроде Маркса с легкостью могли поверить в утверждение, что $2 + 2$ равняется больше не четырем, а любой другой цифре*. Геологи смогли объяснить причины всего, что происходило и происходит с неживой землей действием тех же самых природных сил, что продолжают «работать» и сегодня. Это было их огромным достижением. Теория естественного отбора приоткрыла завесу над тайной существования огромного количества видов, включая животных. Это тоже было большим достижением. Подобный успех не мог не подвигнуть, да и до сих пор продолжает подвигать мыслителей на отрицание или недооценку самых разных новейших процессов, управляющих историческим развитием, и сведение изменений, происходящих с человеческим обществом, к законам биологической эволюции (социал-дарвинизм). Общество, в котором жили западные ученые, а большинство ученых принадлежало к западному миру, даже те, кто остался на его периферии, как например в России, — сочетало стабильность и изменчивость, то же самое можно сказать и об эволюционных теориях. Эти теории были драматичны или скорее травматичны, потому что впервые в истории открыто вступили в непримиримый бой с силами традиций консерватизма и особенно с религией. Они отрицали особый статус человека, который до этого

* Этот вопрос обсуждался в сфере математической теории бесконечности и всех шокировал факт, что правила арифметики больше не будут давать ожидаемых результатов.

был неоспорим. Ожесточенность, с которой отвергали эволюционные теории, имела идеологические корни. Как мог человек, созданный по образу и подобию Божию, быть не чем иным, как мутированной обезьяной? Выбирая между обезьяной и ангелом, противники Дарвина оставались на стороне ангела. Сила сопротивления свидетельствовала о силе влияния традиционализма и религии в обществе даже на самые эмансипированные и образованные слои западного населения потому, что дискуссия велась на высоком интеллектуальном уровне. Но что поражает больше всего, это готовность сторонников теории эволюции публично бросить вызов силам традиции — и их относительно быстрый триумф. В первой половине XIX века сторонников теории было очень много, но те биологи, которые входили в их число, обсуждали эти вопросы с большой долей осторожности и страха. Сам Дарвин скрывал свои взгляды на проблему, причины такого поведения сторонников эволюции заключались не только в том, что теперь уже трудно было отрицать очевидность фактов происхождения человека от животных, которых к 1850-м годам накопилось достаточное количество. Нельзя было игнорировать обезьяноподобный череп неандертальца, найденный в 1856 году. Но достаточно веские доказательства теории существовали и до 1848 года. Поэтому основная причина заключалась в том, что в это время наблюдалось благоприятное стечение двух обстоятельств — быстрого роста либеральной и «прогрессивной» буржуазии и отсутствие революций. Вызов силам традиционализма стал сильнее, но уже перестал знаменовать собой социальный переворот. Сам Дарвин стал олицетворением такого положения дел. Буржуа, умеренный левый либерал, готовый в конце 1850-х годов вступить в борьбу с силами консерватизма и религией, он мягко отказал Карлу Марксу в желании посвятить ему второй том «Капитала». При этом он не был революционером.

Успех дарвинизма зависел, таким образом, не столько от способности Дарвина убедить в своей правоте научный мир, иначе говоря, от явных заслуг «Происхождения видов», а стечение политических и идеологических обстоятельств времени и места. Конечно его сразу поддержали крайние левые, кото-

рые уже долгое время демонстрировали элементы эволюционного мышления. Альфред Рассел Воллас (1823—1913 гг.), который независимо от Дарвина вывел теорию естественного отбора и разделил с ним славу, следовал в науке традициям ремесленничества и радикализма. В начале XIX века ремесленная наука играла важную роль в общественной жизни, именно она признала теорию «естественной истории» конгениальной. Сформировавшийся под влиянием чартизма и оуэновских «Храмов науки» Воллас продолжал исповедовать крайне левые взгляды и впоследствии поддержал насильственную национализацию земли и даже социализм, продолжая при этом верить в ортодоксальные теории и плебейскую идеологию, а равно френологию и спиритизм (см. далее). Маркс в свою очередь сразу же приветствовал «Происхождение видов» как «основу наших взглядов в сфере естественных наук»^{9*}, и социальная демократия стала все больше приобретать черты дарвинизма, особенно в трактовке некоторых учеников Маркса — таких, как Каутский.

Очевидная приверженность социалистов к биологическому дарвинизму не означала, что быстро реагирующие и прогрессивные либеральные средние классы питали к этой теории меньше интереса. Пожалуй, наоборот. Дарвинизм совершил триумфальное шествие по Англии и самоуверенной либеральной Германии времен ее объединения. Во Франции, где средний класс отдавал предпочтение стабильности наполеоновской империи и интеллигенция левого толка не испытывала необходимости в идеях нефранцузского происхождения, а следовательно — отсталых, дарвинизм не имел столь широкого хождения вплоть до конца Империи и разгрома Парижской Коммуны. В Италии последователи дарвинизма были больше озабочены социально-революционным звучанием теории, чем папским гневом, но тем не менее все равно были тверды в своих убеждениях. В Соединенных Штатах Америки дарвинизм не просто мгновенно завоевал умы, но очень скоро стал идеологией воинствующего капитализма. А оппозицию дарвинизму, особенно среди ученых, наоборот, составили консерваторы.

II

Теория эволюции связала естественные науки с общественными; впрочем, термин «общественные» уже тогда являлся анахронизмом. Впервые все ощутили потребность в специальной науке об обществе, которая бы четко выделялась на фоне схожих специальных дисциплин, уже занимающихся разными сторонами человеческой жизни. Британская ассоциация помощи общественным наукам (1857 г.) преследовала простую цель — найти способы приложения научных методов к социальным реформам. Тем не менее «социология» — термин, придуманный Огюстом Контом в 1839 г. и популяризированный Гербертом Спенсером (написавшим преждевременную книгу о принципах не только этой, но и многих других наук (1876), широко обсуждалась в обществе. К концу рассматриваемого периода социология не стала ни признанной наукой, ни академической дисциплиной. С другой стороны, более всеобъемлющая родственная научная дисциплина — антропология, быстро развивалась на основе юриспруденции, философии, этнологии, путевых заметок, изучения жанра языка, фольклора и медицины (отсюда шел интерес к популярной тогда «физической антропологии», породившей моду на измерение и коллекционирование черепов разных людей).

Первым человеком, начавшим официально обучать этой науке, был, пожалуй, Катрефаж, в 1855 г., преподававший в Высшей школе при Национальном музее Парижа. Основание Парижского антропологического общества (1859 г.) пробудило всплеск интереса к антропологии, и в 1860-х схожие общества стали возникать в Лондоне, Мадриде, Москве, Флоренции, Берлине. Психология (еще одно новое название, недавно введенное в научный оборот Джоном Стюартом Миллем) была тесно связана с философией. Труд А. Бейна «Ментальность и наука морали» (1868) связывала психологию с этикой, но благодаря В. Вундту (1832—1920), который был помощником великого Гельмгольца, новая наука получила экспериментальную ориентацию. К 1870-м годам психология стала общепризнанной научной дисциплиной, во всяком случае, в немецких университетах. Кроме того, нашлись точки соприкосновения с общественными и антропологическими

науками; в начале 1859 г. был основан специальный журнал, связавший психологию с лингвистикой.

По меркам «позитивистских», особенно экспериментальных наук, достижения этих новых общественных наук были незначительными, хотя три науки из их числа уже могли претендовать на подлинные систематические достижения, так же как и науки, существовавшие до 1848 г. Это экономика, статистика и лингвистика (см. «Эпоха революций, гл. 15). Связи между экономикой и математикой упрочились благодаря французам А. Курно (1801—1877) и Л. Вальра (1834—1910), а применение статистики для изучения общественного феномена стало настолько распространенной практикой, что не могло не стимулировать и ее использования в области физических наук. По крайней мере такие попытки предпринимались студентами — первооткрывателями принципов статистических исследований, направляемых Максвеллом. Общественная статистика расцвела как никогда ранее, ее данные имели самое широкое применение в обществе. Международные статистические конгрессы стали регулярно проводиться с 1853 г., а научное признание дисциплины подтвердило избрание выдающегося ученого Уильяма Фарра (1807—1883) в Британское Королевское общество. Лингвистика, как мы увидим позже, шла совсем другим путем развития.

В целом же все эти результаты, не считая разработки новых методологий, не были выдающимися. Универсальные школы экономики, появившиеся одновременно в Британии, Австрии и Франции около 1870 г., явили собой образец изящества и широкого научного кругозора, но они были несравненно мельче, чем старая школа «политической экономии» (или даже непокорная немецкая «историческая школа экономики»), и настолько же лишены реалистического подхода к проблемам экономики. В отличие от естественных наук, у общественных наук в либеральном обществе не было даже стимула методологического прогресса. Базовая модель экономики, казалось, полностью всех удовлетворяла и не оставляла проблем, которые надо было решать, наподобие вопросов роста, возможных экономических спадов или распределения доходов. Пока эти проблемы не были полностью решены, механизмы действия рыночной экономики, на которых

и сосредоточились в дальнейшем научные исследования, автоматически их решали, конечно, в пределах распространения человеческого влияния. В любом случае, положение дел менялось в лучшую сторону, что, естественно, не давало экономистам возможности сконцентрировать внимание на решение глобальных проблем их науки.

Интересы буржуазных мыслителей были связаны скорее с общественной жизнью и политикой, а не экономикой, особенно в тех странах, где уже забыли об угрозе революции, как, например, во Франции или в Германии, где интерес к экономике возник в связи с подъемом рабочего движения. Но немецкие мыслители, никогда полностью не принимавшие крайние либеральные теории, беспокоились, как и консерваторы всего мира, по поводу того, что общество, порожденное либеральным капитализмом, может оказаться опасным и нестабильным, в качестве решения проблемы они не могли предложить ничего более существенного, чем превентивные социальные реформы. В представлении социолога, общество имело вид «социального организма», действующего так же, как и биологический, — функциональное сотрудничество всех общественных групп этого организма совсем не было похоже на классовую борьбу. Древний консерватизм в костюме XIX века, который трудно сопоставить с другим биологическим образом эпохи, — вечно стоящей на страже изменений и прогресса «эволюцией». Фактически это была хорошая база для пропаганды, но не для науки.

Единственным мыслителем эпохи, разработавшим всеобъемлющую теорию структуры общества и общественных изменений, мыслителем, который до сих пор вызывает уважение, был социальный революционер Карл Маркс. Он вызывал восхищение, или, по крайней мере уважение и экономистов, и историков, и социологов. Это уже само по себе огромное достижение, потому что его современники (не считая экономистов) сейчас уже забыты даже в среде высокообразованных людей. Некоторые из них настолько неприязненно восприняли надвигающуюся эпоху, что сегодняшним «археологам» интеллектуальной мысли приходится вновь изучать их труды для воскрешения содержащихся в них забытых мыслей. Но больше всего поражает не тот факт, что

Огюст Конт или Герберт Спенсер были людьми высокого интеллектуального уровня, а тот, что люди, однажды получившие звание «Аристотелей своего времени», совершенно стерлись из исторической памяти. А ведь в свое время они были несравнимо более знаменитыми, чем Маркс. В 1875 году неизвестный немецкий эксперт отозвался о «Капитале» Маркса как о работе самоучки, не имеющего ни малейшего представления о достижениях науки за последние 25 лет^{11*} В это время на Западе лишь участники международного рабочего движения восприняли Маркса всерьез, особенно он был популярен в среде социалистов на своей родине, хотя и здесь его влияние нельзя было назвать значительным. Тем временем революционная интеллигенция России с жадностью набросилась на учение Маркса. Потребовалось пять лет для того, чтобы распродать первый тираж (1 000 экз.) немецкого издания «Капитала» (1867 г.). А в 1872 г. первая тысяча копий российского издания разошлась меньше чем за два месяца.

Проблема, решением которой занимался Маркс, была проблемой, с которой столкнулись и многие другие ученые: сущность и механизм перехода от докапиталистического к капиталистическому обществу, его специфические формы и тенденции будущего развития. Взгляды Маркса общеизвестны, поэтому нет необходимости их здесь излагать. Просто заметим, что Маркс противостоял повсеместно распространяющейся тенденции исключения экономического анализа из исторического и социального контекста. Проблема исторического развития общества XIX века вводила и теории, и теоретиков в отдаленное прошлое. Потому что как внутри самих капиталистических стран, так и там, где распространяющийся капитализм сталкивался с другими общественными системами и разрушал их, живое прошлое и рождающееся настоящее вступали в открытый конфликт. Немецкие мыслители видели, как иерархия «сословий» в их родной стране приводит к зарождению общества враждующих классов. Британские юристы, особенно имевшие опыт работы в Индии, противопоставили традиционное общество «общественного положения» новому «обществу контракта». В переходе от одного к другому они видели принципиальный образец исторического развития. Рус-

ские писатели практически жили одновременно в двух мирах — древней крестьянской общине, жизнь которой они наблюдали, проводя долгие летние месяцы в своих деревенских имениях, и мире западном, интеллектуальном. По мнению рядового наблюдателя середины XIX века, все исторические формации мирно сосуществовали в это время, кроме разве что древних цивилизаций и империй, наподобие классической античности, похороненные под толщей лет и ожидающие, когда лопаты Шлимана (1822—1890) явят миру Трою и Микены, а Флиндерса Петри (1853—1942) — древний Египет.

Можно было ожидать, что научная дисциплина, изучающая историческое прошлое, станет исключительно полезной для развития общественных наук, но на самом деле история оказалась плохим помощником. Сфера ее интересов ограничивалась правителями, битвами, договорами, политическими событиями и политически легальными общественными институтами, словом, политикой прошлых лет, а еще точнее, современной политикой в костюме прошлого. Историки выработали методологию исследования документов, которые теперь хранились в потрясающем порядке в архивах, и все больше (следуя за немецкими учеными) облекали свои писания либо в форму научных диссертаций, либо статей в специализированных учебных журналах. В 1858 г. вышел первый номер «Historische Zeitschrift», в 1876 г. — «Revue Historique», в 1886 г. — первый номер английского «Historical Review», в 1895 г. — «American Historical Review». На самом же деле вся эта научная продукция превращалась в памятники эрудиции, на которых мы продолжаем чертить свои мысли, в худшем — огромных размеров памфлеты, которые сегодня читаются чисто как литературные произведения. Академическая история, несмотря на умеренно либеральные взгляды многих ее последователей, вполне естественно уклонялась в сторону сохранения прошлого и сожаления по поводу настоящего. Общественные науки в это время имели кардинально противоположный уклон.

Тем не менее если академические историки шли своей одинокой дорогой познания, история сама по себе оставалась основным строительным материалом новых общественных наук. Это

было очевидно на примере небывалого расцвета лингвистики, или, используя современную терминологию, филологии, которая, как и многие другие науки, имела преимущественно немецкие корни. Филология поставила задачу — проследить историческую эволюцию индоевропейских языков, которые, возможно, вследствие того, что в Германии они были известны как индогерманские пробуждали к себе национальный, если не сказать — националистический — интерес в этой стране. Предпринимались также попытки составления всеобъемлющей типологии языков, иначе говоря — обнаружения истоков происхождения языка и речи. Этими вопросами занимались Штейнхаль (1823—1899) и Шлейхер (1821—1868), но составленное таким образом языковое древо носило слишком абстрактный характер, а соотношение «рода» и «видов» вызывало массу сомнений. Фактически, за исключением древнееврейского языка и родственных ему семитских языков, привлекавших внимание еврейских ученых и исследователей Библии, а также некоторых работ по угро-финским языкам (носители которых, как оказалось, есть в Венгрии) никакого систематического изучения языков проведено не было. Исключение составляли только индоевропейские языки. И это в странах, где филология процветала*. С другой стороны, фундаментальные методы проникновения в суть языков, разработанные в первой половине XIX века, теперь с успехом систематически применялись и развивались при изучении эволюции индоевропейских языков. Основные правила позиционной смены звуков, выведенные Гриммом для немецкого языка, теперь изучались более глубоко. Были разработаны методы восстановления ранее существовавших устных форм слов, не зафиксированных на письме, и методы составления моделей «языковых семей». Предлагались и другие методы разработки эволюционных изменений языков, например, «wave-theory», теория волн Шмидта. Все больше входило в практику использование аналогов, особенно грамматических, потому что филология не существует без компаративности. К 1870-м годам ведущая школы Junggrammatiker» (младограмма-

* Американская школа лингвистики, основанная на изучении американо-индийских языков, к этому времени еще не сформировалась.

тиков) посчитала себя достаточно компетентной для того, чтобы восстановить первоначальный индоевропейский язык, от которого произошло огромное количество языков, начиная с санскрита на Востоке и заканчивая кельтским на Западе. «Грозный» Шлейхер писал практически все свои работы на этом восстановленном языке. Современные лингвисты пошли совершенно другим путем. Они отрицают, пожалуй, даже слишком ожесточенно исторические и эволюционистские тенденции в науке середины XIX века и в связи с этим развитие филологии в наше время идет путем разработки уже известных принципов, а не путем создания новых. Но в рассматриваемое время филология была типично эволюционистской общественной наукой, по стандартам времени довольно популярной как среди ученых, так и среди широких масс. К несчастью, в среде последних (несмотря на заверения в обратном таких ученых, как Макс-Мюллер (1823—1900 гг.) из Оксфорда, филология только упрочила расистские настроения. Носители индоевропейских языков (чисто лингвистическая концепция) идентифицировались с арийской расой.

Расизм стал идеологической подоплекой и другой быстро развивающейся науки — антропологии, возникшей из слияния двух первоначально самостоятельных дисциплин — физической антропологии (исследовательские интересы этой науки были связаны с анатомией и другими подобными дисциплинами) и этнографии, науки, исследующей различные или в основном отсталые и примитивные сообщества. Обе эти науки неизбежно противостояли друг другу, расходясь во взглядах на общие для них проблемы — проблему различий между группами людей и, так как они тоже были вовлечены в эволюционную модель, проблему происхождения человека и общественных сословий, из которых безусловно самым высокостоящим было сословие буржуазии. Физическая антропология автоматически приняла концепцию (расовых) различий, так как невозможно было отрицать существующую разницу между белыми, желтыми и черными, иначе говоря, неграми, монголами и кавказцами (неважно, какую классификацию мы выберем). Сама по себе концепция не порождала выводов о расовом неравенстве и превосходстве одной расы над другой, но в сочетании с изучением эволю-

ции человека на базе окаменевших останков доисторических времен она приобретала именно такой оттенок. Потому что самый ранний из поддающихся распознаванию предков человека — неандерталец — был одновременно обезьяноподобного типа и гораздо более низкого культурного уровня, чем его открыватели. Но если некоторые из существующих рас стоят ближе к обезьянам чем другие, разве это не является доказательством их подчиненного положения?

Слабый, конечно, аргумент, но он сыграл на руку тем, кто хотел доказать расовое превосходство белых над черными или, в зависимости от обстоятельств, над кем-то еще. (На форму черепа обезьяны могли с предубеждением смотреть даже в Китае и Японии, о чем свидетельствуют многие карикатуры тех лет). Но если дарвинская теория биологической эволюции предполагала иерархию рас, то же можно сказать и о компаративном методе, применяемом в «культурной антропологии». «Первобытная культура» Е. Б. Тайлора стала ведущей вехой этих исследований. Для Тайлора, как и для многих других, верящих в прогресс, людские сообщества и культура, сохранившиеся на первобытном уровне развития, но не вымершие как другие, были не столько низшими по своей природе, сколько являлись представителями ранних стадий эволюции на ее пути к современной цивилизации. Они были сродни младенцам или детям в сравнении со взрослым человеком. Так появилась теория этапов (здесь Тайлор попал под влияние Конта), которую он приложил (правда с определенной долей осторожности преуспевающего человека, затронувшего эту взрывоопасную тему) к религии. В своем развитии религиозная мысль шла от примитивного «анимизма» (термин Тайлора) к монотеистическим религиям и, наконец к триумфу науки. Наука, будучи в состоянии объяснить гораздо более широкий круг явлений, не ссылаясь на вмешательство божественных сил, будет «в одной области за другой заменять бессистемный труд независимой добровольной работой на благо себе»^{12*} Между тем видоизмененные с течением времени «пережитки» ранних стадий цивилизации можно было встретить повсеместно. Они проявлялись даже в таких аспектах жизни цивилизованных наций, как сохранившиеся суеверия и народные традиции. Крестьянин

таким образом становился связующим звеном между дикарями и цивилизованным обществом (ведь именно крестьяне были носителями этих традиций). Тайлор, смотревший на антропологию как на «науку реформаторов», конечно не верил в то, что все это может свидетельствовать о неспособности крестьян стать полноправными оплачиваемыми членами цивилизованного общества. Но легче всего было предположить, что народы, являющие собой стадию детства или юношества в процессе развития цивилизации, и сами были «как дети». Поэтому и обращаться с ними стоило так, как взрослые обращаются с детьми. «Если негритянский тип, — писал «*Anthropological Review*», — можно рассматривать как зародышевый, то монгольский в сравнении с ним является младенческим. И мы видим, что система правления, литература и искусство этих рас находятся в стадии младенчества. Они — безусые дети, чья жизнь — задача, а величайшая добродетель — беспрекословное подчинение»^{13*} Капитан Осборн в 1860 году высказался в несколько грубоватой форме по этому же вопросу: «Обращайтесь с ними как с детьми. Заставляйте их делать то, что, как мы знаем, пойдет им на пользу, а равно и нам. И вы избавитесь от всех проблем, связанных с Китаем»^{14*}

Другие расы, таким образом, были «низшими», олицетворяли собой ранние стадии биологической или социокультурной эволюции. И их «низшее» положение не вызывало сомнений потому, что «высшая» раса считалась высшей в соответствии с критериями ее мира, мира технологически более прогрессивного, более мощного в военном плане, более богатого и процветающего. Аргумент одновременно лестный и удобный. Настолько удобный, что средние классы намеривались позаимствовать его у аристократии (которая должна была долгое время нести знамя «высшей» расы) как для внутреннего, так и для международного использования: бедные были бедными потому, что биологически являлись низшими существами, а богатые — наоборот. Если люди принадлежали к «низшей» расе, то не вызывало удивления, что они бедные и отсталые. Аргумент еще не был облечен в одежды современной генетики, которая к тому времени еще просто не существовала. Эксперименты монаха Грегора Менделя (1822—1884 гг.), на которые наука ссылается сегодня, которые он про-

водил со сладкими грушами в монастырском саду Моравии (1865 г.), не были тогда замечены, пока их не обнаружили вновь около 1900 года. Но в примитивном виде положение о том, что высшие классы общества представляют собой более высокий тип людей, чье превосходство основано на эндогамии и которые находятся под угрозой смешения с низшими классами, было широко распространено. И соответственно, как старалась доказать школа «криминальной антропологии», преступники, антиобщественные элементы, бедняки принадлежат к другой низшей породе людей и опознать их можно по размерам черепа или по каким-либо другим внешним признакам.

Расизм стал распространенным образом мышления. Он принял такие масштабы, какие нам сегодня трудно представить и не менее трудно понять. (Откуда, например, идет этот широко распространенный ужас перед смешанными браками и почти всеобщая вера белых в то, что метисы должны наследовать именно худшие черты расы, к которой принадлежат их родители?) Помимо того, что теория была удобной и узаконивала права белых над цветными, богатых над бедными, она являлась механизмом, при помощи которого не эгалитарное в своей основе общество, опирающееся на эгалитарную идеологию, давало логическое объяснение существующему в нем неравноправию и пыталось оправдать и защитить те привилегии, которым демократия, предположительно лежавшая в основе общественных институтов, должна была бросить вызов. У либерализма не было логической защиты от равенства и демократии. Поэтому был воздвигнут нелогичный барьер расовой теории. Наука, этот козырь либерализма, могла научно доказать неравенство людей.

Конечно, наука рассматриваемого времени ничего подобного не доказывала, хотя некоторые ученые очень бы этого хотели. Тавтология Дарвина «выживает сильнейший», следовательно сильнейшие — те, кто выживает, не являлась доказательством превосходства людей над червями, хотя бы потому, что и те и другие смогли выжить. Превосходство вытекало из предположения о тождественности эволюционной истории и прогресса. И хотя эволюционная история человечества действительно привела к прогрессу таких важных аспектов общественной жизни, как на-

ука и технологии, не говоря уже о других, она не смогла и фактически не сделала «отсталость» постоянным и неисправимым явлением. Потому что она основывалась на постулате изначально-го равенства человеческих существ, по крайней мере со времени появления *homo sapiens*. Все они подчинялись одним и тем же законам, хотя и жили в разных исторических обстоятельствах. Английский язык отличался от индоевропейского не потому, что современные англичане общались с точки зрения лингвистики не так, как родственные им племена в средней Азии. Основная парадигма языкового «семейного древа», созданная как в филологии так и антропологии отрицала генетическую или другие постоянные формы неравенства. Серьезное изучение родовых общин австралийских аборигенов, жителей тихоокеанских островов и индейских ирокезов, начатое прародителем современной социальной антропологии Льюисом Морганом (1818—1881 гг.), хотя оно проводилось в условиях библиотечных кабинетов, а не естественной среды обитания, доказало, что эти общины являются сохранившимся наследием ранних стадий эволюции. Именно они породили современную форму семьи XIX века. Исследования свидетельствовали об их различиях, но это совсем не означало подчиненного положения одних и превосходства других*. «Социал-дарвинизм» и российская антропология или биология принадлежали не к сфере науки XIX века, а к сфере политики. Если бросить взгляд на естественные и общественные науки того времени, больше всего поразит их самоуверенность. Самоуверенностью грешили оба типа наук, но в отношении естественных наук она была более оправданной. Физики, которые искренне верили в то, что их наследникам останется только прояснить незначительные мелкие вопросы, выражали мнение Августа Шлейхера. Он был уверен в том, что древние арийцы говорили именно на том языке, который он восстановил. Подобные заявления не могли основываться на практических результатах — трудно было бы найти экспериментальное подтверждение выводам ученых-эво-

* Все это касалось и представителей классической античности. Их родовые общины стали базой для изучения исторической эволюции семьи, например, *Mutterrecht* (закон матриархата) Дж. Бахофена в 1861 г.

люционистов. Они основывались на вере в непогрешимость «научного метода». «Позитивная наука», оперирующая объективными неоспоримыми фактами, имеющими четкую причинно-следственную связь, и формирующая единые, инвариантные, общие законы, была ключом ко всем тайнам вселенной, и этой наукой владел XIX век. Более того: с развитием общества XIX века ранняя, младенческая стадия прогресса человечества с ее суевериями, теологией и абстрактным теоретизированием была пройдена, наступил, по мнению Конта, «третий этап» позитивной науки. Сейчас легко смеяться над этой уверенностью наших предков в адекватность научного метода и в постоянство теоретических моделей, но эта уверенность не стала менее сильной, когда некоторые философы прошлого попытались указать науке ее место. И если сами ученые считали, что их теории верны, то что говорить о публицистах и идеологах, уверенных в непогрешимости этих теорий только потому, что смогли понять большую часть из сказанного учеными. По крайней мере, пока дело не касалось высшей математики. Даже область исследования физики и химии была, по словам одного инженера, доступной для понимания «простых людей». Образованные люди без труда прочитали «Происхождение видов». Никогда еще притупленный здравый смысл людей, точно знавших, что мир либерального капитализма, совершающего свое триумфальное шествие, — это самый лучший из возможных миров, не имел шанса с такой легкостью заявить, что изучил вселенную.

Публицистов популяризаторов и идеологов теперь можно было встретить повсеместно в западном мире, особенно там, где местная элита проявляла особый интерес к «модернизации». Неравномерно шло распространение по миру оригинальных ученых и изобретателей — по крайней мере тех, которые получили признание за пределами своей страны*. Фактически они сосредоточились в странах Европы и Северной Америки. Родиной самых серьезных научных трудов, получивших международное признание, стала центральная и восточная Европа, а также Россия. Вхождение последней в число самых передовых в этом отношении

* В Европе только Иберия и Балканские страны отставали в этом отношении.

стран стало самой серьезной переменной на «академической карте» западного мира этого времени. Впрочем, ни одно изучение наук рассматриваемого периода не обходится без упоминания имени какого-нибудь выдающегося сына Северной Америки. Чаще всего это физик Уильярд Гиббс (1839—1903 гг.). Но при этом трудно отрицать, что, скажем, все исследования, проводившиеся Казанским и Киевским университетами в 1875 году, были гораздо важнее всех научных достижений, совершенных университетами Йельским и Принстонским. Сам по себе факт географического распределения не может привести к осознанию важной характерной черты научной жизни этого времени — гегемонии в ней Германии. Она основывалась на наличии многочисленных университетов, ведущих преподавание на немецком языке (в это число входило большинство университетов в Швейцарии, империи Габсбургов и балтийских регионов России), а равно на сильнейшем воздействии немецкой культуры, влияние которой испытывали страны Скандинавии, восточной и юго-восточной Европы. Немецкая модель университета была принята во многих странах мира, кроме Британии и латинских стран. Первенство Германии, помимо прочего, было обусловлено количественными факторами: в это время издавалось больше журналов на немецком языке, чем на французском и английском языках вместе взятых. Что же касается качественных показателей, то, за исключением естественных наук, в основном химии и математики, где немецкое превосходство было неоспоримо, они не были столь очевидны, как количественные. Это связано с тем, что в отличие от начала XIX века в это время уже не существовало жанра немецкой натурфилософии. Когда французы, возможно из-за националистических тенденций, следовали своему собственному стилю в науке, что соответственно приводило к обособленности французской естественной науки (чего нельзя сказать о математике), немцы вели себя иначе. Возможно, они не смогли выработать свой научный стиль до тех пор, пока наука не вошла в стадию создания теорий и систематизации, которая (по неизвестным причинам), пришлась им по вкусу. В то же самое время британская естественная наука, имевшая более слабую теоретическую базу, продолжала дарить миру выдающихся ученых, та-

ких как Томпсон и Дарвин. Своей популярностью британская наука была обязана широкомасштабному форуму ученых, в котором приняли участие представители буржуазии, даже ремесленники.

В сфере общественных наук, если не считать истории и лингвистики, немецкое превосходство не было так сильно заметно. Экономика оставалась сферой влияния Британии, хотя глядя в прошлое с сегодняшних высот, мы можем найти немало глубоких аналитических работ французских, итальянских и австрийских ученых по вопросам экономической науки. (Империя Габсбургов, хотя в каком-то смысле и являлась частью немецкого культурного пространства, шла в науке совсем другим путем. Развитие социологии как науки связывали в основном с Францией и Британией. Хорошо развивалась она и в странах латинского мира. В антропологии, благодаря широкой сети международных связей, преимущество удерживала Британия. Британия была центром притяжения для «эволюционных» теорий в широком смысле слова, ставших своеобразным мостиком между естественными и общественными науками. Дело в том, что общественные науки являлись отражением концепций и проблем буржуазного либерализма в его классической форме, которого не существовало, например, в той же Германии, где буржуазное общество сковало себя рамками бисмарковской аристократии и бюрократии. Самый выдающийся ученый в области общественных наук, Карл Маркс, тоже работал в Британии. В качестве эмпирической базы своих теорий он выдал «классическую», хотя к тому времени уже не бесспорную, модель буржуазного устройства общества — британскую, на которую воздвиг каркас конкретного анализа, заимствованный из немецкой экономической науки.

III

Наука была ядром той нерелигиозной идеологии прогресса, как либеральной, так и социалистической, которая не требовала обсуждения потому, что ее суть, как теперь стало ясно, имела исторические корни.

В сравнении с нерелигиозной идеологией, религия рассматриваемого времени не представляет большого интереса и не требует глубокого анализа. Тем не менее она заслуживает внимания, во-первых, как мировоззренческий штамп, разделяемый большинством населения планеты, и во-вторых в связи с тем, что буржуазное общество несмотря на всеобщую секуляризацию не забывало заботиться о возможных последствиях своего дерзкого поведения. Общая потеря веры в Бога в середине XIX века воспринималась достаточно спокойно, по крайней мере в западном мире, так как большинство незыблемых постулатов христианских священных писаний было сильно подорвано в своей незыблемости или просто ниспровергнуто всеми науками. Если Луэлл (1797—1875 гг.) и Дарвин были правы, тогда Книга Бытия являлась простой выдумкой и интеллектуальные оппоненты Дарвина и Луэлла были разбиты наголову. Свободное мышление высших классов долгое время было обычным явлением, по крайней мере среди джентльменов. Интеллектуальный атеизм в средних классах также не был новшеством и по мере роста антиклерикальных настроений принял черты воинствующего атеизма. Свободный образ мышления рабочего класса, хотя уже и связанный с революционной идеологией, принял специфические формы с тех пор, как старая революционная идеология потерпела крах, оставив после себя только менее жесткие политические требования, а новая идеология, основанная на материалистической философии, начала завоевывать пространство. Движение «секуляристов» возникло на основе старых движений рабочего класса — чартизма и «оуэнизма», но теперь оно стало независимым органом, особенно привлекательным для мужчин и женщин, относившимся отрицательно к мощной религиозной идеологии. От Бога не просто отвернулись, он начал подвергаться открытым атакам.

Воинствующая атака на религию совпала, хотя и не полностью, с не менее воинствующим течением антиклерикализма, которое охватило все интеллектуальные течения общества — от умеренных либералов до марксистов и анархистов. Атаки на церкви, причем наиболее очевидные — на официальные государственные церкви и международную римскую католическую церковь, которая требовала для себя права на монополию в трактовке ре-

лигиозных правил и монополию на исполнение таких важных для людей обрядов, как брак, похороны и общение с Богом. Кроме того, она была не прочь руководить образованием. Однако все эти атаки еще не означали переход к атеизму. В странах, где сосуществовали несколько религий, подобные атаки могли предприниматься членами одной религиозной группы против другой. В Британии, например, велась борьба нонконформистских сект против англиканской церкви; в Германии Бисмарк, вступивший в жестокую Kulturkampf («борьба за культуру») против римской католической церкви в 1870—1871 гг., как правоверный лютеранин, конечно, не подвергал сомнению существование Бога или божественность Христа. С другой стороны, в странах с одной религиозной верой, чаще всего католических, антиклерикализм обычно означал отрицание всех религий.

В католицизме существовало слабое «либеральное» течение, представители которого выступали против жесткой ультраконсервативной иерархии римской церкви с ее постулатами о непогрешимости папы, сформированной в 1860-х гг. (см. выше «списки грехов») и официально утвержденной Советом в Ватикане в 1870-х гг. Но «галликанство» все же нельзя было назвать либеральным течением в общепризнанном смысле этого слова, хотя его участники были готовы слиться с современными им секуляристским и либеральным движениями на почве чисто прагматических и главное — антиримских взглядов.

Антиклерикализм можно назвать воинствующим секуляризмом постольку, поскольку он ставил целью лишить религию официального статуса в обществе («отделение церкви от государства»), сделать ее частным делом желающих. Церковь должна была превратиться в одну или несколько добровольных организаций, наподобие клубов филателистов, только гораздо большую. Все эти предполагаемые преобразования вовсе не означали отрицание веры в Бога или расшатывания веры. Они были результатом растущей мощи административной системы, масштабов распространения и тщеславия нерелигиозного государства, даже в его самой либеральной, «невмешательской» (*Laissezfaire*) форме. Это государство непременно должно было лишить частные организации их сегодняшней сферы влияния. Тем не менее в основе

своей антиклерикализм был политическим течением, потому что он опирался на страстную веру в то, что существующие религии являются врагами прогресса. Они, впрочем, действительно таковыми являлись, будучи и в политическом, и в социальном отношении крайне консервативными институтами. Римская католическая церковь питала ненависть ко всем нововведениям и принципам, которые были начертаны на знамени общества середины XIX века.

Неортодоксальные секты могли бы быть либеральными и даже революционными. Религиозные меньшинства могли стать поклонниками идеи либеральной терпимости, но церковь и ортодоксальная религия никогда бы не изменила своим принципам до тех пор, пока массы, особенно городские, находились во власти сил мракобесия, традиционализма и политической реакции. С этими силами необходимо было бороться, иначе прогресс мог оказаться в опасности. Поэтому антиклерикализм был более воинствующим и необузданным движением в сравнении с тянущими назад силами невежества. Во Франции политики спорили о статусе католических школ, а в Мексике ставка в борьбе светских правителей со священниками была гораздо выше.

«Прогресс», эмансипация, как для общества, так и для его отдельных членов, казалось, означали прежде всего безжалостный разрыв со всеми старыми верованиями. Это очень хорошо отражалось как в поведении страстных активистов народных движений, так и образованных людей средних слоев общества. Книга с характерным названием «Моисей или Дарвин» пользовалась большей популярностью в библиотеках немецких рабочих социал-демократов, чем труды самого Маркса. По мнению масс, во главе прогресса, даже социалистического прогресса, стояли великие просветители и сторонники эмансипации, а наука (логически превратившаяся в «научный социализм») была ключом к интеллектуальному освобождению от оков суеверного прошлого и жестокого настоящего. Западноевропейские анархисты, в точности скопировавшие стихийные инстинкты подобных активистов, были страстными антиклерикалами. Не случайно один кузнец радикальных взглядов из итальянской Романьи назвал свое-

го сына Бенито (это был Бенито Муссолини) в честь президента Мексики Бенито Хуареса, известного антиклерикала.

И все же даже среди свободомыслящих людей ностальгия по религии никогда не исчезала. Идеологи среднего класса, ценившие церковь как социальный институт, помогавший поддерживать умеренность бедняков и являвшийся, следовательно, гарантом общественного порядка, иногда экспериментировали с нео-религиями. Одним из таких экспериментов была «религия человечества» Огюста Конта, которая предлагала свои критерии для избрания великих людей в пантеон святых. Но подобные эксперименты не увенчались успехом. Существовала и другая тенденция спасти положительные стороны религии для эпохи науки. «Христианская наука», основоположницей которой была Мари Бейкер Эдди (1821—1910), опубликовавшая свои работы в 1875 г., — пример одной из подобных попыток. Необычайная популярность спиритуализма, пережившего пик моды в 1850-е гг., возможно, также является отражением подобной ностальгии. Политические и идеологические симпатии этого явления были на стороне прогресса, реформ и радикальной левизны, не говоря уже о женской эмансипации, особенно в Соединенных Штатах, главном центре распространения спиритуализма. Помимо прочих привлекательных моментов, спиритуализм имел большое преимущество, так как подвел экспериментально-научную базу под факт существования жизни после смерти, можно даже сказать, создал ее объективный образ, что пыталось доказать новое искусство фотографии. Когда в чудеса переставали верить, потенциальную публику собирала под своим крылом парапсихология. Иногда, впрочем, это свидетельствовало ни о чем ином, как о человеческой тяге к пестрым ритуалам, прежде традиционно устраиваемым (и не без пользы) церковью. Середина XIX века характеризовалась большим количеством светских ритуалов, особенно в англосаксонских странах, где тред-юнионы придумали свои аллегорические знамена и удостоверения, члены «Общества взаимопомощи» окружили себя в своих «жилищах» атрибутами мифологического и ритуального содержания, а члены ку-клукс-клана, «Оранжевые люди» и другие менее политизированные секретные организации эпатировали других ритуальными одежда-

ми. Самой старой, или во всяком случае — самой влиятельной из этих секретных ритуальных и иерархических организации были масонские ложи, проповедующие свободное мышление и анти-клерикализм. Увеличилось ли в рассматриваемое время число членов этих лож, мы не знаем, хотя, судя по всему, именно так оно и было, но политическое влияние масонства наверняка упрочилось. Но когда даже люди свободного склада мышления гонялись за спиритической заменой привычных ритуалов, казалось, что они преследуют отступающего врага. Викторианские писатели 1860-х гг. красноречиво свидетельствовали — верующие испытывали «сомнения», особенно если это были люди образованные. Религия, безусловно, переживала упадок, не только в среде интеллектуалов, но и среди населения быстрорастущих городов, где запас религиозного почитания не поспевал за ростом населения, как санитарная служба, и требования общественности следовать религиозным нормам поведения и морали ощущались слабо.

И все же трудно сравнивать масштабы отхода людей от религиозной веры в середине XIX века с масштабами научного разгрома теологии. Большинство представителей англосаксонских средних классов оставались верующими, причем активными верующими, или в крайнем случае притворялись таковыми. Из всех американских миллионеров только один (Эндрю Карнеги) открыто демонстрировал свое неверие в Бога. Замедлился процесс распространения неофициальных протестантских сект, но по крайней мере в Британии «нонконформистское сознание», которое проявляли их члены, стало более влиятельным с политической точки зрения, когда они пополнили ряды представителей среднего класса. Новоземляне также не отказались от религии: в Австралии процент населения в возрасте от 15 лет и старше среди посещавших церковь вырос 36,5 % в 1850 г. до почти 59 % в 1870 г. и оставался на этом уровне последние десятилетия XIX века. Соединенные Штаты Америки, несмотря на то, что были родиной известного атеиста полковника Инжерсола (1853—1899), являлись не столь «безбожной» страной, как Франция.

Что касается средних классов, здесь потере веры, как мы уже убедились, мешали не столько традиции и полная неспособность

либерального рационализма обеспечить какую-либо эмоциональную замену коллективному религиозному поклонению и ритуалам, но и нежелание повредить такой важный, можно сказать, незаменимый оплот стабильности, морали и общественного порядка, как религия. Что касается народных масс, здесь распространение религии зависело от демографических факторов, определенно игравших на руку католической церкви и способствовавших ее сохранению. К подобным факторам относятся массовая миграция мужчин и женщин из более традиционалистских, иначе говоря — религиозных районов в новые города, на новые континенты, а также более высокий процент рождаемости среди набожных бедняков, чем неверующих, испорченных прогрессом и придумавших даже контроль над рождаемостью. Нет доказательств того, чтобы ирландцы стали более религиозными в рассматриваемое время; равно как и неизвестно, пошатнула ли эмиграция их веру, но распространение ирландцев по миру, а также высокий уровень рождаемости, несомненно, способствовали установлению католической веры по всему христианскому миру. А внутри самой религии были ли силы, содействующие ее возрождению и распространению?

Конечно, к этому времени усилия миссионеров уже не были столь заметны ни в деле морального оздоровления заблудших рабочих у себя на родине, ни в обращении в свою веру язычников и поклонников других мировых религий за границей. Принимая во внимание расходы на миссионерскую деятельность с 1871 по 1877 гг., только одна Британия потратила 8 млн фунтов стерлингов, а результаты оказались, конечно, плачевными. Христианство перестало быть серьезным конкурентом единственной действительно распространяющейся религии — ислама. Последний неотвратимо завоевывал пространство, без помощи миссионерских организаций, без денег или поддержки сильных мира сего. Ислам принимался в Африке, во многих странах Азии, не только благодаря своему эгалитаризму, но и благодаря превосходству над ценностями завоевывавших их европейцев. Ни один миссионер не решился обратиться к «детям Мухаммеда». Предпринимались только слабые попытки на неисламистских землях, которые еще были лишены главного оружия распространения хрис-

тианства — колониального захвата или, в крайнем случае, обращения правителя в христианскую веру, за которым медленно тянулись его подданные. Так, например, произошло на Мадагаскаре, объявившим себя в 1869 г. христианским островом.

Относительных успехов христианство добилось в Южной Индии, особенно среди низших каст, несмотря на отсутствие энтузиазма у индийских правителей, и в Индокитае после покорения его французами. С Африкой дела обстояли хуже, пока империализм не увеличил число миссионеров с 3 000 протестантских священников в 1880-х до около 18 000 в 1900 г. и не подкрепил материально духовную силу Спасителя. Не секрет, что в пик расцвета либерализма миссионеры практически лишились стимула к действию. Каждые 10 лет с 1850 по 1880 открывалось только по 3 или 4 новых католических миссионерских центра — в сравнении с 6-ю в 1840, 14-ю — в 1880-х и 17-ю в 1890-х^{18*} Наибольшей популярностью христианство пользовалось там, где элементы христианского вероучения становились частью религиозной идеологии «туземных» синкретических культов. Движение «тайпинов» в Китае (см. главу 7) было самым мощным и влиятельным из подобных феноменов.

И все же в христианстве наблюдались контратаки на распространяющуюся секуляризацию. Причем не столько в протестантском мире, где процесс формирования и распространения неофициальных сект очевидно замедлился в сравнении с 1848 г., исключение составляли только чернокожие жители в англосаксонской Америке, — сколько в католической. Один из чудесных обрядов, совершаемых в Лурде (Франция), начался с видения, явившегося в 1858 г. юной пастушке, и распространился с молниеносной скоростью. Начало, конечно, было стихийным, но все остальное произошло не без вмешательства церкви. К 1875 г. один из филиалов лурдской организации открылся в Бельгии. Можно привести не менее драматичные примеры; так, антиклерикализм породил довольно мощное движение евангелистов среди правоверных христиан и ответное укрепление клерикального влияния. В Латинской Америке сельское население было верующим без участия священников: до 1860 г. большинство мексиканских священников жили в городах. Несмотря на официальный антикле-

рикализм, церковь систематически завоевывала на свою сторону или обращала в новую веру сельских жителей. Фактически столкнувшись с угрозой антирелигиозных реформ, она прореагировала так же, как и в XVI веке — контрреформацией. Католичество, ставшее теперь непримиримым, ультрамонтанным, отрицающим любое примирение с силами прогресса, индустриализации и либерализма, превратилось после совета в Ватикане в 1870 г. в грозную силу, но ценой больших уступок своим врагам.

Нехристианские религии опирались в основном на силу традиционализма для того, чтобы противостоять разрушениям, чинимым эрой либерализма, или конфронтации с Западом. Попытки «либерализировать» эти религии, обращенные к полуассимилированной буржуазии (наподобие реформированного иудаизма, возникшего в конце 1860-х), вызывали ненависть ортодоксальных верующих и презрение агностиков. Силы традиций были все еще достаточно сильны и часто еще больше усиливались за счет сопротивления «прогрессу» и европейской экспансии. Как мы уже видели, Япония даже создала новую государственную религию — синтоизм, без традиционных элементов, рассчитанных на борьбу с «европеизацией» (см. главу 8). Даже западники и революционеры в странах третьего мира хорошо поняли, что для того, чтобы политику приобрести успех у масс, надо войти в роль буддистского монаха или святого человека Hindu. И все же, хотя число откровенных атеистов в это время было достаточно небольшим (по крайней мере даже в Европе женская половина человечества еще не была поражена агностицизмом), они главенствовали большей частью в светском мире. Все, что религия могла против них предпринять, — это отступить за стены своих мощных, занимающих огромное пространство укреплений и приготовиться к очень долгой осаде.

ГЛАВА 15

ИСКУССТВО

Нам приходится убеждать себя в том, что историю сегодня творят те же самые человеческие существа, что некогда создали шедевры искусства Древней Греции. Но, убеждая себя в этом, мы оказываемся перед лицом другой проблемы — что же так кардинально изменилось в натуре людей, что сегодня мы производим роскошные промышленные товары, а раньше создавали шедевры искусства.

Рихард Вагнер^{1*}

Почему вы пишете стихами? Сейчас они никого не волнуют... В наш век зрелого скептицизма и республиканской независимости стихи отвергнуты, как устаревшая форма выражения чувств. Мы предпочитаем прозу, которая благодаря свободе движения больше созвучна инстинктам демократии.

Эжен Пеллетан, французский депутат, 1877^{2*}

Если триумф буржуазного общества ознаменовал триумф науки, то с искусством произошло обратное. Критерии ценности в искусстве всегда являются понятиями исключительно субъективными, но нельзя не заметить, что эпоха революций (1789—1848 гг.) стала свидетельницей появлений выдающихся шедевров одаренных людей, чего нельзя сказать о второй половине XIX века и особенно рассматриваемых в этой книге десятилетиях. Исключение составляют лишь несколько сравнительно отсталых стран, в первую очередь — Россия. Это не означает, что в искусстве в это время не было великих людей. Но если бросить взгляд на тех, кто находился на гребне своей славы с 1848 по 1870-е годы, то нельзя не заметить, что многие из них стали маститыми художниками и создали большинство своих работ еще до 1848 года. В качестве примера обратимся к трем безусловно великим людям эпохи. Чарльз Диккенс (1812—1870 гг.) уже прошел к этому времени добрую половину своего творческого пути, Оноре

Домье (1808—1879 гг.) стал известным художником-графиком после революции 1830 года и даже Рихард Вагнер (1813—1883 гг.) уже написал несколько опер — «Лоэнгрин» был создан в 1851 году. И все же не вызывает сомнений, что на рассматриваемое время приходится расцвет жанров литературной прозы, особенно романов, славу которому создали блестящие французские и английские писатели, к которым теперь присоединились и русские романисты. В истории художественного творчества это время было очевидным периодом подъема, которому оно большей частью было обязано французам. В музыке эра Вагнера и Брамса уступает в величии только прошедшей эре Моцарта, Бетховена и Шуберта.

И все же, если бросить более пристальный взгляд на творческий олимп, картина представится менее радужной. Мы уже говорили о географическом разбросе центров художественной жизни. Для России, например, это была эра триумфа как в области лирики, так и в области литературной прозы, не говоря уже о естественных и общественных науках. Такие десятилетия, как например 1870-е годы, отмеченные пиком творческой деятельности Достоевского, Толстого, Чайковского (1840—1893 гг.), Мусоргского (1835—1881 гг.), расцветом классического императорского балета, остаются вне всякой конкуренции. Франция и Британия, как мы уже убедились, продолжали находиться на очень высоком уровне художественной жизни, в основном за счет литературной прозы, художественного творчества и поэзии*. Соединенные Штаты, хотя и не отличились до сих пор достижениями в области художественного творчества и утонченной музыки, начали играть заметную роль в литературе с появлением таких писателей, как Мэлвилл (1819—1891 гг.), Хоусрон (1804—1864 гг.) и Уитмэн (1819—1891 гг.) и, кроме того, плеяды популистских писателей, вышедших из рядов журналистов, среди которых самой выдающейся фигурой был Марк Твен (1835—1910 гг.). Но в мировом масштабе это был всего лишь провинци-

* Достижения английской поэзии в лице Тэннисона и Браунинга, конечно, блекнут на фоне творчества великих поэтов эпохи революций, таких как Бодлер и Рембо во Франции.

альный успех, во многих отношениях менее значительный, менее важный для мировой культуры, чем достижения представителей маленьких народностей, отстаивающих свое национальное лицо. (Довольно странно, но некоторые менее выдающиеся американские писатели первой половины XIX века имели гораздо больший успех за границей, чем в своей стране). Чешским композиторам (А. Дворжак (1841—1904 гг.) и Б. Сметана (1824—1884 гг.) было легче завоевать международное признание, чем чешским писателям, создававшим свои произведения на языке, который никто кроме чехов не знал и не стал бы изучать. Лингвистический барьер препятствовал распространению славы и других национальных писателей. Некоторые из них заняли видное место в истории литературы своих стран, в том числе датские и фламандские писатели. Только скандинавам удалось расширить круг своей читающей публики, возможно, вследствие того, что самый выдающийся их представитель — Генрик Ибсен (1828—1906 гг.), достигший творческой зрелости к концу рассматриваемого периода, писал в основном пьесы для театра.

К этому можно добавить четко наметившийся спад в уровне произведений искусства двух знаменитых центров культуры — Германии и Италии. В качестве возражения можно привести примеры из музыки, хотя в Италии самый известный среди немногочисленных имен Верди (1813—1901 гг.) начал свою карьеру до 1848 года, а в Австро-Германии в это время возшла звезда только Брамса (1833—1897 гг.) и Брукнера (1824—1896 гг.), — Вагнер к тому времени уже был знаменит. Эти имена безусловно значительны, особенно имя Вагнера, великого гения, хотя в жизни — отвратительного человека. Своим вкладом в мировое культурное наследие Германия и Италия были целиком обязаны музыке. Трудно спорить с тем, что литература и изобразительное искусство этих стран сильно отстали в сравнении с уровнем до 1848 года.

Если судить об отдельных видах искусства, то нельзя не заметить, что при очевидном снижении уровня некоторых из них все они поднялись на более высокую ступень в сравнении с прошедшей эпохой.

Литература, как мы уже могли убедиться, процветала в пер-

вую очередь благодаря развитию жанра романа. Думаю, можно утверждать, что это был единственный жанр в литературе, сумевший адаптироваться к условиям буржуазного общества, где взлеты сменялись падениями, и эта переменчивость стала его органической сущностью. Предпринимались попытки спасти репутацию архитектуры середины XIX века. Возможно, в этой области было сделано действительно немало достижений. Но когда начинают при этом ссылаться на разгул строительства, в который пустилась буржуазия 50-х годов, хочется возразить, что эти строения не представляли архитектурной ценности, да и немногие из них сохранились до наших дней. Париж, заново отстроенный Османом, впечатляет архитектурной планировкой, но никак не домами, выстроившимися скучными рядами вдоль новых бульваров и скверов. В отличие от Парижа, Вена стремилась сохранить шедевры архитектурного искусства, но не достигла в своем стремлении желаемых результатов. Рим короля Виктора Эммануила, чье имя ассоциируется с большим количеством неудачных архитектурных сооружений, был просто ужасен в сравнении с выдающимися достижениями, скажем неоклассицизма. Последний унифицированный архитектурный стиль до появления «модерна» в XX веке скорее вызывает жалость, а не восхищение. Сказанное, конечно, не относится к работам замечательных выдающихся инженеров, хотя их замыслы, судя по всему, остались окончательно погребенными за фасадами «изящного искусства».

Даже рьяные защитники до последнего времени мало что находили сказать в пользу изобразительного искусства этого периода. Единственные работы, которые до сих пор занимают воображение людей, это работы некоторых французских художников, выживших в эпоху революций, таких как Домье и Курбе (1819—1877 гг.), и представителей барбизонской школы и авангардной группы импрессионистов (размытое определение, которое нет надобности анализировать в этой книге), появившихся в 60-е годы. Это, конечно, величайшие достижения в области искусства, и эпоха, увидевшая рождение Э. Мане (1832—1883 гг.), Э. Дега (1834—1917 гг.) и молодого П. Сезанна (1839—1906 гг.), не нуждается ни в каких оправданиях. Тем не менее эти художники были не просто нетипичным явлением на фоне большин-

ства других, порожденных эпохой капитала, но они еще и проявили полное пренебрежение к респектабельному искусству и общественному вкусу. Что же касается официального академического или массового искусства этого периода, о нем можно сказать только то, что оно не было однородным по составу, что стандарты мастерства были высоки и что скромные достижения повторялись вновь то там, то тут. Большинство этих творений были и остаются ужасными.

Возможно не следовало бы так откровенно пренебрегать достижениями в области скульптуры, засвидетельствованными многочисленными культурными памятниками этого времени. Ведь это было время, когда юный Роден начал создавать свои шедевры (1840—1917 гг.). И все же любая коллекция викторианских работ из пластика серийного производства наподобие тех, что до сих пор можно встретить в богатых бенгальских домах, владельцы которых закупали их целыми кораблями, производит удручающее впечатление.

II

Такова была в общих чертах трагикомическая ситуация в искусстве. Несколько поколений дорожили созданиями творческого гения (это понятие как общественный феномен было изобретением буржуазии — см. «Эпоха революций», глава 14) больше чем созданиями буржуазного общества XIX века. Несколько поколений готовы были тратить деньги на искусство, но ни одно из них не старалось скупить книги, предметы быта, картины, скульптуры, элементы лепных украшений каменных зданий и билеты на музыкальные и театральные представления. Более того и парадоксальней всего, что несколько поколений были уверены в том, что живут в золотой век искусства.

Что бы там ни говорили, художественные вкусы публики были нацелены на современное искусство, что было вполне естественно для поколения, верившего во всеобщий и постоянный прогресс. Господин Аренс (1805—1881 гг.), промышленник из северной Германии, поселившийся в Вене с ее неизменной атмос-

ферой гениальных творений, начал в свои 50 лет скупать картины, причем не старинные, а современных мастеров. Это очень типичный пример эпохи. Железные магнаты Болкау, лекарственные магнаты Холлоузи, «торговый принц» Мендель конкурировали друг с другом на почве повышения цен на картины маслом и нажили себе состояния, торгуя полотнами современных академических художников^{4*} Журналисты и городские мэры с гордостью делали записи о церемонии открытия тех гигантских общественных зданий, которые с 1848 года начали портить своим видом городские пейзажи, лишь отчасти скрытые пеленой тумана и копоти. Здесь же тщательно фиксировалась смета расходов на церемонию. Эти мэры искренне верили в то, что являются свидетелями нового Возрождения. А его финансированию могли бы позавидовать сами Медичи. Увы, но самый очевидный вывод, к которому могут прийти историки в результате изучения эпохи XIX века, — это то, что простая трата денег еще не является свидетельством золотого века искусства.

А количество вкладываемых денег было действительно огромным даже по современным меркам, но только не для сверхвысокой производительной способности капитализма. Правда, вкладчики были уже совсем другие. Буржуазная революция одержала победу даже над традиционной сферой деятельности принцев и знати. Ни один из вновь отстроенных городов не планировался с учетом в качестве главного архитектурного украшения королевского или императорского дворца, даже какого-нибудь скромного дворца для аристократии. В странах, где класс буржуазии был еще слабым, как например в России, царь и великие князья продолжали выполнять роль личных покровителей искусства, хотя фактически и они уже не имели того влияния, какое наблюдалось до французской революции. Во всех остальных странах иногда могли появляться чудаковатые принцы, наподобие Людвига II Баварского или маркиза Гертфордского, питавшие страсть к приобретению произведений искусства и их творцов. Но чаще всего лошади, азартные игры и женщины вводили их в гораздо большие долги, чем покровительство искусству.

Но кто же тогда вкладывал деньги в искусство? Правительства и официальные лица, буржуазия и, что заслуживает особого

внимания, довольно большая прослойка представителей «низших» классов. Развитие технологий и промышленности сделало создания творческого гения доступными по количеству и ценам. Светские официальные власти были практически единственными заказчиками тех огромных и монументальных зданий, которые должны были стать безмолвными свидетелями богатства и роскоши эпохи в целом и города в частности. Цель была крайне утилитарной. В эпоху «невмешательства» правительств здания не были столь вызывающе заметными. Обычно они предназначались для светских целей. Исключение составляли католические страны и те случаи, когда заказчиками выступали небольшие религиозные группы наподобие евреев и британских нонконформистов, пожелавшие запечатлеть свое быстро растущее тщеславие. Страсть к реставрации и завершению строительства известных церквей и соборов, захлестнувшая подобно эпидемии Европу середины XIX века, носила скорее гражданский, а не религиозный характер. Даже в самых стойких монархических странах здания принадлежали в основном «народу», а не двору: императорские коллекции теперь стали музеями, оперы открыли свои кассы для всех желающих. Здания стали фактически символом славы и культуры потому, что даже огромные ратуши, в строительстве которых конкурировали мэры, были гораздо больше, чем того требовали нужды муниципальной администрации. Прожженные бизнесмены из Лидса преднамеренно отказывались вести строгий учет потраченным на строительство деньгам. Что могли значить несколько лишних тысяч в сравнении с возможностью заявить, что «ослепленные своими меркантильными расчетами жители Лидса не забыли подсчитать, сколько стоит восхищение красотой и вкус к изящным искусствам?» (На самом деле строительство ратуши в 1858 году обошлось в 122 тысячи фунтов стерлингов — сумма, в три раза превышавшая первоначальную стоимость и составлявшая более 1 % от общей суммы всех налогов, собранных за год во всем Соединенном королевстве)^{5*}

Проиллюстрируем одним примером обычный характер подобных строительных работ. В городе Вене в 50-е годы были снесены старые фортификационные сооружения, а на освободившемся месте выстроили прекрасный кольцевой бульвар, с обеих сто-

рон застроенный общественными зданиями. Что это были за здания? Одно олицетворяло большой бизнес — биржа, одно — религию (Votivkirche), три — высшее образование, три — национальное достоинство и общественное дело (ратуша, дворец правосудия и парламент) и не менее восьми — искусство (театры, музеи, академии и т. п.).

Запросы отдельных буржуа были более скромные, если же это был коллектив, они разрастались до огромных размеров. Частное покровительство было еще не сильно развито в это время в сравнении с тем, что наблюдалось в последнее время перед 1914 годом, когда американские миллионеры подняли цены на некоторые шедевры искусства до заоблачных высот. (Даже в конце рассматриваемого периода воровские тузы спешили грабить как можно больше, чтобы с гордостью демонстрировать суммы, заработанные грабежом). Очевидно, что начиная с 60-х годов в обороте находилось огромное количество денег. В 50-е годы был выпущен только один предмет французской мебели XVIII века, (считавшийся международным символом богатства интерьера). Он был продан на аукционе за 1000 фунтов стерлингов. В 60-е годы было уже выпущено восемь предметов, в 70-е — 14, включая один лот, выручивший с продажи тридцать тысяч фунтов стерлингов. Такие предметы как севрские вазы (не менее характерный символ) продавались по тысячи фунтов стерлингов каждая, причем аукционная цена в 50-е годы увеличивалась втрое, в 60-е — в семь раз, и в 70-е — в одиннадцать раз^{6*}. Горстки конкурирующих торговых принцев было достаточно, чтобы горстка художников и дилеров в области искусства сколотила состояние, но даже небольшое количество публики было в состоянии поддержать в финансовом плане людей искусства. Доказательством служит театр и, в какой-то степени, концерты классической музыки: оба эти вида искусства не требуют большого количества зрителей. Опера и балет существовали на деньги правительства и богачей, стремившихся завоевать таким образом социальный статус. Для последних подобное покровительство было еще и легким доступом к красавицам балеринам и певицам. Театр процветал, по крайней мере с финансовой точки зрения. То же можно сказать и об издателях солидных дорогих книг для избранной

публики. О размерах их доходов может свидетельствовать тираж лондонской газеты «Times», достигший в 50—60-е годы 50—60 тысяч экземпляров. Многие архитекторы нажили себе состояние, играя на вкусах публики, строя и перестраивая для буржуазии целые городские кварталы.

Буржуазный рынок казался новым постольку, поскольку был необычайно большим и процветающим. С другой стороны, середина XIX века породила другой поистине революционный феномен: впервые, благодаря развитию технологии и науки, появилась возможность организовывать массовый выпуск произведений искусства по довольно дешевой цене, но только один из подобных процессов мог составить конкуренцию истинным созданиям искусства — это фотография, достигшая расцвета в 50-е годы. Как мы сможем убедиться позже, влияние фотографического искусства на художественное искусство было сильным и молниеносным. Что же касается остальных имитаций, они были просто низкосортными копиями уникальных произведений и предназначались для использования широкими массами. Имитация осуществлялась по-разному: литературных шедевров — посредством тиражирования в виде дешевых книг в мягких обложках (так как книги перевозились по железной дороге, первые тиражи часто называли «железнодорожными» или «странствующими» библиотеками), картин — благодаря гравюрам на стали. Новейшая технология электрокопирования (1845 г.) позволяла воспроизводить картины в огромном количестве не упуская ни одной, даже самой мелкой, детали. Это широко использовалось в журналистике, литературе и пособиям по самообразованию*.

Истинное значение для экономики этого массового рынка обычно недооценивалось. Доходы известных художников впечатляют даже по современным меркам. Так, например, доходы Милле (Millais) составляли в 1868—1864 гг. 20—25 тысяч викторианских фунтов стерлингов в год, а их источником были дешевые гравюры, стоимостью 2 гинеи в пятишиллинговой рамке, умело пушенные в оборот предпринимателями типа Гамбарта и

* Эти нововведения появились в 30 и 40-е годы, но это нисколько не умаляет значение 50-х, когда они получили самое широкое распространение.

Флата. «Железнодорожная станция» Фрича (1860) принесла своему создателю 4500 фунтов стерлингов за право такого тиражирования и 750 фунтов стерлингов за право выставлять картину на выставках. Кто-то из числа расплодившихся импрессарио привез мадмуазель Розу Бонье (1822—1899 гг.) в горы Шотландии только лишь для того, чтобы заставить ее изобразить на своих картинах помимо имевшихся там лошадей и домашнего скота, уже принесших художнице большое состояние благодаря британским любителям животных, жеребят и холмы, которые пользовались большой покупательской способностью в Лэндшире. Точно так же в 60-е годы они не без обоюдодовыгодной пользы привлекли внимание Альма-Тадемы (1836—1912 гг.) к Древнему Риму, славившемуся естественной наготой обитателей и многочисленными оргиями. Бульвер-Литтон (1803—1873 гг.), никогда не ставший писателем настолько, чтобы забыть о выгоде, продал право на переиздание в течение десяти лет своих уже написанных произведений библиотеке Rовтledge's Railway за двадцать тысяч фунтов стерлингов. Массовый рынок произведений искусства этого времени нельзя даже сравнивать по масштабам с современным рынком. Исключение составляет «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер Стоу (1852 г.), распроданная в Британской империи в количестве 1,5 миллионов экземпляров и пережившая 40 изданий, большей частью пиратских. И все же нельзя игнорировать факт существования и значение этого рынка.

Относительно его напрашиваются два наблюдения. Первое — падение спроса на предметы ручной работы. Теперь их заменили механические копии. В течение жизни одного поколения эта тенденция переросла в Британии, родине индустриализации, в политико-идеологическое движение искусств и ремесел. Антииндустриальные и частично антикапиталистические корни этого движения можно проследить начиная с момента создания дизайнерской фирмы Уильяма Норриса в 1860 году до появления префаэлевских художников 50-х годов. Второе наблюдение касается вкусов публики, которые несомненно влияли на людей искусства. Причем к этой публике относятся не только аристократы и буржуа, определявшие лицо лондонского Вест Энда или парижского бульварного театра. Речь идет о широкой публике из

числа средних и верхов низших классов, включая квалифицированных рабочих, тянувшихся к респектабельности и культуре. Искусство третьей четверти XIX века было во всех смыслах слова народным. И это хорошо понимали рекламодатели 80-х годов, скупая самые дорогие картины с грустными сюжетами, чтобы помешать их на своих рекламах.

Искусство процветало и вместе с ним талантливые художники, творившие для народа. Существует миф, что таланты эпохи обычно вынуждены были умирать с голода, не понятые и забытые неблагодарными обывателями. Но это всего лишь миф. Конечно, можно найти примеры тех художников, которые по разным причинам противостояли буржуазному обществу, старались эпатировать его или просто не смогли сделать свои творения покупаемыми (это касается в основном французских художников, ранних символистов, ранних импрессионистов и романиста Флобера (1821—1880 гг.)). Но примеры есть и в других странах. И тем не менее художники, прошедшие испытание временем, чаще всего не принадлежали к числу тех, кто пользовался огромной популярностью у современников и чей доход варьировался от уровня дохода среднего класса до просто фантастического. Семья Л. Толстого жила безбедно на доходы от издания его нескольких романов, когда этот великий человек отказался от своих имений. Чарльз Диккенс, о финансовом положении которого мы достаточно хорошо информированы, мог рассчитывать на твердые десять тысяч фунтов стерлингов в год после 1848 года, а в 60-е его годовой доход вырос по тридцати трех тысяч фунтов стерлингов (большую часть которых ему приносили невероятно выгодные к тому времени поездки с лекциями по Америке). Сто пятьдесят тысяч долларов и сегодня считаются приличной суммой, а в 70-е годы эти деньги свидетельствовали о большом богатстве. Так или иначе художники приспособились к рыночной экономике. И даже те, которые не стали богатыми, по крайней мере добились славы и уважения. Среди тех, кто не ощущал при жизни недостатка в известности и признании, можно назвать Диккенса, Теккерея (1811—1863 гг.), Джорджа Элиота (1819—1880 гг.), Теннисона (1809—1892 гг.), Виктора Гюго (1802—1885 гг.), Эмиля Золя (1840—1902 гг.), Толстого, Достоевского, Вагнера, Верди,

Брамса, Листа (1811—1886 гг.), Дворжака, Чайковского, Марка Твена и Генрика Ибсена.

III

Самое главное, что художники, в то время гораздо реже, чем в первой половине XIX века, художницы получали не только шанс на улучшение материальных условий, но и пользовались особым почетом.

В монархическом и аристократическом обществе люди искусства были в лучшем смысле декораторами или декорациями двора (и палаццо), важной частью собственности, а в худшем — дорогим и зачастую скучным источником высококачественных услуг. К числу последних принадлежали парикмахеры, стилисты и кутюрье, пользование услугами которых диктовала мода. В буржуазном обществе художник стал «гением», что было равносильно безденежной разновидности частного предпринимателя, «идеалом», который дополнял и венчал собой материальный достаток. Но чаще всего он был духовной сущностью общественной жизни.

Мы не поймем до конца роли искусства конца XIX века, если не отметим, что общество требовало от него стать духовной надстройкой на базисе материальной цивилизации. Можно даже сказать, что искусство заняло место религии среди эмансипированных и образованных членов общества, иначе говоря в среде преуспевающих средних классов. Это наиболее четко проявилось у романоговорящих народов, расценивающих культуру как свою особую монополию в период, когда британцы оперировали экономическим успехом, а французы — политическим. Здесь оперы и театры стали храмами, в которых люди поклонялись искусству, равно искренне восхищаясь классическим и не только классическим репертуаром, а дети проходили азбуку жизни, скажем от шиллеровского «Вильгельма Телля» до «Фауста» Гете. Рихард Вагнер, этот неприятный гений, трезво осознавал эту новую функцию искусства, когда строил свой собор в Байрёйте (1872—1876 гг.), куда верные пилигримы приходили слушать музыку,

замеров в слепом восторге часами и днями, причем им запрещалось невовремя аплодировать во время этого нового языческого культа немецкого мастера. Не менее трезво он осознавал и сущность искусства как новой светской религии национализма. Ибо, что еще кроме армии могло стать выражением смутной идеи национального самосознания, как не символы искусства. В примитивном виде они запечатлелись на флагах и гимнах, а в тщательно продуманной и основательной форме — в «национальных» школах музыки, которые начали отождествлять с самой нацией в момент обретения ею национального самосознания, независимости или объединения. Примером тому служат Верди в Италии, Дворжак и Сметана — в Чехии.

Не все страны достигли такого уровня поклонения искусству, как страны центральной Европы и в еще большей степени — ассимилированные евреи из числа средних классов в Европе и Соединенных Штатах*. В массе своей капиталисты первого поколения были мещанами и только их жены изо всех сил стремились к жизни духовной. Единственный американский магнат-язычник, испытывавший неизменную страсть к духовной культуре, Эндрю Карнеги (он кроме того был единственным из всех выразителем антиклерикальных взглядов) не изменил традициям своего образованного и энергичного отца — ткача. Из всех банкиров, живших за пределами Германии и Австрии, только считанные единицы желали видеть своих сыновей композиторами или дирижерами, возможно потому, что просто не могли надеяться увидеть их в ином качестве — министрами кабинета или премьер-министрами. Замена религии саморазвитием и одновременное поклонение природе и искусству были характерными чертами только для части образованных представителей средних классов, тех, которые впоследствии организовали английский «Блумсбери», мужчин и женщин, наследовавших состояние и редко принимавших личное участие в бизнесе.

Тем не менее, даже в самых мещанских буржуазных странах,

* Невозможно переоценить вклад в искусство, особенно в классическую музыку конца XIX века, этой маленькой преуспевающей и культурно богатой нации.

кроме Соединенных Штатов, искусство занимало особое почетное и уважаемое место. Великий собирательный символ национальной гордости — театры и оперы начали появляться в центрах капиталистических городов. Вокруг них разворачивалось плановое городское строительство, как например в Париже и Вене. Они вырастали в виде гигантских монументальных соборов, как в Дрездене (1869 г.), Барселоне (с 1862 г.) и Палермо (с 1875 г.). Новые музеи и галереи искусства появлялись повсеместно, либо же расширялись, перестраивались и восстанавливались старые. То же можно сказать и о великих национальных библиотеках: читальный зал Британского музея был построен в 1852—1857 гг. а Французская национальная библиотека — восстановлена в 1854—1875 гг. В общем говоря, число крупных библиотек (в отличие от университетов) феноменально выросло в Европе и гораздо меньше — в мещанских Соединенных Штатах. В 1848 году в Европе насчитывалось четыреста библиотек, в которых хранилось семнадцать миллионов томов книг, к 1880 году их было в двенадцать раз больше, а число томов увеличилось в два раза. В Австрии, России, Италии, Бельгии и Голландии библиотек стало в десять раз больше. Не отставала и Британия. Даже в Испании и Португалии их число выросло в четыре раза, а в Соединенных Штатах — менее чем в три раза. (С другой стороны, в Соединенных Штатах более чем в четыре раза увеличилось количество книг, находившихся в стране, по этому показателю впереди шла только Швейцария)^{11*}

Книжные полки в домах буржуа были заставлены тщательно отобранными произведениями национальных писателей и мировых классиков. Увеличилось число посетителей музеев и галерей: через выставочный зал Королевской академии в 1848 году прошло девяносто тысяч посетителей, а к концу семидесятых — их насчитывалось уже четыреста. К этому времени «закрытые просмотры» выставок стали модным увлечением высших классов и свидетельствовали о приобретении искусством высокого статуса в обществе. В чем-то они были сродни «театральным премьерам», по части которых первенствовали вечные конкуренты Лондон и Париж, особенно с 1870 года. В обоих случаях это оборачивалось катастрофой для искусства. Теперь путешествующие

буржуа уже не могли избежать паломничества к святыням искусства, которые оборачивались бесконечными утомительными переходами по галереям Лувра, Уффици и Сан-Марко. Сами люди искусства, имевшие до этого репутацию сомнительных театральных и оперных актеришек, теперь стали уважаемыми членами общества, подходящими кандидатами на звание дворян и пэров*. Им даже не приходилось приноравливаться к нравам и вкусам средних буржуа, потому что шейные платки, вельветовые береты и одежда, которую они носили, теперь были сшиты из дорогих тканей. (Здесь Рихард Вагнер вновь проявил безошибочное чувство буржуазной публики: даже скандалы, связанные с его именем, стали частью создания имиджа). В конце 60-х премьер-министр Гладстон первым начал приглашать светил науки и искусства на свои официальные ужины.

Но можно ли сказать, что буржуазная публика действительно получала наслаждение от искусства, которому она так щедро покровительствовала и которое с такой любовью лелеяла? Вопрос представляется анахронизмом. Некоторые виды искусства поддерживали прямую связь с публикой, которую они призваны были развлекать, среди них первое место принадлежало «легкой музыке», которая, пожалуй, единственная переживала свой золотой век в это время. Слово «оперетта» впервые появилось в 1856 году и в течение десяти лет с 1856 по 1875 год она стала свидетелем создания великолепных творений Жака Оффенбаха (1819—1880 гг.), Иоганна Штрауса (1825—1899 гг.) — вальс «Голубой Дунай» появился в 1867 году, «Летучая мышь» — в 1874, Суппе (1820—1895 гг.) с его «Легкой кавалерией» и успеха первых шагов Гилберта и Салливана (1836—1911 гг., 1842—1900 гг.). Пока груз высокого искусства не лег на плечи «легкой музыки», даже опера старалась следовать вкусам публики, жаждущей от искусства одного — развлечения («Риголетто», «Травиата» появились немного позже 1848 года). Коммерческая сцена продолжала мно-

* В Британии художников издавна возводили в дворянское звание, но не представителей других видов искусства. Генри Ирвинг стал первым актером, заслужившим этого звания, а Теннисон — первым поэтом, получившим титул пэра. Тем не менее, несмотря на влияние немецкого принца-супруга, такие почести были еще редкостью в это время.

жить постановки отточенных драм и запутанных фарсов, из которых только последние прошли через все перипетии времени (Лабич (1815—1888 гг.), Мейлах (1803—1897 гг.) и Халеви (1834—1908 гг.)). Впрочем, подобные развлечения считались развлечениями низкого культурного уровня, вроде различных шоу-варьете, которые начали появляться в Париже в 50-е годы и с которыми они действительно имели много общего*. Настоящее высокое искусство не было источником простого удовольствия, равно как и не являлось недостижимой «эстетической ценностью».

«Искусство для искусства» оставалось немногочисленным течением даже среди поздних романтиков. Оно стало своеобразным протестом против безоглядной увлеченности художников политическими и общественными проблемами эпохи революции, перешедшей в горькое разочарование 1848 годом. Сколько творческих умов унесли с собой эти события! Эстетизм в искусстве не был модным направлением вплоть до конца 70-х и 80-х годов. Писатели всегда считались мудрецами, пророками, учителями, моралистами, носителями правды. Попытка стать лучше была им наградой со стороны буржуазии, выражавшей слишком поспешную готовность верить в то, что материальные и духовные ценности требуют от человека воздержания от наслаждений жизни. Искусство было частью этого всеобщего настроения. Культ искусства стал его венцом.

IV

Что же это была за правда, носителями которой считались люди искусства? Прежде всего, думаю, надо выделить архитектуру в особый вид искусства, потому что она была лишена содержания, дающего всем остальным видам творческой деятельности видимость единства. Характерной чертой архитектуры следует признать отсутствие в ней тех общепринятых эстетическо-морально-идеологических «стилей», которыми облечены создания

* Выручка, получаемая с показов Folies Bergère, уступала в количестве только Opéra и далеко опережала Comédie Française^{12*}.

искусства всех предыдущих эпох. Эклектизм управлял всем. Как отмечал в 50-х годах Пьетро Сальватико в своей «Storia dell'Arte del Disegno», один стиль не существовал сам по себе. Каждый использовался для определенных целей. Так, например, среди новых зданий на Ringstrasse церковь являла собой пример готики, парламент был выстроен в греческом стиле, биржа, как и большинство подобных учреждений этого времени, олицетворяла умеренно пышный классицизм, сити-холл являл полное смешение стилей ренессанса и готики, музеи и университеты — поздний ренессанс. Архитектура Burgtheater и Opera, этой второй оперной империи, являла образец того же ренессанса.

Для демонстрации помпезности и роскоши наиболее подходящими стилями считались поздний ренессанс и поздняя готика. (Барокко и рококо практически не встречаются до XX века). Ренессанс, возникший в эпоху торговых принцев, стал самым распространенным стилем в это время, особенно среди тех, кто считал себя их наследником. Впрочем прижились и другие архитектурные стили, служившие воспоминанием об этом времени. Например, благородные землевладельцы из Силезии, нажившие миллионы на торговле углем, и их собратья из класса буржуа использовали в строительстве все известные в истории архитектурные стили. Замок («Schloss») банкира фон Эйхборна (1857 г.) был построен в чисто немецком неоклассическом стиле. Этот стиль пользовался особой популярностью у большинства богатей-буржуа конца рассматриваемого времени. Готика сочетала в себе средневековое бюргерское величие и рыцарское благородство. Она стала вторым по значимости архитектурным стилем в среде аристократов и самых влиятельных людей. Пример тому — Коппиц (1869 г.) и Мьешовиц (1858 г.). Париж Наполеона III, в истории которого неизгладимый след оставили известные силезские магнаты наподобие принца Хенкеля фон Доннерсмарка, женившегося на первой в городе куртизанке Пайве, положил начало дальнейшему развитию архитектурных стилей роскоши и богатству. Впоследствии этими достижениями с удовольствием воспользовались принцы Гогенлоэ, Доннерсмарк и Плесс. Существовали и менее грандиозные архитектурные проекты в стилях итальянского, датского и северо-германского ре-

нессанса^{13*} Иногда встречалась и совсем уж неожиданная тематика. Так, преуспевающие евреи предпочитали строить свои роскошные синагоги в мавританско-исламистском стиле. Это было связано с утверждением влияния восточной аристократии, которая не стремилась подражать западной^{14*} И похоже на то, что это был единственный пример преднамеренного использования западной буржуазией незападных стилей в искусстве, пока в ее среду не внедрилась мода на японские мотивы.

Короче говоря, архитектура не могла стать «носителем» правды. Она лишь служила зеркалом, в котором отражались самоутверждение и самолюбование создавшего ее общества. Именно чувство великой и непоколебимой веры в неизбежность буржуазного общества придавало лучшим его образцам впечатляющий вид хотя бы из-за их внушительных размеров. Это был язык социальной символики. Поэтому все действительно новые и интересные архитектурные достижения тщательно маскировались, а передовые технологии, и инженерные находки могли обратить на себя внимание публики только в том редком случае, когда строение призвано было символизировать собой прогресс инженерной мысли: например «Хрустальный дворец», построенный в 1851 году, Rotunda на выставке в Вене в 1873 году, позже — Эйфелева башня (1889 г.). И наоборот, даже чисто утилитарные строения, благодаря архитектурным изыскам теряли свой функциональный вид. Среди них — железнодорожные станции, построенные в безумном эклектическом стиле, как «Лондонский мост» (1862 г.), с примесью готики, как St. Pancras в Лондоне (1868 г.) и ренессанса, как Südbahnhof в Вене (1869—1871 гг.). Правда, некоторым важным станциям удалось избежать «роскошных» вкусов новой эры. Только мосты смогли похвастаться полетом воплощенной в них инженерной мысли и красоты, правда казавшейся слишком тяжелой и в прямом и в переносном смысле из-за переизбытка и дешевизны железа, шедшего на их строительство. Впрочем на горизонте уже появилась новая феноменальная идея готического подвесного моста (Tower Bridge, Лондон). Но несмотря ни на что, за громоздкими роскошными фасадами в стиле ренессанса скрывались передовые оригинальные современные достижения технической мысли. Украшения многоквартирного дома в Париже во времена II Импе-

рии прятали от глаз замечательное новое изобретение — пассажирский лифт. Пожалуй, единственным техническим новшеством, которое архитекторы не хотели скрывать даже в зданиях с «артистическим фасадом», были гигантские арки или купола. Они встречались в торговых залах, читальных залах библиотек и магазинах-пассажах, наподобие галереи Виктора Эммануила в Милане. Вообще никакой другой век так тщательно не старался скрыть свои достижения. Архитектура не стала «носителем правды», потому что была лишена способности выражать мысли словами. Другие виды искусства этой способностью обладали. Для нас, людей XX века, воспитанных совсем в других убеждениях, кажется странной наивная вера наших предков середины XIX века в то, что в искусстве содержание преобладает над формой. Было бы неверным делать из этого вывод, что все виды искусства находились в подчинении у литературы, несмотря на то, что их содержание, как считалось, должно быть выразимо словами с разной степенью достоверности в зависимости от вида искусства. Неверно и то, что литература была главным видом искусства этого времени. Если «каждая картина о чем-то рассказывала» и даже музыка поразительно часто «говорила» — кстати это был целый период в развитии оперы, балета и изобразительных видов искусства*, — заложенная в них программная идея должна была сразу бросаться в глаза. Вернее сказать, каждое искусство, как предполагалось, должно было выражать идею в категориях других видов искусства, и так рождалась идеальная «единая работа искусства» (Gesamthkunstwerk); защитником идеи, как и обычно, стал Вагнер. И все же то искусство, которое прямо передавало идею посредством слов или образов, имело преимущество перед остальными. Легче было превратить рассказ в оперу («Кармен») или даже кар-

* Литература безусловно оказала большое влияние на музыку. Произведения Гете вдохновляли Листа, Гуно, Буато и Амброуса Томаса, не говоря уже о Берлиозе, на создание их шедевров. Шиллер оказал влияние на Верди, Шекспир — на Мендельсона, Чайковского, Берлиоза и Верди. Вагнер, создавший собственную поэтическую драму, считал в сравнении с ней музыку второстепенным делом, хотя его напыщенный средневековый стих был просто мертв без музыки, которая стала частью концертного репертуара даже без слов.

тину в музыкальное произведение (Мусоргский «Картины с выставки» (1874 г.), чем наоборот — музыку — в картину или пусть даже лирическую поэзию.

Вопрос «о чем это?» был поэтому не просто законным, но и основным вопросом для составления мнения о произведении искусства середины XIX века. Обычный ответ на этот вопрос должен был звучать так: «о жизни» или «реальность». «Реализм» — термин, вертевшийся на языке у всех современников и их позднейших исследователей, и для тех и для других оставался до конца не ясным. Реализм означает стремление описывать, представлять или, если уж на то пошло, стремиться к самому точному отображению фактов, образов, идей, чувств, страстей (в крайнем случае — это особый музыкальный лейтмотив Вагнера), и за каждым из изображаемых фактов стоят личность, ситуация, действие или музыкальное воспроизведение сексуального экстаза («Тристан и Изольда» (1865 г.)). Но какую реальность надо воспроизводить, какой жизнью должно жить искусство? Буржуазия середины века стояла перед дилеммой, которая только сильнее обострялась по мере триумфа капитализма. Имидж, который она сама себе придумала, не мог включать в себя всю реальность. Потому, что этой реальностью была нищета, эксплуатация и грязь, материальные интересы, страсти и несбывшиеся надежды. И все это представляло угрозу для буржуазии, которая несмотря на самоуверенность постоянно чувствовала опасность. Существовала разница, цитируя журналистский девиз «New York Times», между новостями и «всеми новостями, достойными печати». С другой стороны, в динамичном и прогрессирующем обществе сама жизнь не могла стоять на месте, так может не реализм и далекое от совершенства настоящее должны стать предметом изображения в искусстве, а лучшее будущее, которого жаждут люди и которое, без сомнения, скоро наступит. Искусство охватывает будущее. Подобные взгляды как и всегда стал высказывать Вагнер. Короче говоря, «реальные», жизненные образы в искусстве все больше становились непохожими на стилизованные и сентиментальные. В лучшем случае «реализм» в его буржуазной версии становился защитником разумного отбора, как например в знаменитом «Ангеле» Дж. Милля (1814—1875 гг.), где нищета и

изнурительный труд, казалось, стали неотъемлемой частью безропотного послушания бедняков. В худшем случае он превращался в сентиментальную лесть к фамильному портрету.

В изобразительном искусстве существовали три возможных пути решения дилеммы. Первый путь — отображать ту реальную жизнь, включая ее неприглядные и опасные стороны. Реализм в этом случае превращался в натурализм и «веризм». Но этот путь был опасен тем, что приводил к критике буржуазного общества. Примером служат картины Курбе⁵⁴ и романы Золя и Флобера. Впрочем, даже те произведения искусства, которые прямо не ставили целью критику современной жизни, например, шедевр Бизе (1833—1875 гг.) опера «Кармен» (1875 г.) вызывала негодование общественности и критиков: как будто была политически направленной. Альтернативный путь лежал через запрет на изображение современной жизни и реальности вообще либо посредством отрыва искусства от жизни, точнее современной жизни (течение «искусство ради искусства»), либо ухода в фантастический, ирреальный мир («Бато Ивр» Рембо (1871 г.), Эдуард Лир (1812—1888 гг.) и Льюис Кэррол (1832—1898 гг.) — в Британии, Вильгельм Буш (1833—1908 гг.) — в Германии). Но до тех пор пока герои не погружались в мир фантазии, придуманный художником, они должны были оставаться «жизненными». И здесь по силе жизненности изображения привычные зрительные образы начали катастрофически проигрывать новому искусству, чье рождение было обусловлено развитием прогресса — фотографии.

Фотография, изобретенная в 1820-е годы и получившая общественное признание во Франции в 30-е годы, стала действенным средством отображения реальной действительности, несущим ее в широкие массы народа. Фотография быстро развивалась как предпринимательский бизнес во Франции 50-х. Предпринимателями чаще всего становились неудачники артистической богемы, типа Надара (1820—1911 гг.), которым она заменяла и финансовый успех и успех в искусстве, также мелкие бизнесмены, с радостью бравшиеся за доступную и дешевую торговлю. Неутомимая страсть буржуа, особенно мелких буржуа к дешевым портретам, обеспечивала успех предприятия. (Английское

фотографическое дело долгое время оставалось в руках у преуспевающих леди и джентльменов, занимавшихся им ради эксперимента или в качестве хобби). Сразу стало ясно, что фотография разрушила монопольное пространство изобразительных искусств. Консервативный критик в 1850-м году отмечал, что она ставит под угрозу существование «целого ряда изобразительных искусств, таких как гравюра, литография, жанровая живопись и портрет»^{15*}. Как могли эти виды искусства конкурировать в правдивости воспроизведения природы с методом, позволяющим непосредственно превращать факты в образы? Можно ли в этом случае сказать, что фотография заменила собой искусство? Неоклассицисты и (к этому времени реакционные) романтики склонны были верить в такую замену и в то, что она являлась совсем нежелательной. Дж. Ингрес (1780—1867 гг.) считал, что подобные явления должны символизировать ненужное вторжение промышленного прогресса в царство искусства. Бодлер (1821—1867 гг.) выражал сходную точку зрения. Он заявлял: «Кто же из людей, достойных звания художника, кто, считающий себя любителем искусства, станет вмешивать промышленность в область прекрасного?»^{16*} Оба они отводили фотографии достойное ей место — вспомогательной и нейтральной технологии, некоего аналога печатания и стенографии в литературе.

Довольно странно, но реалисты, которые должны были чувствовать прямую угрозу своему творчеству, не проявляли столь единодушной враждебности. Они принимали и прогресс и науку. Золя обращался с вопросом: не послужил ли стимулом художественного творчества Мане, равно как и его собственных романов, научный метод Клода Бернара (см. главу 14)^{17*}? И все же, несмотря на защиту в адрес фотографии, реалисты выступали против простого отождествления искусства и чисто механического воспроизведения действительности, чего они никогда в отношении фотографии не отрицали. «Истинная сущность художественного творчества, — возражал критик натуральной школы Френсис Вей, — состоит не в мастерстве рисования, не в цвете, не в точности отражения жизни, а в *divina*, божественном вдохновении». Художника создают не его руки, а его мозг: руки лишь подчиняются^{18*}. Фотография была полезной, так как могла

помочь художнику подняться над чисто механическим копированием объектов. Разрываясь между идеализмом и реализмом буржуазного мира, художники-реалисты тоже вынесли свой не менее жесткий отрицательный вердикт фотографии.

Споры разгорались, но вскоре утихли, ибо вмешался характерный для буржуазного общества механизм примирения — право собственности. Законы Франции, предусматривавшие защиту творческой собственности от плагиата и копирования, принятые под влиянием Великой революции (1793 г.), не предусматривали защиту промышленных товаров, отдавая их в ведение не столь жесткой статьи 1382 Гражданского кодекса. Все фотографы отстаивали мнение, что средний покупатель, приобретая их продукцию, получает не просто дешевую и узнаваемую копию, а возвышенный и одухотворенный образец искусства. В то же время те фотографы, которые не имели знакомых среди знаменитостей и не могли сделать их хорошо продаваемые портреты, едва ли могли преодолеть соблазн снять с них копии, а это уже свидетельствовало о юридической незащищенности тех фотографов, которые делали эти портреты «с натуры». Так, например, суд разбирал дело, возбужденное Мессером Мейером и Пиерсоном против конкурирующей фирмы, пиратским образом переснявшей у них фотографии графа Кавура и лорда Пальмерстона. В течение 1862 года дело обошло все судебные инстанции вплоть до кассационного суда, который вынес решение, что фотография все-таки является искусством, и это был единственный способ эффективно защитить авторское право. Но, принимая во внимание те технические сложности, которые прогресс внес в искусство, мог ли даже его величество закон быть единым во мнении? А что делать в тех случаях, когда интересы собственности сталкивались с интересами морали, как случилось, например, когда фотографы неизбежно обнаружили, что женское тело может приносить коммерческую выгоду, особенно если облечь его в форму портативной, размером с визитную карточку, фотографии.

Подобные фото «обнаженных женщин, стоящих или лежащих, но в любом случае возбуждающих своей наготой»^{19*}, являлись, по всеобщему признанию, верхом непристойности. В 1850-е годы это было официально закреплено законом. Но как и

их более смелые преемники, дамские фотографии середины XIX века могли, правда, в это время еще тщетно, отрицать принципы морали в искусстве: они проповедовали радикально реалистическое искусство. Новые технологии, коммерческая выгода и авангард слились в подпольном альянсе, отражая, как в зеркале, официальный альянс денег и духовных ценностей. Официальный взгляд не мог не возобладать. Осуждая одного такого фотографа, общественный прокурор выносил вместе с ним приговор «той художественной школе, которая называет себя реалистической и подавляет красоту... которая заменяет грациозных нимф Греции и Италии нимфами доселе неизвестной расы, правда, заслужившими печальную известность на набережной Сены»^{20*} Речь прокурора была опубликована в «Le Moniteur de la Photographie» в 1863 г. В этом же году Мане создал свой «Завтрак на траве».

Реализм, как видно, был неясным и противоречивым явлением. Его проблемы можно было решить только ценой уподобления «академическим» художникам, рисовавшим то, что было приемлемо и что хорошо продавалось. А взаимосвязь науки и воображения, факта и идеала, прогресса и внутренних ценностей пусть формируется сама по себе. Серьезные художники, либо критически относившиеся к буржуазному обществу, либо обладавшие здравым смыслом настолько, чтобы не принимать его претензий всерьез, оказались в еще более затруднительном положении. 1860-е годы ознаменовали новый этап в развитии искусства, который свидетельствовал о том, что положение было не просто затруднительным, но безвыходным. С появлением программного, т. е. натуралистического реализма Курбе история западного искусства, сложного, но логически последовательного, пришла к своему концу. Немецкий историк искусства Гильдебрандт характерно завершает этим именем целый этап в развитии искусства XIX века. Что было позже или скорее, что зарождалось одновременно с импрессионизмом, уже не было так прочно связано с настоящим. Оно предвосхищало будущее.

Главное противоречие реализма — это противоречие между предметом и способом изображения, а также взаимоотношений между ними. Что касается предмета изображения, проблема не ограничивалась только тем, чему отдать предпочтение — при-

вычным объектам или отличительным, благородным. Раскрывать ли темы, не затрагиваемые респектабельными художниками, или довольствоваться программной тематикой, входившей в курс обучения в академии? Художники откровенно левых политических пристрастий поступали в соответствии с первой моделью, среди них были революционеры и коммунары Курбе^{21*} Так же в какой-то степени поступали все художники, принимавшие всерьез натуралистический реализм, ибо им приходилось изображать то, что действительно можно увидеть глазами, то есть предметы, чувства, впечатление, но не идеи, качества или ценные суждения. «Олимпия» явно не была идеализированной Венерой, но, по словам Золя, «несомненно одной из тех моделей, которых Эдуард Мане просто изображал такими, какими они были в жизни... в девичьей, немного стыдливой наготе»^{22*}. Но при этом она шокировала своим внешним сходством со знаменитой Венерой Тициана. Что бы там ни гласил политический манифест, реализм не мог изображать Венер, а только обнаженных девушек, равно он не мог изображать королей, а просто людей в коронах. Именно поэтому Каульбах на церемонии провозглашения Вильгельма I императором единой Германии в 1871 г. выглядит менее эффектно, чем Наполеон I на портретах Давида и Энгра.

Несмотря на то, что реализм казался политически радикальным течением, так как более свободно обходился с современными и популярными объектами изображения*, фактически он ограничивал, даже делал невозможным существование политически и идеологически направленного искусства, которое доминировало в период до 1848 г., ибо политическое искусство не может существовать без идей и суждений. Реализм практически вытеснил из серьезного искусства самую привычную форму политической живописи первой половины века, а именно исторические полотна. Натуралистический реализм Курбе, республиканца-демократа и социалиста, не мог обеспечить базу для поли-

* Когда другие художники пытались обмануть природу, рисуя Венер, они лгали. Мане спросил себя: «Почему я должен лгать, почему не сказать правду?» И он познакомил нас с «Олимпией», девушкой нашего времени, которую мы каждый день встречаем на улицах, накидывая ей на плечи линялую шерстяную шаль», и далее в том же духе (Э. Золя)^{23*}.

тического революционного искусства даже в России, где технику натуралистической школы затмили передвижники с их «говорящими» картинами, последователи революционной теории Чернышевского. Поэтому он просто стал неотличим, по крайней мере в предмете изображения, от академической художественной школы.

Революция в искусстве и искусство революции все больше отдалялись друг от друга, несмотря на все усилия теоретиков и пропагандистов наподобие Теофиля Торе (1807—1869), человека радикальных взглядов, и Эмиля Золя связать их воедино. Важный вклад импрессионистов в искусство заключался не столько в выборе объектов изображения, которыми могли стать воскресная прогулка, популярные танцы, городской пейзаж, уличные сцены больших городов, такие атрибуты буржуазного полумира, как театры, бега и публичные дома, сколько в изобретении нового художественного метода. Но этот метод был не чем иным, как попыткой продвинуться еще дальше в изображении реальности, «того, что видит глаз», используя технику, сходную с фотографией. Это означало отказ от прежних штампов. Что действительно видит глаз, когда свет попадает на объект? Уж, конечно, не привычный набор символов — голубое небо, белые облака или черты лица. И все же попытки сделать реализм более «научным», приводили к его недоступности для понимания, так как в процессе развития новая техника письма сама становилась привычным набором символов. Случилось так, что сегодня мы без труда читаем эти символы, восхищаясь работами Мане, Ренуара (1841—1919), Дега, Моне (1840—1926) или Писсаро (1830—1903). А в то время они были недоступны, они были «горшком красок, брошенным в лицо публике», — так отзывался о работах импрессионистов Раскин. Эта проблема, как выяснится впоследствии, оказалась временной. А вот два других аспекта нового искусства не столь хорошо поддавались влиянию. Первый аспект был связан с тем, что «научная» сторона изобразительного искусства оказалась ограниченной. Например, рассуждая логически, картины импрессионистов были не просто картинами, а цветными и желательно трехмерными фильмами, способными запечатлеть игру света на объекте. Серия картин Клода Моне, на которой изобра-

жен фасад Руанского собора, это вершина достижений в этой области и максимум того, чего можно было достичь при помощи холста и красок. Но если поиски «научности» в искусстве не давали конечного результата, тогда все, что искусство смогло достичь — это разрушить привычные общепринятые нормы визуального общения, которые были заменены не «реальностью» и другими какими-то нормами, а разнообразием равновозможных восприятий. В конечном счете — правда, в 60-е и 70-е годы до этих выводов было еще очень далеко — невозможно достичь одинакового восприятия картины, так как все люди обладают субъективным видением. И когда это наконец осознали, стремление к максимальной объективности изображения видимых предметов сменилось триумфом максимальной субъективности. Это был соблазнительный путь, ибо если наука была одним оплотом буржуазного искусства, то другими его оплотами были индивидуализм и конкуренция. Самые рьяные приверженцы академического обучения и академических стандартов в искусстве иногда неосознанно подменяли новый критерий оригинальности древними критериями «совершенства» и «правильности», тем самым позволив со временем вытеснить себя со сцены.

Второй аспект — если искусство стало аналогом науки, тогда оно должно было перенять главную характерную черту последней — прогрессивное развитие, которое (за малым исключением) ставило все новое и последнее выше старого. В науке этот аспект не вызывал проблем, потому что даже самые поверхностные испытатели в 1875 г. знали физику лучше Ньютона и Фарадея. В искусстве же все было иначе: Курбе был, конечно, лучше, чем барон Гро⁵⁵, но не потому что он жил позже или был реалистом, а потому что был более талантливым. Более того, само слово «прогресс» носило двусмысленный характер. Его можно было применять и действительно применяли ко всем историческим изменениям, которые несли с собой улучшения, а равно и к попыткам приблизить желаемые перемены в будущем. Прогресс мог являться и мог не являться фактом, но «прогрессивность» относилась к сфере политических намерений. Революцию в искусстве можно было легко спутать с революцией в политике, особенно таким путаникам, как Прудон, и обе они могли быть

смешаны с чем-то совершенно отличным, в частности, с модерном — слово, впервые вошедшее в оборот в 1849 г*.

Быть «современным» в этой связи означало не бояться перемен, технических нововведений, в том числе и в предмете изображения. Ибо, как проницательно заметил Бодлер, удовольствие от изображения настоящего заключается не только в том, что оно действительно прекрасно, но и в том, что оно «просто есть настоящее», и тогда каждое последующее «настоящее» будет искать свои специфические формы выражения, так как никто другой не сможет изобразить его лучше современников. Это можно признать, а можно и не признавать «прогрессом» в смысле коренного улучшения, но это, конечно, был прогресс в смысле осознания того, что, не зная прошлого, нельзя понять и настоящего, которое лучше просто потому, что оно настоящее. Искусство должно постоянно обновляться, и по мере его обновления будут появляться поколения новаторов — хотя бы на время, — которые будут вызывать ненависть и у традиционалистов, мещан, и всех лишенных того, что Артур Рембо (1864—1891), сформулировавший немало принципов искусства будущего, назвал «воображением». Итак, короче говоря, мы начинаем ощущать себя в привычном сегодня мире авангарда, хотя тогда этого термина еще не существовало. Не случайно, что генеалогия авангардного искусства уходит корнями во Вторую империю во Франции — в творчество Бодлера и Флобера, в создания импрессионистов. С исторической точки зрения — это миф, но на самом деле время имеет большое значение. Это время ознаменовалось крушением попыток создать искусство, созвучное буржуазному обществу, которое воплотило бы в себе все реалии капиталистического мира, прогресс и естественную науку. Так полагали позитивисты.

* В общем можно сказать, что Курбе... это порождение своего времени. Его работы появились тогда же, когда и позитивная философия Огюста Конта, позитивная метафизика Вашеро, мои собственные «Право человека» и «Имманентное правосудие», когда появилось право на работу и права рабочих, обозначившие конец капитализма и независимость производителей, а также френология Гале и Шпурцхейма и физиогномика Лафатера» (Прудон)^{24*}.

V

Крушение искусства затронуло больше низшие слои буржуазного общества: студентов и молодых интеллектуалов, начинающих писателей и художников, в общем, богему из числа тех, кто отказался следовать по проторенным дорогам, вперед к буржуазной респектабельности, и с готовностью смешались с массой неспособных к другой жизни. Чаще всего они концентрировались в определенных районах больших городов (например, Латинский квартал и Монмартр), которые становились центрами авангарда и притягивали к себе как магнитом незрелых провинциальных юнцов типа Рембо, с жадностью набрасывавшихся на небольшие журналы или еретическую поэзию где-нибудь в Шарлевилле. Именно из их рядов вышли производители и потребители того, что веком позже назовут «андеграунд» и «контркультура». Рынок, который нельзя было игнорировать, но который еще не был достаточно платежеспособным, чтобы обеспечить авангардным производителям средства к существованию. Растущее желание буржуазии заключить искусство в объятия на своей груди, умножало число желающих попасть в эти объятия — студентов, начинающих писателей, и т. д. «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже (1851 г.) положили начало моде на то, что можно было бы назвать городским вариантом *fete champêtre* (пикник), в городе, ставшем земным раем западного мира, в этом центре искусств, с которым уже даже Италия не могла состязаться. Во второй половине века около десяти или двадцати тысяч жителей Парижа называли себя «художниками»^{25*}

Несмотря на то, что революционное движение к этому времени граничило с пределами Латинского квартала (точнее движением ланкистов) и несмотря на то, что анархисты приравнивали принадлежность к контркультуре к революции, авангард сам по себе не отличался какими-либо особыми политическими взглядами. Среди художников крайне левые Писсаро и Моне уехали в 1870 году в Лондон, чтобы избежать участия в франко-прусской войне, а Сезанн, нашедший убежище в провинции, совсем не интересовался политическими взглядами своего ближайшего друга — романиста-радикала Э. Золя. Мане и Дега — по разме-

рам личного состояния принадлежавшие к классу буржуазии — и Ренуар спокойно отправились на войну, где и пережили Парижскую Коммуну. Курбе принял в Коммуне очень опосредованное участие. Страсть к японским гравюрам, несомненно, одно из самых важных побочных порождений культуры начала капиталистического века, объединяла импрессионистов, жестокого республиканца Клемансо — мэра Монмартра во времена Коммуны и братьев Гонкур, рьяных антикоммунаров. Всех их объединяла как и романтиков до 1848 года общая нелюбовь к буржуазии и ее политическим режимам — в данном случае ко II империи — к этому царству серости, лицемерия и материальной выгоды.

До 1848 года эти духовные латинские кварталы буржуазного общества могли надеяться на республиканскую и социальную революцию. Пожалуй, несмотря на всю свою ненависть, они испытывали некое завистливое восхищение перед динамизмом энергичных торговых принцев, прокладывающих свой путь сквозь все преграды традиционного аристократического общества. «Воспитание чувств» Флобера (1869 г.) — это история надежды молодых бунтарей 40-х годов и их двойного разочарования в самой революции 1848 г. и наступившей вслед за ней эпохе, когда буржуазия восторжествовала, предав идеалы своей же революции. «Свобода, равенство, богатство». Романтики 1830—1848 гг. стали первыми жертвами разочарования в этих идеалах. В буржуазном обществе объективный реализм превратился в «научный» или позитивистский, сохранив, возможно даже развив, «элемент общественной критики»* или же в крайнем случае — скандальный, но все равно далекий от объективного. Последний, в свою очередь, трансформировался в «искусство ради искусства», поглощенное заботой о формальной стороне языка, стиля и техники. «Вдохновение бывает у всех, — поучал молодого ученика старый поэт Готье (1811—1872 гг.). — Восходы и закаты могут взволновать любого буржуа. Поэзия — это ремесло»^{26*} Когда новый вид изобразительного искусства появился в среде того поколения,

* Мгг. Дуанлоп заметил, что любой священник с опытом службы в провинциальных конфессиях подтвердит жизненную точность «Мадам Бовари» Флобера.

которое в 1848 году еще не появилось на свет или было детьми (основной труд Артура Рембо вышел в свет в 1871—1893 гг., Исидор Дюкасс, граф Лотремонский (1846—1870 гг.) опубликовал свой «Chants de Maldoror», 1869 году), он казался сложным, иррациональным и аполитичным.

С крушением надежд 1848 года и победой реальностей II Французской империи и Италии Виктора Эммануила западное буржуазное искусство, включая живопись и поэзию, развивается как искусство, обращенное к широким массам и одновременно как искусство для узкого круга избранных. Буржуазное общество не стало расправляться с этим искусством, так как нельзя не заметить, что художники и поэты, которыми мы восхищаемся до сих пор и которые творили в период с 1848 и до конца рассматриваемого нами времени, не пользовались популярностью у современников. А если и были популярны, то лишь благодаря скандалам, которым сами стали причиной: Курбе и импрессионисты, Бодлер и Рембо, ранние дорафаэлисты, А. Свинбурн (1839—1909 г.), Данте Габриэль Россети (1828—1882 гг.). Сказанное, конечно, не относится ко всем видам искусства, даже не ко всем из числа тех, что были полностью на обеспечении у буржуазии. Исключение составляет драма того времени, но о ней чем меньше скажешь, тем лучше. Возможно, причина в том, что трудности, с которыми столкнулся реализм в области изобразительных искусств, были не столь непреодолимы в других видах искусства.

VI

Так, например, в области музыки никаких трудностей не было. Видимо, вследствие того, что объективный реализм просто не совместим с принципами этого искусства и любая попытка навязать его становилась либо пустой формальностью, либо касалась текстов музыкальных произведений. Если реализм в музыке не принимал форму вагнеровского или не превращался в благопристойную песню, он становился простым воплощением различных знакомых переживаний, в том числе, как например в «Тристане» Вагнера (1865 г.), сексуального характера. Но чаще всего,

особенно в процветающих национальных школах музыки, представителями которых в Богемии были Сметана и Дворжак, в России — Чайковский, Н. Римский-Корсаков (1844—1908 гг.) и Мусоргский, в Норвегии — Григ (1843—1907 гг.), это были переживания национального величия, для выражения которых существовала своя система символов, например, включение в текст произведения фольклорных мотивов. Впрочем, как уже было сказано, серьезная музыка процветала не потому, что являлась отражением реального мира, а потому, что несла с собой элемент духовности, превратившись вследствие этого в фальшивую религию. Если композиторы хотели, чтобы их музыку исполняли, они должны были потакать вкусам влиятельных покровителей и рынка. В этой связи они могли противостоять буржуазному миру изнутри, что было несложно, так как буржуазия сама вряд ли замечала, где ее критикуют. Она наслаждалась тем, что музыка выражает ее надежды и ее славную культуру. Итак, музыка процветала в более или менее традиционном романтическом виде. Самый воинствующий авангардист Рихард Вагнер был заметной общественной фигурой, ибо ему удалось (не без помощи сумасшедшего короля Людвига Баварского, его покровителя) убедить самых материально обеспеченных покровителей культуры, что они принадлежат к той духовной элите общества, которая стоит выше обывательской массы и единственная заслуживает искусства будущего. Литературная проза и особенно характерный для буржуазного общества жанр романа также процветал, но совсем по другим причинам. Слова в отличие от нот могли воспроизводить реальную жизнь и идеи, а в отличие от изобразительного искусства их нельзя было обвинить в плагиате. Реализм поэтому не принес в литературу тех неразрешимых и неожиданных противоречий, которые внесла фотография в живопись. Некоторые романы писались на основе четких документальных фактов, в других фантазия автора уносилась в области, считавшиеся неправильными и не заслуживающими внимания респектабельной публики (творческое наследие французских натуралистов пестрит и теми и другими, но несмотря ни на что трудно было отрицать тот факт, что даже заурядные и самые субъективные писатели изображали в своих произведениях реальный мир и чаще

всего современное реальное общество. В это время не встретишь ни одного писателя-реалиста, книги которого нельзя было бы превратить в драматичный телевизионный сериал. Здесь следует искать причины популярности и приспособляемости романа как жанра и всех его достижений за этот период. За редким исключением — Вагнер в музыке, французские художники и некоторые поэты — основная заслуга в развитии культуры этого времени принадлежит романам: русским, английским и, возможно, даже американским, если принять во внимание «Моби Дик» Мелвилля. И практически все великие романы великих романистов (за исключением Мелвилля) получили признание публики, даже если что-то она в них недопонимала.

Большой потенциал, который заключал в себе роман, был обусловлен широтой охвата действительности. Самые необъятные темы были подвластны романистам: «Война и мир» Толстого (1869), «Преступление и наказание» Достоевского (1866), «Отцы и дети» Тургенева (1862). Роман, призванный отразить жизнь всего общества через серию описаний по модели произведений Бальзака и Скотта, не привлекал внимания великих писателей. Поэтому очень странно, что такие романы все-таки появлялись. Впрочем, Золя в 1871 г. только приступил к созданию гигантской картины жизни Второй империи (хроника «Ругон-Маккары»), Перес Гальдос (1843—1920) начал в 1873 г. «Национальные зарисовки», Гюстав Фрейтаг (1816—1895) в 1872 г. начал своих «Предков». За пределами России успех таких гигантских произведений был неравнозначным, хотя эпоха, собравшая вместе Диккенса, Флобера, Элиота, Теккерея и Готфрида Келлера (1819—1890), вряд ли должна была опасаться конкуренции. Но что характерно для романа и что сделало этот жанр типичной литературной формой этого времени — это способность достичь самых невероятных результатов не через мифы (как, например, «Кольцо» Вагнера), а через обыденное описание каждодневной реальности. Роман не столько штурмовал вершины творчества, сколько неумолимо тяжело на них взбирался. По этой же причине романы часто переводились на другие языки с минимальной потерей для смысла. Но по крайней мере один романист этого времени стал гениальной фигурой международного масштаба. Это Чарльз Диккенс.

Было бы несправедливым ограничить обзор искусства в эпоху триумфа буржуазии гениальными художниками и их шедеврами, особенно предназначенными для узкого круга публики. Не следует забывать, что это было время массового искусства, новых технологий, позволявших бесконечно множить застывшие образы, время слияния технологий и коммуникаций, детищем которых стали газеты и периодическая печать, время массового образования, сделавшего все это доступным широкой публике. Современные произведения искусства, редко приобретающие широкую известность в это время, то есть не выходявшие за пределы «культурного» круга публики, не были теми произведениями, которые восхищают нас и по сей день. Исключение составляет лишь Чарльз Диккенс*.

Самым распространенным и широко продаваемым видом литературы были газеты, выходившие в Британии и Соединенных Штатах неслыханными тиражами в четверть и даже полмиллиона экземпляров. Картинки, которые вешали на стены своих домов первопоселенцы американского запада и ремесленники из Европы, были репродукциями «Монарха» Глена Лэндшира (или его национальными вариантами), либо портретами Линкольна, Гарибальди и Гладстона. К произведениям из разряда «высокого искусства», ставшим достоянием широких масс, принадлежали мелодии Верди, которые исполняли вездесущие итальянские шарманщики, и отрывки из Вагнера, переложенные на мелодию свадебных маршей, но уж, конечно, не сами его оперы.

Все это означало культурную революцию. С триумфом городов и промышленности еще сильнее обозначился раздел на «современные» слои населения, к которым относились городские жители, писатели и те, кто безоговорочно принял гегемонию буржуазной культуры, и традиционалистов. Раздел ощущался все острее, так как наследие деревенского прошлого постепенно превращалось в малозначимую часть жизни городского рабочего класса: в 60-е и 70-е годы промышленные рабочие Богемии пере-

* Но Диккенс был прежде всего журналистом, его романы выходили отдельными изданиями, а вел он себя как артист, известный тысячам людей своими чтениями драматических сцен из собственных произведений.

стали выражать себя через фольклорные песни и пристрастились к мюзик-холлу, бессмысленным стишкам о жизни, не имевшим ничего общего с жизнью их предков. Это была ниша, которую прародители современной популярной музыки и увеселительного бизнеса начали заполнять своими творениями, рассчитанными на людей с низким культурным уровнем. В Британии эпоха, когда мюзик-холлы начали быстро завоевывать популярность, была одновременно и эпохой распространения в рабочих сообществах хоровых и медных духовых оркестров рабочих, исполнявших популярный «классический репертуар». Но характерной чертой этих десятилетий стала направленность культурного потока — от средних классов к низшим слоям общества. Так, по крайней мере, обстояли дела в Европе. Даже самая распространенная форма пролетарской культуры — массовые спортивные зрелища были изначально организованы, как, например, футбольная ассоциация, молодыми людьми из средних классов. Именно они основали первые клубы и устраивали первые состязания. А в конце 70-х и начале 80-х инициативу поддерживали представители рабочего класса*.

Даже традиционная сельская культура постепенно размывалась и не столько благодаря миграции, сколько благодаря образованию. Поскольку начальное образование стало доступным широким массам, традиционная культура перестала носить характер устных сказаний, передаваемых с глаза на глаз от поколения к поколению, и раскололась на культуру высшую, грамотную и культуру низшую, безграмотную. Образование и национальная бюрократия превратила даже деревню в собрание шизофреников, разрывающихся между ласкательными именами и кличками, по которым их узнавали соседи и родственники, («удачливый Патито») и официальными именами, иногда полученными в школе, по которым их «узнавали» власти (Франсиско Гонсалес Лопес). Новые поколения по существу стали двуязычными.

* В Британии, этой стране Скотта, именно это время ознаменовалось падением интереса к чисто плебейскому виду спорта — крикету. Некоторые виды спортивной активности, популярные ранее, постепенно исчезли. Среди них — состязание по ходьбе и гребле.

Попытки спасти родной язык для образованного общества в форме диалектной литературы (которые были предприняты в деревенских драмах Людвига Анценгрубера (1839—1889), в стихотворениях на дорсетском диалекте Уильяма Барнера (1800—1886), автобиографиях Фрица Рейтера (1810—1874), а позже — в попытках возродить деревенскую литературу движением «фелибров» (так называли провансальских поэтов и писателей, создавших свое движение в 1854 г.), были рассчитаны скорее на романтическую ностальгию среднего класса, популизм или натурализм*.

По сегодняшним меркам это падение культуры было значительным. Но одновременно рассматриваемый период представляется довольно важным, так как ее еще окончательно не вытеснила новая пролетарская или городская контркультура. (В сельской местности этот феномен никогда не приживется). Гегемония официальной культуры, неизменно отождествлявшейся со средним классом, утверждала свое право над подчиненными массами. В то время ничто не могло препятствовать этой подчиненности.

* Самым большим исключением была популистско-демократическая контратака на высокую (что приравнивалась к понятию иностранной) культуру силами юмористических писателей-журналистов Западной и Южной Америки, которые преднамеренно использовали в своих произведениях разговорный язык. Лучший пример этих произведений — «Геккельбери Финн» Марка Твена.

ГЛАВА 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Делай, что тебе нравится. Судьба играет самую последнюю роль в жизни человека. Вера в судьбу — твой главный тиран. Следуя логике прогресса, ее давно бы уже следовало запретить.

Иоаганн Нестрой, венецианский драматург-комик, 1850^{1*}

Эпоха буржуазного триумфа началась с поражения революции и окончилась продолжительным застоём. Первый из этих признаков более удобен для того, чтобы обозначить конец или начало какого-либо исторического периода, но история не стремится быть удобной историкам, хотя некоторые из них этого не осознают. Принципы жанра драмы требуют окончить наше повествование каким-нибудь зрелищным событием — провозглашением германского единства, Парижской Коммуной 1871 г. или великим биржевым крахом 1873 г. Но принципы драмы и принципы реальной жизни часто не совпадают. Наша история оканчивается не изображением горного пика или водопада, а более прозаичным пейзажем водяного потока: где-то между 1871 и 1879 гг. Если уж выбирать точную дату, давайте остановимся на одном из годов середины 1870-х, с которым не связано ни одного выдающегося события, скажем, на 1875.

Новая эпоха, наступившая вслед за триумфом либерализма, была уже совсем другой. В экономике это проявилось в быстром отходе от необдуманной конкуренции частных предприятий, невмешательстве правительства и того, что немцы называли *Manchesterismus* (полная свобода торговли в викторианской Британии) и движением в сторону создания крупных промышленных объединений (картелей, трестов, монополий), правительственного регулирования и различных политических ортодоксов.

Эпоха индивидуализма закончилась в 1870 г., — жаловался британский юрист А. В. Дисей, — началась эпоха коллективизма. И хотя большинство из тех фактов, которые он приводит в пользу того, что коллективизм начал завоевывать пространство, мы считаем малозначительными, он в какой-то мере был прав.

Капиталистическая экономика менялась в четырех направлениях. Во-первых, наступала эра новых технологий, уже не зависящих от изобретений и методов первой промышленной революции, эра новых источников энергии (электричество и нефть, турбины и двигатель внутреннего сгорания), новых машин из новых материалов (стали, сплавов, не содержащих железа), новых научных производств — таких, как все более расширяющееся химическое производство. Во-вторых, экономика стала работать на расширение рынка товаров внутреннего потребления. Первой страной, развивавшей этот рынок, стали Соединенные Штаты Америки, причем стимулом послужил не только рост доходов населения, но и демографический взрыв в развитых странах. С 1870 по 1910 население Европы возросло с 290 до 435 миллионов человек, Соединенных Штатов — с 38,5 до 92 миллионов. Другими словами, мир вступил в эпоху массового производства, в том числе и товаров длительного пользования.

Третье, и самое важное, — произошла парадоксальная перестановка сил. Эпоха триумфа либерализма была **де факто** эрой британской промышленной монополии, охватившей все страны. В пределах этой монополии доход был гарантирован конкуренцией мелких и средних предприятий. Постлиберальная эра породила международную конкуренцию национальной промышленной экономики — британской, немецкой, североамериканской. Конкуренция обострялась трудностями, которые испытывали национальные фирмы и предприятия в годы застоя в деле получения соответствующих доходов. Конкуренция, таким образом, вела к экономической концентрации, рыночному контролю и махинациям. Цитируя блестящего историка, — «Экономический рост превратился одновременно в экономическую борьбу, призванную отделить сильных от слабых, обескуражить одних и придать мужества другим, благоприятствовать новым, голодным

нациям ценой старых! Оптимизм по поводу будущего неясного прогресса открывал дорогу неуверенности и чувству агонии в классическом значении этого слова. Все это укрепляло и, в свою очередь, укреплялось обострением политического соперничества, двумя формами конкуренции, которые породила последняя волна земельного голода и погоня за «сферами влияния». Впоследствии они будут названы новым империализмом»^{2*}

Мир вступал в эру империализма как в широком смысле слова (т. е. учитывая изменившуюся структуру экономической организации, ставшей «монопольно-капиталистической»), так и в узком смысле — новое вхождение «неразвитых» стран в качестве зависимых элементов в мир экономики, которым правили «развитые» страны. Помимо роста конкуренции рынков и экономического экспорта, которая заставила господствовавшие державы поделить земной шар на формальные и неформальные зоны развития своей деятельности, развитию империализма способствовало отсутствие сырьевых ресурсов в развитых странах по климатическим и географическим причинам. В то же время новые технологические производства не могли обходиться без этого сырья: нефти, каучука, не содержащих железа металлов. К концу века Малайя стала известным поставщиком олова, Россия, Индия и Чили — марганца. Новая Каледония — никеля. Новая экономика, рассчитанная на потребителей, требовала все большего количества продуктов, как тех, которыми располагали развитые страны (зерно и мясо), так и тех, которыми они не располагали (субтропические и тропические фрукты и напитки, заморские растительные масла для производства мыла). «Банановая республика» стала такой же частью мировой капиталистической экономики, как и олово, каучук или какао.

В мировых масштабах разделение на развитые и (теоретически второстепенные) неразвитые районы, хотя и не новое само по себе, приняло узнаваемые сегодня современные формы. Развитие новых форм прогресса и зависимости продолжалось с короткими перерывами до экономического спада 30-х гг. и стало четвертым из основных изменений, произошедших в мировой экономике.

В политическом отношении конец либеральной эры означал именно то, что принято понимать под этим словом. В Британии виги (либералы) — в широком смысле все те, кто не принадлежал к тори (консерваторам) были у власти, не считая коротких перерывов, в течение периода с 1848 по 1874 гг. В последнюю четверть века они вынуждены были находиться у власти не более 8 лет. В Германии и Австрии либералы перестали составлять парламентский оплот правительств этих стран до тех пор, пока правительства нуждались в этом оплоте. Их власть была подорвана не только внедряемой ими идеологией свободной торговли и плохого (иначе говоря — бездеятельного) правительства, но и демократизацией выборных политиков (см. главу VI), разрушивших иллюзию, что их политика представляет волю масс. С одной стороны, застой придавал силу сторонникам протекционизма через заинтересованность промышленным и аграрным сектором экономики. Тенденция к освобождению торговли была изменена в России и Австрии в 1874—1875 гг. в Испании — в 1877 г., в Германии — в 1879 г. и затем практически везде, за исключением Британии. Но даже здесь свободная торговля находилась под давлением с 1880-х годов. С другой стороны, требования низов защитить «маленького человека» от «капиталистов», обеспечить социальную безопасность, принять меры против безработицы и повысить минимум заработной платы звучали все громче и становились все более политически эффективными. «Лучшие классы», была ли эта старинная знать или новые буржуа, уже не могли больше говорить за «низшие классы» или, что еще важнее, рассчитывать на их безвозмездную помощь.

Развивалось новое, могущественное и вмешивающееся во все дела государство, а вместе с ним и различные формы политической деятельности. Сбывались мрачные предсказания антидемократических мыслителей. «Современная версия прав человека, — как считал историк Якоб Буркхардт в 1870 г., — включает право на труд и существование. Ибо люди больше не хотят предоставлять обществу решение жизненно важных для них проблем. Они хотят невозможного и воображают, что в состоянии заставить государство удовлетворить их желания»^{3*}. Больше всего их вол-

новало не само по себе утопическое требование достойной жизни для бедных, а возможность бедняков его высказать. «Массы хотят своих денег и своего мира. От кого они их получают — республики или монархии, того они и будут поддерживать. Если же никто не исполнит их желаний, они поддержат первую же конституцию, где все это будет обещано»^{4*} И государство, уже более руководствующееся принципами морали и законности, традицией или верой в нерушимость законов экономики, станет всемогущим гигантом на практике, а в теории — всего лишь инструментом исполнения народной воли.

По современным меркам, роль, которую играло государство, и его деятельность были достаточно скромными, хотя расходы на душу населения увеличились во всех странах, большей частью в результате резко возросшего общественного долга (это не касается стран, где процветали либерализм, мир и несубсидированные частные предприятия — Британии, Бельгии, Голландии и Дании)*. В любом случае расходы на социальную сферу, кроме разве что образования, оставались ничтожными. С другой стороны, в политике возникли три новые тенденции, порожденные напряженной ситуацией застоя, которые практически везде обернулись общественными волнениями и недовольством.

Первой и самой новой тенденцией стало возникновение независимых рабочих партий и движений, в основном социалистической (т. е. все больше марксистской) ориентации. Первой и самой влиятельной была немецкая социал-демократическая партия. Хотя правительства и средние классы этого времени расценивали подобные партии как крайне опасные, они на самом деле исповедовали те же ценности и принципы рационалистского просвещения, что и либерализм. Вторая тенденция не разделяла этого либерального наследия и была совершенно противоположной. Демагогические антилиберальные и антисоциалистические партии возникли в 1880-е и 1890-е гг. либо из-под обломков своего быв-

* Рост расходов отличался во всех развитых заокеанских странах, которые находились в процессе создания инфраструктуры экономики, за счет импорта капитала — США, Канаде, Австралии и Аргентине.

шего членства в либеральных партиях — например, антисемиты и пангерманские националисты, прародители фашизма, либо под крылом неактивных ранее в политическом отношении церквей — как, например, «Христианско-социалистическое движение» в Австрии*. Третьей тенденцией было освобождение массовых националистических партий и движений от сходной либерально-радикалистской идеологии. Некоторые движения за национальную автономию и независимость приобрели тенденцию обращаться, по крайней мере теоретически, к социализму, особенно когда рабочий класс стал играть важную роль в их родных странах, но это был скорее националистический, чем международный социализм (как, например, так называемые чешские народные социалисты или польские социалистические партии), так как националистические элементы этих движений возобладали над социалистическими. Они не подрывали своим существованием основную политическую установку развитых государств, которая возникла в 1860-х — более или менее последовательное и мерное движение к демократическому конституционализму. Тем не менее, появление нелиберальных массовых политических движений, как бы они ни оправдывались теоретически, напугало правительства. Пока они не научились управлять новой системой, они были склонны (особенно в период великого застоя) впадать в панику и идти на силовое подавление беспорядков. Третья республика не хотела вновь допустить в политику выпавших жертв кровавой резни коммунаров вплоть до 1880-х гг. Бисмарк, который знал способ управления буржуазными либералами, но не знал, что делать с массовыми социалистическими партиями и католическими объединениями, в 1879 г. объявил социал-демократов незаконной организацией. Гладстон опустился до вооруженного подавления беспорядков в Ирландии. И все же это были временные

* По различным причинам, среди которых самой важной является ультрареакционная позиция Ватикана при папе Пие IX (1846—1878), католическая церковь не могла в должной мере использовать в массах свой огромный потенциал, за исключением некоторых западных стран, где католики были в меньшинстве и где поэтому им приходилось организовывать группы давления — например, в 1870-х гг, таковой была «Партия центра» в Германии⁵⁶.

явления, а не постоянная тенденция. Буржуазная политика, там, где она существовала, потерпела крах не ранее чем в XX веке.

Рассматриваемый период окончился беспокойными временами «великого застоя» и было бы неправильным рисовать его только в ярких красках. В отличие от экономического кризиса 30-х гг., экономические трудности сами по себе представляются столь глубокими и непреодолимыми, что историки даже выражают сомнения в правомерности термина «застой» по отношению к двадцати годам, наступившим вслед за этим временем.

Они, конечно, не правы, но этих сомнений достаточно, чтобы упредить нас не рисовать все в слишком мрачном свете. Ни экономически, ни политически структура капитализма середины XIX века не пострадала. Капитализм вошел в новую фазу развития, но он оставил за собой широкий простор для завоеваний, хотя бы в виде медленно меняющейся экономики и политического либерализма. Он был различным в передовых, неразвитых, отсталых и бедных странах, или странах, наподобие России, которая сочетала в себе победы и жертвы. Здесь «великий застой» открыл эпоху постоянных революций. Но для одного-двух поколений после 1875 г. мир триумфально шествовавшей буржуазии оставался достаточно стабильным. Возможно, буржуазия стала несколько более самоуверенной, чем прежде, и это стремление к самоутверждению сильно раздражало. Возможно, она стала меньше заботиться о будущем. Возможно, ее стала больше заботить потеря веры в прежде неоспоримые научные постулаты, которым (особенно после 1880-х) мыслители, художники и ученые придавали особое значение, пускаясь в новые, волнительные завоевания сфер человеческого разума. Но «прогресс», конечно, неизменно продолжался, принимая формы буржуазного, капиталистического и в общем смысле — либерального общества. «Великий застой» был только прелюдия. Не явило ли это общество пример экономического роста, совершенствования науки и технологий, улучшений и мира? Не станет ли XX век более славной, успешной копией XIX века? Сегодня мы знаем, что не станет.

ТАБЛИЦЫ

Т а б л и ц а 1

Европа и США: государства и ресурсы

	1847—1850			1876—1880		
	насе- ление (млн)	мощ- ность паровых устано- вок (тыс.л.с.)	число городов с населением 50,00 тыс. жителей и свыше	насе- ление (млн)	мощ- ность паровых устано- вок (тыс.л.с.)	почтовых отправле- ний (на душу на- селения)
Соединенное Королевство	27	1290	32	32,7	7 600	48,2
Франция	34,1	370	14	36,9†	3 070	29,5
Германия	—	—	17	42,7	5 120	28,7
Пруссия	11,7	92	—	—	—	—
Бавария	4,8	—	—	—	—	—
Саксония	1,8	—	—	—	—	—
Ганновер	1,8	—	—	—	—	—
Вюртемберг	1,7	—	—	—	—	—
Баден	1,7	—	—	—	—	—
32 других государства в пределах между 0.02 и 0.9 (Австрия)*						
Россия	66,0	70	8	85,7	1 740	2,6
Австрия с Венгрией	37,0	100	13	37,1†	1 560	12,0
Италия	—	—	—	27,8	500	13,4
Обе Сицилии	8,0	—	4	—	—	—
Сардиния	4,0	— 2	—	—	—	—
Папские области	2,9	—	1	—	—	—
Тоскана	1,5	—	2	—	—	—
3 других государства в пределах между 0,1 и 0,3 (Австрия)						
Испания	12,3	20	8	16,6	470	7,1
Португалия	3,7	0	2	4,1	60	5,4
Швеция (включая Норвегию)	3,5	0	1	4,3	310	12,5
Дания	1,4	0	1	1,9†	90	26,6
Нидерланды	3,0	10	5	3,9	130	29,5
Бельгия	4,3	70	5	5,3	610	35,5
Швейцария	2,4	0	0	2,8	230	46,1
Оттоманская империя	ок.30‡	0	7	28† (1877)	—	?
Греция	ок.1,0	0	—	1,9	0	2,3
Сербия	ок.0,5	0	—	1,4	0	0,7
Румыния	—	—	—	5,0	0	1,5
США	23,2	1,680	7	50,2†	9 110	47,7

* Части Австрийской империи, считавшиеся до 1866 года частью «Германской Конфедерации».

† Существенные потери или приобретение территорий (населения), 1847—1876 гг.

‡ Только европейская территория.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 2

I. Плотность сети железных дорог, 1880*

км ² (на 10 000)	Страна
свыше 1 000	Бельгия
свыше 750	Соединенное Королевство
свыше 500	Швейцария, Германия, Нидерланды
250—499	Франция, Дания, Австро-Венгрия, Италия
100—290	Швеция, Испания, Португалия, Румыния, США, Куба
50—99	Турция, Чили, Новая Зеландия, Тринидад, Виктория, Ява
10—49	Норвегия, Финляндия, Россия, Канада, Уругвай, Аргентина, Перу, Коста-Рика, Ямайка, Индия, Цейлон, Тасмания, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, Капская колония, Алжир, Египет, Тунис

2. Железные дороги и пароходы, 1830—1876*

	км ж/дорог	тоннаж пароходов
1821	0 332	32 000
1841	8 591	105 121
1846	17 424	139 973
1851	38 022	263 679
1856	68 148	575 928
1861	106 886	803 003
1866	145 114	1 423 232
1871	235 375	1 939 089
1876	309 641	3 293 072

3. Морской транспорт мира. Географическое распределение тоннажа, 1879†

Область	Общий тоннаж (000)	Область	Общий тоннаж (000)
<i>Европа</i>		<i>Остальной мир</i>	
Полярное море	61	Северная Америка	3 783
Северное море	5 536	Южная Америка	138
Балтика	1 275	Азия	700
Атлантика, включая		Австралия и Тихий океан	359
Ирландское море и Ла-Манш	4 553		
Западное Средиземноморье	1 356		
Восточное Средиземноморье, включая Адриатику	604		
Черное море	188		

* Ф. К. фон Нойман Шпалларт. «Обозрение экономики мира» (Штуттгарт, 1880), с. 335.

† А.Н. Кьяер. «Международная статистика морской навигации» (Христиания, 1880, 1881)

ТАБЛИЦЫ

Т а б л и ц а 3

Мировое производство золота и серебра. 1830—1875 (тыс. кг)*

	золото	серебро
1831—1840	20,3	596,4
1841—1850	54,8	780,4
1851—1855	197,5	886,1
1851—1860	206,1	905,0
1861—1865	198,2	1 101,1
1866—1870	191,9	1 339,1
1871—1875	170,7	1 969,4

Т а б л и ц а 4

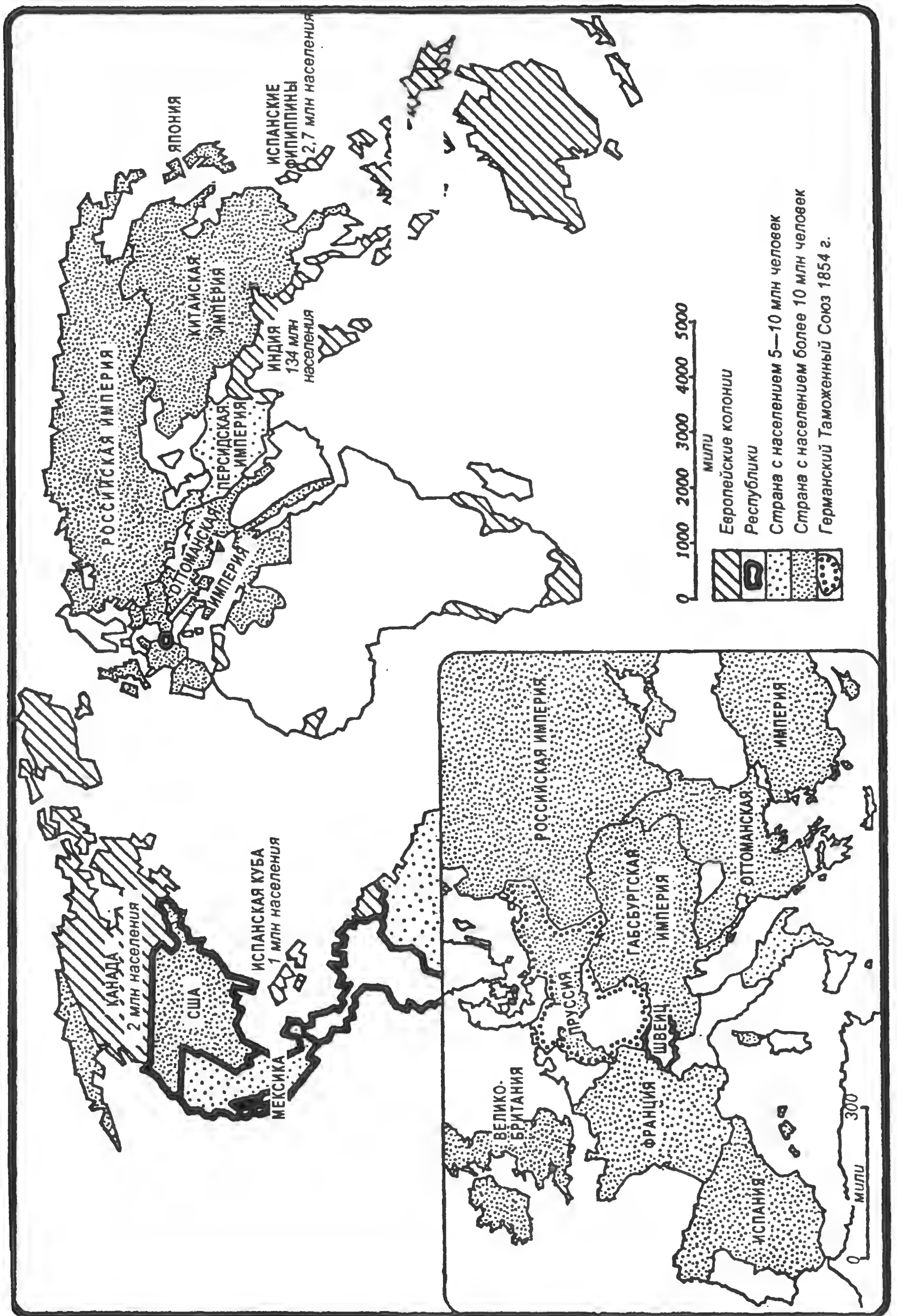
Мировое сельское хозяйство, 1840—1887†

	Стоимость произведенной продукции (млн фунтов стерлингов)		Число занятых работников (тыс.)	
	1840	1887	1840	1887
Британия	218	251	3 400	2 460
Франция	269	460	6 950	6 450
Германия	170	424	6 400	8 120
Россия	248	563	15 000	22 700
Австрия	205	331	7 500	10 680
Италия	114	204	3 600	5 390
Испания	102	173	2 000	2 720
Португалия	18	31	700	870
Швеция	16	49	550	850
Норвегия	8	17	250	380
Дания	16	35	280	420
Голландия	20	39	600	840
Бельгия	30	55	900	980
Швейцария	12	19	300	440
Турция и пр.	98	194	2 000	2 900
Европа	1 544	2 845	50 430	66 320
США	184	776	2 550	9 000
Канада	12	56	300	800
Австралия	6	62	100	630
Аргентина	5	42	200	60
Уругвай	1	10	50	10

* Нойманн-Шпалларт, см. выше (1880), с. 250.

† М. Малхолл «Словарь статистический» (Лондон, 1892), с. 11.

Мир в 1847 г.



КАНАДА
4,5 млн населения

ИСПАНСКАЯ КУБА
1 млн населения

МЕКСИКА

ЯПОНИЯ

ИСПАНСКИЕ ФИЛИППИНЫ
5,6 млн населения

ИНДО-КИТАЙ
2 млн населения

АВСТРАЛИЯ
3 млн населения

ГОЛЛАНДСКАЯ ОСТ-ИНДИЯ
20 млн населения

ЦЕЙЛОН
3 млн населения

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

ПЕРСИДСКАЯ ИМПЕРИЯ

КИТАЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

ИНДИЯ
199 млн населения

СВОБОДНАЯ ОРАНЖЕВАЯ РЕСПУБЛИКА

ТРАНСВААЛЬ

БРАЗИЛИЯ

ШВЕЦИЯ

ДАНИЯ

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

НИДЕРЛАНДЫ

БЕЛЬГИЯ

ГЕРМАНИЯ

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

АБСБУРГСКАЯ ИМПЕРИЯ

РУМЫНИЯ

БОЛГАРИЯ

СЕРБИЯ

ЧЕРНОГОРИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ПОРТУГАЛИЯ

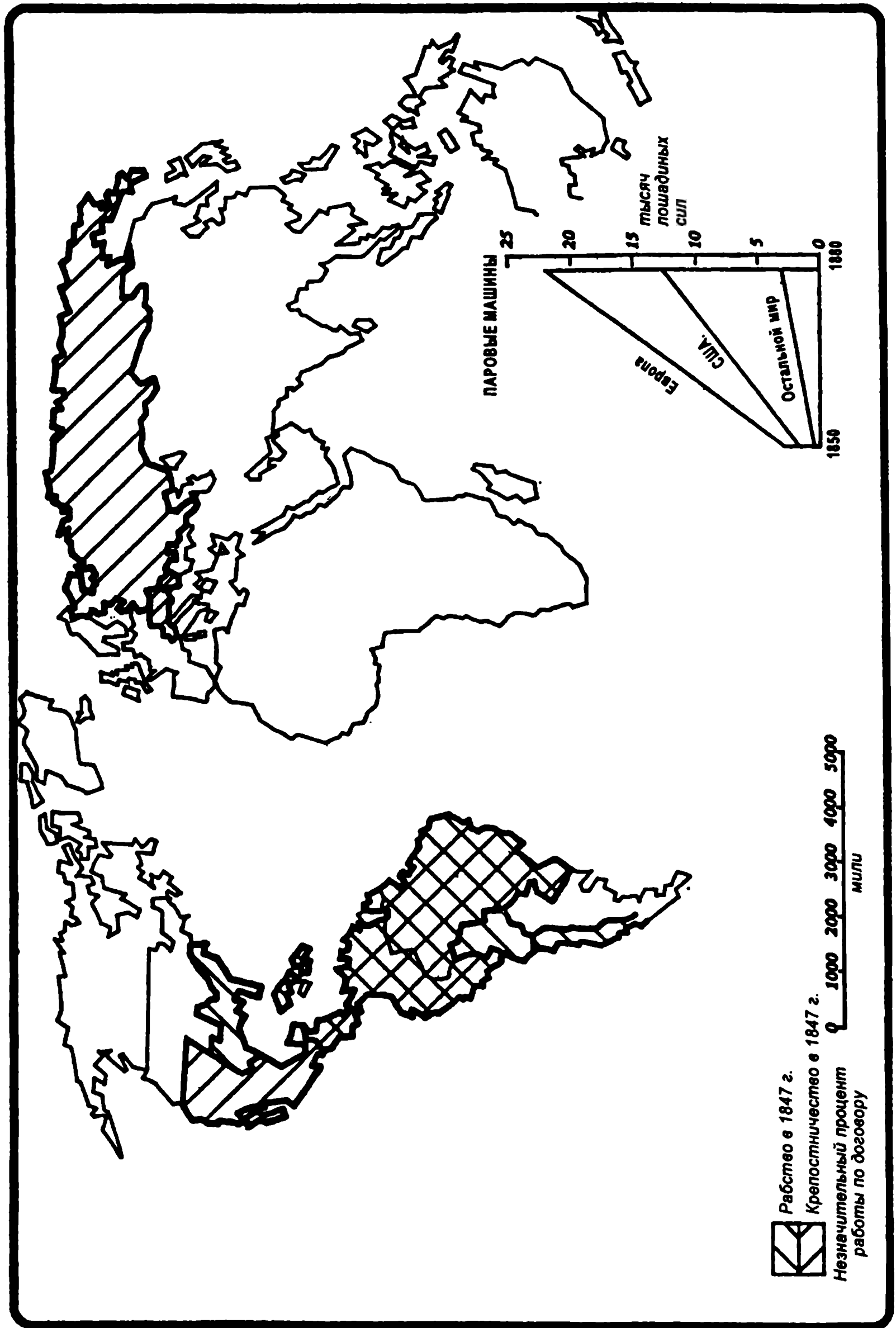
ОТТОМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

ГРЕЦИЯ

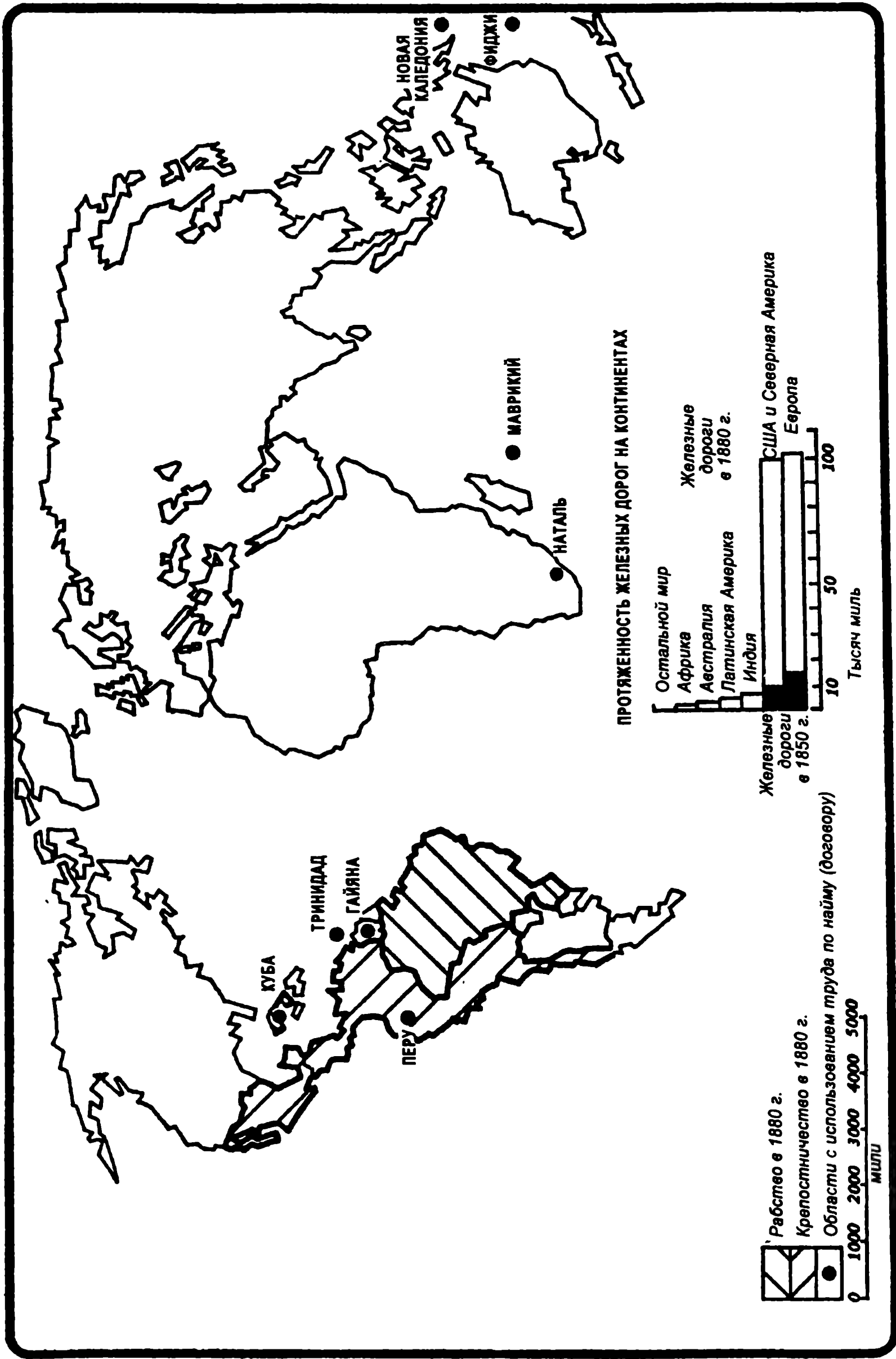
0 1000 2000 3000 4000 5000
млн

Европейские колонии
Республики
Страна с населением 5—10 млн человек
Страна с населением более 10 млн человек

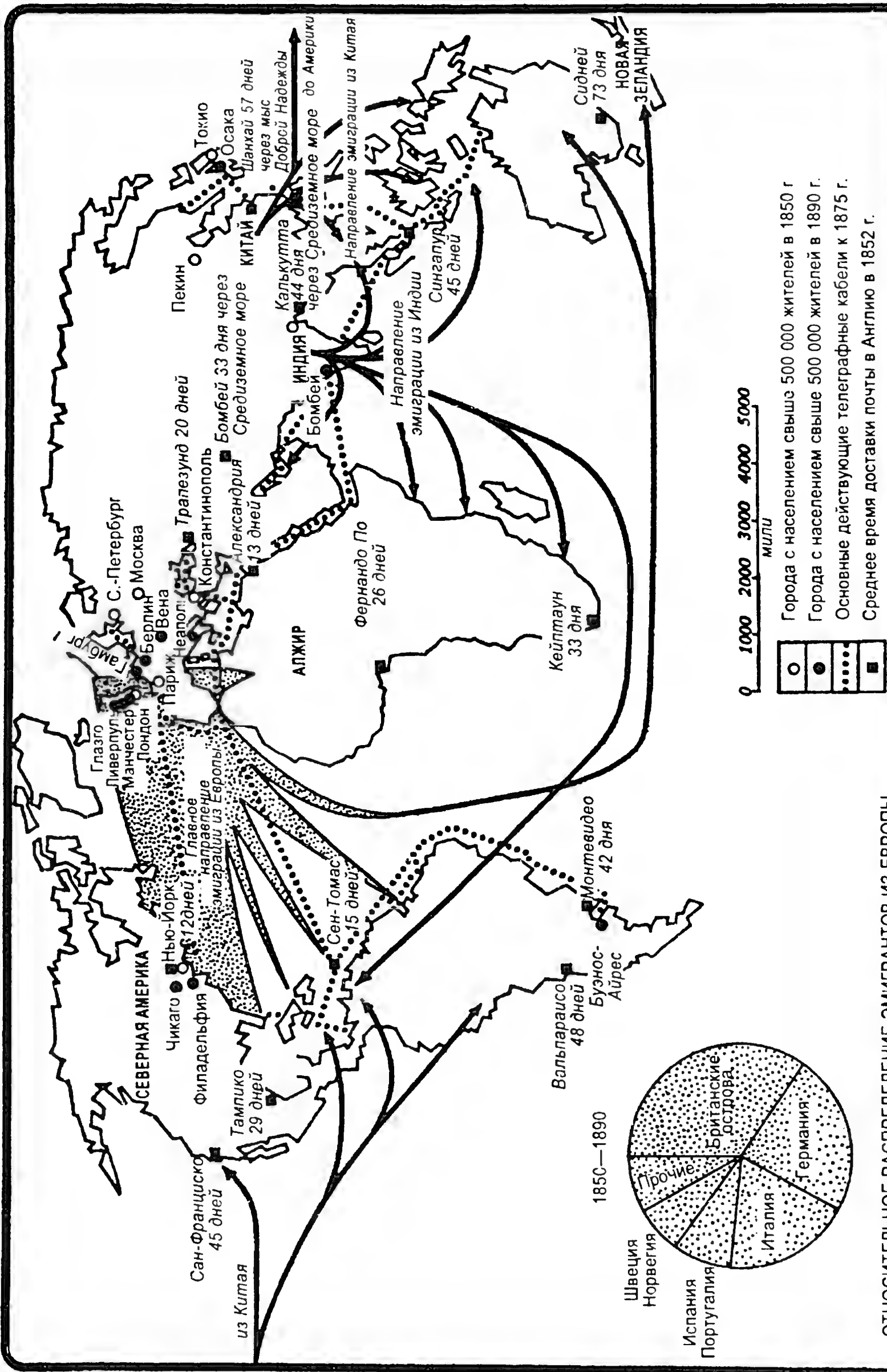
1847 г. Рабство и крепостничество в Западном мире



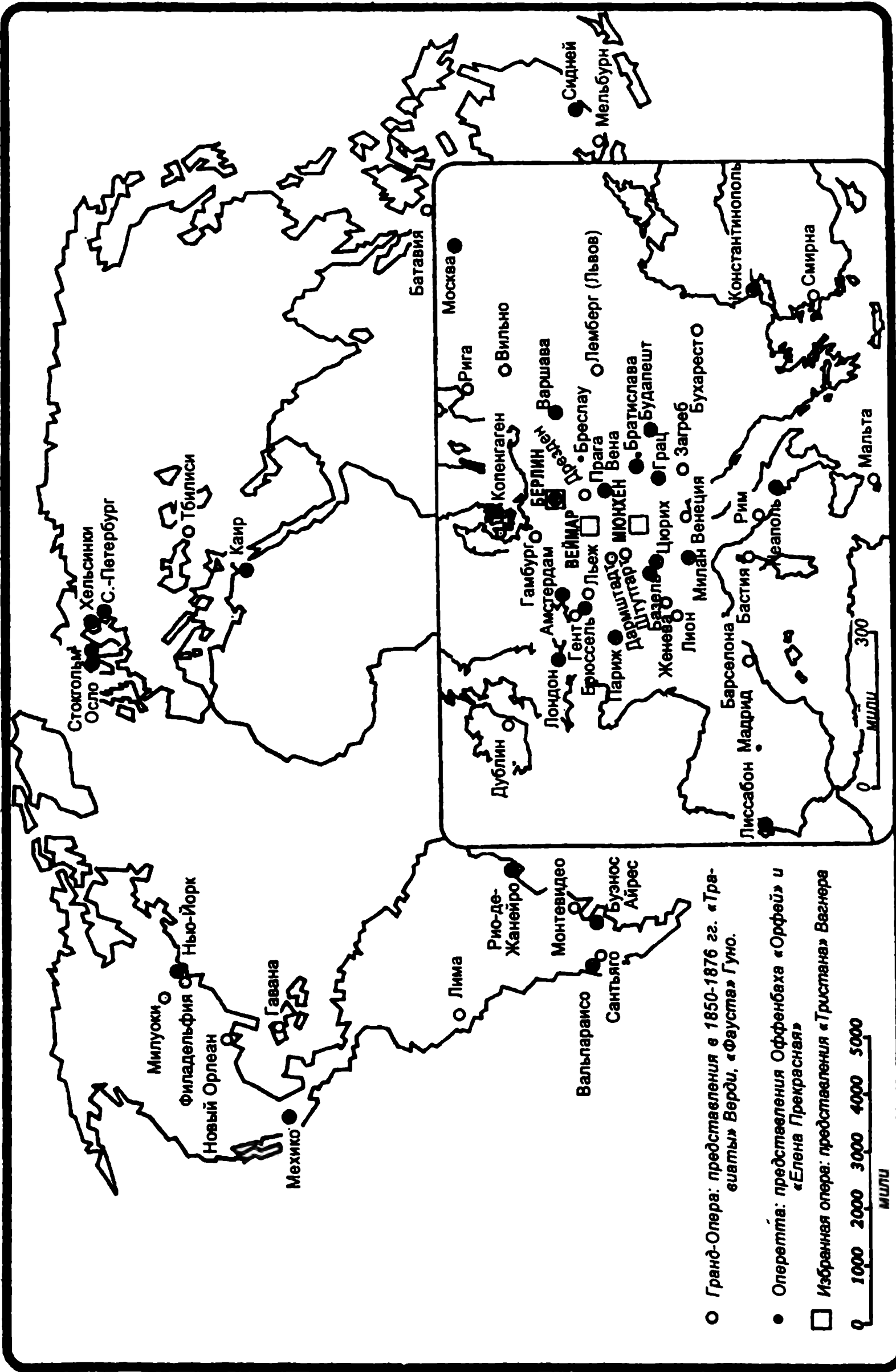
1880 г. Рабство и крепостничество в Западном мире



Мир в движении



Западная культура в 1847–1875 гг.: Опера



КОММЕНТАРИИ

Введение

^{1*} See J. Dubois, *Le Vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872* (Paris 1963).

^{2*} D. A. Wells, *Recent Economic Changes* (New York 1889), p. 1.

Глава 1: «Весна народов»

^{1*} P. Goldammer (ed.), *1848, Augenzeugen der Revolution* (East Berlin 1973), p. 58.

^{2*} Goldammer, *op. cit.*, p. 666.

^{3*} K. Repgen, *Märzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland* (Bonn 1955), p. 118.

^{4*} *Rinascita, Il 1848, Raccolta di Saggi e Testimonianze* (Rome, 1948).

^{5*} R. Hoppe and J. Kuczynski, «Eine ...Analyse der Märzgefallenen 1848 in Berlin», *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* (1964), IV, pp. 200—76; D. Cantimori in F. Fejtö, ed., *1848 — Opening of an Era* (1948).

^{6*} Roger Ikor, *Insurrection ouvrière de juin 1848* (Paris 1936).

^{7*} K. Marx and F. Engels, Address to the Communist League (March 1850) (*Werke* VII, p. 247).

^{8*} Paul Gerbod, *La Condition universitaire en France au 19e siècle* (Paris 1965).

^{9*} Karl Marx, *Class Struggles in France 1848-1850* (*Werke*, VII, pp. 30-1).

^{10*} Franz Grillparzer, *Werke* (Munich 1960), I, p. 137.

^{11*} Marx, *Class Struggles in France* (*Werke* VII, p. 44).

Глава 2: Великий бум

^{1*} Cited in *Ideas and Beliefs of the Victorians* (London 1949), p. 51.

^{2*} I owe this reference to Prof. Sanford Elwitt.

^{3*} «Philoponos», *The Great Exhibition of 1851; or the Wealth of the World in its Workshops* (London 1850), p. 120.

^{4*} T. Ellison, *The Cotton Trade of Great Britain* (London 1886), pp. 63 and 66.

^{5*} Horst Thieme, «Statistische Materialien zur Konzessionierung der Aktiengesellschaften in Preussen bis 1867», *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* (1960), II, p. 285.

^{6*} J. Bouvier, F. Furet and M. Gilet, *Le Mouvement du profit en France au 19e siècle* (Hague 1955), p. 444.

^{7*} Engels to Marx (5 November 1857) (*Werke*, XXIX, p. 211).

^{8*} Marx to Danielson (10 April 1879) (*Werke*, XXIV, pp. 370-5).

^{9*} Calculated from Ellison, *of. cit.*, Table II, using the multiplier on p. 111.

^{10*} F. S. Turner, *British Opium Policy and its Results to India and China* (London 1876), p. 305.

^{11*} B. R. Mitchell and P. Deane, *Abstract of Historical Statistics* (Cambridge 1962), pp. 146-7.

^{12*} C. M. Cipolla, *Literacy and Development in the West* (Harmondsworth 1969), Table I, Appendix II, III.

^{13*} F. Zunkel, «Industriebürgertum in Westdeutschland» in H. U. Wehler (ed.), *Moderne Deutsche Sozialgeschichte* (Cologne-Berlin 1966), p. 323.

^{14*} L. Simonin, *Mines and Miners or Underground Life* (London 1868), p. 290.

- ^{15*} Daniel Spitzer, *Gesammelte Schriften* (Munich and Leipzig 1912), II, p. 60.
- ^{16*} J. Kuczynski, *Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus* (East Berlin 1961), XII, p. 29.

Глава 3: Объединенный мир

- ^{1*} K. Marx and F. Engels, *Manifesto of the Communist Party* (London 1848).
- ^{2*} U. S. Grant, Inaugural Message to Congress (1873).
- ^{3*} I. Goncharov, *Oblomov* (1859).
- ^{4*} J. Laffey, «Racines de l'imperialisme français en Extrême-Orient», *Revue d'Histoire Modem et Contemporaine* XVI (April-June 1969), p. 285.
- ^{5*} Many of these data are taken from W. S. Lindsay, *History of Merchant Shipping*, 4 vols (London 1876).
- ^{6*} M. Mulhall, *A Dictionary of Statistics* (London 1892), p. 495.
- ^{7*} F. X. von Neumann-Spallart, *Übersichten der Weltwirtschaft* (Stuttgart 1880), p. 336; «Eisenbahnstatistik», *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (2nd ed.) (Jena 1900).
- ^{8*} L. de Rosa, *Iniziativa e capitale straniero nell' industria metalmeccanica del Mezzogiorno, 1840-1904* (Naples 1968), p. 67.
- ^{9*} Sir James Anderson, *Statistics of Telegraphy* (London 1872).
- ^{10*} Engels to Marx (24 August 1852) (*Werke*, XXVIII, p. 118).
- ^{11*} *Bankers Magazine*, V (Boston 1850-1), p. 11.
- ^{12*} *Bankers Magazine*, IX (London 1849), p. 545.
- ^{13*} *Bankers Magazine*, V (Boston 1850-1), p. 11.
- ^{14*} Neumann-Spallart, *op. cit.*, p. 7.

Глава 4: Конфликты и война

^{1*} Prince Napoléon Louis Bonaparte, *Fragments Historiques, 1688 et 1830* (Paris 1841), p. 125.

^{2*} Jules Verne, *From the Earth to the Moon* (1865).

Глава 5: Образование наций

^{1*} Ernest Renan «What is a Nation» in A. Zimmern (ed.), *Modern Political Doctrines* (Oxford 1939), pp. 191-2.

^{2*} Johann Nestroy, *Haeuptling Abendwind* (1862).

^{3*} Shatov in F. Dostoievsky, *The Possessed* (1871-2).

^{4*} Gustave Flaubert, *Dictionnaire des idées reçues* (c. 1852).

^{5*} Walter Bagehot, *Physics and Politics* (London 1873), pp. 20-1.

^{6*} Cited in D. Mack Smith, *Il Risorgimento Italiano* (Bari 1968), p. 422.

^{7*} Tullio de Mauro, *Storia linguistica dell'Italia unita* (Bari 1963).

^{8*} J. Korčalka, «Social problems in the Czech and Slovak national movements» in: Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et des Structures Sociales, *Mouvements Nationaux d'Indépendance et Classes Populaires* (Paris 1971), I, p. 62.

^{9*} J. Conrad, «Die Frequenzverhältnisse der Universitäten der hauptsächlichsten Kulturländer» *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik* (1891) 3rd ser. I, pp. 376 ff.

^{10*} I am obliged to Dr R. Anderson for these data.

Глава 6: Силы демократии

^{1*} H. A. Targé, *Les Déficits* (Paris 1868), p. 25.

^{2*} Sir T. Erskine May, *Democracy in Europe* (London 1877), I, p. lxxi.

- ^{3*} Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte* (Werke, VIII, pp. 198-9).
- ^{4*} G. Procacci, *Le elezioni del 1874 e l'opposizione meridionale* (Milan 1956) p. 60; W. Gagel, *Die Wahlrechtsfrage in der Geschichte der deutschen. Liberalen Parteien 1848-1918* (Düsseldorf 1958), p. 28.
- ^{5*} J. Ward, *Workmen and Wages at Home and Abroad* (London 1868), p. 284.
- ^{6*} J. Deutsch, *Geschichte der österreichischen Gewerkschaftsbewegung* (Vienna 1908), pp. 73-4; Herbert Steiner, «Die internationale Arbeiterassoziation und die österr. Arbeiterbewegung», *Weg und Ziel* (Vienna, Sonder-nummer, Jänner 1965), pp. 89-90.

Глава 7: Пронравление

- ^{1*} Erskine May, *op. cit.*, I, p. 29.
- ^{2*} J. W. Kaye, *A History of the Sepoy War in India* (1870), II, pp. 402-3.
- ^{3*} Bipan Chandra, *Rise and Growth of Economic Nationalism in India* (Delhi 1966), p. 2.
- ^{4*} Chandra, *op. cit.*
- ^{5*} E. R. J. Owen, *Cotton and the Egyptian Economy 1820-1914* (Oxford 1969), p. 156.
- ^{6*} Nikki Keddie, *An Islamic Response to Imperialism* (Los Angeles 1968), p. 18.
- ^{7*} Hu Sheng, *Imperialism and Chinese Politics* (Peking 1955), p. 92.
- ^{8*} Jean A. Meyer in *Annales E. S. C.* 25, 3 (1970), pp. 796-7.
- ^{9*} Karl Marx, «British Rule in India», *New York Daily Tribune* (June 25 1853) (Werke, IX, p. 129).
- ^{10*} B. M. Bhatia, *Famines in India* (London 1967), pp. 68-97.

- ^{11*} Ta Chen, *Chinese Migration with Special Reference to Labour Conditions* (us Bureau of Labor Statistics, Washington 1923).
- ^{12*} N. Sanchez Albornoz, «Le Cycle vital annuel en Espagne 1863-1900», *Annales E. S. C.* 24, 6 (November-December 1969); M. Emerit, «Le Maroc et l'Europe jusqu'en 1885», *Annales E. S. C.* 20, 3 (May-June 1965).
- ^{13*} P. Leroy-Beaulieu, *L'Algérie et la Tunisie*, 2nd ed. (Paris 1897), p. 53.
- ^{14*} *Almanach de Gotha* 1876.

Глава 8: Победители

- ^{1*} Jakob Burkhardt, *Reflections on History* (London 1943), p. 170.
- ^{2*} Erskine May, *op. cit.*, I, p. 25.
- ^{3*} Cited in Henry Nash Smith, *Virgin Land* (New York 1957 ed.), p. 191. I am indebted to this valuable study of the agrarian-Utopian strain in the United States as well as to Eric Foner, *Free Soil, Free Labor, Free Men* (Oxford 1970).
- ^{4*} Herbert G. Gutman, «Social Status and Social Mobility in Nineteenth Century America: The Industrial City. Paterson, New Jersey» (mimeo) (1964).
- ^{5*} Martin J. Primack, «Farm construction as a use of farm labor in the United States 1850-1910», *Journal of Economic History* XXV (1965), p. 114 ff.
- ^{6*} Rodman Wilson Paul, *Mining Frontiers of the Far West* (New York 1963), pp. 57-81.
- ^{7*} Joseph G. McCoy, *Historic Sketches of the Cattle Trade of the West and South-west* (Kansas City 1874; Glendale, California 1940). The author founded Abilene as a cattle centre and became its mayor in 1871.
- ^{8*} Charles Howard Shinn in *Mining Camps, A Study in American*

Frontier Government ed. R. W. Paul (New York, Evanston and London 1965), chapter XXIV, pp. 45-6.

^{9*} Hugh Davis Graham and Ted Gurr (eds.). *The History of Violence in America* (New York 1969), chapter 5, especially p. 175.

^{10*} W. Miller (ed.), *Men in Business* (Cambridge [Mass.] 1952), p. 202.

^{11*} I am obliged to Dr William Rubinstein of Johns Hopkins University for the data on which this guess is based.

^{12*} Herbert G. Gutman, «Work, Culture and Society in Industrializing America 1815-1919», *American Historical Review*, 78, 3 (1973), p. 569.

^{13*} John Whitney Hall, *Das Japanische Kaiserreich* (Frankfurt 1968), p. 282.

^{14*} Nakagawa, Keiichiro and Henry Rosovsky, «The Case of the Dying Kimono», *Business History Review*, XXXVII (1963), pp. 59-80.

^{15*} V G. Kiernan, *The Lords of Human Kind* (London 1972), p. 188.

^{16*} Horace Capron, «Agriculture in Japan» in *Report of the Commissioner for Agriculture, 1873* (Washington 1874), pp. 364-74.

^{17*} Kiernan, *op. cit.*, p. 193.

Глава 9: Меняющееся общество

^{1*} Erskine May, *op. cit.*, I, pp. lxxv-vi.

^{2*} *Journaux des Frères Concourt* (Paris 1956), II, p. 753.

^{3*} *Werke*, XXXIV, pp. 510-11.

^{4*} *Werke*, XXXII, p. 669.

^{5*} *Werke*, XIX, p. 296.

^{6*} *Werke*, XXXIV, p. 512.

^{7*} M. Pushkin, «The professions and the intelligentsia in nineteenth-

century Russia», *University of Birmingham Historical Journal*, XII, I (1969), pp. 72 ff.

^{8*} Hugh Seton Watson, *Imperial Russia 1861-1917* (Oxford 1967), pp. 422-3.

^{9*} A. Ardao, «Positivism in Latin America», *Journal of the History of Ideas* XXIV, 4 (1963), p. 519, notes that Comte's actual Constitution was imposed on the state of Rio Grande do Sul (Brazil).

^{10*} G. Haupt, «La Commune comme symbole et comme exemple». *Mouvement Social*, 79 (April-June 1972), pp. 205-26.

^{11*} Samuel Bernstein, *Essays in Political and Intellectual History* (New York 1955), chapter XX, «The First International and a New Holy Alliance», especially pp. 194-5 and 197.

^{12*} J. Rougerie, *Paris Libre 1871* (Paris 1971), pp. 256-63.

Глава 10: Земля

^{1*} Cited in Jean Meyer, *Problemas campesinosy revueltas agrarias (1821-1910)* (Mexico 1973), p. 93.

^{2*} Cited in R. Giusti, «L'agricoltura e i contadini nel Mantovano (1848-1866)», *Movimento Operaio* VII, 3-4 (1955), p. 386.

^{3*} Neumann-Spallart, *op. cit.*, p. 65.

^{4*} Mitchell and Deane, *op. cit.*, pp. 356-7.

^{5*} M. Hroch, *Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas* (Prague 1968), p. 168.

^{6*} «Bauerngut», *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (2nd ed.), II, pp. 441 and 444.

^{7*} «Agriculture» in Mulhall, *op. cit.*, p. 7.

^{8*} I. Wellman, «Histoire rurale de la Hongrie», *Annales E. S. C.*, 23, 6 (1968), p. 1203; Mulhall, *loc. cit.*

^{9*} E. Sereni, *Storia del paesaggio agrario italiano* (Bari 1962), pp.

351-2. Industrial deforestation should not be neglected either. «The large amount of fuel required by [the furnaces of Lake Superior, USA] has already made a very decided impression on the surrounding timber,» wrote H. Bauermann in 1868 (*A Treatise on the Metallurgy of Iron* [London 1872], p. 227); daily supply of a single furnace required the clearing of an acre of forest.

- ^{10*} Elizabeth Whitcombe, *Agrarian Conditions in Northern India, I, 1860-1900* (Berkeley, Los Angeles and London 1972), pp. 75-85, discusses the consequences of large-scale irrigation engineering in the United Provinces critically.
- ^{11*} Irwin Feller, «Inventive activity in agriculture, 1837-1900», *Journal of Economic History*, XXII (1962), p. 576.
- ^{12*} Charles McQueen, *Peruvian Public Finance* (Washington 1926), pp. 5-6. *Guano* supplied 75 per cent of Peruvian government income of all kinds in 1861-6, 80 per cent in 1869-75. (Heraclio Bonilla, *Guanoy burguesia en el Peru* [Lima 1974], pp. 138-9, citing Shane Hunt.)
- ^{13*} «Bauerngut», *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (2nd ed.), II, p. 439.
- ^{14*} See G. Verga's short story «Liberty», based on the rising at Bronte, which is among those discussed in D. Mack Smith, «The peasants» revolt in Sicily in 1860» in *Studi in Onore di Gino Luzzatto* (Milan 1950), pp. 201-40.
- ^{15*} E. D. Genovese, *In Red and Black, Marxian Explorations in Southern and Afro-American History* (Harmondsworth 1971), pp. 131-4.
- ^{16*} For the most elaborate version of this argument see R. W. Fogel and S. Engermann, *Time on the Cross* (Boston and London 1974).
- ^{17*} Th. Brassey, *Works and Wages Practically Illustrated* (London 1872).
- ^{18*} H. Klein, «The Coloured Freedmen in Brazilian Slave Society»,

Journal of Social History 3, 1 (1969), pp. 36; Julio Le Riverend, *Historia economica de Cuba* (Havana 1956), p. 160.

^{19*} P. Lyashchenko, *A History of the Russian National Economy* (New York 1949), p. 365.

^{20*} Lyashchenko, *op. cit.*, pp. 440 and 450.

^{21*} D. Wells, *Recent Economic Changes* (New York 1889), p. 100.

^{22*} Jaroslav Purs, «Die Entwicklung des Kapitalismus in der Landwirtschaft der böhmischen Länder 1849-1879», *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* (1963), III, p. 38.

^{23*} I. Orosz, «Arbeitskräfte in der ungarischen Landwirtschaft,» *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* (1972) II, p. 199.

^{24*} J. Varga, *Typen und Probleme des bäuerlichen Grundbesitzes 1767-1849* (Budapest 1965), cited in *Annales E. S. C.* 23, 5 (1968), p. 1165.

^{25*} A. Girault and L. Milliot, *Principes de Colonisation et de Législation Coloniale. L'Algérie* (Paris 1938), pp. 383 and 386.

^{26*} Raymond Carr, *Spain 1808-1959* (Oxford 1966), p. 273.

^{27*} José Termes Ardevol, *El Movimiento Obrero en Espana. La Primera Internacional (1864-1881)* (Barcelona 1965), unpag. Appendix: Sociedades Obreras creadas en 1870-1874.

^{28*} A. Dubuc, «Les sobriquets dans le Pays de Bray en 1875», *Annales de Normandie* (August 1952), pp. 281-2.

^{29*} Purš, *op. cit.*, p. 40.

^{30*} Franco Venturi, *Les Intellectuels, le peuple et la revolution. Histoire du populisme russe au XIX siècle* (Paris 1972), II, pp. 946-8. This magnificent book, an earlier edition of which exists in English translation (*Roots of Revolution* [London 1960]), is the standard work on its subject.

^{31*} M. Fleury and P. Valmary, «Les Progrès d'instruction élémentaire de Louis XIV à Napoléon III», *Population* XII (1957), pp. 69 ff; E.

de Laveleye, *L'Instruction du Peuple* (Paris 1872), pp. 174, 188, 196, 227-8 and 481.

Глава 11: Переселение народов

- ^{1*} Scholem Alejchem, *Aus den nahen Osten* (Berlin 1922).
- ^{2*} F. Mulhauser, *Correspondence of Arthur Hugh Clough* (Oxford 1957), II, p. 396.
- ^{3*} I. Ferenczi, ed. F. Willcox, *International Migrations; Vol. I Statistics*, National Bureau of Economic Research (New York 1929).
- ^{4*} Ta Chen, *Chinese Migration with Special Reference to Labor Conditions*, United States Bureau of Labor Statistics (Washington 1923), p. 82.
- ^{5*} S. W. Mintz, «Cuba: Terre et Esclaves», *Etudes Rurales*, 48 (1972), p. 143.
- ^{6*} *Bankers Magazine*, V (Boston 1850-1), p. 12.
- ^{7*} R. Mayo Smith, *Emigration and Immigration, A Study in Social Science* (London 1890), p. 94.
- ^{8*} M-A. Can-on, «Prélude a l'exode rural en France: les migrations anciennes des travailleurs creusois». *Revue d'histoire économique et sociale*, 43, (1965). P. 320.
- ^{9*} A. F. Weber, *The Growth of Cities in the Nineteenth Century* (New York 1899), p. 374.
- ^{10*} Herbert Gutman, «Work, Culture and Society in industrializing America, 1815-1919», *American History Review*, 78 (3 June 1973), p. 533.
- ^{11*} Barry E. Supple, «A Business Elite: German-Jewish Financiers in Nineteenth Century New York», *Business History Review*, XXXI (1957), pp. 143-78.
- ^{12*} Mayo Smith, op. cit. p. 47; G. M. Turnbull, «The European

Mercantile Community in Singapore, 1819-1867», *Journal of South East Asian History*, X, I (1969), p. 33.

^{13*} Ferenczi, ed. Willcox, *op. cit.* Vol. II, p. 270 n.

^{14*} K. E. Levi, «Geographical Origin of German Immigration to Wisconsin», *Collections of the State Historical Society of Wisconsin*, XIV (1898), p. 354.

^{15*} Carl F. Wittke, *We who built America* (New York 1939), p. 193.

^{16*} Egon Erwin Kisch, *Karl Marx in Karlsbad* (East Berlin 1968).

^{17*} C. T. Bidwell, *The Cost of Living Abroad* (London 1876), Appendix. Switzerland was the main objective of this tour.

^{18*} Bidwell, *op. cit.*, p. 16.

^{19*} Georg v. Mayr, *Statistik und Gesellschaftslehre*; II, *Bevoelkerungsstatistik*, 2. Lieferung (Tübingen 1922), p. 176.

^{20*} E. G. Ravenstein, «The Laws of Migration», *Journal of the Royal Statistical Society*, 52 (1889), p. 285.

Глава 12: Города, промышленность, рабочий класс

^{1*} J. Purs, «The working class movement in the Czech lands», *Historica*, X (1965), P. 70.

^{2*} M. May, *Die Arbeitsfrage* (1848) cited in R. Engelsing, «Zur politischen Bildung der deutschen Unterschichten, 1789-1863» *Hist. Ztschr.* 206, 2 (April 1968), p. 356.

^{3*} *Letters and Private Papers of W. M. Thackeray*, ed. Gordon N. Ray, II, 356 (London 1945).

^{4*} J. Purš, «The industrial revolution in the Czech Lands», *Historica*, II (1960), pp. 210 and 220.

^{5*} Cited in H. J. Dyos and M. Wolff (eds.) *The Victorian City* (London and Boston 1973), I, p. 110.

^{6*} Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 5.

- ^{7*} A. F. Weber (1898) cited in Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 7.
- ^{8*} H. Croon, «Die Versorgung der Staedte des Ruhrgebietes im 19. u. 20. Jahrhundert» (mimeo) (International Congress of Economic History 1965), p. 2.
- ^{9*} Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 341.
- ^{10*} L. Henneaux-Depooter, *Misères et Luites Sociales dans le Hainaut 1860-96* (Brussels 1959), p. 117; Dyos and Wolff, *op. cit.*, p. 134.
- ^{11*} G. Fr. Kolb, *Handbuch der vergleichenden Statistik* (Leipzig 1879).
- ^{12*} Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 424.
- ^{13*} Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 326.
- ^{14*} Dyos and Wolff, *op. cit.*, I, p. 379.
- ^{15*} J. H. Clapham, *An Economic History of Modern Britain* (Cambridge 1932), II, pp. 116-17.
- ^{16*} Erich Maschke, *Es entsteht ein Konzern* (Tübingen 1969).
- ^{17*} R. Ehrenberg, *Krupp-Studien* (Thünen-Archiv II, Jena, 1906-9), p. 203; C. Fohlen, *The Fontana Economic History of Europe*, 4: *The Emergence of Industrial Societies* (London 1973), I, p. 60; J. P. Rioux, *La Révolution Industrielle* (Paris 1971), p. 163.
- ^{18*} G. Neppi Modona, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922* (Bari 1969), p. 51.
- ^{19*} P. J. Proudhon, *Manuel du Spéculateur à la Bourse* (Paris 1857), pp. 429 ff.
- ^{20*} B. Gille, *The Fontana Economic History of Europe*, 3: *The Industrial Revolution* (London 1973), p. 278.
- ^{21*} J. Kocka, «Industrielles Management: Konzeptionen und Modelle vor 1914», *Vierteljahrschrift für Sozial — und Wirtschaftsgesch.* 56/3 (October 1969), p. 336, quoting from Emminghaus, *Allgemeine Gewerbslehre*.

- ^{22*} P. Pierrard, «Poesie et chanson ... à Lille sous le 2e Empire», *Revue du Nord*, 46 (1964), p. 400.
- ^{23*} G. D. H. Cole and Raymond Postgate, *The Common People* (London 1946), p. 368.
- ^{24*} H. Mottek, *Wirtschaftsgeschichte Deutschlands* (East Berlin 1973), II, p. 235.
- ^{25*} E. Waugh, *Home Life of the Lancashire Factory Folk during the Cotton Famine* (London 1867), p. 13.
- ^{26*} M. Anderson, *Family Structure in Nineteenth Century Lancashire* (Cambridge 1973). p. 31.
- ^{27*} O. Handlin (ed.) *Immigration as a Factor in American History* (Englewood Cliffs 1959), pp. 66-7.
- ^{28*} J. Hagan and C. Fisher, «Piece-work and some of its consequences in the printing and coal mining industries in Australia, 1850-1930», *Labour History*, 25 (November 1973), p. 26.
- ^{29*} A. Plessis, *De la fête impériale au mur des Fédérés* (Paris 1973), p. 157.
- ^{30*} E. Schwiedland, *Kleingewerbe uber Hausindustrie in Österreich* (Leipzig 1894), II, pp. 264-5 and 284-5.
- ^{31*} J. Saville and J. Bellamy (eds.), *Dictionary of Labour Biography*, I, p. 17.
- ^{32*} Engelsing, *op. cit.*, p. 364.
- ^{33*} Rudolf Braun, *Sozialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet im 19. u. 20. Jahrhundert* (Erlenbach-Zürich and Stuttgart 1965), p. 139, uses this term specifically for the period. His invaluable books (see also *Industrialisierung und Volksleben* [1960]) cannot be recommended too highly.
- ^{34*} *Industrial Remuneration Conference* (London 1885), p. 27.
- ^{35*} *Industrial Remuneration Conference*, pp. 89-90.

^{36*} Beatrice Webb, *My Apprenticeship* (Harmondsworth 1938), pp. 189 and 195.

^{37*} *Industrial Remuneration Conference*, pp. 27 and 30.

Глава 13: Мир буржуазии

^{1*} Cited in L. Trénard, «Un Industriel roubaisien du XIX siècle». *Revue du Nord*, 50 (1968), p. 38.

^{2*} Martin Tupper, *Proverbial Philosophy* (1876).

^{3*} See Emanie Sachs, *The Terrible Siren* (New York 1928), especially pp. 174-5.

^{4*} G. von Mayr, *Statistik und Gesellschaftslehre III Sozialstatistik, Erste Lieferung* (Tübingen 1909), pp. 43-5. For the unreliability of statistics on prostitution, *ibid.* (5. Lieferung), p. 988. For the strong relationship of prostitution and venereal infection, Gunilla Johansson, «Prostitution in Stockholm in the latter part of the 19th century» (mimeo) (1974). For estimates of the prevalence and mortality from syphilis in France, see T. Zeldin, *France 1848-1945* (Oxford 1974), I, pp. 304-6.

^{5*} The freedom of visiting American girls is noted in the relevant section of the chapter on foreigners in Paris in the superb *Paris Guide 1867* (2 vols).

^{6*} For Cuba, Verena Martinez Alier, «Elopement and seduction in 19th century Cuba», *Past and Present*, 55 (May 1972); for the American South E. Genovese, *Roll Jordan Roll* (New York 1974), pp. 413-30 and R. W. Fogel and Stanley Engermann, *op. cit.*

^{7*} From the «Maxims for Revolutionists» in *Man and Superman*: «A moderately honest man with a moderately faithful wife, moderate drinkers both, in a moderately healthy house: that is the true middle class unit».

^{8*} Zunkel, *op. cit.*, p. 320.

^{9*} Zunkel, *op. cit.*, p. 526 n. 59.

- ^{10*} Tupper, *op. cit.*: «Of Home», p. 361.
- ^{11*} Tupper, *loc. cit.*, p. 362.
- ^{12*} John Ruskin, «Fors Clarigera», in E. T. Cook and A. Wedderburn (eds.), *Collected Works* (London and New York 1903-12), vol. 27, letter 34.
- ^{13*} Tupper, *op. cit.*: «Of Marriage», p. 118.
- ^{14*} H. Bolitho (ed.). *Further Letters of Queen Victoria* (London 1938), p. 49.
- ^{15*} «My opinion is that if a woman is obliged to work, at once (although she may be a Christian and well bred) she loses the peculiar position which the word *lady* conventionally designates» (Letter to the *Englishwoman's Journal*, VIII (1866), p. 59).
- ^{16*} Trénard, *op. cit.*, pp. 38 and 42.
- ^{17*} Tupper, *op. cit.*: «Of Joy», p. 133.
- ^{18*} J. Lambert-Dansette, «Le Patronat du Nord. Sa période triomphante», in *Bulletin de la Société d'histoire moderne et contemporaine*, 14, Série 18 (1971), p. 12.
- ^{19*} Charlotte Erickson, *British Industrialists: Steel and Hosiery, 1850-1950* (Cambridge 1959).
- ^{20*} H. Kellenbenz, «Unternehmertum in Südwestdeutschland», *Tradition*, 10, 4 (August 1965), pp. 183 ff.
- ^{21*} *Nouvelle Biographie Générale* (1861); articles: Koechlin, p. 954.
- ^{22*} C. Pucheu, «Les Grands notables de l'Agglomération Bordelaise du milieu du XIXe siècle à nos jours». *Revue d'histoire économique et sociale*, 45 (1967), p. 493.
- ^{23*} P. Guillaume, «La Fortune Bordelaise au milieu du XIX siècle», *Revue d'histoire économique et sociale*, 43 (1965), pp. 331, 332, and 351.
- ^{24*} E. Gruner, «Quelques reflexions sur l'élite politique dans la

Confédération Helvétique depuis 1848», *Revue d'histoire économique et sociale*, 44 (1966), pp. 145 ff.

^{25*} B. Verhaegen, «Le groupe Libéral à la Chambre Belge (1847-1852)», *Revue Belge de Philologie et d'histoire*, 47 (1969), 3-4, pp. 1176 ff.

^{26*} Lambert-Dansette, *op. cit.*, p. 9.

^{27*} Lambert-Dansette, *op. cit.*, p. 8; V. E. Chancellor (ed.), *Master and Artisan in Victorian England* (London 1969), p. 7.

^{28*} Serge Hutin, *Les Francs-Maçons* (Paris 1960), pp. 103 ff. and 114 ff. P. Chevallier, *Histoire de la Francmaçonnerie française*, II (Paris 1974). For the Iberian world, the judgement: «The Freemasonry of that period was nothing but the universal conspiracy of the revolutionary middle class against feudal, monarchical and divine tyranny. It was the International of that class», cited in Iris M. Zavala, *Masones, Comuneros y Carbonarios* (Madrid 1971), p. 192.

^{29*} T. Mundt, *Die neuen Bestrebungen zu einer wirtschaftlichen Reform der unteren Volksklassen* (1855), cited in Zunkel, *op. cit.*, p. 327.

^{30*} Rolande Trempé, «Contribution à l'étude de la psychologie patronale: le comportement des administrateurs de la Société des Mines de Carmaux (1856-1914)», *Mouvement Social*, 43 (1963), p. 66.

^{31*} John Ruskin, *Modern Painters*, cited in W. E. Houghton, *The Victorian Frame of Mind* (Newhaven 1957), p. 116. Samuel Smiles, *Self Help* (1859), chapter II, pp. 359-60.

^{32*} John Ruskin, «Traffic», *The Crown of Wild Olives*, (1866) *Works* 18, p. 453.

^{33*} Trempé, *op. cit.*, p. 73.

^{34*} W. L. Burn, *The Age of Equipoise* (London 1964), p. 244 n.

^{35*} H. Ashworth in 1853-4, cited in Burn, *op. cit.*, p. 243.

^{36*} H. U. Wehler, *Bismarck und der Imperialismus* (Cologne-Berlin 1969), p. 431.

Глава 14: Наука, религия, идеология

^{1*} Francis Darwin and A. Seward (eds.). *More Letters of Charles Darwin* (New York 1903), II, p. 34.

^{2*} Cited in Engelsing, *op. cit.*, p. 361.

^{3*} *Anthropological Review*, IV (1866), p. 115.

^{4*} P. Benaerts *et. al.*, *Nationalité et Nationalisme* (Paris 1968), p. 623.

^{5*} Karl Marx, *Capital*, I, postscript to second edition.

^{6*} In the *Electromagnetic Theory* of Julius Stratton of the mit. Dr S. Zienau, to whom my references to physical sciences are enormously indebted, tells me that this came at a fortunate moment for the Anglo-Saxon war-effort in the field of radar.

^{7*} J. D. Bernal, *Science in History* (London 1969), II, p. 568.

^{8*} Bernal, *op. cit.*

^{9*} Marx to Engels (19 December 1860) (*Werke*, XXX, p. 131).

^{10*} H. Steinthal and M. Lazarus, *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprach- wissenschaft*.

^{11*} F. Mehring, *Karl Marx, The Story of his Life* (London 1936), p. 383.

^{12*} E. B. Tylor, «The Religion of Savages», *Fortnightly Review* VI (1866), p. 83.

^{13*} *Anthropological Review* IV (1866), p. 120.

^{14*} Kiernan, *op. cit.*, p. 159.

^{15*} W. Philips, «Religious profession and practice in New South Wales 1850-1900», *Historical Studies* (October 1972), p. 388.

- ^{16*} *Haydn's Dictionary of Dates* (1889 ed.); article: Missions.
- ^{17*} Eugene Stock, *A Short Handbook of Missions* (London 1904), p. 97. The statistics in this biased and influential manual are taken from J. S. Dennis, *Centennial Survey of Foreign Missions* (New York and Chicago 1902).
- ^{18*} *Catholic Encyclopedia*; article: Missions, Africa.

Глава 15: Искусство

- ^{1*} R. Wagner, «Kunst und Klima», *Gesammelte Schriften* (Leipzig 1907), III, p. 214.
- ^{2*} Cited in E. Dowden, *Studies in Literature 1789-1877* (London 1892), p. 404.
- ^{3*} Th. v. Frimmel, *Lexicon der Wiener Gemäldesammlungen* (A-L 1913-14); article: Ahrens.
- ^{4*} G. Reitlinger, *The Economics of Taste* (London 1961), chapter 6. I have relied much on this valuable work, which brings to the study of art a hard-headed financial realism suitable to our period.
- ^{5*} Asa Briggs, *Victorian Cities* (London 1963), pp. 164 and 183.
- ^{6*} Reitlinger, *op. cit.*
- ^{7*} R. D. Altick, *The English Common Reader* (Chicago 1963), pp. 355 and 388.
- ^{8*} Reitlinger, *op. cit.*
- ^{9*} F. A. Mumby, *The House of Routledge* (London 1934).
- ^{10*} M. V Stokes, «Charles Dickens: A Customer of Coutts & Co.», *The Dickensian*, 68 (1972), pp. 17-30. I am indebted to Michael Slater for this reference.
- ^{11*} Mulhall, *op. cit.*; article: Libraries. A special note should be made of the British public-library movement. Nineteen cities installed such free libraries in the 1850s, eleven in the 1860s, fifty-one in the 1870s (W. A. Munford, *Edward Edwards* [London 1963]).

- ^{12*} T. Zeldin, *France 1848-1945* (Oxford 1974), I, p. 310.
- ^{13*} G. Grundmann, «Schlösser und Villen des 19. Jahrhunderts von Unternehmern in Schlesien», *Tradition*, 10, 4 (August 1965), pp. 149-62.
- ^{14*} R. Wischnitzer, *The Architecture of the European Synagogue* (Philadelphia 1964), chapter X, especially pp. 196 and 202-6.
- ^{15*} Gisèle Freund, *Photographie und bürgerliche Gesellschaft* (Munich 1968), p. 92.
- ^{16*} Freund, *op. cit.*, pp. 94-6.
- ^{17*} Cited in Linda Nochlin (ed.), *Realism and Tradition in Art* (Englewood Cliffs 1966), pp. 71 and 74.
- ^{18*} Gisèle Freund, *Photographie et Société* (Paris 1974), p. 77.
- ^{19*} Freund, *op. cit.* (1968), p. 111.
- ^{20*} Freund, *op. cit.* (1968), pp. 112-13.
- ^{21*} For the question of artists and revolution in this period, see T. J. Clark, *The Absolute Bourgeois* (London 1973) and *Image of the People: Gustave Courbet* (London 1973).
- ^{22*} Nochlin, *op. cit.*, p. 77.
- ^{23*} Nochlin, *op. cit.*, p. 77.
- ^{24*} Nochlin, *op. cit.*, p. 53.
- ^{25*} Even in that lesser centre of Bohemia, Munich, the Münchner Kunstverein had about 4,500 members in the mid-1870s. P. Drey, *Die wirtschaftlichen Grundlagen der Malkunst. Versuch einer Kunstökonomie* (Stuttgart and Berlin 1910).
- ^{26*} «In art the handicraft is almost everything. Inspiration — yes, inspiration is a very pretty thing, but a little *banale*; it is so universal. Every bourgeois is more or less affected by a sunrise or sunset. He has a certain measure of inspiration.» Cited in Dowden, *op. cit.*, p. 405.

Глава 16: Заключение

^{1*} Johann Nestroy, *Sie Sollen Ihn Nicht Haben* (1850).

^{2*} D. S. Landes, *The Unbound Prometheus* (Cambridge 1969), pp. 240-1.

^{3*} Burckhardt, *op. cit.*, p. 116.

^{4*} Burckhardt, *op. cit.*, p. 171.

КОММЕНТАРИИ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

- ¹ Токвиль — Токвиль Алексис де (1805—1859) — французский государственный деятель, историк, публицист, автор первого аналитического исследования конституции США («О демократии в Америке» (1835), а также сочинения, в котором было дано глубокое описание Франции в канун Великой французской революции («Старый порядок и революция» (1856).
- ² «Если Австрия уже не существует, — так, кажется, сказал профессор Палаки, чешский представитель, — действительно необходимо придумать ее». — Перефразировка знаменитого афоризма Вольтера: «Если бы бога не было, его следовало бы выдумать».
- ³ quarante-huitard — люди 48-го года (франц.).
- ⁴ Граф Кавур — Кавур Камилло Бензо (1810—1861) — итальянский государственный деятель, националист, редактор про-националистической газеты *Le Risorgimento* (с 1847 г.), со следующего года — депутат парламента Пьемонта, в 1850—1852 гг. — занимал посты в правительстве, став впоследствии премьер-министром Сардинского королевства. Возглавив правительство, Кавур заключил тайное соглашение с Наполеоном III, поддержавшим Пьемонт в войне против Австрии в 1859 г., вследствие которой Ломбардия, прежде принадлежавшая австрийцам, была присоединена к Пьемонту.
- ⁵ Дж. Мадзини — Мадзини Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер, националист, член общества карбонариев, руководитель националистического движения, созданного им в изгнании — *Giovane Italia* («Молодая Италия» — (1832 г.). Во время революционных событий в Италии в 1848 г. он возглавил республиканское правительство в Риме. После

поражения революции (в 1849 г.) — вновь эмигрировал. Жил в Англии, продолжая вести революционную агитацию.

⁶ Кошут — Кошут Лайош (1802—1894) — венгерский националист. Провозгласил независимость Венгрии от Австрии в 1849 г., возглавив национально-освободительное движение с целью свержения владычества Габсбургов. После поражения венгерской революции — эмигрировал, сначала в Турцию, затем в Великобританию.

⁷ débacle — букв. — ледоход (франц.): здесь в значении — крах.

⁸ А. Ледрю-Роллен. — Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807—1874) — французский политический деятель, радикал и социалист, сотрудник журнала *La Réforme* («Реформа»), министр Временного правительства в 1848 г. Выступал против избрания президентом республики принца Луи Бонапарта.

⁹ Луи Блан — Блан Луи (1811—1882) — французский социалист и журналист. В опубликованном им сочинении *Organisation du travail* (1839 г.) он выступил в качестве сторонника создания рабочих кооперативов, призванных составить серьезную конкуренцию капиталистическим предприятиям. В 1848 г. Л. Блан стал членом Временного правительства. После его падения, вплоть до 1871 г. жил в Великобритании.

¹⁰ Л. О. Бланки — Бланки Луи Огюст (1805—1881) — французский революционер, организатор бесчисленных восстаний и заговоров, 33 года жизни проведенный в тюрьме, за что получил прозвище «вечного узника». Бланки приписывают формулировку тезиса о «диктатуре пролетариата».

¹¹ Кавеньяк — Кавеньяк Луи Эжен (1802—1857) — французский государственный деятель, генерал. Буржуазный республиканец. В мае-июне 1848 г. — военный министр. Жестоко подавил июньское восстание рабочих в Париже в 1848 г. С 29 июня по 20 декабря 1848 г. — глава правительства II республики.

- ¹² «открытая Президентом» — имеется в виду президент США Улисс С. Грант (1869—1877).
- ¹³ меркантилистского — от меркантилизм — (от итал. mercante — торговец, купец) — экономическая политика ряда европейских феодальных государств в XV—XVIII вв., выражавшая интересы нарождавшейся буржуазии с целью ускорить накопление капиталов в стране различными способами.
- ¹⁴ конвертер Бессемера — аппарат для передела жидкого чугуна в литую сталь, изобретенный Г. Бессемером в 1856 г.
- ¹⁵ Gr $\ddot{u}$ ndejahre — грюндерство (нем.) — от нем. Gr $\ddot{u}$ nder — основатель. Спешное учредительство капиталистических предприятий, акционерных обществ и т. п. для получения высокой учредительской прибыли.
- ¹⁶ coureurs de bois — лесничий (франц.)
- ¹⁷ Дэвид Ливингстон — Ливингстон Дэвид (1813—1873) — шотландский путешественник, исследовавший различные районы африканского континента в 40—70-е гг. составивший карту большей части Африки, а также содействовавший прекращению работорговли.
- ¹⁸ кули — заработки (тамилск.) — низкооплачиваемые, неквалифицированные рабочие в колониальных и зависимых странах.
- ¹⁹ сен-симонисты — сторонники взглядов французского социалиста-утописта Клода Анри Сен-Симона (1760—1825).
- ²⁰ Лессепс — Лессепс Фердинанд (1805—1894) — французский инженер, спроектировавший строительство Суэцкого канала (в 1859—1869 гг.), а также Панамского канала (в 1879 г.).
- ²¹ Полк — имеется в виду президент США Джеймс К. Полк (1845—1849 гг.).
- ²² Отто фон Бисмарк — Бисмарк Отто Эдуард Леопольд, князь (1815—1898) — германский политический деятель, премьер-

министр Пруссии в 1862—1890 гг., канцлер Германской империи в 1871—1890 гг., сторонник объединения всех германских земель под главенством Пруссии при помощи династических войн, придерживавшийся агрессивной и экспансионистской политики.

²³ Британская парламентская реформа 1867 года — согласно парламентской реформе 1867 г. в Англии произошло значительное расширение числа избирателей. В городах правом избирать пользовались все лица, которые проживали здесь 12 месяцев, платили налог в пользу бедных, снимавшие отдельный жилой дом или квартиру и платили 10 ф. ст. в год. В графствах право голоса получили арендаторы с доходом в 12 ф. ст. в год. В целом, в результате реформы 1867 г., число избирателей в Англии возросло вдвое (с 1 до 2 миллионов человек).

²⁴ Бенджамин Дизраэли — Дизраэли Бенджамин (1804—1881) — британский политический деятель, лидер консервативной партии, писатель. Член парламента с 1837 г. Занимал ряд ответственных государственных постов (в 1852, 1858—1859, 1866—1868 — канцлера Казначейства, а в 1868 и 1874—1880 — премьер-министра Великобритании).

²⁵ новая Германская империя — Германская империя была провозглашена в Версале 18 февраля 1871 г.

²⁶ двух блестяще проведенных войн 1864 и 1866 годов — имеются в виду война Пруссии и Австрии против Дании в 1864 г. и так называемая австро-прусская война 1866 г., обе содействовали усилению могущества Пруссии.

²⁷ Джузеппе Гарибальди — Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — деятель итальянского национально-освободительного движения, вождь итальянской революционной демократии, выступивший с программой объединения Италии «снизу», борьбы против иноземного порабощения, феодально-абсолютистского строя и клерикальной реакции.

- ²⁸ чем-то вроде независимости для Болгарии — в результате русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Болгария обрела независимость от Турции.
- ²⁹ Пальмерстон — Пальмерстон Генри Джон Темил (1784—1865) — английский государственный деятель. Вначале примыкал к партии тори, в 1830 г. перешел к вигам. В 1830—1834, 35—41, 46—51 гг. — министр иностранных дел, в 1855—1858 и 1859—1865 гг. — премьер-министр Великобритании. Один из организаторов экспансионистских войн против Китая. Правительство Пальмерстона подавило индийское национальное восстание 1857—1859 гг. и активно участвовало в подавлении Тайпинского восстания 1851—1864 гг. в Китае. Пальмерстон был одним из главных организаторов Крымской войны 1853—1856 гг. Во время Гражданской войны в США 1861—1865 гг. активно поддерживал рабовладельцев Юга.
- ³⁰ «железом и кровью» — выражение из речи Бисмарка перед депутатами нижней палаты 29 сентября 1862 г.
- ³¹ Тайпинские войны — крестьянские революционные войны в Китае в 1851—1864 гг., явившиеся следствием резкого обострения к середине XIX в. противоречий между народными массами и господствующей в стране Маньчжурской династией, усилившихся в обстановке вторжения в Китай капиталистических держав.
- ³² революция Мэйдзи — незавершенная буржуазная революция в Японии 1868 г., в результате которой был свергнут режим сегуната и в стране утвердилась, по сути дела, неограниченная императорская власть, причем императорское правительство, состоявшее из самурайских элементов, учитывало в своей политике и интересы буржуазии.
- ³³ олигополия — термин, применяющийся экономистами для обозначения господства в какой-нибудь отрасли промышленности нескольких крупных компаний, трестов, концернов.

- ³⁴ Nations! Réunir ici tous les peuples? — Нации! Возможно ли здесь объединить все народы? (франц.).
- ³⁵ фении — (от ирланд. fene — название древних обитателей Ирландии) — ирландские мелкобуржуазные революционеры-республиканцы 50—60-х гг. XIX в., члены «Ирландского революционного братства» основанного в 1858 г. Боролись за независимость Ирландии от Англии. Восстание фениев в Ирландии в 1867 г. потерпело поражение.
- ³⁶ «Священная Римская империя германской нации» — средневековая империя, существовавшая в 962—1806 гг. и включавшая Германию и другие королевства, герцогства и земли (часть Италии, Чехию, Бургундию, Нидерланды и др.), которые в разное время и в различной степени действительно или номинально подчинялись императорам.
- ³⁷ ирландцы не требовали отмены союза 1801 года — речь идет об унии, вступившей в силу 1 января 1801 г., согласно которой Ирландия юридически становилась частью Соединенного королевства Великобритании и Ирландии.
- ³⁸ гуситы — участники движения 1419—1434 гг. в Чехии, носившего антифеодальный, национально-освободительный и антикатолический характер. Получило свое название по имени Яна Гуса, автора реформационного учения, выступавшего за социальную справедливость и национальное освобождение Чехии.
- ³⁹ Кюзэре — Кюзэре Гюстав Поль (1823—1900) — французский политический деятель. Кадровый офицер. Участвовал в подавлении Июньского восстания 1848 г. в Париже. Примкнув к республиканскому движению, вышел в отставку. В 1860 г. участвовал в походе «тысячи» Гарибальди, во время Гражданской войны в США 1861—1865 гг. сражался против рабовладельческих штатов и получил чин генерала. С 3 по 30 апреля 1871 г. — военный делегат (военный министр) Парижской Коммуны.

- ⁴⁰ en bloc — в общем (франц.).
- ⁴¹ обвинительных речей Карла Маркса и Виктора Гюго — Хобсбаум имеет в виду работу К. Маркса «18 брюмера Луи Бонапарта» (1852), а также памфлеты В. Гюго «Наполеон Малый» и «История одного преступления».
- ⁴² хотя его генеалогическая претензия быть Бонапартом была сомнительной — намек на широко распространенное еще при жизни Наполеона III мнение о том, что его отцом был не Луи Бонапарт, брат Наполеона I и король Голландии, а голландский адмирал Верхюль.
- ⁴³ в романе Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» — этот роман знаменитого колумбийского писателя впервые был опубликован в 1967 г.
- ⁴⁴ штрейкбрехеры — (от нем. Streikbrecher — ломающий стачку) — рабочие, не участвующие в забастовке своего коллектива или согласившиеся заменить бастующих.
- ⁴⁵ мутуализм — (от лат. mutuus — взаимный) — форма отношений между совместно живущими организмами разных систематических групп, характеризующихся тем, что каждый из организмов (мутуалистов) приносит другому известную пользу. То же, что симбиоз.
- ⁴⁶ Росас — Росас Хуан Манюэль де — президент, фактически — диктатор Аргентины, прославившийся своей жестокостью; свергнут насильственным путем в 1852 г.
- ⁴⁷ Т. В. Маколей — Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский буржуазный историк, публицист, политический деятель. В 1830 г. был избран в парламент. Примкнул к вигам. В 1833—1838 гг. — член верховного совета при вице-короле Индии. В 1839—1841 гг. — военный министр.
- ⁴⁸ президент Порфирио Диас — Диас Порфирио (1828—1915) — мексиканский государственный деятель, генерал. В 1876 году, совершив государственный переворот, захватил власть. В

1877—1880 и 1884—1911 гг. — президент и диктатор Мексики. Способствовал усилению проникновения в Мексику американского и английского капитала, а также захвату крупными землевладельцами крестьянских земель. В 1911 г. был свергнут в результате революции.

⁴⁹ лассальянцы — сторонники Фердинанда Лассаля (1825—1864) — мелкобуржуазного немецкого социалиста, создателя Всеобщего германского рабочего союза (1863).

⁵⁰ Лиги трех императоров... в 1873 году — имеется в виду союз императоров России, Австро-Венгрии и Германии, заключенный в 1873 г., который многие в Европе воспринимали как некий аналог «Священного союза» 1815 года.

⁵¹ подобных Геккельбери Финну из романов Марка Твена (1884) — имеется в виду роман М. Твена «Приключения Геккельбери Финна» (1884).

⁵² «история этой эпохи описана в романах Золя» — Хобсбаум имеет в виду серию из 20 романов «Ругон-Маккары», опубликованную Э. Золя в 1871—1893 гг.

⁵³ «Обещание фельдмаршальского жезла, лежащего в ранце каждого солдата» — известная фраза Наполеона I о том, что в ранце у каждого солдата лежит маршальский жезл, была призвана поощрить военнослужащих более ревностно нести службу, добиваясь высших армейских чинов.

⁵⁴ Курбе — Курбе Гюстав (1819—1877) — французский художник, глава реалистического направления во французской живописи. В 1871 г. — видный деятель Парижской Коммуны. После ее падения был арестован и приговорен к большому штрафу. В 1873 г. бежал в Швейцарию. Творчество Курбе сыграло большую роль в утверждении реализма в европейской живописи.

⁵⁵ барон Гро — Гро Антуан (1771—1835) — французский живописец, ученик Ж. Л. Давида. В 1793—1801 гг. работал в Ита-

лии. Автор ряда известных батальных полотен и портретов Наполеона I. Во времена Первой империи стал фактически официальным живописцем Наполеона. Писал также картины на античные и средневековые сюжеты.

- ⁵⁶ «Партия центра» в Германии — такое название получила созданная католической церковью в Германии в 1870—1871 гг. партия, одной из целей которой была борьба против прусской гегемонии в Германской империи.

А. А. Егоров

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

Ниже перечислены, за очень небольшими исключениями, только названия книг, изданных на английском языке. Это не значит, что именно эти труды лучше освещают данную тему, хотя многие из них написаны неплохо. Это просто уступка читателям англоязычных стран, которые, как правило, плохо знают иностранные языки.

Библиография рассмотренного периода истории столь обширна, что нечего и пытаться привести ее полностью, по всем аспектам темы; придется делать выбор, при котором неизбежны случайности и личные пристрастия.

Литература, рекомендуемая для чтения по большинству разделов темы, указана в периодически издаваемом бюллетене «A Guide to Historical Literature» Американской исторической ассоциации. Много интересного можно найти в «Cambridge Economic History of Europe», том 6. Кое-что можно взять из «A Bibliography of Modern History», J. Roach, 1968. Кроме того, большинство книг, указанных ниже, содержат перечни рекомендуемой литературы или дают необходимые указания в сносках.

Из трудов общего содержания можно рекомендовать «Encyclopaedia of World History», W. Langer и «Chronology of the Modern World», N. Williams, A. Mayer, 1949 освещены вопросы развития науки и искусства. Непревзойденным остается «A Dictionary of Statistics», M. Mulhall, 1892. Общие вопросы истории девятнадцатого века хорошо освещены в одиннадцатом издании «Encyclopaedia Britannica», которое еще можно найти в университетских библиотеках и которое гораздо лучше, чем последующие издания, так же как «Encyclopaedia of the Social Sciences»,

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

изданная в 1931 году, лучше подходит для наших целей, чем издание 1968 года.

Весьма многочисленны биографические сочинения и справочники, которые просто невозможно перечислить.

Интересны атласы: «Grosser Historischer Weltatlas», J. Engel, 1957 и «Atlas of World History, Rand-McNally, 1957, а также «Penguin Historical Atlas», 1974.

В качестве введения в предмет рекомендуются: «An Introduction to Contemporary History», G. Barraclough, 1967 и «The Triumph of the Middle Classes», C. Moraze, 1966, причем последняя содержит прекрасно оформленные карты. Элегантное и глубокое сочинение «The Lords of Human Kind», V G. Kiernan, 1972 рассказывает об отношениях европейцев с остальным миром. Эту же тему раскрывают: «New Cambridge Modern History», vol. 10, J. P. T. Bury («The Zenith of European Power 1839—1870») и две части «Cambridge Economic History», vol. 6; эти книги содержат много полезных сведений.

Истории самой Европы посвящены труды: «The Ascendancy of Europe 1815—1914», M. S. Anderson, 1972, «The Age of Revolution, Europe 1789—1848», E. I. Hobsbawm, 1962. Книга «Liberal Europe 1848—1875», W. E. Mosse, 1974 охватывает точно тот же период, что и данная книга. Книга «Political and Social Upheaval 1832—1852», W. L. Langer, 1969 является лучшей в серии «Подъем современной Европы» под редакцией этого же автора.

Из более специализированных трудов отметим: «The Fontana Economic History of Europe», C. Cipollf, 1973; «The Unbound Prometheus», D. S. Landes, 1969; «A History of Technology», C. Singer; «The Culture of Western Europe: the nineteenth and twentieth centuries», G. L. Mosse, 1963. В книге «Science in History», J. D. Bernal, 1965 раздел, посвященный рассмотренному здесь периоду, следует принимать критически; это же относится и к книге «The Social History of Art», A. Hauser, 1952. Рекомендуются несколько томов «Penguin History of Art», посвященных 19 столетию. Попытка (возможно, преждевременная) рассмотреть социальную историю нашего континента сделана в книге «European Society in Upheaval»,

Peter Stearns, 1975. Полезны книги «The Economic History of World Population», С. Cipolla, 1962 и «Literacy and Development in the West», С. Cipolla, 1969, дающие начальные сведения по вопросу о населении мира. Очень ценные сведения дает книга «The Growth of Cities in the 19-th century», А. F. Weber, 1899.

На английском языке нет книг по истории некоторых стран, освещающих данный период. По истории Британии можно рекомендовать: «The Origin of Modern English Society 1780—1880», Н. Perkin, 1969; «Midvictorian Britain 1850—1875», Geoffrey Best, 1971 и «An Economic History of Modern Britain, 1850—1880», J. H. Clapham, 1932, хотя этих книг явно недостаточно. По истории Франции: «Nouvelle histoire de la France contemporaine», vol. 8, 9, М. Agulhon, 1973 и «De la fête imperiale au mur des fédérés», Alain Plessis, 1973. По истории Германии: «A History of Modern Germany 1840—1945», Hajo Holborn, 1970 и «Restoration, Revolution, Reaction, Economics and Politics in Germany 1815—1871», Т. S. Hamerow, 1958; а также «Social Foundations of German Unification, 1969». По истории Австрии: «The Habsburg Empire 1790—1918», С. А. Macartney, 1969. По истории Испании: «Spain 1808—1939», Raymond Carr, 1966. По истории Скандинавских стран: «The Scandinavian Countries 1720—1865», 2 тома. По истории России имеются следующие книги: «Imperial Russia 1801—1917», Н. S. Watson, 1967, содержащая массу интересных сведений, и «A History of the Russian National Economy», Р. Lyaschenko, 1949. По истории Италии: «History of the Italian People», G. Procacci, 1973 — интересная книга, хотя и написанная очень сжато; и «Italy, A Modern History», D. M. Smith, 1959 — одна из первых книг ведущего специалиста по этой теме. История балканских стран освещена в прекрасном обзоре: «The Balkans since 1453», L. S. Stavrianos, 1958.

По истории стран, находящихся за пределами Европы, рекомендуются книги, содержащие общие сведения об этом незнакомом мире. Например, по истории Китая: «Imperial China», F. Schurmann, 1967; по истории Японии: «Imperial Japan 1800—1945», J. Livingston, 1973; по истории исламских стран: «Unity and

Variety in Muslim Civilization», G. Grunebaum, 1955; по истории Латинской Америки: «*Reading in Latin American History since 1810*», L. Hanke, 1966; по истории Индии: «*Agrarian Conditions in Northern India*», E. Whitcombe, 1972; по истории Египта: «*Cotton and the Egyptian Economy 1820—1914*», E. R. J. Owen, 1969. Важные события из стран Дальнего Востока освещены в книгах: «*The Taiping Rebellion*», M. Franz, 1966 и «*The Meiji Restoration*», W. G. Beasley, 1972.

Библиография по истории Америки просто безгранична. Рекомендуется начать с книг, содержащих общие сведения по истории США: «*The Making of American Society, to 1877*», E. C. Rozwene, 1972 и «*Encyclopaedia of American History*», R. B. Morris, 1965. По этому разделу темы исследования приносят много новых данных и появляется много новых трудов.

Главной темой настоящей книги является описание процесса создания единого мира под капиталистической гегемонией. С этой точки зрения рекомендуются следующие книги: «*A History of Geographical Discovery and Exploration*», J. N. Baker, 1931; «*Memoirs of Hydrography*», L. S. Dawson, 1830—80, 1969; «*The Railway Age*», M. Robbins, 1962; «*History of Merchant Shipping*», W. S. Lindsay, 1876 — блестящий труд в 4 томах. Вопросы миграции и колонизации описаны в книгах: «*Migration and Economic Growth*», B. Thomas, 1954; «*The Immigrant in American History*», M. Hansen, 1940; «*Invisible Immigrants*», C. Erickson, 1972; «*A New System of Slavery*», H. Tinker, 1974 — книга, посвященная вопросам экспорта рабочей силы. Вопросам экспансии посвящены книги: «*Westward Expansion*», R. A. Billington, 1949; «*Mining Frontiers of the Far West*», R. W. Paul, 1963. Вопросы капиталистического предпринимательства за рубежом описаны в трудах: «*Bankers and Paschas: international Finance and Modern imperialism in Egypt*», D. S. Landes, 1958; «*The Migration British Capital to 1875*», L.-H. Jenks, 1927; «*Europe, The World's Banker*», H. Feis, 1930; «*The Life and Labours of Mr Brassey*», A. T. Helps, 1969; «*Henry Meiggs, A Yankee Pizarro*», W. Stewart, 1946; последние две книги посвящены выдающимся деятелям железнодорожного строительства. Интересен

труд «The Political and Social Ideas of Jules Verne», J. Chesneaux, 1972, посвященный автору книги «Вокруг света за 80 дней» и его мировоззрению.

История буржуазии, ключевого класса рассмотренного периода истории, описана во многих трудах и, как правило, в доступной форме. В качестве введения рекомендуется «Victorian People», Asa Briggs, 1955. Прекрасный материал содержит серия романов Эмиля Золя о Ругон-Маккарах, посвященная французскому обществу времен Второй Империи и написанная с документальной точностью. Рекомендуется также: «The Nineteenth Century World», G. S. Mettraux, 1968 — в этой книге очень хорошо написано введение. Из монографий можно упомянуть: «La Bourgeoisie parisienne 1815—1848», A. Daumard, 1970; «Les grands notables en France», A. Tudesq, 1964 — в двух томах, о формировании политического сознания общества во время революции 1848 года; «Modern Deutsche Sozialgeschichte», H. U. Wehler, 1966; «Self Help», S. Smiles, 1859 — о мировоззрении нижнего слоя среднего класса; «The Age of Equipoise», W. L. Burn, 1964 — о буржуазном обществе в Англии; «France 1848—1945», T. Zeldin, 1974 — очень хорошая книга о французском буржуазном обществе, освещающая вопросы семьи и семейных отношений; «The Formation of the British Liberal Party 1857—1868», J. R. Vincent, 1972.

Имеются отличные книги, посвященные жизни городского населения в XIX веке: «Victorian Cities», A. Briggs, 1963; «The Victorian City», H. J. Dyos, 1973 — энциклопедический труд в 2-х томах. Все же книг о рабочем классе и его организациях не так уж много. Автобиографии британских рабочих собраны в книге «Useful Toil», J. Burnett, 1974.

Замечательное описание жизни Лондона дано в книге: «London Labour and London Poor», H. Mayhew, 1861, в 4-х томах. Подобные же сведения можно найти в книге: «Labouring Men», E. J. Hobsbawm, 1964. По этой теме есть много трудов, не переведенных, к сожалению, на английский язык. Можно рекомендовать следующие: «Les ouvriers en grève 1871—1890», M. Perrot, 1974, в двух томах; «Les mineurs de Carmaux», R. Trempe, 1971;

«Socialer und kultureller Wandel in einem ländlichen Industriegebiet», R. Braun, 1965 — весьма значительный труд, далеко выходящий за рамки фактического материала (относящегося к Швейцарии), по которому он написан. Необходимо упомянуть весьма объемный труд (40 томов): «Geschichte der Lage der Arbeiter unter dem Kapitalismus», J. Kuczynski, 1960—1972, в котором 2, 3 и 18—20 тома посвящены положению рабочих в Германии в рассматриваемый период.

Теперь перечислим книги, посвященные вопросам о земле, сельском хозяйстве и о социально-экономическом положении сельского хозяйства: «Peasants and Peasant Societies», Т. Shanin, 1971; «Lord and Peasant in Russia», J. Blum, 1961; «Rural Russia under old Regime», Т. Robinson, 1932; «English Landed Society in the 19-th Century», F. M. L. Thompson, 1963; «The Farmer Last Frontier», F. A. Shannon, 1945.

Вопросу о последнем периоде рабства посвящены книги: «The World the Slaveholders made», E. G. Genovese, 1969; «Roll, Jordan Roll: the World the Slaves Made», E. G. Genovese, 1974; «Time on the Cross», S. Engermann, 1974, в 2-х томах — довольно противоречивый труд.

Вопросы экономики и наемного труда рассмотрены в книгах: «Sugar without Slaves», A. Adamson, 1972; «La Terre», Zola — книга, соединяющая точность анализа с типичными предрассудками горожанина, рассуждающего о крестьянстве. Вопросы эмиграции крестьян рассмотрены в «Immigration as a Factor in American History», O. Handlin, 1959.

Вопросы международных отношений освещены в следующих трудах: «The Struggle for Mastery in Europe 1848—1918»; A. J. P. Taylor, 1954; «The European Powers and the German Question 1848—1871», W. E. Mosse, 1969; «A History of Militarism», A. Vagts, 1938; «The Rise of Rail Power in War and Conquest», E. A. Pratt, 1915; «Journal of World History», IV; H. Nickerson, 1957—1958; «The Franco-Prussian War», M. Howard, 1962 — образцово написанная монография.

Современные взгляды на национальную политику изложены

в книгах: «Physics and Politics», W. Bagehot, 1873 и «The British Constitution», 1872. Критика и историография национализма не имеют достаточно удовлетворительного освещения; можно рекомендовать следующие труды: «What is Nation?» Е. Renan; «Modern Political Doctrines», A. Zimmern, 1939; «Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas», М. Hroch, 1968; «Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires aux 19—20 siècles», vol. 1, 1971.

О борьбе за расширение избирательного права рассказывается в книгах: «Before the Socialists», R. Harrison, 1965; «Grünberg Archiv», 2, 1911; «The Political System of Napoleon III», Т. S. Haverow, 1958.

О революционном движении в рассмотренный период можно прочесть в книгах: «The Revolution of 1854 in Spanish History», V G. Kiernan, 1966; «The Federal Republic in Spain 1868—1874», С. А. Hennessy, 1962; «Paris libre», J. Rongerie, 1971 — одна из многочисленных книг о Парижской Коммуне; «Political and Social Upheaval 1832—1852», W. L. Langer, 1969; «The 1848 Revolution», Р. Stearns, 1974. Этой теме посвящены также труды К. Маркса: «Civil War in France»; «Class Struggles in France» и «The Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte» и Энгельса: «Revolution and Counter Revolution in Germany». Книга «Garibaldi», J. Ridley, 1974 посвящена величайшему борцу за свободу в XIX веке, а в книге «Roots of Revolution», F. Venturi, 1960 описаны русские революционеры.

Вопросам развития идеологии буржуазии посвящены книги: «From Wealth to Welfare: The Evolution of Liberalism», Н. К. Girvetz, 1963; «Virgin Land», Н. N. Smith, 1957 — об идеологии радикализма: «Free Soil, Free Labor, Free Men», Е. Foner, 1970.

Теперь перечислим книги по истории социализма: «The Origins of Socialism», G. Lichtheim, 1969 — этот труд является наилучшим введением в предмет; «A History of Socialist Thought: Marxism and Anarchism 1850—1890», G. D. H. Cole, 1954 — дает наиболее полный общий обзор вопроса; «Reflexions on World History», J. Burckhardt, 1945 — сжато и с умом написанное сочинение, не страдающее излишним радикализмом, свойственным ранним

работам этого автора; «European Positivism in the 19-th Century», W. M. Simon, 1963 — посвящена главному идеологическому течению XIX века; «Karl Marx, The Story of his Life», F. Mehring, 1936 — книга, показывающая значение Маркса для его непосредственных учеников и последователей; поэтому она более предпочтительна для наших целей по сравнению с другими изданиями; «History of the Warfare of Science and Theology», A. D. White, 1896.

Книги о дарвинизме: «Evolution and Society: A Study in Victorian Social Theory», J. Burrow, 1966 — книга автора, написавшего предисловие к «The Origin of Species, 1968»; «Social Darwinism in American Thought», R. Hofstadter, 1955; «Physics and Politics», W. Bagehot, 1873.

Книги по истории науки: «A History of European Thought in the 19-th Century, J. T. Merz, 1897—1914» — основное пособие по этой теме; «The Life of William Thompson», S. P. Thompson, 1910 — в 2-х томах; «Science and Industry in the 19-th Century», J. D. Bernal, 1953 — блестяще написанная монография; книга этого же автора «Science in History» упоминалась выше; «A Hundred Years of Chemistry», A. Findlay, 1948 — хорошо освещает роль этой важной современной науки.

Книги по истории искусства: «The Economics of Taste, G. Reitlinger, 1961—1963 — в 2-х томах, о рынке произведений искусства; «The Absolute Bourgeois», T. J. Clark, 1973; «Image of the People», T. J. Clark, 1973; «Realism», L. Nochlin, 1971 — см. также статью этого автора о французском авангарде в журнале «Art News Annual», n 34; «Photographie und bürgerliche Gesellschaft», G. Freund, 1968. «New Left Review», n 48 за 1968 г. — см. статью «Paris — Capital of the 19-th Century», W. Benjamin; «Studies in European Realism», G. Lucaes, 1950 — книга известного литературного критика; «Main Currents in Nineteenth Century Literature», G. Brandes, 1901—1905 — в 6 томах; позиция автора близка к современным взглядам на этот вопрос; «Aspects of Wagner», Bryan Magee, 1972 — книга, защищающая великого композитора, творчество которого содержит немало противоречий.

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДОВАННАЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

О кризисе, имевшем место в конце рассмотренного периода истории, рассказывают книги: «Grosse Depression und Bismarckzeit», Н. Rosenberg, 1967 и «Recent Economic Changes», D. Wells, 1889.

И, наконец, укажем книгу, представляющую весьма значительный интерес для многих: «Social Origins of Dictatorship and Democracy», В. Moore, 1973.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
-------------	---

ВВЕДЕНИЕ	6
----------	---

Часть первая. ПРЕЛЮДИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 1. «ВЕСНА НАРОДОВ»	15
--------------------------	----

Часть вторая. РАЗВИТИЕ

Глава 2. ВЕЛИКИЙ БУМ	43
Глава 3. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МИР	69
Глава 4. КОНФЛИКТЫ И ВОЙНА	98
Глава 5. ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИЙ	116
Глава 6. СИЛЫ ДЕМОКРАТИИ	139
Глава 7. ПРОИГРАВШИЕ	165
Глава 8. ПОБЕДИТЕЛИ	191
Глава 9. МЕНЯЮЩЕЕСЯ ОБЩЕСТВО	219

Часть третья. РЕЗУЛЬТАТ

Глава 10. ЗЕМЛЯ	241
Глава 11. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ	270
Глава 12. ГОРОДА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС ..	291
Глава 13. МИР БУРЖУАЗИИ	322
Глава 14. НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИДЕОЛОГИЯ	351
Глава 15. ИСКУССТВО	387
Глава 16. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	423
КОММЕНТАРИИ	439

Эрик Хобсбаум
ВЕК КАПИТАЛА
1848 — 1875

Редактор *А. Егоров*
Художник
Корректоры: *Н. Передистый, Л. Мирная*

Лицензия ЛР № 065194 от 2 июня 1997 г.
Сдано в набор 05.06.98. Подписано в печать 15.10.98 г.
Формат 84х108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура CG Times. Печать офсетная. Усл. п.л.15,0.
Тираж 5000 экз. Заказ № 290.

Издательство «Феникс»
344007, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, 17.

Отпечатано с готовых диапозитивов на
полиграфическом предприятии «Офсет»
400001, г.Волгоград, ул.КИМ, 6.

Эрик Хобсбаум родился в Александрии в 1917г. Получил образование в Вене, Берлине, Лондоне и Кембридже. Член Британской Академии и Американской Академии Искусств и Наук, обладатель почетных степеней университетов ряда стран. До пенсии работал в Бирбекском Колледже Лондонского университета, а затем в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке. Его книги: *Primitive Rebels*, *Labouring Men and Worlds of Labour*, *Industry and Empire* and *Bandits*.

Посвященная двадцатому веку трилогия известного британского историка Эрика Хобсбаума является одним из величайших достижений современной исторической мысли.

С момента выхода в свет первого тома этого выдающегося труда (более трех десятилетий назад) и вплоть до сегодняшнего дня исследование Хобсбаума неизменно попадает практически во все каталоги книг по всеобщей истории, предлагаемые англоязычному читателю. Разгадка этого феноменального успеха проста: после нескольких десятилетий упорного и кропотливого труда английский ученый создал детальный и оригинальный обзор важнейших явлений и процессов, характерных для европейского общества в период между 1789 и 1914 гг. При этом он не только суммировал факты, но и попытался вписать их в систему исторического синтеза, «воссоздать дух того времени».

В «Веке капитала» Хобсбаум продолжил глубокий анализ причин подъема промышленного капитализма и консолидации буржуазной культуры, показав, как прогресс капиталистической экономики превратил третью четверть XIX столетия в эру капитала.

ISBN 5-222-00597-6



9 785222 005972